ISSN 0130—6545

2. 1981

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

«В ЕВРОПЕ,
КАК И ВО ВСЕХ
ДРУГИХ РАЙОНАХ
НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ,
МЫ ХОТИМ
МИРА,
ПРОЧНОГО
МИРА»

Л. И. БРЕЖНЕВ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Содержание

ТО ХЫУ — Путь на юг *(Поэма. Перевод с вьетнамского и вступление Евг. Долматовского)* 4

ПАТРИК Д. СМИТ — Энджел-Сити, или Ангельский город *(Роман. Перевод с английского И. Якушкиной под редакцией Л. Огульчанской. Послесловие Майка Дэвидова — «Кровь и помидоры». Перевод с английского Л. Огульчанской)* 12

НГУГИ ВА ТХИОНГО — Кровавые лепестки *(Главы из романа. Перевод с английского А. Файнгара. Послесловие В. Иорданского)* 100

ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ — Измерения *(Повесть. Перевод с болгарского Л. Лихачевой)* 150

Критика

Взглянуть в лицо времени (Панорама: 70-е годы в литературах социалистических стран Европы) 184

Идеологическая борьба и литература

А. БЕЛЯЕВ — Мифы Деминга Брауна 198

Культура и современность

Заметки на полях

Т. БАЛАШОВА — На земле Марселя (По страницам литературного журнала «Сюд») 213

Публицистика

От имени планеты...

Выступления участников Третьей Международной встречи писателей в Софии *(Окончание)* 217

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

2 1981 Февраль

Содержание

МАРТИН НАГ — Нурдаль Григ в Москве *(Перевод с норвежского Л. Горлиной)* 241

К нашим иллюстрациям

Л. Д. — Вальтер Вомака 246

Наши гости

Виктор Соколюк — Яннис Рицос (Греция) 247

Среди книг

Русская и советская литература за рубежом

И. Попов — Из американской жизни Дмитрия Сергеевича Лопухова ✦ Пьер Гамарра — Горький: от горечи к революции ✦ Педро Корреа Васкес — За одно только слово ✦ Урбано Тавареш Родригеш — Константин Симонов и тема войны 251

Из месяца в месяц 260

На первой странице обложки: ВАЛЬТЕР ВОМАКА (ГДР). Пара голубей.

На четвертой странице обложки: ВАЛЬТЕР ВОМАКА. Девочка с голубем.

© «Иностранная литература», 1981.

ТО ХЫУ

Путь на юг

ПОЭМА

Перевод с вьетнамского и вступление
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКОГО

Поэма «Путь на юг» принадлежит перу одного из самых известных поэтов Вьетнама — То Хыу. Стихи поэта выходили в нашей стране и отдельной книгой, и в антологических сборниках. В годы отражения американской агрессии в «Правде» печатались его «календарные» поэмы, которые в течение нескольких лет То Хыу писал каждую весну,— они становились как бы поэтическим прогнозом и звучали призывом к борьбе.

Советский читатель, наверное, помнит, что одно из ярких стихотворений Константина Симонова посвящено То Хыу и обращено к нему: это благодарность за перевод знаменитого «Жди меня», ставшего благодаря То Хыу вьетнамской народной песней.

То Хыу прошел нелегкий путь революционера — с юности он участвовал в борьбе за независимость своей Родины, знал и кандалы, и колодки, и духоту одиночек, и голод в ссылке на пустынных островах. Перенесенные муки и страдания в малой степени отражены в его стихах; читателя вдохновляет уверенность в правоте и победе дела свободы, беззаветность, непреклонность и звонкий оптимизм поэта-бойца. В 1938 году (то есть сорок три года тому назад, из Вьетнама, казавшегося тогда незыблемым оплотом французского колониализма) восемнадцатилетний поэт обратился к нашей стране со стихотворением «Надежда», начинавшимся так:

Я моложе тебя на три года, Советский Союз,
Но великим отцом по-сыновьи назвать не боюсь.
Ночью — в путь! Впереди еще много боев и атак.
Все пожитки мои умещаются в легкий рюкзак.
Радость битвы со мною! Ожившие джунгли зовут.
Молодые, как я, по тропинкам вьетнамцы идут.

Образ шагающего бойца как постоянная нота, как рефрен во многих стихах То Хыу. Может быть, именно партизанские тропы и ночные переходы в основе ритма его стихов и поэм.

В том же стихотворении «Надежда» То Хыу говорит:

И вот так до победы мы будем идти и идти.
Человечество с нами! И с временем нам по пути.

Я привел здесь «Надежду» в своем переводе, сделанном много лет назад. То Хыу подтвердил, что ритм соблюден.

Победа вьетнамцев — над японскими захватчиками, над французскими колонизаторами, над американскими агрессорами — прекрасное и закономерное чудо XX века, в котором немалую роль сыграла и поэзия.

ТО ХЫУ — TÔ HỮU (настоящее имя — Нгуен Ким Тхань; род. в 1920 г.).

Вьетнамский поэт, государственный и политический деятель. Стихи его выходили на русском языке отдельной книгой, печатались в периодических изданиях, в том числе в «Иностранной литературе».

Наиболее известны его книги «С тех пор» («Từ ấy», 1946), «Вьетбак» («Việt-bắc», 1954; удостоена первой премии Ассоциации литературы и искусства), «Порыв ветра» («Gió lộng», 1961), «В бой» («Ra trận», 1972), «Кровь и цветы» («Máu và hoa», 1977) и др. Выступал также по вопросам литературной теории и критики. Поэма «Путь на юг» (в оригинале «Тысяча верст гор и вод»: «Nu'ớc non ngàn dặm», 1973) войдет также в готовящийся к печати в издательстве «Прогресс» поэтический том «Библиотеки вьетнамской литературы».

То Хыу с поэтическим вдохновением участвует в борьбе и общественной жизни своей родины — он секретарь ЦК, а теперь и член Политбюро Коммунистической партии Вьетнама.

Мне приходилось встречаться с поэтом и при посещении им нашей страны, и на его родине — во Вьетнаме в период отражения американской агрессии. Не только в стихах, но — постоянно и неотрывно — в его жизни присутствовала боль разделенной страны. И уверенность в победе. Обещанием встречи в Сайгоне завершал он каждый разговор — даже в самые тяжкие дни.

Эта боль, надежда и уверенность привели его к поэме, с которой я хочу познакомить сегодня советского читателя. Я перевел ее ямбом, приближающимся к ритму вьетнамских шестистиший. Конечно же, оригинал гораздо ярче, сильней, в переводе не удалось воспроизвести все фольклорные мотивы и ассоциации из народных песен, легенд и сказаний, которыми широко пользуется поэт.

Можно сказать, что поэма То Хыу аккумулирует все его прежние стихи и мечты о долгожданной встрече с родным Югом. Она продолжает тему пути, заложенную еще в стихотворении «Надежда», строки из которого приведены выше. В определенном смысле она завершает эту тему. Тот прекрасный и трагический путь завершается победой.

Посмотрите, с каким удовольствием произносит поэт имена сел, рек, водопадов. Эти стихи можно читать с картой в руках, следя за путем Армии освобождения!

Мечта бойца осуществилась.

Путь в поэзии продолжается.

Тысяча верст гор и вод...
В путь я пустился...
Зачем?

(Из народной песни района Намбинь)

Полжизни позади. Туман
Осел на голову мою.
С тоскою о родных местах
Я отправляюсь в путь — на юг.
Идти мне много тысяч верст
Навстречу юности своей.

Река Бенхай, мост Хиенлыонг —
Не просто берега и мост:
Границей восемнадцать лет
Страна была рассечена,
По свежим доскам я иду,
Чтоб встретиться с самим собой.

Вхожу я в Куангчи, в Зиолинь,
И поднимаюсь на Зокмиеу,
Шепчу, смотря на Куанганг,
Названия и имена...
Здесь птица юности моей
На ветке сломанной сидит.

Колючей проволоки ком
Теперь лежит у наших ног.
Так долго ты меня звала,
Моя земля, моя любовь.
Ты в красном платье. Над тобой
И над моторкой — алый флаг.

Но я еще плыву вдали
По волнам памяти... Потом
Увижу Кыавьет, Донгха,
Фулай, Айты и реку Бо,
Услышу песни рыбаков
В Тханьлынг, где мать ждала меня.

■

Дорога номер девять. Путь
В воронках от недавних бомб.
Деревья мертвые в мольбе
Вздымают к небу ветви рук.
Но на холмах цветет лимон
И слышно, как кричит петух.

Вдруг издали донесся стук
Колодок каторжных моих.
Тогда мне было двадцать лет,
Но в память навсегда вросли
Руины взорванных постов,
Кривые вышки часовых.

Мир гор, лесов и облаков
Качается передо мной
В лугах закатных золотых,
Как будто в гамаке бойца.
Любовь мне помогла пройти
Кровавый, тяжкий, долгий путь

А утро так прекрасно здесь!
Поляны изумрудных трав,
А выше, в розовой пыли
Видна «дорога дяди Хо»[1],
Там по горам и облакам
Как волны движутся войска.

Взгляни отсюда, с высоты
Геройских горных деревень
Увидишь: враг разгромлен в прах,
Стальные танки тут и там
Как тараканы берег весь
Усеяли — и траки вверх.

■

Какая страшная жара!
Машина мчится по холмам,
И ветер западный огнем
Мне в спину хлещет. Пыль красна,
Она клубится и, осев,
Ровняет линии траншей.

Есть песня о реке Сеноиг —
«Как ты ждала меня, река!»
Уют бамбуковых домов...
В горячем воздухе разлит
Дурман цветущих орхидей,
Бескрайне, как любовь во мне.

В военном лагере — привал.
Постелят мне на топчане,
Но вряд ли я смогу уснуть,
Взволнован встречею с людьми,
Отдавшими себя борьбе
За всю страну, за весь народ.

[1] Знаменитая «тропа Хо Ши Мина», по которой двигались на юг войска. Дорога эта проходила по Долгим горам (Чыонгшон), протянувшимся вдоль Индокитайского полуострова.

На перекрестке Долгих гор
Бегут тропинки вверх и вниз.
Здесь красные страницы нам
В историю дано вписать:
Сезоны солнца и дождя —
Сезоны подвигов теперь.

Вдруг офицера встретил я,
Что был трехлетним малышом,
Когда я партизанил здесь.
Теперь тот мальчик — командир,
Его саперный батальон
Стоит на стыке трех границ.

Блеск озера Тангау похож
На грустный буйволиный глаз.
Равнина выжжена огнем,
Пусты фруктовые сады,
И перепиливает зной
Цикады звонкая пила.

Теряется олений след
В густой траве. Вершины пальм
Обуглены. И снесена
Верхушка пагоды. А слон,
Шагавший чинно, вздрогнул вдруг,
Услышав бомбовый удар.

На этом мирном рубеже
Нежданно разразился бой.
И вновь команда: «Марш вперед —
Нас люди, реки, горы ждут!»
И Юг и Север осветив,
Дрожит Вечерняя звезда.

Вот мне навстречу партизан
Из джунглей вышел. Здравствуй, друг!
Из чистой бронзы кован ты —
Изделье древних мастеров!
Но современный автомат
Ты держишь в бронзовых руках.

■

...Унылый мостик... Ручеек...
Любимый древний наш пейзаж,
Но и в него внесла война
Свои суровые штрихи:
Здесь сопки бурое плечо
Как будто кровью запеклось.

Биньлонг! Намбо! Произношу
В волненье ваши имена.
Ваш краснозем держу в горсти —
Как легок он, как он тяжел.
Мне кажется, что я прижал
К своей груди весь мыс Камау.

Ведет машину наш шофер
Во мрак каучуковых лесов,
Смотрю из-за его плеча
На жгучей зелени разлив.
Колышется передо мной
Рубаха сельская и шлем.

Из памяти, из глубины
Возникли старые стихи:
«Искатель счастья, прибыл ты
В богатый красноземный край,
Но отдал жизнь и погребен
В тени каучуковых дерев...»

Траншеи, брустверы и рвы —
Как шрамы на груди земли.
Из плена женщины идут,
Склонясь друг другу на плечо.
Но песнь надежды и любви
Уже слышна! Уже звучит!

И радость огненным цветком
Уже готова зацвести.
Зеленый лес, кормящий нас,
Как грудь, налился молоком.
На рынках множество людей
И пирамидами — плоды.

Над нами красно-голубой
Взметнулся флаг. То цвет земли
И цвет небес. На нем — звезда
Как символ золота души
Сынов Вьетнама. Ветерок
Лелеет знамя надо мной.

Седая женщина несет
В худых руках подарок мне —
Два ананаса молодых
И свежих, как душа ее.
То Север Родины и Юг,
То наши терпкие плоды.

■

Луна за кромкой облаков,
Но в круглых лунах шляп земля —
Собранье, митинг, сходка, сбор...
Мы Юг и Север. Мы Вьетнам.
Одна страна, одна семья,
Одна земля, одна душа.

Вдруг кто-то тихо произнес:
«Вот если б видел дядя Хо!»
И в наступившей тишине
Был различим лишь всплеск волны,
Движенье лодок на реке,
И перекличка рулевых.

Длинноволосые бойцы,
Кто эти шарфы вам связал?
О, храбрая Нгуен Тхи Динь[1],
Привет, сестра! Отважный Юг
Геройски проявил себя
Восстаньем на реке Меконг.

Мерцает в хижине штабной
Окно. Видна издалека
Склоненная под грузом дум
Одна седая голова.
Наш вездеход въезжает в сад —
Мотора или сердца стук?

Бараки... Вышки часовых...
Сквозь поселенья прохожу —
Жестокие концлагеря.
А дальше — руку протянуть —
Сайгон! Но сколько дней пути
До исполнения мечты?

Таких, пожалуй, нет сетей,
Чтоб птиц заставить позабыть
Восторг полета! Мы придем!
Мы Север с Югом обручим,
Осуществим свою мечту,
Цветами устилая путь...

■

Уже остались позади
И Бузяман и Каоле.
И Тэйнгуен! Замедли шаг,
Чтоб юность не спугнуть свою.
Банме — железная тюрьма,
Браслеты первых кандалов.

А здесь я в ссылку в первый раз
Кровавою дорогой шел,
Еще не чувствуя тогда,
Что небо — выше этих гор,
Клокочет водопад Зяли,
Готовый к рокоту турбин.

Навстречу — житель вольных гор,
Товарищ старый. Здравствуй, Нуп!
Ты говоришь: «Под стать реке
Душа народа, а дожди
Лишь делают ее полней —
Таков отважный Тэйнгуен».

Спросил я, где таится враг,
И ты ответил: «Муравьи
По веткам ползают, а мы
С огнем их возле корня ждем!»
Твои слова — как свист лозы,
Как клич военного слона.

---

[1] Героиня освободительной борьбы Юга, заместитель главнокомандующего войсками НФО.

«К вершине тянется тропа.
Туман густеет. Нету птиц» —
Народной песенки слова,
Вы возвращаетесь ко мне,
И я шагаю к вам, пройдя
Путь в полстолетия длиной.

■

О, джунглей душный аромат.
Корицы ветку поднял я,
Чтоб сладость с горечью вдохнуть.
Корицы ветку поднял я,
Наивный символ этих мест —
Корицы ветку поднял я...

Хойан, Дананг — еще вдали.
Там мать моя погребена.
Я помню белых дюн гряду,
И лодку на реке Бантхать,
И выход в море... Там, вдали,
Немало бед и гроз моих.

Там реки Ба, и Лай, и Ча.
Там зона пятая. О ней
Я думал десять тысяч дней...
Река вскормила кровью рыб,
Оставил ветер птиц без гнезд...
Лишь человека не согнуть!

Свист бомбы, буря, ураган...
Юг умирал, чтоб вновь ожить,
И увядал, чтоб вновь расцвесть
Щепотка соли — на двоих.
Одна таблетка на двоих.
Для друга все отдать готов!

Герой... Ему пятнадцать лет.
Совсем дитя. Но знаменит.
И старец в восемьдесят лун,
Сумевший встать перед врагом
И стоя умереть, как жил...
О Родина! Горжусь тобой.

■

Какие встречи на пути!
Рекою Ми плыву я вновь,
Как в день побега из тюрьмы,
А вот знакомый водопад,
И старый друг — тростник речной,
И овощи, что так вкусны!

Товарища тюремных лет
Я вспомнил. Память так горька:
В деревне Ро я стал искать
Тех, кто укрыл меня тогда.
Ни девушки, ни старика
Увы, теперь уж нет в живых.

Я не забуду никогда
Той маленькой деревни Ро.
Я благодарен ей навек —
Той маленькой деревне Ро,
И тем, кто в джунгли проводил,
И тем, кто рис отсыпал мне.

Нам встретиться не суждено,
Но помнил я о вас всегда,
Как вы, быть может, обо мне.
Теперь пирую я один:
Арбуз соленый на столе,
И горы в золоте луны.

С небесной пристанью прощусь.
Мне плыть по рекам Бунг и Кай,
Сквозь водопады Тьонг и Зай,
Сквозь водопады Ба и Онг,
Лыа и Кхо... Ведь это все
Пороги жизненной реки.

О Родина! О город мой![1]
Восстанья осень и весна.
Тогда я был черноволос,
А завтра возвращусь седым,
Но в час вечерний под горой
Кукушка свой продолжит счет.

Я так и не могу понять,
Мечта иль явь передо мной.
Я все еще спешу на Юг
Иль просто вижу дивный сон?
Тысячеверстный долгий путь
Навстречу юности своей.

ТАМДАО, лето 1973 г.

■

[1] Речь идет о городе Гюэ, близ которого родился поэт.

ДОЛМАТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АРОНОВИЧ (род. в 1915 г.).

Советский поэт и публицист, лауреат Государственной премии СССР. После поездок во Вьетнам в 1967—1970 годы выпустил сборник стихов «Девушка в белом» и «Антологию фронтовой поэзии Вьетнама».

ПАТРИК Д. СМИТ

Энджел-Сити, или Ангельский город

РОМАН

Перевод с английского И. ЯКУШКИНОЙ под редакцией Л. ОГУЛЬЧАНСКОЙ

1

Воздух в горах был необычно холодным для конца сентября, но в Западной Виргинии, особенно в районе Титер-Ридж, зимы наступают рано. Лучи позднего послеполуденного солнца, словно через фильтр, проходили сквозь клубы нависших облаков, освещая вершины гор мрачным желтоватым светом. Некрашеный дощатый дом, лепившийся к склону холма, выглядел заброшенным и одиноким, как будто со страхом предчувствуя, что его старые доски будет снова хлестать холодный дождь.

Джерид Титер стоял на переднем крыльце и смотрел вниз на невспаханные поля долины, не замечая взволнованных голосов, которые доносились из дома. Он сошел с крыльца и направился к сараю с пустыми насестами для кур и молчаливыми стойлами, теперь тоже осиротевшими но все еще хранившими запах свежего навоза и парного молока. На секунду его внимание привлекла крыса, промелькнувшая на сеновале,—Джерид напряженно прислушался, словно ожидая, что понурое строение оживет и вновь наполнится звуками; потом повернулся и пошел назад к крыльцу. Оттуда ему был виден пикап, который медленно полз вдалеке по горной извилистой дороге. Он крикнул в дверь, затянутую сеткой:

— Клома, гости начинают съезжаться.

— Пойди-ка лучше покорми свиней. Когда все соберутся, будет некогда,— раздалось в ответ.

Он усмехнулся: «У нее тоже все перепуталось. Ведь прекрасно знает, что загон для свиней уже две недели как пуст».

Но на всякий случай, желая еще раз проверить себя, он снова спустился с крыльца и пошел к огороженному участку вытоптанной земли.

Джерид Титер родился в 1932 году в этом самом деревянном доме, окруженном 160 акрами западновиргинской земли, которая вот

© 1978, by Patrick D. Smith.

ПАТРИК ДЭВИС СМИТ — PATRICK DAVIS SMITH (род. в 1927 г.).

Американский прозаик, уроженец южного штата Миссисипи. Его первый роман «Река — дом родной» («The River is Home») появился в 1953 г. Известность П. Смиту принесла «флоридская» трилогия, в которую входят романы «Навеки остров» («Forever Island», 1973), «Аллапатта» («Allapattah», 1979), посвященные судьбе индейцев-семинолов, и предлагаемый вниманию читателей роман «Энджел-Сити, или Ангельский город» («Angel City». Florida, Valkyrie Press, Inc., 1978).

уже почти столетие носила название Титер-Ридж. Он единственный из трех сыновей не порвал с землей и остался в родных местах. Оба его брата покинули дом, когда им не было и двадцати: говорили, что один направился в Балтимор, а другой — в Чикаго. Домой они больше не вернулись. Отец Джерида умер в 1950 году, а спустя год не стало и матери, и Джерид оставался в доме один, до тех пор пока не женился на Кломе; ему в то время было двадцать три года, а ей шестнадцать. В этом же старом доме с промежутком в два года родились их дети: старшая дочь Кристи, которой теперь исполнилось шестнадцать, и младший сын Бенни. Сейчас Клома ждала третьего ребенка.

Джерид уже давно понял, что в конце концов с фермой придется расстаться, но еще несколько лет продолжал упрямо цепляться за землю; однако с каждым годом он все глубже увязал в долгах — ведь налоги, расходы на одежду, на продукты, бензин и содержание фермы непрерывно возрастали. Когда Джерид продал землю и старый, но еще крепкий дом, рассчитался с долгами, уплатил по закладной и всем остальным счетам, у него осталось на руках 600 долларов — все, что удалось собрать за долгие годы, полные труда и борьбы, окончившейся поражением, которое он с горечью вынужден был признать. С этими деньгами ему предстояло теперь как-то определиться и построить новую жизнь для себя и семьи. Он остановил свой выбор на Флориде.

Еще с полмесяца после того, как Джерид понял, что дальше тянуть нельзя, и подписал бумаги на продажу земли, он ничего не говорил своим близким. Они видели, что происходит что-то неладное, особенно когда отец продал корову, свиней и кур, а вслед за тем старый трактор. Однажды днем он уехал на своем грузовичке, а возвратился в фургончике «додж» выпуска 1960 года — машине, совсем ненужной в хозяйстве. В это мгновение Клома все поняла, но и она ничего не сказала детям.

Они узнали обо всем однажды за ужином, и новость ошеломила их. Кристи с Бенни за всю жизнь никуда не ездили дальше Чарльстона, мир для них ограничивался фермой, школой и церковью в близлежащем поселке Динк. Сначала было пролито много слез, потом дети впали в глубокое уныние, но в конце концов свыклись с мыслью об отъезде. Теперь они были очень возбуждены от того, что скоро своими глазами увидят места, о которых до сих пор только мечтали.

И вот наступил последний день пребывания Титеров на Титер-Ридж, вечером они ждали в гости друзей с соседних ферм, которые собирались приехать проститься.

Джерид вернулся домой и прошел в спальню, Клома укладывала последние вещи. Она с надеждой взглянула на него и сказала:

— Джей, а кровать... давай возьмем хоть кровать?

Он ждал этого вопроса и боялся его. Он знал, как дорога жене старая медная кровать. Джерид подарил ее Кломе на свадьбу, здесь были зачаты и родились Кристи, и Бенни, и ребенок, которого теперь ждала Клома; кровать напоминала ей о часах любви, проведенных с Джеридом. Клома думала родить там и третьего малыша. Джерид отвел глаза и мягко сказал:

— Нет, Клома, очень жаль, но нельзя. В машине нет места. Как только устроимся, я куплю тебе точно такую же.

— Она будет уже не такая,— проговорила Клома,— ты сам знаешь.

— Мне очень жаль,— повторил он, повернулся и снова пошел на крыльцо.

С крыльца он видел, как пикап со стоном преодолел последние метры дороги и свернул во двор. Из машины вышли отец и мать Кломы и направились к дому. Отец был высокий и худощавый, как Дже-

рид, но волосы у него совсем побелели, а кожу под глазами покрывала густая сетка морщин, образовавшихся за долгие годы труда под открытым солнцем, когда он, прищурившись, шел за плугом. Лицо тещи тоже бороздили морщины, она была полной и шла переваливаясь с боку на бок.

Джерид протянул руку.

— Здравствуйте, заходите.

Мать Кломы ласково с ним поздоровалась и вошла в дом. Тесть пожал ему руку и остался на крыльце. Он сказал:

— Мы приехали чуток раньше, чтоб отдать тебе деньги. Это вам на дорогу.

Джерид увидел, как старик вытаскивает деньги из кармана пиджака. Он быстро сказал:

— Нет-нет. Большое спасибо, но деньги мне не нужны. У нас есть. Все равно мы очень вам благодарны.

— Бери,— настаивал старик.— Здесь всего пятьдесят долларов. Мы приготовили их вам на рождение малыша.

— Нет,— твердо отказался Джерид,— они вам нужнее.

Старик почувствовал, что уговаривать бесполезно, и положил деньги обратно в карман: он понимал, что Джериду нужна помощь, но также хорошо знал, что такое гордость жителя гор.

— Ну ладно, если будет тяжело, напиши. Мы не богаты, но с удовольствием поделимся тем, что у нас есть.

— Я всегда буду помнить вашу доброту,— ответил Джерид, стремясь перевести разговор на другую тему.— Чувствуете, гроза надвигается? — заметил он.

— Да, я ждал ее всю дорогу, когда поднимался к вам в горы. Вот это будет гроза, да еще какая. Бьюсь об заклад.

Тут во двор въехали еще два пикапа и старый легковой «шевроле»-универсал. За ним следом подкатили два грузовика. Машины подъезжали, из них выходили люди и поднимались на крыльцо, где их встречал Джерид. Женщины шли в дом, чтобы вручить Кломе немудреные подарки — самодельные фартуки, варежки-держалки для горячих кастрюль, детскую одежду.

Мужчины оставались с Джеридом на крыльце, а подростки и дети гонялись друг за дружкой по дому и по двору. Гости оживленно беседовали.

— Конечно, жаль, что ты нас покидаешь, Джерид. Может, еще останешься и как-нибудь выкрутишься?

— Да нет. Теперь уж невозможно,— отвечал Джерид.— Это раньше были такие времена, когда фермер мог прокормить семью да еще оставить кое-что на муку, соль и башмаки. А нынче все пошло по-другому. Теперь налоги, машины, бензин и товары из магазина съедают в десять раз больше того, что дает фермеру земля. Продажа яиц и молока приносит гроши, если сравнить с тем, во что обходится корм для кур и скота. В наших местах бедняку уже не свести концы с концами.

— Что верно, то верно,— согласился один из мужчин.— Иной раз так и кажется, скоро начнем есть отруби, которые даем свиньям. Они-то всегда могут порыться в лесу и найти змей или там желуди, а человек — он ведь так не может.

— Не знаю, что будет дальше, если ничего не изменится,— сказал другой.

— А далеко на юг ты собрался, Джей? — спросил один из гостей.

— Уж дальше некуда — во Флориду.

— А помнишь, в прошлом году старый Джим Бигли — ему тоже пришлось все распродать и уехать,— так он подался в Джексонвилл. Прислал письмо, пишет, что нашел место на верфи. Может, и тебе там остановиться и устроиться работать вместе со стариной Джимом?

— Нет,— сказал Джей.— В Джексонвилле я останавливаться не стану. Раз решил ехать во Флориду, так лучше жить там, где всюду

растут пальмы и апельсиновые деревья. А Джексонвилл — это все равно что Джорджия. Поеду на самый-самый юг, за Майами, до Хомстеда. Я по карте разыскал.

— Далековато. А все же, может, мы соберемся да и нагрянем к тебе на рождество. Я слышал, во Флориде зимой на пляже есть на что посмотреть.

Один фермер засмеялся:

— Наверно, потому старик Джей и хочет туда махнуть. Будет сидеть целый день на пляже и пялить глаза на полуголых девиц. Я в кино видал такие пляжи.

— Ладно, всех приглашаю приехать и провести с нами рождество, если надумаете. Мы к тому времени обоснуемся и будем вам рады. Оставим женщин в доме, а сами махнем на пляж.

— Ну, ты пока об этом помалкивай,— сказал еще один из мужчин.— Вон по двору идет проповедник Уилл вместе с женушкой. Уж он-то не захочет болтать о девицах, которые бегают голые по пляжу.

— Ну, не скажи,— заметил, рассмеявшись, другой фермер,— особливо ежели на пляже будет что поесть.

Кристи и Джефф Биллингс отделились от подростков, шумевших во дворе, и пошли к забору, окружавшему опустевший теперь загон для свиней. Кристи, родившаяся годом раньше Джеффа, была ему «обещана» после того, как он вырезал ножом ДЖЕФФ+КРИСТИ на «дереве обетов» рядом со школой в Динке. На старом пекане были десятки таких надписей. Некоторые из тех, кто оставлял там свои имена, позже соединялись навеки, а многие расставались, выбирая разные пути.

Джефф ухаживал за Кристи, как это было принято у них в горах: подкидывал записочки на уроках, носил после школы ее книги, сидел рядом в церкви; по воскресеньям они долго гуляли вместе, а во время танцев, которые устраивались в сарае субботними вечерами, незаметно исчезали, чтобы подержаться за руки и отважиться на поцелуй, дурманивший потом обоим голову.

Кристи печалилась, что уезжает и оставляет Джеффа, но она была еще очень молода, полна жизни и не могла целиком отдаться грусти. А Джефф искренне страдал, но делал вид, что отъезд Кристи его ничуть не волнует. В этот последний вечер им обоим так хотелось отбросить напускное равнодушие и открыться друг другу, но законы гор, призывающие к сдержанности, брали верх над их чувствами.

Наконец Джефф нарушил молчание:

— Мне, к примеру, совсем бы не хотелось ехать во Флориду. По мне хороши и здешние горы.

Кристи немного помолчала.

— А ты видел когда-нибудь апельсиновые деревья?

— Не видел и не хочу,— обиженно ответил Джефф.

Они снова замолчали.

— Джефф, мне совсем не хочется отсюда никуда уезжать,— через некоторое время сказала Кристи.— Я очень долго плакала, но больше не буду. И апельсиновые деревья мне тоже безразличны. Знаешь, мне больше всего на свете хотелось бы иметь когда-нибудь такой вот старый дом в горах, садик, чтоб можно было что-то выращивать, печку, чтоб готовить еду, такую же кровать, как у мамы, и детей... много-много детей... твоих детей, Джефф... вот чего мне больше всего хотелось бы...

Ее лицо пылало, и Джефф почувствовал аромат ее горячего тела, когда она слегка коснулась его щекой. Она взяла его руку в свои.

— Я буду скучать по тебе и по нашим горам, Джефф, но больше всего по тебе.

Ее слова прошелестели ласковым горным ветерком. Ему хотелось обнять девушку и прижать к себе навсегда, но он поборол свои чувства.

— Когда приедешь во Флориду, напишешь? Я буду тебе отвечать, а потом кончатся занятия в школе, весенняя пахота и, может, я приеду к тебе.

— Я тебе сразу напишу,— пообещала Кристи.— И ты сразу мне ответь, слышишь?

Они помолчали.

— У меня есть для тебя подарок. Пойду принесу его из грузовика, а заодно захвачу и фонарик.

Теперь уже стояла такая тьма, что Кристи не могла проследить взглядом за Джеффом, когда тот повернулся и побежал в сторону дома к грузовику. Ее взволновала мысль о предстоящем подарке, и она терялась в догадках, не зная, что бы это могло быть. Через мгновение Джефф вернулся.

— Спорим, ни за что не догадаешься.

— Джефф, ну, покажи! — торопила его Кристи.— У нас и так мало времени. Скоро позовут ужинать.

Джефф осветил фонариком ярко раскрашенную тряпичную куклу.

— Я знаю, что ты уже не играешь в куклы,— сказал он,— но моя мать делает их лучше всех в горах, и я попросил ее смастерить одну для тебя. Помнишь, тебе было шесть лет, и мы играли внизу у Пантер-Крик. Ты разозлилась и бросила свою куклу в ручей, а потом ревела, когда ее понесло по течению и она исчезла за поворотом. Вот я и решил подарить тебе такую же, возьми ее с собой на память о наших горах.

Кристи взяла куклу и прижала к груди.

— Я не думала, что ты запомнил тот случай: ведь это было давно,— сказала она.— Твоя кукла мне очень нравится. Я сохраню ее на всю жизнь.

— Это, конечно, пустяк,— сказал Джефф, довольный тем, что подарок понравился,— но ее сделала моя мать, и мне хочется, чтобы она была у тебя. Мать тоже очень этого хотела.

— Может, выключишь теперь фонарик? — спросила Кристи.

— Сейчас. Мне просто хотелось, чтоб ты рассмотрела куклу.

Лишь только погас свет, Джефф почувствовал, как Кристи прижалась к нему. И голова у него отчаянно закружилась.

У проповедника Уилла — единственного из всех гостей — было жирное лицо и огромный живот. Его черный шерстяной костюм выделялся на фоне выгоревших комбинезонов, бумажных брюк и курток из плотной ткани. Несколько минут он жадно разглядывал стол, заставленный жареными курами, бёлками, ветчиной, олениной, пирогами, сладким картофелем и простым кукурузным хлебом. Казалось, он еле удерживался от соблазна взять что-нибудь со стола. Наконец он громко сказал:

— Прошу внимания!

Мужчины с крыльца вошли в дом, а женщины замолчали. Тогда Уилл обратился к собравшимся:

— Пусть молодежь побудет пока во дворе. Сначала должны подкрепиться взрослые, но прежде чем мы приступим к этой чудесной еде, которую приготовили женщины, воздадим хвалу господу богу. И по-моему, некоторым из вас, грешников тоже не мешало бы получить божье благословение, прежде чем вы окунете нос в кувшины с бурбоном [1], которые, я знаю, припасены в ваших грузовиках. Так что склоните головы и прекратите смешки, пока господь бог не наслал

[1] Бурбон — кукурузное виски.

на вас гром и молнию.— Как только все снова стихли, проповедник продолжал: — Господь бог, благослови нашу пищу в этот торжественный день, но еще большего благословения ждет от тебя семья Джея Титера, поскольку они оставляют нас в поисках новой жизни в чужих местах. Не покидай их, господи, на новом пути, проследи, чтобы они нашли такой дом, какого заслуживают все дети господни. Они — хорошие люди, господи, нам всем их будет недоставать, и мы просим тебя: не оставляй их без твоего попечения и помоги найти счастье, которого они ищут. Благослови нас всех, господи, и присмотри за этими горами и за всеми детьми божьими. Аминь, и давайте приступать к трапезе.

Джерид быстро проговорил:

— Спасибо, брат Уилл. Мы запомним твои слова. Но пока мы не сели за стол, я тоже хочу кое-что сказать. Утром мы отсюда уедем, но ничего не возьмем из этого дома. В фургоне нет больше места. Поэтому я хочу, чтоб вы завтра сюда пришли и взяли каждый кому что нравится. Мы все оставляем.

Один из гостей сказал:

— Это неправильно, Джей. Мы могли бы продать твои вещи, а деньги выслать тебе. Я бы сам кое-что у тебя купил.

— Я ничего не собираюсь продавать,— твердо сказал Джей.— Вы все знаете, что этот дом построил мой отец еще в конце прошлого века, и почти все, что вы сейчас видите, стоит тут с тех пор. Я ничего не собираюсь продавать и не успокоюсь, пока не узнаю, что все наше добро в руках у друзей.

Тут Клома выступила вперед и сказала:

— Только не берите кровать, если кто придет сюда раньше моего отца. Папа обещал перевезти ее к себе, а потом, когда мы устроимся, переслать нам. Поэтому забирайте все, кроме кровати.

У Джерида при этих словах отлегло от сердца: он обрадовался, что кровать останется в целости и сохранности у отца Кломы.

— Я не буду запирать дом, так что приходите и берите все, что тут есть. Если вы какую-нибудь вещь оставите, она все равно пропадет или достанется агенту по продаже земли, поэтому забирайте все. Ну, теперь давайте поедим, а потом под скрипку немного подвигаем ногами, прежде чем разойтись...

Второй раз приглашать к столу не потребовалось, но раньше всех очутился там проповедник Уилл.

Джерид стоял на крыльце и смотрел, как за поворотом далеко внизу исчезли фары последнего грузовика. Он понимал, что надолго, а может быть и навсегда, прощается со своими друзьями. Он повернулся и вошел в дом.

— Пойди-ка поищи Скипа,— сказал Джерид Бенни,— и проследи, чтоб он больше не убегал. Мы должны выехать до рассвета, искать собаку уже будет некогда.

— Хорошо, папа,— ответил Бенни и направился к двери.

А Джерид, взяв керосиновый фонарь с кухонной полки, зажег его и сказал Кломе:

— Я скоро приду.

Она поняла, куда он собрался.

— Хочешь, я пойду с тобой?

— Нет, не надо. Зачем тебе выходить в ночь и темень? Я пойду один.

Он спустился по ступенькам черного крыльца и пошел через двор. Пятно оранжевого света начало удаляться от дома. Он быстро шел по узкой тропинке, которая вела на север от сарая и дальше вдоль края хребта. Скоро он вошел в густую чащу пеканов. Мигающий свет выхватил два гранитных надгробия на маленькой поляне, окружен-

ной поржавевшей чугунной оградой. Джерид отворил калитку и вошел.

Он поставил фонарь на землю и опустился на колени. Стеклянная вазочка с выгоревшими пластиковыми цветами стояла между двумя надгробиями. Джерид вспомнил, как он брал лопату и своими руками рыл эти две могилы, где теперь лежали отец и мать. Он всегда думал, что когда-нибудь и его похоронят рядом на том же кусочке земли, но теперь, казалось, этому свершиться не суждено, и ему стало страшно.

Он думал о своей жизни в горах, о том, как глубоко он врос в западновиргинскую землю, а теперь, когда столько прожито, корни приходится обрубать. Эта мысль была нестерпима и разрывала сердце на части. Целыми днями его одолевали сомнения и беспокойство, страх перед неясным будущим, необходимостью оставить все, что ему знакомо, но он как мог скрывал свои чувства от близких. Ему не хотелось, чтобы Клома и дети видели, как он страдает, ибо для них он должен был оставаться олицетворением силы.

Наконец мысли его потекли в другом направлении, и он заговорил вслух:

— Простите меня, отец... и мама... Я старался изо всех сил, но этого оказалось мало. Я ничего не мог поделать... Мне очень не хочется уезжать и оставлять вас одних, я никогда и не думал, что такое может случиться. Но я больше ничего не могу поделать. Я постарался устроить так, чтобы никто не прошел с плугом и топором по этой роще и не потревожил вас. Это записано в бумаге на продажу земли, вы не беспокойтесь. Может, когда-нибудь мы вернем эту землю и опять поселимся рядом с вами. Я обещаю сделать все, что в моих силах, я буду стараться, но теперь нам надо уезжать... Да пребудет всевышний с вами... отец и мама... да пребудет всевышний с вами. Спите спокойно.

Он быстро поднялся и пошел обратно по тропинке, не оглядываясь на оставшуюся за спиной темную рощу пекановых деревьев.

Когда он подошел к дому, все было погружено в темноту, лишь сквозь ставень на окне в его с Кломой спальне проникал слабый свет. Резкие раскаты грома надвигались с запада, предвещая грозу. Блестящие пальцы молнии стремительно опустились вниз и исчезли в темных контурах далеких горных хребтов. Следующая молния сверкнула совсем близко; Джерид тихонько открыл заднюю дверь и прошел в спальню.

Клома уже спала, и он, стараясь не шуметь, принялся снимать одежду. Он взглянул на ее спутанные светлые волосы и подивился, насколько Кристи похожа на нее. Те же волосы, тот же точеный нос, правильно вылепленные скулы, тонко очерченный рот. Бенни был совсем другой: такие же, как у Джерида, черные волосы, круглое лицо и высокая худощавая фигура жителя гор. Несмотря на свой рост, Бенни все еще казался мальчиком, а Кристи — как и большинство девушек ее возраста, выросших в горах,— выглядела вполне сформировавшейся молодой женщиной, дитя гор, женщина-ребенок. Джерид частенько повторял, что им с Кломой дано было каждому создать по ребенку сообразно своему образу и подобию. Когда Клома снова забеременела, Джерид стал ее поддразнивать, говоря, что теперь у них будет рыжий мальчишка, похожий на них обоих.

— Это ты, Джей? — вдруг сонным голосом, приподнявшись, спросила Клома.— Ребята с ног свалились от волнений и пошли спать, как только Бенни поймал Скипа и притащил в дом. Надеюсь, они не очень были тебе нужны?

— Нет, все уже сделано. И хорошо, что пошли спать. Нам ехать далеко.

Он выключил свет и, скользнув под одеяло, положил руку на ее разбухший живот. Ему казалось, будто любая мелочь, которую он делал, напоминала о чем-то прошлом. И сейчас, погруженный в тем-

ноту, он подумал о том, как гордился несколько лет назад, когда наконец подвел электричество к дому. Тогда они не спали полночи, только и делали, что включали и выключали свет, радуясь, словно дети, получившие рождественским утром новые игрушки.

Клома ближе подвинулась к Джериду.

— Мне страшно, Джей. Наверно, я не должна бояться, но мне страшно.

— Чего ты боишься, грозы? — спросил он.

— Нет, не грозы. Я боюсь того, что ждет нас всех впереди.

— Не волнуйся,— ободряюще сказал Джерид, поглаживая ее живот.— Все будет хорошо... Я тебе обещаю. Бог нас не оставит. Сейчас я больше всего беспокоюсь за тебя и за мальчугана, которого ты носишь. Ты в состоянии хоть ехать-то? А то мы могли бы остаться здесь и пожить у соседей, пока ты не родишь.

— Я чувствую себя прекрасно, и лучше ехать сейчас. Тогда к рождению малыша мы уже где-нибудь обоснуемся. Легче сейчас, чем потом.

— Ну хорошо. Значит, едем, как и решили. Но если ты по дороге плохо себя почувствуешь, не надо скрывать от меня. Мы где-нибудь остановимся и переждем, пока тебе не станет лучше.

Клома не ответила, и Джерид почувствовал, что она снова заснула. Он нежно прижал ее к себе и тихонько сказал:

— Не надо беспокоиться, Клома. У нас все будет хорошо. Вот увидишь.

Несколько минут Джерид прислушивался к звукам надвигавшейся грозы. Он знал, что скоро дождь со всей силой хлынет на его землю. Он забеспокоился было о свиньях, курах и о корове, потом вспомнил, что их больше нет. Внезапно Джерид сел, будто разряд молнии прошел сквозь крышу и проник в его тело. Пот выступил на лбу, волна холодного страха перед будущим захлестнула его. Он попытался успокоить себя, но вспышки молнии и нараставшие раскаты грома только усугубляли его предчувствия. Когда он лег и стал натягивать на себя одеяло, руки у него тряслись.

— В чем дело, Джей? — проснувшись, спросила Клома.— Ты прыгаешь на кровати, как молодой жеребенок.

— Спи. Это гроза. Похоже, что молния ударила где-то рядом. Прости, что я опять тебя разбудил, спи.

И он снова ее обнял, на этот раз тщетно пытаясь не думать о бушевавшей грозе и о затаившемся призраке несчастья, которое он теперь ощущал каждой частицей своего тела.

2

Капот старого «доджа», казалось, покрывала испарина, когда машина, пыхтя, неуверенно ползла по шоссе № 27, оставляя за собой ряды высоких араукарий с одной стороны и открытое поле — с другой. Полуденное флоридское солнце посылало на землю волны жара, струившегося над потрескавшимся асфальтом. Внезапно машина вздрогнула и злобно выбросила шипящее облачко пара. Под стук и скрежет клапанов фургон медленно съехал на обочину и остановился рядом с осушительным каналом вдоль правой стороны шоссе.

Джерид вышел из машины и поднял капот. Когда он отвернул пробку радиатора, на него брызнул фонтан кипящей воды. Едва успев отскочить, он потряс обожженной рукой и пробормотал: «Вот это да!»

Посмотрев еще раз на шипящий радиатор, он подошел к дверце фургона.

— Пока не остынет,— сказал он,— нельзя добавлять туда воды. Так что у нас есть время поесть.

Клома с трудом протиснулась в правую дверцу машины. Ее живот, казалось, стал еще больше. За ней вышли Кристи и Бенни.

Клома неуверенно села на землю и расстелила перед собой газету. Из бумажного пакета достала четыре банки сосисок, пачку крекеров и четыре бутылки кока-колы, горячие от жары. Они сидели в белой известняковой пыли и молча ели.

Джерид посмотрел на осушительный канал, на поле, которое простиралось вплоть до самой линии горизонта. Вдали работала дождевальная установка, выбрасывая высоко в воздух гигантские простыни воды, группа людей шла за грузовиком, открытая платформа которого была уставлена решетчатыми ящиками. Джерид положил в рот сосиску и сказал:

— В жизни не видал такого поля. Похоже, что оно величиной с целый мир, правда?

Клома посмотрела в сторону поля, но ничего не сказала.

— Пап, можно я выпущу Скипа из машины? — спросил Бенни.— Ему, наверно, давно уже хочется.

— Нет, не надо. Еще выбежит на шоссе и попадет под машину. Пусть лучше сидит в фургоне, пока не приедем.

— А сколько нам еще ехать? — спросила Кристи.

— Теперь недолго уже. Мы почти в Хомстеде. Еще чуток осталось. И тогда отдохнем.

— Я хочу посмотреть на океан,— сказал Бенни с волнением в голосе.— Ты говорил, как только въедем во Флориду, сразу увидим океан, а его все нет и нет.

— Он вон там, на востоке,— сказал Джерид.— Не волнуйся, скоро увидишь.

— А рыбу будем ловить? — снова спросил Бенни.

— Обязательно. А потом, может, и свою лодку заведем.

— Не буду я ловить эту вонючую рыбу,— сказала Кристи, надув губы.— Я хочу купальный костюм. Красный лифчик и трусики, как в журналах.

— Ты бы лучше выбросила из головы всю эту дурь и подумала о том, где мы сегодня ночевать будем,— устало сказала Клома, собирая пустые консервные банки.

— Ты как себя чувствуешь, Клома? — спросил Джерид.

— Хорошо.

— Правда, хорошо?

— Ну, конечно, Джей, очень даже хорошо! — настойчиво повторила она.

— Если тебе снова станет худо, поищем какой-нибудь мотель.

— Это нам не по карману,— твердо возразила Клома.— И потом, я же сказала, что чувствую себя прекрасно. А то, что было раньше,— это просто из-за расстройства желудка.

Джерид пошел к фургону, взял ведро, зачерпнул из канала воды и понес к машине. Клома собрала газеты, пустые бутылки и сложила их в пакет.

Джерид крутанул рукоятку двигателя, все снова забрались в машину, и фургон, медленно въехав на шоссе, направился на юг.

Вместо предполагавшихся четырех-пяти дней семья Титеров находилась в дороге уже почти две недели. В то раннее утро, выезжая с фермы, они промерзли и вымокли под холодным ураганным ливнем. Скип ухитрился выскочить из фургона и пропал в темноте. Бенни гонялся за ним битых полчаса, пока не загнал в сарай и оттуда уже притащил обратно в фургон.

Несчастья неотступно следовали за ними. Когда Джерид обменял свой грузовичок на этот фургон марки «додж», он положился на слова торговца, заверившего его, что машина в исправности. Но не успели они выехать из Западной Виргинии, как отказал водяной насос, и его пришлось заменять, на что ушла большая часть дня. В Северной

Каролине сначала вышел из строя палец кардана, а на следующий день полетели две покрышки. В маленьком городке на севере Джорджии они провели три дня, ожидая, пока из Атланты пришлют новый аккумулятор, на самом же деле он все это время лежал на полке в углу гаража — просто с них хотели содрать побольше, чтобы помимо стоимости аккумулятора взыскать еще и за так называемую «пересылку». Одну ночь они провели в мотеле, а все остальное время спали в фургоне. Затем наступила очередь проводов зажигания, и, наконец, по мере того как они все дальше продвигались на юг к теплу, стал барахлить радиатор. Это вынудило их ехать по шоссе с меньшей скоростью, чем разрешалось. Севернее Джексонвилла Джерида арестовали и оштрафовали на тридцать пять долларов за неисправные тормозные огни. Явка в суд и починка заняли еще день. Придорожные гаражи и непредвиденные задержки истощали и без того скудные средства Титеров. Не желая больше подвергаться штрафам на магистральных шоссе, где было полно полиции, Джерид свернул в глубь материка и поехал по менее загруженным дорогам штата к озеру Окичоби, а оттуда к Хомстеду.

Все это не приглушало восторженного настроения детей, но беспокойство Джерида и Кломы росло. Для ребят поездка превратилась в увлекательное путешествие, для родителей же она была концом всего, что было им знакомо и дорого.

С каждой милей настроение Джерида резко менялось. То он был полон оптимизма и уверенности, то впадал в глубокое отчаяние. Он старался сохранять бодрый, уверенный вид, но Клома знала, что его мучили сомнения.

Кристи с Бенни смотрели из окна задней дверцы фургона на окраины Хомстеда. Дети сидели, словно зачарованные, с тех пор как въехали в царство цитрусовых, начавшееся севернее озера Окичоби. Простиравшиеся на многие мили плантации апельсиновых деревьев, гнувшихся под тяжестью золотистых плодов, напоминали им рождественский праздник: ведь они видели апельсины лишь утром в рождество под скудно украшенной елкой.

По обеим сторонам шоссе сейчас тянулись овощные поля, перемежавшиеся рощами авокадо, папай, манго, лаймов[1] и разными экзотическими растениями, которых они раньше никогда не видели. Дороги, уходившие в сторону от шоссе, были обсажены высокими араукариями, величавыми королевскими и низкими, кряжистыми капустными пальмами. Почти на каждом перекрестке с лотков продавали самые разнообразные овощи и фрукты.

Джерид внезапно повернулся к Кломе и сказал, будто сделал неожиданное открытие:

— Вот что мы заведем, Клома! Лоток у дороги, и будем продавать фрукты и овощи. Сразу, как только скопим денег. С таким лотком можно хорошо заработать, и стоит он недорого.

Клома немного подумала.

— Это будет действительно здорово! — восторженно воскликнула она.— К тому же мы могли бы кое-что мастерить и тут же продавать. У тебя всегда получались плетеные стулья, а у Кристи — хорошенькие держалки для горячих кастрюль и сковородок. Бенни мог бы делать полочки и вырезать маленьких смешных зверюшек, а я бы шила фартуки и кофточки и делала, знаешь, такие красные с желтым шапочки от солнца, некоторым они очень нравятся. А если позади лотка у нас будет небольшой кусочек земли, мы сможем выращивать овощи.

---

[1] Лайм — тропическое дерево с мелкими, зеленовато желтыми, кислыми плодами, похожими на лимон.

Джерида обрадовало то, что она согласилась с ним. Впервые за эти недели он весело улыбнулся и взволнованно проговорил:

— Обязательно так и сделаем! Прямо сразу же!

Оба ряда шоссе были теперь забиты огромными грузовиками, машинами и пикапами, которые, казалось, отчаянно стремились побыстрее добраться до какой-то далекой цели. Вести машину Джериду становилось все труднее, езда требовала от него предельного внимания. Он лишь молил бога, чтобы вода в радиаторе не закипела и не пришлось снова съезжать на обочину.

Шоссе № 27 при въезде в Хомстед становилось главной улицей, ведущей через деловую часть города, и Джерид почувствовал огромное облегчение, когда наконец въехал в город, куда они так стремились и добрались, пережив столько трудностей. Остановившись перед первым светофором, он вздохнул. Но облегчение от того, что эта длинная поездка, слава богу, кончилась, тут же сменилось растерянностью человека, попавшего в незнакомое место и не знающего, что ему дальше делать. Он поехал еще медленнее, задерживая движение и вынуждая нетерпеливых водителей позади сигналить и сердито жестикулировать. Джерид с Кломой и дети широко открытыми глазами смотрели на кварталы магазинов, ресторанов, баров, супермаркетов, совершенно непохожих на то, что они привыкли видеть в сельской Западной Виргинии.

В южной части города они оказались в районе огромных складов, куда свозили овощи, прежде чем отправить на рынки в другие концы страны. Джерид не успел даже их рассмотреть — так быстро они миновали Хомстед и очутились во Флорида-Сити. В конце концов он съехал на обочину и остановился.

Они молча сидели в машине — все вдруг почувствовали страшную усталость.

— Мне надо в туалет, папа,— сказал наконец Бенни,— и Скип вот-вот лопнет.

Маленький, черный с белым песик, тяжело дыша, жался к стенке фургона.

— Не надо было брать его с собой,— сказала Клома.— Мы могли кому-нибудь оставить Скипа. При такой поездке он только помеха.

— Ну что ты, Клома. Ты же знаешь, дети не могли его бросить,— сказал Джерид.— И потом, Скип совсем не мешает.

Бенни обнял собаку и сказал:

— Я сам о нем позабочусь, мама. Не беспокойся.

— Я сейчас найду колонку и заправлюсь, а вы пока сходите в туалет,— сказал Джерид, снова включая мотор.

Он подъехал к автостанции на следующем углу. Бенни завел Скипа за дом, а мать с Кристи пошли в туалет.

Служащий на колонке, включая счетчик бензина, спросил:

— Вы что, туристы?

— Нет,— ответил Джерид.— Мы ищем работу.

— На уборке?

— Да все равно где,— проговорил Джерид,— лишь бы честно трудиться.

— Работу в поле сейчас получить трудновато, а другой здесь нет,— сказал парень, оглядывая худощавую фигуру Джерида и его выгоревший комбинезон.— Здесь полно своих сезонных рабочих, да еще эти кубинцы и такие, как вы, едут отовсюду — из Северной и Южной Каролины, Западной Виргинии, из Джорджии и Алабамы, со всей страны. Я раньше ничего похожего не видел.

— Ты что же, хочешь сказать, что работы нет? — дрогнувшим голосом спросил Джерид.

— Кое-какая есть, но ее надо поискать. И вам будет без опыта

трудновато. Вон там на углу каждое утро на рассвете выстраивается очередь.

— Это как? — спросил Джерид.

— Да вот так. Собираются люди, которые хотят получить работу в поле, и подрядчики нанимают того, кто им нужен. Если хотите попробовать, приезжайте пораньше, до рассвета. Там всегда народу больше, чем мест.

— Приеду,— сказал Джерид.

Парень отвернулся от него и засмотрелся на Кристи, которая, выйдя из туалета, возвращалась теперь к фургону. Он внимательно следил за каждым ее движением, скользнул взглядом по налитой груди и полным бедрам, потом спросил:

— Твоя девчонка?

— Это моя дочь — Кристи.

— Сколько ей лет?

— Шестнадцать. Очень хорошая девочка,— с гордостью сказал Джерид.

Парень еще раз смерил Кристи взглядом и сказал:

— По виду можно дать и двадцать. Она-то запросто найдет работу.

— Это почему же? — полюбопытствовал Джерид.

— Она умеет танцевать?

— У нас в горах вечером по субботам бывают танцы. У нее это неплохо получается.

— Да нет, я не про такие танцы, про завлекательные,— сказал парень.— Она могла бы получить работу в одном из баров, там хорошо платят, и прокормила б вас, пока не устроитесь.

— А что это за танцы? — спросил Джерид.

Парень с любопытством посмотрел на него.

— Ты что, не знаешь? Девчонки танцуют выше талии голые. Твоя так сложена, могла бы еще выбрать, в какое заведение пойти.

Внезапная ярость закипела в груди Джерида.

— Сколько я тебе должен, парень?

— Ровно восемь долларов. Масло проверить?

— Ничего мне от тебя больше не нужно! — огрызнулся Джерид. Когда он отдавал деньги, руки его дрожали. Он вскочил в фургон и дал полный газ, так что асфальт взвизгнул под покрышками.

— В чем дело, Джей? Что-нибудь случилось на колонке? — удивленно спросила Клома.

— Нет, ничего,— ответил Джерид, стараясь, чтобы голос звучал ровно.— Уже поздно, а нам надо еще найти, где бы заночевать.

Джерид снова повернул на восток и медленно повел машину по узкой боковой улочке. Прошло еще несколько минут, прежде чем ему удалось отогнать от себя образ полуобнаженной Кристи, танцующей в баре. Он чуть было не ударил этого парня на колонке и радовался, что сумел сдержаться и уехал. Сейчас ему не хватало только неприятностей.

Вскоре они подъехали к небольшому парку с качелями, скамейками и крытой площадкой для пикников, возле которой находился сложенный из кирпичей очаг. В парке никого не было. Джерид въехал в него и остановился возле навеса.

— Лучшего места нам не найти. У нас с Бенни будет крыша над головой, а ты с Кристи можешь оставаться в фургоне.

— Пап, можно я выпущу Скипа? — спросил Бенни.

— Лучше привяжи его к переднему бамперу. Тут, наверное, есть кролики, и я не хочу потом гоняться за ним по всей Южной Флориде.

Джерид вытащил из фургона две свернутые постели и положил под навес. Повернувшись к Кломе, он спросил:

— У нас что-нибудь осталось поесть?

Клома, устроившись на скамейке, сказала:

— Еще с полдюжины банок с сосисками, хлеб и банка персиков.

— Сегодня на вечер хватит,— сказал Джерид.— А завтра я что-нибудь куплю.

Бенни, обежав вокруг фургона, возбужденно сказал:

— Пап, там растут какие-то странные деревья! И на них настоящие бананы. Хочешь, я сорву на ужин?

— Нет. Лучше не надо. Они, наверное, кому-нибудь принадлежат. Пойди-ка лучше поищи сухих веток. Потом мы разведем огонь.

Из фургона вышла Кристи.

— Пап, меня кто-то всю искусал. И чешется страшно.

Джерид ударил себя по лицу и руке.

— Мошкара! Бог ты мой, здесь все так и кишит мошкарой. Сейчас только не хватает, чтобы они нас заживо сожрали. Может, дым ее разгонит.

Бенни, убивая мелких мошек на голых руках, сказал:

— Я сбегаю за ветками. Сейчас мы дадим жару этим гадам.

Солнце как раз начало садиться, когда мимо парка проехала патрульная машина полиции. Из машины полицейский заметил западновиргинский номер на фургоне и постели, разложенные под навесом. Он развернулся и встал рядом с фургоном.

— Вы что тут, готовите?

— Нет,— ответил Джерид, вставая со скамьи,— мы уже поели. Просто хотим дымом отогнать мошкару.

Полицейский был молодой парень лет тридцати. Он посмотрел на фургон, затем на Джерида.

— Вижу, вы из Западной Виргинии. Далековато. Хотите отдохнуть?

— Нет, мы насовсем,— ответил Джерид.— Мы только днем сюда приехали, а завтра я начну искать работу.

— Да-а,— сказал полицейский неуверенно,— поесть и отдохнуть вы можете, а вот ночевать здесь нельзя. Располагаться на ночь в городских парках запрещено законом. До наступления темноты вам придется уехать.

Джерид не понял и спросил:

— А разве этот парк не для всех?

— Для всех,— ответил полицейский.

— У нас дома, в Западной Виргинии, каждый, кто захочет, может в парке устроить кемпинг, если только не будет никого беспокоить. Мы ведь ничего плохого не делаем.

— Очень сожалею,— сказал полицейский, заметив, что женщина беременна.— Нарушение закона, ничего не могу поделать. Почему бы вам не переночевать в мотеле или в меблированных комнатах?

— Дело в том,— сказал Джерид,— что нам сейчас это не по карману. В дороге мы сильно поистратились, и сейчас приходится экономить на всем.

— Тогда поезжайте в Армию спасения [1],— сказал полицейский.

— В Армию спасения? — переспросил Джерид.— Мы — с гор, и у нас никто подачками не живет.

Из-за женщины и детей полицейский старался сохранять терпение. Выгонять ночью кочующих переселенцев из парка было для него делом привычным.

— Армия спасения на то и существует, чтоб помогать таким, как вы. У них там большой пустырь, обсаженный деревьями, где можно поставить фургон и расположиться. Какая же тут подачка?

— Наверное, придется поехать,— сказал Джерид.— Где-то надо устроиться на ночь, а завтра, как только найду работу, сразу поеду

[1] Армия спасения — религиозно-благотворительная организация.

искать меблированные комнаты, поживем там, пока не обзаведемся домом. Не будем нарушать закон. Мы люди мирные. Просто хотим здесь обосноваться.

Полицейский почувствовал облегчение.

— Ну, так проедете прямо один квартал, затем свернете налево и через четыре квартала на углу увидите большой белый двухэтажный деревянный дом. Это и есть Армия спасения.

Как только патрульная машина уехала, Джерид свернул постели и положил их в фургон. Бенни отвязал Скипа и завел его внутрь, и они медленно поехали по улице. Джерид без всякого труда нашел дом и поставил фургон под огромным дубом. Затем он вышел из машины и направился к дому.

С качалки на крыльце встал мужчина и пошел ему навстречу. Он внимательно оглядел Джерида и спросил:

— Чем могу служить?

Джерид без особого желания приехал сюда и втайне радовался, что его друзья в Западной Виргинии никогда не узнают о том, что ему пришлось обратиться в Армию спасения. Он нехотя произнес:

— Нам бы только поставить фургон и переночевать. Нас сюда послал полицейский. Ничего, если я встану под деревом?

— Пожалуйста,— ответил мужчина.— Вы что здесь, проездом?

— Да нет, хотим остаться,— сказал Джерид.— Завтра найду работу, а там и устроимся. Нам по дороге сильно не повезло.

— Если желаете, наверху в доме стоят свободные кровати. Это ничего не будет стоить, и можно спать в помещении, а не под открытым небом. Есть горячий душ.

— Мы переночуем в фургоне,— ответил Джерид.

— Как хотите. Можете держать здесь машину сколько угодно. В гостиной есть телевизор. Жена с детьми могут вас там подождать, когда вы уедете завтра искать работу. А через пятнадцать минут будет готов ужин. Ничего особенного — сосиски с фасолью, салат из капусты и горячий кофе. Если желаете, милости просим к столу.

Упоминание о еде и горячем кофе разожгло аппетит Джерида. Он уже больше недели не пил кофе, да и Кломе с детьми было мало тех сосисок, которые они съели вечером в парке.

— А сколько стоит ужин? — спросил Джерид.

— Ничего,— ответил мужчина.

— Мы не можем питаться у вас бесплатно,— сказал Джерид.— Мы — с гор, и у нас никто подачками не живет. Я хочу заплатить за ужин. Сколько это будет стоить?

Мужчина с минуту поколебался, потом сказал:

— Ну, положите сколько можете в ящик для пожертвований, он там, в зале. По-моему, пятидесяти центов вполне хватит.

— Вот это по справедливости,— сказал Джерид.— Мы придем, как только устроимся. И огромное спасибо за то, что разрешили нам поставить фургон.

— Мы здесь на то и существуем,— ответил мужчина. Он повернулся и пробормотал, поднимаясь вверх по ступенькам: «Они, видите ли, с гор!»

3

На следующее утро Джерид встал до рассвета и, не дожидаясь завтрака, покинул дом Армии спасения. Он поехал прямо к тому углу, где, как сказал служащий на колонке, каждый день выстраивалась очередь желающих получить работу. Под фонарем уже стояло несколько пикапов и старых автобусов, и большая группа мужчин и женщин молча топталась на месте.

Джерид заметил, что были там и белые и черные, в том числе кубинцы и мексиканцы, хотя он не мог бы отличить их друг от друга;

пришли в сопровождении своих девушек и длинноволосые бородатые «хиппи» с деревянными бусами на шее и повязкой вокруг головы. Люди передвигались словно в полусне, и выражение одинаковой безучастности на лицах делало их всех — и мужчин и женщин — чем-то похожими друг на друга.

Наконец в кузове одного грузовика поднялся мужчина и прокричал:

— Двадцать пять голов на окру [1]!

Отталкивая друг друга, люди бросились к грузовику и образовали очередь. Как только двадцать пять человек были наняты и получили талончики на автобус, оставшиеся передвинулись к другому грузовику.

Джерид с интересом наблюдал, как набрали еще две бригады. Картина эта напоминала ему старый рабовладельческий рынок, каким он его себе представлял. Наконец он понял, что если не будет бороться за место в очереди, то так и останется на краю тротуара.

Когда какой-то вербовщик прокричал, что ему нужны сборщики помидоров, Джерид бросился в толпу и пробился вперед. Вербовщик бегло оглядел его и спросил:

— Ты раньше собирал помидоры?

— У меня в Западной Виргинии была ферма, и я выращивал немного помидоров. Я их всегда собирал сам.

— Отходи,— резко сказал вербовщик.— Мне нужны только опытные сборщики. Нам за утро надо убрать шестьдесят акров, и у нас нет времени возиться с деревенскими ротозеями.

— Но я же могу,— настаивал Джерид.— У меня была собственная...

— Черт бы тебя побрал, парень, ты что, оглох? — нетерпеливо проговорил вербовщик.— Сказал, отходи. У меня и так времени в обрез — надо ведь еще доехать до места.

Джерид вышел из очереди и печально побрел на край тротуара. Он больше не пытался пробиться вперед и только смотрел, как загрузился последний автобус. Несколько десятков людей, тоже не получивших работы, медленно разошлись. Когда на востоке забрезжил рассвет, под уличным фонарем остался один Джерид.

Полчаса он просидел на краю тротуара, рассеянно разглядывая проносившиеся мимо автобусы, грузовики и пытаясь придумать, что делать дальше. Наконец, он решил попытать счастья на складах. Он сел в фургон и по главной улице поехал в Хомстед.

Джерид не беспокоился о Кломе и детях, зная, что сидеть у телевизора для них одно удовольствие. И потом, он оставил Кломе денег, чтобы заплатить за еду.

Доехав до западной окраины Хомстеда, он остановился и зашел на склад узнать насчет работы. Ему сразу сказали, что требуются лишь опытные сортировщики, а других мест нет. Джерид ездил с одного склада на другой, продвигаясь назад к Флорида-Сити. Картина вокруг была одинаковая.

Уже совсем рассвело, когда Джерид получил отказ на последнем складе, он был подавлен как никогда, им овладело отчаяние. Он поехал обратно в Хомстед, поставил фургон на городской стоянке и принялся ходить по улицам. Сначала его внимание привлекли туристы в шортах и ярких рубашках. Затем он опять стал думать только о том, как найти работу.

Вскоре Джерид набрел на магазин товаров для фермеров и зашел туда узнать, не нужны ли им грузчики или шоферы, но и здесь работы не оказалось. Обойдя центральную часть города, он оказался на узкой боковой улочке, по обеим сторонам которой лепились мрачные ломбарды и магазины уцененных товаров. Здесь уже было много мужчин с одинаково безразличными лицами, они сидели на

[1] Окра — однолетнее растение, стручки которого употребляются в пищу.

краю тротуара и пили из бутылок, засунутых в бумажные пакеты. Проходя мимо кафе под вывеской «Голубая луна», он заметил в окне объявление «Требуется рабочий».

Джерид нехотя вошел, почти уверенный, что его не возьмут. Маленькая комната была скудно освещена, сильно пахло вареной капустой и прогорклым свиным салом. В глубине находился прилавок, а на середине и вдоль стен — несколько столиков. Кроме двух человек, которые пили кофе за стойкой, в помещении никого не было.

Джерид постоял у стойки, нервно переминаясь с ноги на ногу и не понимая, зачем он сюда зашел. Но тут из кухни появился маленький, заплывший жиром человечек в грязном фартуке и белом колпаке.

— Чего тебе, парень? — спросил он.

— Видите ли,— нерешительно начал Джерид,— я прочел у вас объявление. Мне нужна работа, и вот я решил зайти и спросить.

Человек внимательно оглядел Джерида.

— У меня вчера заболел мойщик посуды, и его несколько дней не будет. Плата — доллар в час, сегодня поработаешь семь часов, а завтра — тринадцать. Устраивает?

Джерид быстро ответил:

— Да. Согласен. Когда приступать?

— Прямо сейчас,— ответил хозяин.— Вон там свалена посуда после завтрака, не могу же я сразу и мыть ее, и готовить, и обслуживать клиентов за столиками. Пойдем, я покажу тебе, что делать.

Джерид последовал за ним на кухню. На плите в кастрюлях тушилась капуста, тыква и горох, сбоку стояла огромная сковорода. У противоположной стены находились две гигантские раковины, одна была наполнена когда-то мыльной, а теперь сальной водой, другая — водой для полоскания.

— Там будешь мыть посуду, а вот здесь полоскать,— сказал хозяин.— Вытрешь и сложи вон туда на полку. Твое дело еще убирать посуду со столиков и с прилавка и протирать пол. Когда все закончишь, вынесешь отбросы и мусор. Завтраки у нас начинаются в пять, но ты приходи пораньше. И давай, парень, сразу договоримся. Еда в оплату не входит. За нее нужно платить. За разбитую посуду — вычет. Понял?

— Понял,— ответил Джерид. У него к горлу подступила тошнота, когда он посмотрел на груду грязных тарелок и кастрюль, сваленных на столе рядом с раковиной.

Хозяин уже собрался уходить, но затем, оглядев Джерида, сказал:

— Тебе бы нужно сегодня хорошенько помыться и постирать одежду. А то у тебя такой вид, что санитарная инспекция на меня всех собак спустит.

Джерид молча посмотрел на свои запачканные брюки, затем, поморщившись, взял грязную тарелку и в сальной воде начал смывать с нее засохший яичный желток.

Было уже почти совсем темно, когда Джерид вернулся в дом Армии спасения. Клома, Бенни и Кристи сидели на скамейке под гигантским дубом. Джерид поставил фургон, подошел к ним и устало опустился рядом.

Клома сказала:

— Мы уж о тебе всерьез начали беспокоиться, Джей. Тебя так долго не было.

— Чего только я не перепробовал за это время,— ответил Джерид.— Сначала меня не взяли собирать помидоры, когда я стоял со всеми в очереди, сказали, опыта нет, потом я объехал все склады и несколько магазинов. Здесь, по-моему, работы не найти, надо нам

двигаться в другие места. Может, в той стороне, где разводят скот, будет лучше.

Клома заметила, что у Джерида усталый голос. Она ободряюще сказала:

— Может быть, это только начало. Мы здесь всего два дня. А завтра подыщешь что-нибудь подходящее.

— На завтра я нашел. И сегодня день отработал. Плата всего доллар в час, но и то лучше, чем ничего.

— Где же ты работал? — удивленно спросила Клома.

— В кафе.

— В кафе? — переспросила она.— Ты же ничего не умеешь. Что ты там делал?

— Работал,— осторожно сказал Джерид, сожалея, что заговорил о кафе.

— Но что ты делал? — продолжала настаивать Клома.

Джерид помолчал, затем, опустив глаза, тихо проговорил:

— Мыл посуду.

Клома накрыла ладонью его руку и сказала:

— Джерид... Джерид... не надо было тебе за это браться. Мы ведь еще не в таком положении, правда?

— Это — честная работа,— сказал Джерид в свою защиту.

— Папа, не мой больше посуду в кафе,— вскочив со скамейки, сказала Кристи.— Завтра туда пойду я, а ты поищешь что-нибудь другое. Эта работа не для тебя.

— Правда, Кристи? — немного подумав, спросил Джерид.— Ты получишь тринадцать долларов, а я постараюсь еще что-нибудь подыскать. Попробую завтра счастья на бензоколонках. Заправить машину и сменить покрышку — это уж я умею, и наверняка на какой-нибудь колонке нужен помощник.

— Правильно, папа! — радостно подхватила Кристи.

Только сейчас Джерид почувствовал, как он голоден. Он не ел со вчерашнего вечера, в животе у него урчало. Он сказал:

— Ну ладно, тогда решено. Поищу еще денек, а там видно будет. Теперь пойду поем. Я голоден, как зверь, и даже ихние сосиски с бобами съем с удовольствием.

Клома поднялась вместе с ним и взяла его за руку.

— Джерид, я не стыжусь того, что ты делал сегодня. Я знаю, ты старался ради всех нас. Ты — хороший человек, Джерид Титер, и я люблю тебя за это. Тебе нечего стыдиться.

Он обнял ее, и они вместе пошли в двухэтажное здание из белых досок.

Клома с Бенни поехали вместе с Джеридом, когда он на следующее утро повез Кристи в кафе «Голубая луна». Хотя не было еще и пяти, его уже до отказа заполнили молчаливые люди в рабочих спецовках, и хозяин на ходу раздраженно бросил Джериду, что не возражает, если Кристи будет мыть посуду вместо отца,— пусть только справляется. Кристи заверила его, что умеет работать. Джерид уплатил хозяину за завтрак и обед для Кристи, сел в фургон и принялся снова колесить по улицам города.

На единственной открытой в этот ранний час в Хомстеде колонке рабочие не требовались. Джерид вернулся в Армию спасения, позавтракал вместе с Кломой и Бенни и, оставив их там, снова поехал в город.

К началу дня он объехал все колонки между Хомстедом и Флорида-Сити. Работы не было. Подъезжая к последней колонке в западной части Флорида-Сити, он уже ни на что не надеялся. Джерид оставил машину за бензоколонкой и направился ко входу.

Клиентов не было, и хозяин стоял возле насосов.

— Чем могу служить? — спросил он Джерида, когда тот подошел к нему.

— Я ищу работу и подумал, может быть, вам нужен помощник,— сказал Джерид, уже предчувствуя отказ.— Я могу заправлять машины, менять покрышки... вообще выполнять любую работу, какая у вас найдется.

Человек молча разглядывал Джерида.

— А ты, парень, откуда?

— Из Западной Виргинии. Мы приехали пару дней назад.

— А дети есть?

— Дочь шестнадцати лет и сын — четырнадцати.

— Нормальные и здоровые?

— Да,— ответил Джерид, начиная удивляться вопросам, не имевшим никакого отношения к работе.

— А как насчет жены?

— Ну, она у меня крепкая, только ждет ребенка, на седьмом месяце.

Человек снова пристально посмотрел на Джерида.

— У меня на колонке сейчас ничего нет. А ты не хочешь поработать на уборке в поле?

— Вчера утром, когда я стоял в очереди на углу, меня не взяли,— сказал Джерид, разочарованный тем, что ему снова отказывают.— Но я бы, конечно, согласился пойти на уборку, да на что угодно, лишь бы работать.

— Подумаешь, из очереди не взяли. Это — работа на один день для перекати-поле и всяких бродяг. А я говорю о постоянной работе. Если хочешь, я мог бы тебе помочь.

— Конечно, хочу,— быстро сказал Джерид, удивленный неожиданным предложением.— Я буду очень вам благодарен.

Джерид остался ждать на улице, а хозяин пошел в контору и набрал номер.

— Криди?.. Да... Говорит Ханкинс с бензоколонки... Тебе нужны люди?.. Нет, не черные, белые... Деревенские из Западной Виргинии... четверо... нет, не смутьяны как будто... мужику лет сорок... говорит, у него здоровый парень и девчонка... жена, с пузом правда... белый фургон марки «додж», шестидесятого года... О'кей, я пришлю их в обычное место... тогда утром встретишься с ними... трое из них могут работать, так что по двадцать долларов с головы. За тобой шестьдесят, но я хочу получить их сегодня... привози на колонку около восьми.

Он повесил трубку и вернулся к Джериду.

— Ну, устроил вам работенку,— сказал он.

— Неужели правда? — воскликнул Джерид, радостно улыбнувшись.— Не знаю, как вас и благодарить. Я уж готов был все бросить.

— Рад, что смог вам помочь. А благодарить не стоит. Человека, с которым вы встретитесь, зовут Криди. Сайлас Криди. На ночь можете расположиться в лесочке, он отсюда милях в четырех к югу по шоссе номер двадцать семь. Сразу за щитом с рекламой Национального парка Эверглейдс. С дороги его хорошо видно. Криди встретится с тобой утром. Это — постоянная работа и надолго, если будешь стараться.

— Уж я постараюсь,— серьезно сказал Джерид,— просто не знаю, как вас и благодарить.— Он протянул руку и сказал: — Моя фамилия Титер. Джерид Титер. Друзья зовут меня Джей.

Хозяин колонки пожал ему руку.

— Очень рад познакомиться, Джей,— сказал он.

Джерид достал из кармана десятидолларовую бумажку.

— Вот, возьмите в знак благодарности. Я очень ценю вашу помощь.

Хозяин взял бумажку и положил в карман.

— Ладно уж, возьму, но я не за деньги. Просто хотел тебе помочь, только и всего. В наше время люди должны помогать друг другу.

— Я тоже всегда так считал. Люди должны помогать друг другу. Еще раз большое спасибо.

Джерид сел в фургон и помчался к убежищу Армии спасения. Он стремительно взбежал по ступенькам. Клома с Бенни сидели в гостиной. Весело притоптывая ногами по выщербленному деревянному полу, он закричал:

— Я вам говорил! Я говорил, сюда стоит ехать! У нас все будет хорошо. Я нашел постоянную работу.

— Ты не шутишь, Джерид? — обеспокоенно спросила Клома.

— Господь бог свидетель! Хозяин одной из колонок позвонил куда-то по телефону, и человек по имени Криди завтра утром встретится с нами и даст нам работу. А ночевать будем в лесочке к югу отсюда. Мне сказали, как туда проехать.

— Но у нас нет продуктов,— взволнованно сказала Клома, пытаясь скрыть облегчение, которое ей принесла эта новость.

— И льда,— сказал Джерид,— нам нужен большой пакет льда, чтобы охладить питье. Сначала заберем Кристи, потом поедем в магазин, купим еды на сегодня и на завтрашнее утро. Возьмем ребятам конфет, булочек, фруктов, немного мясных обрезков для Скипа...

— О, Джей, я так рада! — прервала его Клома.— Я так боялась.

— Все будет прекрасно,— сказал Джерид, сжимая ей руку.— Тебе ни капельки не надо беспокоиться. А к тому времени, как родится маленький, у нас будет дом. И тогда мы заберем свою кровать.

4

В воздухе стояла бодрящая прохлада, когда на прозрачном осеннем небе забрезжил рассвет. Пройдет совсем немного времени, и солнце, карабкаясь мало-помалу вверх, начнет посылать на землю волны горячего сухого жара — оно превратится в злобного врага, который сушит растения и испытывает выносливость человека; а пока земля была покрыта миллионами сверкающих, как драгоценные камни, росинок, которые под разгоравшимися солнечными лучами непрерывно меняли свою окраску.

Проснувшись не сразу, Джерид взглянул на вершины капустных пальм. Пышные кроны деревьев и густые заросли пальмет задерживали еще слабый солнечный свет, так что роща неясно мерцала, словно освещенная угольками догоравшего костра. Какое-то мгновение Джерид еще полежал, потом вскочил. Только посмотрев налево и увидев свой фургон, он понял, где находится, и успокоился.

Джерид двигался тихо, стараясь никого не будить. Он собрал ветки, развел костер и пошел по грунтовой дороге, ведущей к шоссе. Дойдя до асфальта, убегавшего вдаль черной лентой, он присел на корточки и оглядел поля, таявшие в далекой дымке горизонта. Тонкий ровный слой тумана неподвижно висел почти над самой землей. Его разрывали только белые цапли, которые то устремлялись вниз, то взмывали вверх, отыскивая корм на полях.

Несколько минут Джерид пристально смотрел вдаль — он думал не об этом экзотическом оазисе на юге Флориды; перед ним снова возникли родные места Западной Виргинии, в земле которой лежали его родители и которая дала жизнь его детям. Джериду было там тяжело, иногда безнадежно трудно, но он оставался хозяином в мире, где все создал своими руками. Он никому не кланялся, как теперь, но цена его глупой, упрямой гордости оказалась больше, чем он рассчитывал, и сейчас пришло время расплаты.

Он подумал о беременной Кломе, лежавшей на жестком полу фургона, и вспомнил тот далекий день, когда на благотворительном

базаре, устроенном в церкви, впервые встретил ее и предложил пятьдесят центов за жареного цыпленка, которого она приготовила. Это был его вклад в фонд строительства церкви, по крайней мере в тот момент ему так казалось; но когда они шли по церковному двору, чтобы за столом съесть цыпленка, он нечаянно коснулся ее плеча и понял, что останется с ней на всю жизнь.

На Джерида снова нахлынули сомнения и тревоги, которые терзали его в пути, он спрашивал себя, правильно ли поступил или следовало продержаться на ферме еще хотя бы год. Он отдавал себе отчет в том, что его положение там было безвыходным и оставалось только уехать, но разлука с родными местами причиняла невыносимую боль.

Джерида очень беспокоило, что пришлось забрать Кристи и Бенни из школы: ведь он решил хотя бы детям дать образование, которого они с Кломой не получили. Он не закончил десяти классов, а Клома ушла из одиннадцатого, когда они поженились. Но во Флориде, конечно, их дети будут ходить в школу, а позднее поступят в колледж, и для них откроются дороги, для него уже закрытые навсегда.

Джерид знал — воспоминания о родных краях навсегда останутся с ним: леса, где он охотился, ручьи, полные рыбы, горные склоны, где он рубил деревья, чтобы обогреть дом зимой, поля, которые давали скудные урожаи кукурузы и тыквы, сарай с его запахами раннего утра, роща пеканов, где спали вечным сном его отец и мать; все это не сотрется из памяти, а оскорбления и боль, безвыходность и отчаяние через какое-то время забудутся. Он хотел подвести черту под прежней жизнью и создать для себя с Кломой и для детей что-то новое и хорошее.

Его раздумья были прерваны звуком быстро приближавшихся шагов. Повернувшись, он увидел Кристи.

— Мама послала меня за тобой. Кофе готов.

Джерид кивнул.

— Присядь со мной на минутку, Кристи.

Когда она села на влажную траву, он сказал:

— Я хочу еще раз поблагодарить тебя за то, что ты работала за меня в кафе.

— Да это пустяки, папа,— ответила Кристи.— Мне было приятно тебе помочь.

— У нас все наладится,— сказал Джерид, погладив ее руку.— Вот увидишь. У нас все будет хорошо.

Кристи посмотрела вдаль на туманные поля, потом сказала:

— Па... я знаю, что у нас все будет хорошо... но потом, когда-нибудь... когда мы устроимся и не надо будет беспокоиться о маме и Бенни... я хочу вернуться в горы. Папа... ты понимаешь?

— Еще как понимаю,— ответил Джерид, снова нежно поглаживая ее руку.— Мне бы тоже потом хотелось вернуться. Да я бы и не уезжал... просто не было другого выхода. Я понимаю, Кристи. Когда-нибудь у тебя будет все, что ты захочешь. Я обещаю.

— Пойдем, папа, пока мама не отправилась нас искать,— сказала, поднимаясь, Кристи.— Она будет беспокоиться.

Он заставил себя подняться и следом за Кристи побрел к фургону.

В одиннадцатом часу желтый «Марк IV» свернул с шоссе и въехал в лесочек. Джерид уже несколько часов ходил возле фургона, в отчаянии думая, что человек на колонке сыграл с ним злую шутку и никто сюда не приедет. Он почти бегом бросился к автомобилю, когда тот остановился под капустной пальмой.

Из машины вышел здоровенный мужчина почти двухметрового роста и облокотился о капот. Он, должно быть, весил больше ста

килограммов. У него были рыжие коротко подстриженные волосы и лицо почти такого же цвета. Выглядел он лет на пятьдесят. Внимательно осмотрев Джерида, он спросил:

— Так это вы ищете работу?

— Да,— нервно ответил Джерид.— Меня зовут Джерид, или попросту Джей [1], а фамилия Титер.

Мужчина усмехнулся и сказал:

— Тебе бы следовало взять фамилию Птичка. Тогда бы люди попросту звали тебя Джей Птичка.— Он снова пристально посмотрел на Джерида и спросил: — Вы откуда приехали?

— Из Западной Виргинии. Несколько дней назад. Вчера я познакомился с одним человеком на колонке, когда искал работу.

— Родные здесь есть?

— Нет, вся родня осталась в Западной Виргинии.

Мужчина, казалось, раздумывал.

— Меня зовут Сайлас Криди. Ты когда-нибудь работал на уборке овощей?

Джерид почесал затылок, вспомнив, что такой же вопрос недавно стоил ему работы.

— Да, сэр. У меня была ферма, и я сам убирал кукурузу и овощи.

— Да нет же, я спрашиваю, ты работал здесь на полях?

— Нет, в общем, нет,— с заминкой сказал Джерид,— но я могу делать все что угодно. И овощи собирать, и все, что вы от меня потребуете.

Криди посмотрел в сторону фургона.

— А ребята у тебя здоровые? — спросил он.

— Да, у меня хорошие дети.

— Однако жена у тебя с пузом.

— На седьмом месяце.

— Обычно мы не берем в лагерь тех, кто не может работать.

У Джерида упало сердце: неужели он останется без работы. И он быстро проговорил:

— Она в положении, но мне это работать не помешает. Она — хорошая женщина и может днем оставаться одна.

Криди еще немного помолчал.

— Ну ладно, я думаю, вы подойдете. Может, мы твоей жене днем найдем дело в лагере.

— В лагере? — недоуменно переспросил Джерид.

— Ну да, в лагере. Будете жить у меня в трудовом лагере. Он называется Энджел-Сити.

— Вы хотите сказать, у нас будет и жилье? — спросил с удивлением Джерид.

— Да-а, и жилье,— раздраженно подтвердил Криди.— Ну сколько раз тебе говорить одно и то же? Я сказал: будете жить в моем лагере.

— Вот это здорово, мистер Криди,— сказал Джерид,— просто здорово. Я очень волновался, где мы поселимся.— Он помялся немного, потом спросил: — Мистер Криди, а сколько мы будем получать?

— Все зависит от тебя,— ответил Криди.— Помидоры — двадцать пять центов ведро. За другие овощи платят обычно с корзины. Если фрукты, то с ящика. Чем больше будешь работать, тем больше получишь. Все в твоих руках.

— А во сколько обойдется жилье в лагере?

— Да недорого, сущие пустяки. Мы вычитаем за это из заработка по субботам, когда производим расчет. Рабочие ужинают в лагере, но завтрак надо готовить самим, а также заботиться о еде, которую берешь с собой на обед в поле.

---

[1] Игра слов: «jay» также означает «сойка».

— По-моему, это по совести,— сказал Джерид.— Я буду очень гордиться тем, что работаю у вас, мистер Криди.

— Прежде чем отправиться в лагерь, поедем во Флорида-Сити и зарегистрируемся на получение продовольственных талонов[1].

Это предложение озадачило Джерида.

— Мистер Криди, мне не нужны талоны. Я никогда в жизни не жил на благотворительность. Горцы подачек не принимают.

— Это не подачки! — огрызнулся Криди, раздраженный неожиданным ответом Джерида.— Это отчисления с твоих же налогов. В Энджел-Сити все получают продовольственные талоны. Тебе надо только зарегистрироваться, а уж остальное я возьму на себя.

— Ну ладно, раз нужно, так нужно. Но мы ни от кого подачек не принимаем.

— Ладно, поезжай за мной во Флорида-Сити, а потом отправимся в лагерь и устроим вас там.

Фургон вслед за «Марком IV» свернул с шоссе и медленно покатил по грунтовой дороге, по обе стороны которой тянулись поля помидоров. Примерно в полутора километрах от шоссе среди бескрайних просторов появились араукарии, словно небольшой островок в открытом море. Когда они подъехали к лагерю, Криди вышел из машины, отпер замок и открыл ворота. Справа от входа висела доска, на которой красным и синим было написано:

ЭНДЖЕЛ-СИТИ
ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН
НЕ НАРУШАТЬ ГРАНИЦ ВЛАДЕНИЯ.

Лагерь занимал около двух акров и был окружен двухметровым забором из железной сетки с тремя рядами колючей проволоки наверху. Основное строение представляло собой длинную блочную постройку без окон, с рядами дверей, выходивших на южную и северную стороны. Облупившаяся краска грязными клочьями свисала со стен, обнажая серый бетон, крыша угрожающе прогнулась и проржавела. Позади барака в небольшом блочном строении располагались душ и туалет, а в южном углу лагеря под араукариями стоял домик на колесах и красный пикап. Кругом никого не было, кроме старого негра, который сидел на земле под деревом. Он даже не взглянул на подъехавшие машины.

— У вас будет комната номер десять на северной стороне,— сказал Криди, выходя из машины.— Можете устраиваться. В шесть утра автобус отвозит рабочих в поле.— С этими словами он выехал из лагеря, запер за собой ворота и помчался к шоссе, поднимая клубы белой известняковой пыли.

— Папа, зачем он запер ворота? — спросил Бенни.— Ведь мы не сможем выехать.

Джерида это тоже смутило.

— Даже не знаю. Может, они не хотят, чтобы сюда заходили посторонние, когда все работают в поле. Наверное, так.

Они все пошли вслед за Джеридом, который направился к северной стороне барака и отыскал дверь под номером десять. Он открыл ее и медленно вошел. В центре комнаты с потолка свисала голая лампочка со шнурком. Джерид дернул за шнурок — желтоватый свет осветил квадратную каморку размером два с половиной на два с половиной метра. Джерида чуть не вытошнило от резкого запаха мочи и блевотины. Он быстро выскочил из комнаты.

[1] Продовольственные талоны — пособие по безработице, выдаваемое в виде талонов на получение продуктов.

— Фу! Прежде чем туда входить, надо хорошенько проветрить. Воняет, как в настоящей помойке.

Они минут пять подождали, потом снова вошли. В комнате ничего не было, кроме пары двухэтажных нар, стоявших вдоль стен друг против друга. В углу, среди засохшей блевотины, валялась груда пустых бутылок из-под вина.

Зажав нос, Джерид сказал:

— Давайте выйдем — я больше не могу!

Несколько минут они молча стояли снаружи, потом Джерид печально проговорил:

— Похоже, втянул я вас в историю, а?

— Да ничего страшного, нужно только все хорошенько вымыть,— сказала Клома, стараясь успокоить Джерида, чтобы он не чувствовал себя виноватым.

— Лучше не станет, хоть вылижи все языком.

— Ты пойди попроси мыло и щетку у того старика, что сидит под деревом. А завтра купим аэрозоль, он убьет дурной запах.

— Ладно, пойду,— сказал Джерид.

Старый негр вроде спал, когда Джерид приблизился к нему. На вид старику было лет восемьдесят — одна сморщенная кожа да кости. Джерид потряс его за руку, и негр открыл глаза.

— Где мне взять мыло и щетку? — спросил Джерид.— Мы хотим помыть комнату.

Старик сказал:

— Я тут за повара. Я больше не собираю помидоры, и мне дают две бутылки вина вместо одной. Щетка в уборной, а мыло все покупают сами.

— Вы не можете дать мне кусок взаймы, пока мы не купим? Или я вам сразу заплачу.

Старик ответил:

— Я здесь за повара. Я больше не собираю помидоры, и мне дают две бутылки вина вместо одной. Надо ехать в магазин.

— Как же я поеду, если ворота заперты,— сказал Джерид, теряя терпение.

— Я здесь за повара. Я больше не собираю помидоры, и мне...

Джерид повернулся и пошел обратно.

— Этот старый дурак, наверно, совсем спятил. Придется подождать, пока кто-нибудь не вернется в лагерь. Пойдемте посидим под деревом, там прохладнее.

Они направились к араукарии, стоявшей одиноко в стороне, и сели на мягкие иголки, покрывавшие землю.

— Я вот что думаю,— сказал Джерид,— это место хуже нашего старого хлева, но никто нас не заставляет здесь задерживаться. Если они платят по двадцать пять центов за ведро помидоров, я могу за день собрать сотню, а то и больше, это — двадцать пять долларов. Да Кристи с Бенни соберут по пятьдесят ведер, еще двадцать пять долларов, итого пятьдесят долларов в день. Шесть дней в неделю — триста долларов чистыми; я столько в месяц никогда не зарабатывал. Если дело так пойдет, мы в два счета накопим денег на собственный фруктовый ларек. Как вы думаете, продержимся здесь несколько недель?

— Я соберу больше пятидесяти ведер,— возбужденно подхватил Бенни.

— И я не отстану от Бенни,— сказала Кристи.

— Еще как отстанешь,— бросил ей Бенни.— Ты — девчонка, а девчонки ничего не могут делать так, как мужчины.

— Поживем пока здесь, Джей,— решительно сказала Клома.— И комната примет сносный вид — вот только вымоем ее и проветрим.

У Джерида отлегло от сердца. Он боялся, как бы родные не стали его упрекать за то, что он привез их в такое место.

— Тогда решено. Мы здесь немного поживем, и не успеем оглянуться, как скопим уйму денег, потом станем продавать фрукты и овощи, держалки для горячих кастрюль и фартуки, а Бенни будет вырезать из дерева зверюшек, которые у него так хорошо получаются. И все это не за горами.

Около шести вечера в лагерь въехали и встали рядом с домиком два старых школьных автобуса. Один — выгоревшего красного цвета, другой — голубой. Их покрывал толстый слой пыли. На стенке одного белой краской было написано: ЭНДЖЕЛ-СИТИ, БРИГАДА № 1; на другом — ЭНДЖЕЛ-СИТИ, БРИГАДА № 2.

Из автобусов вышло человек шестьдесят. В основном чернокожие мужчины, с десяток негритянок и одна белая семья — муж, жена и подросток, примерно такого же возраста, как Бенни. Одни бросились занимать очередь в душ, другие исчезли в своих комнатах, а некоторые просто плюхнулись на землю и так и остались сидеть.

Титеры с любопытством наблюдали за внезапно возникшей суетой, потом вернулись к бараку и сели на землю возле своей комнаты. У соседней двери пристроился чернокожий мужчина.

Через несколько минут появился огромный негр с ящиком. Он шел вдоль барака и давал каждому по пол-литровой бутылке белого вина.

Поравнявшись с Джеридом, он протянул ему бутылку.

Джерид поднял на него глаза и спросил:

— Что это?

Негр молча сунул ему бутылку. Чернокожий сосед Джерида, наблюдавший эту сцену, сказал:

— Мистер, вам все равно платить за это пойло полтора доллара, берете вы его или нет. Лучше возьмите.

— Да не хочу я никакого вина,— возразил Джерид.

— Лучше возьмите. Поможет продержаться ночь.

Джерид взял бутылку, а огромный негр продолжал свой путь вдоль барака. Джерид повертел бутылку в руках и наконец спросил негра, сидевшего рядом:

— Хотите?

— Оставьте себе. Рано или поздно пригодится.

Джерид повнимательнее пригляделся к незнакомцу. Ему было лет сорок с небольшим; угольно-черную кожу лица пересекал длинный белый шрам, тянувшийся вдоль левой щеки. Его одежду и башмаки покрывала пыль.

В окрестностях Титер-Ридж негры не жили, и у Джерида никогда не было среди них знакомых. Ему захотелось побольше узнать об этом чернокожем, поэтому он протянул руку и сказал:

— Меня зовут Джерид Титер, а попросту Джей.

Такое обращение удивило негра. Он нехотя пожал руку, едва коснувшись пальцев Джерида, и проговорил:

— Меня зовут Сай.

Они немного помолчали, потом негр спросил:

— Из каких мест приехали, мистер Джей?

— Из Западной Виргинии.

— Из какой части Западной Виргинии?

— Неподалеку от Динка.

— Динка? — переспросил негр.— А где это?

— Ну, Динк недалеко от Уоллбека, или Вэлли-Форк, или от Биг-Оттера. Биг-Оттер рядом с Нибо, а Нибо возле Мадфорка, а Мадфорк рядом с...

— Понятно,— прервал его Сай.— Можете больше не объяснять.

Опять наступило молчание. Джерид сказал:

— Мы не можем зайти в комнату — там ужасно воняет. Мне нужны мыло и щетка. Не знаете, когда мы поедем в магазин?

— Мы останавливаемся у магазина каждый вечер, когда возвращаемся домой.

— А сегодня нельзя поехать после ужина?

Негр с любопытством посмотрел на Джерида.

— Только вечером по дороге с поля. Но я могу дать вам стирального порошка, а возле душа есть щетка.

В эту минуту из комнаты Сая вышел старый негр с седой бородой. Он напевал что-то бессвязное: «Я видел Иисуса сегодня... я видел Иисуса на поле помидоров... я видел Иисуса... сегодня... и Иисус собирал помидоры...»

Джерид с любопытством уставился на старика и проводил его взглядом, пока тот шел, продолжая петь.

— Не обращайте на него внимания,— сказал Сай, повернувшись к Джериду.— Он малость «того», но смирный. Его здесь зовут Рудом.

— Не слишком ли он стар для работы в поле? — спросил Джерид.

— Старику за восемьдесят, но он как машина. Только покажи ему ряды помидоров, он мигом соберет четыре ведра, пока другие с одним копаются. Он здесь уже три года, и если б не был таким проворным, Криди давно бы его прикончил. Пойду принесу вам мыло.

Последние слова Сая о старике и Криди совсем сбили Джерида с толку, но прежде чем Джерид успел расспросить негра, тот исчез в своей комнате. Вскоре он вернулся и протянул Джериду коробку стирального порошка.

— Спасибо большое,— сказал Джерид.— Я завтра отдам, когда куплю в магазине.

— Не стоит беспокоиться. Я теперь не часто пользуюсь мылом.

— Ну ладно, надо поискать щетку и посмотреть, как привести комнату в божеский вид,— сказал Джерид.

— Подождите до ужина. Он уже скоро, а то, если не успеете вовремя, вам ничего не достанется.

Сай прислонился к стене и откупорил бутылку вина. Джерид смотрел, как он приложился к ней и одним глотком осушил, потом громко рыгнул, посмотрел на Джерида и сказал:

— В магазине это дрянное пойло стоит сорок девять центов поллитра, а мы платим Криди по полтора доллара каждый вечер, хотим мы его покупать или нет. Разве это не жульничество?

Внезапно откуда-то западнее барака раздался оглушительный, лязгающий звук. Сай вскочил.

— Ужин! — сказал он.— Прихватите свои тарелки и вилки.— С этими словами негр повернулся и исчез за бараком.

Джерид пошел к фургону, принес коробку с посудой, а затем все они встали в очередь, которая тянулась к навесу в западном углу лагеря. Железная решетка, положенная на цементные блоки, служила печью. Под нею тлели дрова, и на очаге кипели три больших почерневших котла.

Позади решетки стоял тот самый тщедушный старик, который говорил, что он здесь за повара. Черпая из котлов еду для рабочих, он бросал на каждую тарелку кусок вываренной свинины, порцию вареной тыквы, тушеных помидоров и два куска белого хлеба. Зубов у старика не было, и он непрерывно шамкал, раздавая пищу.

Некоторые уносили свои тарелки в комнаты, другие располагались на земле прямо рядом с навесом. Титеры направились к дереву возле фургона. Солнце на западе к тому времени почти скрылось за горизонтом, и по обе стороны барака зажглись прожекторы.

Они молча ели, затем Джерид мрачно сказал:

— Если этого старика считать поваром, то я балерина.

— У тыквы такой вкус, будто она с песком,— сказал Бенни.

— Повар просто забыл ее вымыть,— улыбнувшись, проговорила Клома.— Может быть, теперь вы наконец оцените мою стряпню.

— Ну ладно, пусть каждый оставит немножко для Скипа. Может, он станет есть.

— Папа, позволь, я ему все отдам: я совсем не голодная,— сказала Кристи.

Закончив ужин, они встали еще в одну очередь — на этот раз к водопроводному крану неподалеку от уборной, чтобы помыть тарелки. Джерид взял из фургона ведро, налил в него воды и принес из душевой щетку. Затем он вошел в комнату.

Поставив ведро и прислонив щетку к стене, он спросил Клому:

— Тебе помочь?

— Нет,— ответила она.— Бенни с Кристи все уберут. А я присмотрю за ними.

— Ты сама ничего не делай. Если нужно, я помогу. Только скажи.— Он подошел к ней ближе.

— Ты нам будешь мешать. Тут и так негде повернуться. Мы уберем сами.

Джерид вышел из комнаты и направился к забору, который окружал лагерь с севера. Вдали зарево огней над Флорида-Сити и Хомстедом поднималось в черном небе огромным золотистым куполом. Джериду опять вспомнилась ферма в Западной Виргинии.

Он вздрогнул, заметив, что рядом с ним стоит Сай.

— Я не хотел вас пугать,— сказал Сай.

— Ничего. Я просто задумался и не слышал, как вы подошли.

Сай прислонился к забору и медленно проговорил:

— Мистер, я не знаю, как вас сюда занесло, но вы, по всему видать, человек хороший. Забирайте-ка свою жену, ребятишек да утром тикайте отсюда, пока не поздно.

— Не понимаю, о чем вы,— удивленно сказал Джерид.

— Я хочу сказать, сматывайтесь отсюда! Нечего вам делать в Энджел-Сити.

— Не могу я сейчас уехать,— сказал Джерид, еще больше удивляясь настойчивости негра, который ведь совсем его не знал. Потом убежденно добавил: — Мне необходима эта работа!

Сай внезапно оглянулся и внимательно посмотрел вокруг. Он увидел возле прожектора у восточного края барака огромного негра, который перед ужином разносил бутылки. Сай снова взглянул на Джерида, будто хотел еще что-то сказать, но быстро повернулся и пошел в свою комнату.

5

На следующий день Энджел-Сити ожил еще до рассвета. Перед бараком появились маленькие костры, в тусклом свете прожекторов расплывчатыми тенями двигались люди. В воздухе пахло кофе.

Джерид вышел из комнаты и глубоко вдохнул прохладный воздух, стараясь прогнать остатки сна. Он провел беспокойную ночь в бетонной каморке, где по-прежнему стоял отвратительный запах. Перед костром на земле сидел Сай. На четырех почерневших банках из-под пива лежала решетка, на которой кипел маленький кофейник. Старик Руд прямо из банки ел сардины.

— Доброе утро,— сказал Джерид, взглянув на Сая.

— Доброе утро.

— Где вы берете дрова?

— Возле навеса. Там лежит куча хвороста.

Джерид пошел к навесу и вернулся с охапкой сухих веток. Когда костер разгорелся, из комнаты вышла Клома.

— Как же здесь готовить кофе? — спросила она, посмотрев на полыхавшие ветки.— У нас и решетки нет, чтобы поставить кофейник.

— Ничего, ставь прямо в огонь,— сказал Джерид.— Потом, когда вернемся вечером в лагерь, я принесу из фургона решетку с походной печки.

— Можете взять мою,— взглянув на них, сказал Сай.— Я уже кончил. В ведре у стены еще осталась вода.

На раскаленных углях Клома вскипятила кофе, и когда из комнаты вышли Кристи с Бенни, все сели на землю и позавтракали оставшимися с вечера булочками. Сай открыл банку сосисок.

Джерид взглянул на Клому и спросил:

— У нас есть какая-нибудь еда, чтобы взять с собой в поле?

— Всего несколько апельсинов,— ответила Клома.

— Я могу одолжить вам три банки сардин,— предложил Сай.— Больше у меня ничего нет. Но в поле можно есть помидоры — сколько угодно.

— Спасибо за сардины,— сказал Джерид.— Я бы купил больше еды, если б знал. Мы оставим банку сардин Кломе, и, может, она еще чем-нибудь разживется у повара.

— У него до ужина ничего не будет,— проговорил Сай.

— Не беспокойся,— сказала Клома.— Мне хватит сардин и апельсинов. Я вот больше тревожусь за вас. Нельзя же работать весь день без настоящей еды.

— Я всегда любил помидоры,— сказал Джерид.— Могу съесть целую кучу.

— Живот заболит,— сказал Сай. Потом посмотрел на Джерида и серьезно добавил: — Вам бы надо пойти облегчиться перед тем, как уедем в поле. Там ведь негде — только у всех на глазах.

Джерид с удивлением посмотрел на негра.

— Спасибо. Хорошо, что предупредили.

При этих словах Бенни вскочил и побежал к уборной.

Ровно в шесть со стороны навеса раздался лязгающий звук, и люди сразу двинулись к автобусам. Те, кто жил на северной стороне, садились в автобус с надписью «Бригада № 1», кто на южной — в автобус «Бригада № 2». Водители стояли возле машин и пересчитывали входивших людей. Джерид, Кристи и Бенни сели в первый автобус.

Рассвет еще едва занимался, когда они выехали на шоссе и направились на восток. Через три мили они свернули на север и покатили по узкой мощеной дороге. По ее обе стороны тянулись нескончаемые поля, которые некогда были частью непроходимого болота Эверглейдс; теперь эту землю силой вырвали у природы, перегородили плотинами, осушили, очистили от растительности, превратили в один из гигантских огородов Америки. Ежедневно на ней копошилась целая армия мужчин и женщин — сборище вечных кочевников и добровольных изгнанников, бежавших от неудач и поражений из сельских районов Аппалачей, Джорджии, Южной и Северной Каролины, Теннесси и Алабамы. Они срывали с зеленых стеблей сотни тысяч помидоров, которые после обработки во Флорида-Сити и Хомстеде отправлялись на далекие рынки, а потом появлялись в салатах и сандвичах на столах Нью-Йорка и Бостона, Чикаго и Миннеаполиса, Детройта и Нового Орлеана, Денвера и Торонто.

За окнами мелькали поля, густо засеянные фасолью, тыквой, окрой, картофелем, огурцами, перцем. Повсюду на них мелькали белые пятна — это цапли разыскивали себе корм на завтрак.

В некоторых местах помидоры были накрыты полосками белого пластика, который задерживает влагу и не дает расти сорнякам, и растения пробивались сквозь отверстия в нем. Издали казалось, что на полях лежит снег.

Наконец автобусы свернули на обочину и остановились возле рощицы араукарий. Рядом стоял грузовик с откинутыми бортами, уставленный пустыми решетчатыми ящиками. Получив ведро, каждый встал у края ряда, и наступление началось. Следом за сборщиками медленно ехал грузовик.

Первые два часа сбор помидоров напоминал Кристи и Бенни увлекательную игру. Они весело снимали с веток плоды и постепенно на-

полняли ими ведра. Потом бежали к грузовику и высыпали в ящики. Но когда солнце поднялось выше и жар, исходивший от каменистой почвы, усилился, они стали двигаться медленнее и уже не так проворно наполняли теперь свои ведра.

Еще задолго до полудня к Кристи подошел Сай.

— Маленькая мисс, я вот все время смотрю на вас. Лучше не торопитесь, а то и до обеда не продержитесь. Без привычки день в поле тянется долго. Вы пока двигайтесь вдоль ряда вровень со мной, я буду понемножку подбрасывать вам в ведро.

— Но это же несправедливо,— сказала Кристи, вытирая тыльной стороной руки пот со лба.— Тогда вы наберете меньше.

— Ничего,— сказал он.— Вы немного поработайте рядом со мной.

Полчаса Кристи шла вдоль ряда вровень с негром, и он собирал помидоры сразу в два ведра, потом она начала отставать. Наконец девушка присела отдохнуть, и другие сборщики все заметнее стали от нее удаляться.

В полдень объявили получасовой перерыв. Джерид, Кристи и Бенни сели на землю и разделили между собой две банки сардин. Они съели еще по два помидора. Воду можно было брать из бочки, стоявшей на грузовике.

К вечеру даже у Джерида ныло все тело. Ряды помидоров с каждым разом становились все длиннее, а ведра — все тяжелее. Его рубашка взмокла от пота, и он тоже все больше и больше отставал от опытных сборщиков.

В пять часов рабочий день наконец закончился, но предстоял еще долгий путь к автобусам. Автобус трясло на узкой сельской дороге, в воздухе стоял нестерпимый запах пропитанных потом тел. Не доезжая мили до лагеря, машины въехали на стоянку у блочного здания, где помещался один из многочисленных магазинов фирмы «Гейтер».

Каждому выходившему из автобуса водитель выдавал по доллару. Сай объяснил Джериду, что это аванс для покупки продуктов на следующий день. Сборщики толпой бросились в магазин и быстро закупили кто что мог. Некоторые, возвращаясь к автобусу, пили на ходу холодное пиво, другие несли бумажные пакеты с банками дешевых сардин, сосисок или фасоли, с солеными свиными ножками, кусками сыра, буханками белого хлеба.

Клома выбежала навстречу Джериду и детям, когда автобус въехал в лагерь. Они медленно вошли в комнату. Кристи и Бенни схватили полотенца и сразу бросились занимать очередь в душ.

Джерид опустился на койку и тяжело вздохнул.

— Никогда не думал, что собирать помидоры — такой тяжелый труд,— устало сказал он Кломе.— Спина у меня разламывается, словно по ней били палками. Ребятам тоже было тяжело, хотя они старались изо всех сил.

— Тебе удалось собрать, сколько ты думал? — спросила Клома.

— Нет, что ты. Но когда втянемся, дело пойдет лучше. Я собрал восемьдесят два ведра, Бенни — сорок, а Кристи — двадцать семь. Не так плохо — заработали сегодня почти сорок долларов.

— Надеюсь, это долго не протянется,— сказала Клома.— Кроме меня да старика повара, здесь целый день ни души. Я с ним заговорила было, но он все несет какую-то чушь о том, что он здесь за повара и больше не собирает помидоры. Одна радость — Скип. Я с ним даже разговаривала.

Маленький песик лежал на одеяле, которое Клома постелила для него под койкой.

Внезапно здоровенный негр вошел в комнату и сунул Джериду пол-литра белого вина. Джерид, не говоря ни слова, взял бутылку и поставил ее у стены рядом со вчерашней.

Клома сказала:

— Вот что еще здесь плохо. Все время у чужих на глазах. Если закроешь дверь, то в комнате как в печке. А если оставить открытой, люди, проходя мимо, так и норовят заглянуть. Ты купил аэрозоль?

— Да.— Джерид достал из пакета аэрозоль и отдал ей.— Но я не купил никакой свежей еды, только консервы. Нельзя же держать мясо и другие продукты без холодильника или льда. Придется пока так обходиться.

Клома начала опрыскивать комнату дезодорантом.

— Я еще три раза все вымыла, просто от нечего делать. Так что теперь довольно чисто. Но нам все-таки нужно несколько стульев. Днем даже посидеть не на чем возле дома, разве что на земле.

— Может, съездим в субботу в город и посмотрим в магазинах подержанной мебели,— сказал Джерид. Он понимал, как немыслимо тяжело Кломе сидеть весь день в маленькой тесной комнатенке.

— Хорошо бы. Старый стул не должен стоить дорого.

— Пойду смою с себя эту едкую пыль,— сказал Джерид, достав полотенце из картонной коробки.— От нее кожа чешется хуже, чем от ядовитого плюща. Никогда в жизни не видал полей, на которых было бы столько камней и пыли. Не знаю, как на них вообще что-то выращивают, но это у них здорово получается. Камни лежат повсюду, точно на дне горного ручья. Придется завести башмаки покрепче. А знаешь, я заметил, что некоторые черные работают босиком. Ноги у них железные, что ли.

— Скорее всего они просто привыкли,— сказала Клома.— И потом, я еще слышала, все эти черные крепкие, точно гвозди.

— Наверное, так оно и есть. А мне даже через подметки было больно. Знаешь, странное дело. Я раза два-три поглядывал на Кристи, и этот черный из соседней комнаты — тот, которого зовут Сай,— подкидывал ей помидоры в ведро.

— Это зачем же?

— Не знаю, может, он хотел ей помочь. Но, по-моему, он работал в ущерб себе.— Джерид встал и потянулся.— Ну, я пойду в душ, пока не просигналили на ужин.— Он оглянулся.— От аэрозоля в комнате совсем по-другому пахнет.

На этот раз ужин состоял из нескольких кусочков поджаренной соленой свинины с фасолью и тушеными помидорами. Титеры ели на земле возле своей комнаты. Поужинав, Кристи с Бенни пошли осматривать лагерь, а Клома отправилась к водопроводному крану возле уборной постирать пропотевшее за день белье. Джерид стоял, прислонившись к стене. Из комнаты выскочил Скип и сел рядом. Джерид протянул руку и погладил его по голове.

Сай тоже сидел на земле у своей комнаты. Он взглянул на Джерида и сказал:

— Как зовут вашу собаку?

— Скип,— ответил Джерид.— Прекрасная охотничья собака. Если в десяти милях появится кролик, он обязательно найдет.

— Здесь не разрешают держать собак,— сказал Сай.— Лучше отпустите его.

— Нет, не могу. Он у нас уже больше восьми лет.

— Можно вывести его за забор, когда утром отпирают ворота, и выпустить на волю.

— Он никуда не уйдет,— сказал Джерид.— Будет там торчать, пока не сдохнет с голоду.

— Можно отвезти его в поле и там оставить. Кто-нибудь подберет.

Джерида начал раздражать этот разговор. Он резко проговорил:

— Песик никому не мешает! Мы по возможности будем держать его в комнате, он никого не укусит!

— Дело ваше,— сказал Сай, давая понять, что разговор окончен.

Они несколько минут помолчали, потом Джерид взглянул на Сая и спросил:

— А что мистер Криди имеет со всего этого?

Сай пристально посмотрел на Джерида. Какое-то мгновение он молчал, затем пробормотал:

— Немало.

— Каким же это образом? — спросил Джерид, желая побольше узнать о лагере.

Сай оглянулся по сторонам, потом наклонился поближе к Джериду:

— Он — посредник. Пока мы работаем в поле, он получает по два доллара пятьдесят центов за каждый час нашей работы. Потом ему идет по доллару с каждого сборщика, которого он высылает в поле. Это — целая куча денег, но Криди все мало. Если б он сумел придумать способ вытаскивать из сортира дерьмо и продавать на удобрения, он бы и этим не погнушался!

Джерид быстро подсчитал и проговорил:

— Это, конечно, большие деньги, но ведь ему приходится платить за содержание лагеря, ужин и автобусы.

Сай снова испытующе посмотрел на Джерида. Он усмехнулся, но больше ничего не сказал.

— А кто эти двое, что водят автобусы и раздают вино? — спросил Джерид.

— Здорового зовут Джаббо, а тот, с кривым носом — Клаг.

— А почему они не работают на уборке? — спросил Джерид.

— Потому что эти ребята — люди Криди, они живут в домике на колесах. Вы держитесь от них подальше. Кроме как подлыми ниггерами их не назовешь.— Он встал.— Пойду немного погуляю. Еще увидимся.— Он явно устал от расспросов Джерида.

Джерид отвел Скипа в комнату, затем пошел к концу барака и завернул за угол. Ему хотелось поговорить с белыми, которые жили на южной стороне.

Вся семья сидела на земле возле своей комнаты. Мужчина был года на четыре моложе Джерида, женщина тех же лет, что и Клома, а мальчик — ровесник Бенни. Мужчина мрачно насупился.

Джерид присел рядом с ними на корточки.

— Здравствуйте. Меня зовут Джерид Титер. Или попросту Джей.— Он протянул руку.

Мужчина, не ответив на приветствие, угрюмо спросил:

— Что вам здесь нужно?

Такой прием удивил Джерида.

— Ничего. Я просто подумал, пойду, немножко поговорю. Мы сюда только вчера приехали. Мы из Западной Виргинии.

Мужчина еще больше насупился.

— И пришли сюда, потому что мы тоже белые?

— Нет,— ответил Джерид, чувствуя себя неловко и раскаиваясь, что завел разговор с незнакомым человеком.— Совсем не потому. Просто хотелось поговорить.

— Если думаете, что к вам будут здесь относиться по-особому, потому что вы белый, выбросьте это из головы.— Мужчина уже чуть не кричал на Джерида.— Криди плевать, какого ты цвета — белый, черный или красный. Ты для него еще одна рабочая лошадь в поле — только и всего. Пара лишних рук. Понял? Не будет тебе здесь никаких поблажек из-за того, что ты белый.

Джерида поразила эта вспышка, он обиделся.

— Я и не ищу никаких поблажек! — решительно заявил он.— Я всегда честно работал! Мы — горцы.

— Да уж лучше честно работай, черт побери! — отрезал мужчина.

Джериду этого было достаточно. Он вскочил, намереваясь уйти, но мальчик посмотрел на него и сказал:

— Моего папу зовут Уиллард Бэксли, а маму — Марта. А меня — Лонни. Мы из Алабамы.— Казалось, он извинялся за грубость отца.

— Я слышал, это — хорошее место,— проговорил Джерид, не зная, что еще сказать.— Рад был с вами познакомиться.— Он повернулся и быстро пошел прочь.

Когда Джерид вернулся, Клома была уже в комнате, но дети еще не пришли.

— Негде белье посушить,— пожаловалась она.— Забор слишком высокий, а в лагере ни одной веревки.

— Положи на нары,— посоветовал Джерид,— при такой жаре моментально высохнет.— Он все никак не мог оправиться после неприятного разговора с белым мужчиной, не пожелавшим знакомиться с ним.

— Нам обязательно надо купить электрический вентилятор, Джей. За ночь у меня вся постель промокла от пота.

Джерид, казалось, не слышал ее. Скип вылез из-под нар. Джерид протянул руку и погладил собаку по голове. Потрепав Скипа за уши, он сказал:

— Получше следи за Скипом. Здесь происходит что-то странное. Не отпускай его днем.

— Почему это вдруг такая забота? — спросила Клома.— Никуда он не денется, забор высокий, да и ворота заперты.

— Я тебе сказал: получше следи за ним,— стоял на своем Джерид.

В эту минуту в комнату вбежали дети. Лицо Бенни разрумянилось от волнения.

— Папа, мы сейчас ходили на южную сторону лагеря, за кухню. Там был мистер Сай! Он сказал, что болото, которое видно за полем, это — Эверглейдс и в нем водятся аллигаторы. Съездим посмотреть аллигаторов? Мы никогда их не видели.

Джерид взглянул на раскрасневшегося Бенни.

— Может, съездим в воскресенье после обеда. Но я не уверен, что там водятся аллигаторы.

— Мистер Сай зря не скажет! — воскликнул Бенни.

— Мистер Сай, когда собирали помидоры, бросал и мне в ведро,— сказала Кристи.— Он помогал мне, папа. Наверное, он не стал бы говорить про аллигаторов, если бы их там не было.

Джерид был доволен, что дети в хорошем настроении.

— Ну, если мистер Сай сказал, наверное, так оно и есть. Съездим в воскресенье после обеда и посмотрим.

— Может, поймаем маленького аллигатора и будем держать его дома. У нас в Динке ни у кого не было ручного аллигатора,— сказал Бенни.

Джерид поднялся с койки и вышел из комнаты. Внезапно ему захотелось немного побыть одному. Было уже темно, он направился к забору с северной стороны лагеря и стал любоваться заревом на востоке. Время от времени по шоссе в миле от лагеря проносилась машина, разрезая фарами темноту. Из барака доносились какие-то неясные звуки.

Когда Джерид повернулся, чтобы идти к себе, он заметил, что в темноте у ворот стоит Джаббо и наблюдает за ним.

6

До конца недели никто из Титеров не собрал больше, чем в первый день, но они начали привыкать к работе. Джерид знал, что со временем приноровится и сравняется с остальными сборщиками. Его беспокоила только Кристи — он вообще не хотел, чтобы она работала.

Ему было жаль негритянок, которые каждый день выходили в поле, хотя он знал, что они, наверное, трудились так всю жизнь.

К субботе по подсчетам Джерида они собрали за четыре дня шестьсот два ведра. Это было меньше, чем он предполагал, но для начала неплохо. Он надеялся, что со временем они смогут собирать по двести ведер в день, как и было задумано.

Автобус на этот раз поехал сразу в лагерь, не остановившись у магазина. Спустя полчаса на своем «Марке IV» подкатил Криди. Он привез серый металлический ящик с деньгами и уселся за маленьким столиком, к которому сразу выстроилась очередь.

Когда дело дошло до Джерида, Криди, посмотрев в свой журнал, сказал:

— Как у меня записано, ваша общая сумма составляет триста семьдесят два доллара пятьдесят центов.

— Мистер Криди, неужели мы столько заработали? — поразился Джерид.— Тогда вы, значит, платите не по двадцать пять центов за ведро, а больше.

— Я не сказал, сколько вы з а р а б о т а л и. Я сказал, сколько вы мне д о л ж н ы.

Джерид был оглушен. Какое-то мгновение он даже слова не мог вымолвить.

— Что вы сказали, мистер Криди? — наконец спросил он.

— То, что ты слышал! — нетерпеливо оборвал его Криди.— Вы должны мне триста семьдесят два доллара пятьдесят центов.

— Но этого не может быть! Никак!

— Ну давай посмотрим,— сказал Криди, заглядывая в журнал.— Плата за устройство на работу — сто долларов с каждого, кто живет в лагере, независимо от того, работает он или нет. Значит, с вашей семьи четыреста долларов. Это — единовременная плата. Далее, десять долларов в неделю за жилье. С вас — сорок долларов. И пять долларов за электричество. Ужин — два доллара с человека, итого: тридцать шесть долларов за четыре дня. Автобус — два доллара в день с каждого и ежедневный аванс на еду по доллару на нос. Вино — доллар пятьдесят центов бутылка. Итого: пятьсот двадцать три доллара. Вы заработали сто пятьдесят долларов пятьдесят центов. Таким образом вы должны мне триста семьдесят два доллара пятьдесят центов. Теперь понимаешь?

Джерид не понимал. Он был совсем сбит с толку быстрым потоком цифр, и ему казалось, что все это происходит с ним не наяву, а во сне.

— Почему же вы мне не сказали заранее о всех этих вычетах? Почему?

— Я тебе говорил, ты просто не помнишь или пропустил мимо ушей.— Криди оттолкнул журнал в сторону и посмотрел Джериду в глаза.— Будешь рассчитываться наличными или отрабатывать? — спросил Криди, почти наверняка зная, что у Джерида не хватит денег.

— Я не могу отдать сразу,— ответил Джерид, все еще не веря своим ушам.— У нас в дороге были большие расходы из-за фургона.

— Ну,— снисходительно сказал Криди, придвигая к себе кассу,— не успеешь оглянуться, как отработаешь долг, а потом начнешь делать настоящие деньги. Вот увидишь. Поэтому не беспокойся. Получай аванс: пять долларов тебе и по два пятьдесят каждому из ребят.— И он сунул Джериду в руки десятидолларовую бумажку.

Джерид взял деньги и вышел из очереди. Он вертел бумажку в руках, машинально разглядывая ее. Потом незаметно для себя стал смотреть, как люди подходили к столу и отходили, получив за неделю работы лишь пять долларов.

Когда он вошел в комнату, Клома тут же поняла, что случилось что-то неладное. Лицо его осунулось и побледнело. Он молча сел на койку, низко опустив голову.

— Джерид? Что случилось, Джерид? — тревожно спросила Клома.

Он попытался объяснить, но Клома не лучше Джерида разбиралась в сложных подсчетах Криди.

— Что же мы будем делать, Джерид? — Она всегда называла его полным именем, когда ее что-нибудь пугало или тревожило.

— Не знаю. У меня всего около ста пятидесяти долларов. Мы можем только отработать свой долг. Придется, наверное, быстрее собирать помидоры. Прости меня, что я втянул вас в эту проклятую историю.

В комнату внезапно вошел Джаббо и сунул ему бутылку вина. Джерид равнодушно поставил ее к стенке рядом с другими. Прозвучал гонг на ужин, и на этот раз он не успел принять душ.

После ужина все направились к автобусам для обычной субботней поездки в магазин. Джерид подошел к гиганту негру.

— Мы поедем в своей машине. Мне надо подзарядить батареи.

— Поедешь в автобусе,— отрезал Джаббо.— Как все.

Некоторые, казалось, с радостью ехали в магазин истратить свои пять долларов. Другие были так же подавлены и мрачны, как Джерид. Люди покупали еду, но находились и такие, кто тратил все деньги на виски.

Клома нашла на полке маленький электрический вентилятор за восемь долларов.

— Может, купим?

— Ладно. Но никаких стульев я здесь не вижу.

— Ничего,— ответила Клома.— За навесом у повара полно пустых ящиков из-под банок с фасолью, я сделаю из них себе стул.

Джерид купил еще консервов и коробку яиц, Кристи с Бенни истратили по двадцать пять центов на конфеты, затем Титеры вернулись к автобусу.

В это время к магазину подъехал Криди, и Джерид к нему подошел.

— Мистер Криди, нам разрешается выезжать из лагеря по воскресеньям?

— Зачем? — спросил Криди.

— Мы с семьей привыкли ходить в церковь. Дома я был даже церковным старостой.

Криди ухмыльнулся.

— Ты попроси Джаббо с Клагом сказать несколько слов, а этот ненормальный, который все время бубнит, что он повар, поиграет на скрипке. А ниггеры могут к тому же и спеть.

— Вы хотите сказать, что нельзя поехать? — серьезно спросил Джерид, которого шуточки Криди ничуть не забавляли.

— У меня и так масса дел,— нетерпеливо сказал Криди. Он повернулся и быстро пошел прочь.

Когда автобусы вернулись в лагерь, было почти темно. Некоторые рабочие расходились по своим комнатам уже пьяные. Привычную тишину лагеря нарушал визгливый хохот, из барака доносились крики и ругань дерущихся людей.

Оставив покупки в комнате, Джерид вышел и сел на землю. Сай, прислонившись к стене, пил виски из горлышка.

— Хотите? — спросил он.

— Нет,— ответил Джерид.— Но все равно спасибо.— Он был очень расстроен, но не хотел грубить негру.

Сай сделал еще глоток и сказал:

— Целую неделю я гнул спину за эту бутылку виски, а к завтрашнему дню от нее ничего не останется, кроме засохшей в пыли мочи. Целая неделя работы выльется в землю — и все.

Джерид поднял прутик и стал что-то рассеянно рисовать в пыли. Сай молча смотрел на него, потом сказал:

— Отличный малый Криди, а? Я пытался это вам втолковать.

— Ну ничего, мы здесь не задержимся. Не успеем оглянуться, как отработаем долг и уедем.

— Я здесь уже два года, а все хожу в должниках. И вообще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь уезжал из Энджел-Сити, кроме как ногами вперед. Разве что двое кубинцев. Кого-кого, а этих друзей Криди больше сюда не привозит.

— Это почему? — спросил Джерид, заинтересовавшись.

— Да вот месяцев шесть назад притащил он сюда пару кубинцев, заставил их поработать неделю и не заплатил ни гроша. Они по-английски почти не знали, прижали Криди и стали что-то кричать ему на своем языке. Потом вытащили длинные ножи, которые кубинцы всегда носят с собой. Один припер Джаббо и Клага к забору, а другой собрался вырезать свое имя на толстом брюхе старины Криди. Они забрали из «Марка IV» полный мешок денег и укатили. Пожаловаться в полицию Криди не мог, а поехать разыскивать их в Майами побоялся: он знал, что там его встретит еще сотня таких же головорезов. Пришлось Криди все это проглотить, зато когда он потом явился сюда, то со злобы избил до полусмерти человек шесть негров.

— А откуда приехали все, кто здесь живет? — спросил Джерид.

— Да отовсюду,— сказал Сай, снова прикладываясь к бутылке.— Криди ездит за ними даже в Северную и Южную Каролину. Обещает прекрасную работу. Раз я видел, как он привез сюда пьяного ниггера в этаком красном обезьяньем костюме вроде тех, какие носят швейцары в гостиницах. Негр протрезвел и устроил страшенный скандал. Они зверски избили его, но он все равно не хотел молчать. Тогда его посадили в пикап и увезли.

— А вы как сюда попали? — спросил Джерид, увлеченный рассказом Сая.

Чем больше негр пил, тем больше развязывался у него язык.

— Он подобрал меня в Белл-Глейде. Проезжал мимо лагеря, где я тогда жил, и пьяного посадил в машину. Очнулся я уже в Энджел-Сити.

— Ну если вы тут два года, то уж наверняка расплатились с Криди.

— Да проживи здесь хоть десять лет, все равно будешь ходить у него в должниках,— ответил Сай.

Джерид подумал, что Сай говорит это просто спьяну.

— Не верю я, что человека можно насильно здесь держать,— недоверчиво молвил он,— сколько бы, по словам Криди, он ни был должен. И потом, в конце концов, всегда можно вырваться и убежать в поле.

— Некоторые пробовали, но их всегда ловили. Вас когда-нибудь били пистолетом?

— Нет.

— На это и смотреть страшно, не то что на себе испытать.

Джерид помолчал, раздумывая над словами Сая. Он до сих пор не знал ни одного негра, но много раз слышал, что они всегда либо преувеличивают, либо беззастенчиво врут. И теперь никак не мог решить, можно ли верить этому чернокожему, но то, о чем говорил Сай, поразило его.

— А что же, все лагеря такие? — спросил он.

— Нет, не все,— Сай сделал еще глоток и продолжал: — Есть еще несколько вроде Энджел-Сити, откуда не вырваться, но это дела не меняет. По-настоящему все они для нас вроде капкана, и житуха нигде не лучше, заперты ворота или нет. Уж я этих лагерей на своем веку перевидал. Всю жизнь работаю сборщиком, езжу с места на место. Не знаю даже, где я и родился. Может, на томатном поле.

— Если вам не платят за работу после того, как вы рассчитались с Криди, просто не понимаю, почему вы не уедете,— не отступался Джерид.

Сай как следует глотнул из бутылки, вытер рот и сказал:

— Раза два-три я пытался уйти. Они избивали меня до полусмерти, но я только злее становился. А в последний раз, когда я хотел бежать, Криди отнял у меня сына.

— Что? — спросил Джерид, совсем растерявшись.— Что он сделал?

— Он взял моего сына и держит его у себя. А в лагерь привозит на свидания только по воскресеньям. У белой семьи он отобрал девчушку и еще увез из лагеря пять-шесть детей. Куда бежать, ежели ты связан по рукам и ногам.

Джерид не мог поверить своим ушам.

— Он не имеет права. Вы могли обратиться в полицию.

— Правильно, я пожалуюсь в полицию, а они отвезут моего мальчика на болото в пикапе. Убьют его, сбросят в водосточный колодец — и крышка. Мы с женой сотворили его на фасолевом поле однажды в полдень, потом он там и родился. Нет ни бумаг, ни записей, ничего, как я докажу, что он вообще жил на свете.

Джерид был поражен, но все никак не мог до конца поверить тому, что рассказал ему негр.

— Где же теперь ваша жена? С мальчиком?

— Умерла восемь лет назад во время родов. Мы жили тогда в Каролине, убирали фасоль. Кочующим рабочим похороны не по карману, я похоронил ее прямо в лесу.

И вдруг Джерид всему поверил. Он знал, что негр не мог сочинить такую историю. Он взглянул за забор, на темные поля; потом повернулся к Саю.

— И что же, с вами всегда так поступают?

— Вы говорите про ниггеров, которые работают в поле? — спросил Сай.

— Ну, если хотите, да.

— Всегда. Так было и будет.

— Простите меня, Сай. Я не знал. Я думал, все мои беды остались позади в горах Западной Виргинии, но теперь понимаю, что был просто слеп. Я и представить себе не мог, что здесь такое творится. Простите меня.— Он встал и быстро исчез в темноте.

7

Джерид ничего не сказал Кломе о своем разговоре с негром: он считал, что ей лучше не знать всей правды об Энджел-Сити, о Криди и о том, в каком неприятном положении они оказались. Он решил работать лучше всех и быстро погасить долг. Тогда все само собой останется позади.

Воскресенье тянулось медленно. Автобусы в магазин не выезжали, и ворота оставались на замке. Однообразие жизни в лагере, где людей содержали как пленников, действовало угнетающе.

Клома приготовила на завтрак яичницу. Джерид пригласил Сая, и негр с удовольствием присоединился к ним, сказав, что уже больше года не ел яиц. Они хотели угостить Руда, но он отказался. Старик съел на завтрак свою неизменную банку сардин.

Во второй половине дня Криди привез в лагерь детей. У Джерида разрывалось сердце, когда он смотрел, как мальчик подбежал к Саю и повис у него на шее. Сай взял сына за руку, и они скрылись в комнате. Теперь Джерид понял, почему белый рабочий, который жил по другую сторону барака, был так мрачен и неприветлив. Он ничего не имел против Джерида — его ожесточил страх за своего ребенка. Дже-

рид жалел все семьи, у которых отняли детей. И принялся раздумывать о том, что он станет делать, если Криди доберется и до него.

В понедельник утром Джерид очень волновался, когда их привезли на поле, и с бешеной скоростью взялся за работу. Он собирал помидоры, наполняя ведро за ведром, мчался к грузовику и бегом возвращался обратно. Бенни и Кристи с удивлением наблюдали за ним. Он не прекращал работы даже в обед, и ребята одни съели свои сосиски.

К концу дня Джерид собрал сто тридцать два ведра. Когда он возвращался с поля к автобусу, у него ныли кости, а мышцы гудели, как натянутые канаты. Под ложечкой сосало от голода: в последний раз он ел еще на рассвете.

В автобусе Кристи села рядом с ним.

— Ну и пахнет же от тебя, папа,— поморщившись, заметила она.— Зачем ты так носился по полю?

Джерид взглянул на свою одежду и только тут заметил, что она вся намокла от пота, будто он искупался в реке. К тому же он был весь покрыт белой пылью. Детская непосредственность Кристи рассмешила его.

— Знаешь, Кристи, ты права. От меня и впрямь отвратительно пахнет. Надо сполоснуться, прежде чем попадаться нашей мамочке на глаза.

Когда они подъехали к магазину, он купил продуктов на следующий день и банку солонины, которую с волчьей жадностью тут же по дороге проглотил. Приехав в лагерь, он оставил продукты в комнате и сразу отправился в душ.

За ужином Джериду стало стыдно, что он один съел всю банку солонины. Им дали вареные свиные позвонки с тыквой и тушеными помидорами. Они постоянно недоедали, но Джерид не хотел тратить в день больше трех долларов, которые им выдавали в качестве аванса на покупку еды. Он берег свои сто пятьдесят долларов на случай, если придется платить за то, чтобы уехать из лагеря.

Получив еду, Титеры вернулись к бараку и сели на землю возле своей комнаты. На запах свинины из барака выбежал Скип. Джерид дал ему костей, и песик с жадностью принялся их грызть. Джерид посмотрел на него и, ни к кому не обращаясь, сказал:

— По крайней мере ему хоть не приходится есть тушеные помидоры. Меня тошнит от одного их вида что здесь, что в поле.

Сай, сидя неподалеку, допивал из бутылки вино; тарелка его стояла нетронутой.

— Помои, которыми нас здесь кормят,— заметил он,— это отбросы с консервных заводов Хомстеда. Криди забирает их оттуда каждый день в мусорном контейнере. А остальное — солонину и шейные позвонки — он действительно покупает, да только на продовольственные талоны, которые нам положены: мы ведь расписались за них. Так что еда наша обходится ему задарма!

— Я свиней и то лучше кормил,— сказал Джерид,— но где-нибудь люди рады и этому. Только удовольствие от еды начисто пропадает.

— Папа,— сказала Кристи, отодвигая тарелку,— а если я напишу свое имя на помидорах, которые собираю, люди узнают обо мне?

— Возможно,— ответил Джерид.— Но на помидорах довольно трудно что-нибудь написать. И потом, все равно никому не известно, где ты находишься. Люди не думают, как достаются продукты. Едят — и все.

— Но должны же они знать,— возразила Кристи.— Собирать помидоры — тяжелый труд. Я все-таки попытаюсь написать свое имя на некоторых.

— А мистер Криди еще не уехал? — спросила Клома.

— Я недавно видел его у передвижного домика,— сказал Джерид, удивившись ее вопросу.— Зачем он тебе?

— Я сегодня написала письмо маме с папой. Может, он опустит.

Джерид поднялся.

— Пойду спрошу.

— Папа, у меня тоже есть письмо для Джеффа,— сказала Кристи.— Захватишь?

Джерид улыбнулся.

— Я знал, что у вас с Джеффом все не так просто. Вот почему ты хочешь вернуться в горы. Давай письмо, я его тоже отправлю.

Покраснев, Кристи пошла в комнату за письмом.

«Марк IV» все еще стоял у передвижного домика. Джерид постучал, и Криди открыл дверь. Джерид сказал:

— Не могли бы вы опустить пару писем, мистер Криди?

— Ладно,— ответил Криди.

— Марок у меня нет, но я дам вам две десятицентовые монеты.

— Отправлю по дороге в Хомстед,— сказал Криди и вернулся в передвижной дом.

Как только Джерид ушел, Криди разорвал письма пополам и выбросил в мусорную корзину.

На следующее утро Джерид отправился к навесу за сухими ветками и наткнулся на Скипа. Голова у собаки была отрублена и валялась в метре от туловища. В темноте Джерид не заметил Скипа и споткнулся о него. Чиркнув спичкой, Джерид увидел, что стоит в высохшей луже крови. На какой-то миг он замер, затем нагнулся и потрогал окровавленные останки.

Подобрав голову и туловище собаки, Джерид отнес их к фургону. Затем направился к передвижному дому и постучал в дверь. На стук выглянул Джаббо.

— Чего надо?

— Кто убил мою собаку? — возмущенно спросил Джерид.

— Какую собаку?

— Прекрасно знаете какую.

Джаббо хотел было закрыть дверь, но Джерид рывком распахнул ее и закричал:

— Кто убил его, черт подери, ты или Клаг?

Гигант негр угрожающе сверкнул глазами.

— Эй, белый, давай-ка лучше вали отсюда!

Здравый смысл заставил Джерида побороть гнев. Сделав шаг назад, он сказал:

— Мне нужна лопата, чтоб его закопать.

— Это запрещено,— ответил Джаббо.— Мистер Криди не разрешает. Можешь вынести пса за забор и там зарыть, когда вечером возвратимся в лагерь.

— Не гнить же ему целый день! — не уступал Джерид.— Я не выйду на работу, пока не похороню его.

Джаббо снова сверкнул глазами, в голосе его прозвучала угроза.

— Слушай, белый идиот, если тебя не будет в автобусе, когда сейчас отправимся в поле, я с тебя шкуру спущу.— И он захлопнул дверь.

Джерид немного подождал и вернулся к бараку. Клома стояла в дверях с кофейником в руке. Она тревожно спросила:

— Где хворост для огня, Джей? Я давно тебя жду. Теперь ты не успеешь позавтракать.

Не обращая внимания на ее слова, он сказал:

— Скипа больше нет. Кто-то убил его у навеса.

— Что? — недоверчиво переспросила она.— Кому понадобилось убивать Скипа?

Бенни и Кристи услышали слова Джерида.

— А где он сейчас, папа? — спросил Бенни.— Я хочу взглянуть на него.

— Возле фургона, но ты туда не ходи. Голова у него отрублена, страшно смотреть.

Кристи упала поперек кровати и разрыдалась, а Бенни выбежал из комнаты. Джерид закричал:

— Я сказал, не ходи туда, Бенни! Не смей!

Бенни остановился и оглянулся.

— Я хочу посмотреть на него,— повторил он.

— Нет! — снова сказал Джерид.— Мы закопаем его только вечером.

Бенни нехотя вернулся в комнату.

— Кто это сделал, папа? — возмущенно спросил он.

— Не знаю. Скорее всего Джаббо или Клаг. Сай говорил, что Криди не разрешает держать собак, но я его не послушал. Это я виноват в смерти Скипа, но мне и в голову не приходило, что кто-то может такое сделать.

— Зачем им понадобилось его убивать? — спросил Бенни, с трудом сдерживая слезы.

Джерид вошел в комнату и обнял Кристи. Она села на кровати и прижалась к нему.

— Прости меня, папа! Я не хотела плакать.

— Это бывает с каждым,— сказал Джерид.— И мужчины иногда плачут.— Он погладил ее по щеке.

— Вам надо чего-нибудь поесть. Я уже не успею сварить кофе,— сказала Клома.

Кристи и Бенни съели по лепешке, но Джериду ничего не лезло в горло. Он опять пошел к фургону и накрыл Скипа бумагой. Когда Джерид вернулся, Бенни спросил:

— А мы попрощаемся с ним, папа?

— Обязательно.

Сай видел все, но не произнес ни слова.

Когда они приехали в поле, Джерид снова с жаром принялся за работу. Было еще утро, а он собрал уже сорок ведер. Однако чем больше Джерид думал о Скипе и обо всем, что внезапно вошло в его жизнь, тем больше ожесточался. Один раз он остановился и так сжал пальцы, что сок помидора алой кровью потек по его руке. В другой раз он перевернул полное ведро помидоров и начал давить их ногами.

— Мистер Джей, не надо топтать помидоры,— сказал Сай, подходя к нему.— Они принадлежат не Криди, а тому, кто платит за их уборку.

Джерид понял, что поступает глупо.

— Наверное, вы правы.— Слова Сая успокоили его, и он постарался отогнать от себя злые мысли. Но работал он все так же неистово. К полудню он собрал семьдесят ведер помидоров.

Во время перерыва, сидя в белой пыли, они съели две банки макрели и пакет крекеров. Вскоре к ним подсел Сай.

— Мистер Джей, не принимайте все близко к сердцу. Вы так только себя погубите. Ведь не имеет значения, сколько ведер вы соберете.

— Ничего, я в порядке,— упрямо проговорил Джей,— в полном порядке.— Он вытер пот, застилавший ему глаза, и выпил жидкость, оставшуюся в банке из-под макрели.

Когда вечером они возвратились в лагерь, Джерид сразу пошел к фургону, Скипа там уже не было. Джерид обыскал весь лагерь, но не нашел ни убитой собаки, ни места, куда ее могли закопать. Случайно взглянув на юг, где расстилалось поле, Джерид увидел канюков, которые кружили над краем болота. Он выругался про себя и вернулся в комнату.

Бенни встретил его в дверях.

— Пошли хоронить Скипа, папа?

— Его уже зарыли. Я видел маленький холмик за забором.— Он не хотел, чтобы мальчик знал, что Скипа выбросили в болото на съедение хищным птицам.

— И его похоронили без молитвы? — спросил Бенни.

— Не знаю. Но мы можем помолиться за него в комнате. Ему уже все равно. Мы сделаем это после ужина.

Когда стемнело, Джерид направился к северной стороне забора и стал прогуливаться вдоль него туда и обратно, стараясь убедить себя, что на самом деле положение не такое уж безвыходное. Пожалуй, не стоит расстраиваться из-за пустяков, решил он. За два дня он собрал двести семьдесят три ведра помидоров, и Бенни с Кристи работали лучше, чем на прошлой неделе. Если он сохранит такой темп, то расплатится с долгом меньше чем через полмесяца. А потом они либо останутся работать в поле, но только уже в другом лагере, либо поедут куда-нибудь еще. Джерид остановился и обеими руками ухватился за забор. Он раскачивался взад и вперед, внезапно обессиленный страшной усталостью. Затем неверными шагами вернулся в комнату.

Когда он вошел, Бенни поднял на него глаза и проговорил:

— Пап, мы еще не помолились за Скипа.

Джерид совсем об этом забыл. Он стал на колени прямо на цементный пол и тихо промолвил:

— Господи... благослови Скипа... дай ему у себя место с лесами, полными кроликов, где бы он мог бегать и охотиться и где он будет счастлив... не оставляй его, господи... эта собачка не причинила никому вреда... и, господи, не оставляй всех нас...

С этими словами он встал, не раздеваясь повалился на койку и мгновенно заснул.

8

Несмотря на слова Сая и собственные тревожные предчувствия, Джерид до конца недели не сбавлял темпа работы. С каждым днем он собирал все больше помидоров, а вечером валился на койку и засыпал еще до того, как оранжевый закат успевал раствориться на западной стороне неба. Он даже перестал возмущаться помоями, которые им давали на ужин. Он машинально пережевывал и проглатывал пищу, слишком задавленный усталостью, чтобы еще раздумывать или волноваться по поводу еды.

Клома заметила перемену в Джериде, и это ее тревожило. Таким она его никогда не видела. Джерид всегда любил поесть, а после ужина посидеть, поговорить о делах или просто поболтать. Бенни с Кристи тоже отметили необычное состояние отца, но они-то знали причину его усталости. Они только не понимали, почему он так надрывается на работе, но ни о чем не спрашивали и лишь огорчались, наблюдая, как он изо дня в день трудится в поле.

Наконец наступила суббота. Когда рабочий день кончился и рабочие вернулись в лагерь, Джерид сразу отправился в комнату и занялся подсчетами. За неделю он собрал восемьсот пятьдесят два ведра, Бенни — триста шесть, а Кристи — двести сорок. Он складывал цифры медленно и старательно. Всего вышло тысяча девяносто восемь ведер, за которые они должны получить триста сорок девять долларов пятьдесят центов, а с вычетами сто восемьдесят четыре доллара. Затем он вспомнил десятку, которую Криди дал ему в виде аванса, и заработанная сумма уменьшилась до ста семидесяти четырех долларов. Он вычел ее из трехсот семидесяти двух долларов пятидесяти центов, которые задолжал Криди; получилось сто девяносто восемь долларов пятьдесят центов — вот и все, что останется выплатить.

Джерид почувствовал огромное облегчение. Еще чуть поднапрячься, и на следующей неделе они рассчитаются с долгом, а если немного не хватит, он доплатит разницу. Отупляющая усталость, накопившаяся за неделю, внезапно исчезла, на него нахлынула радость. Он вскочил и, поцеловав Клому в лоб, сказал:

— Вот и прекрасно! У нас все пойдет как по маслу!

Она вопросительно на него посмотрела, а он выбежал из комнаты и занял очередь за жалованьем.

Когда он подошел к столу, Криди заглянул в журнал, затем поднял глаза на Джерида.

— Ты за эту неделю хорошо потрудился, Джей Птичка. Сократил свой долг на пятьдесят долларов. За тобой еще триста двадцать два доллара пятьдесят центов.

Понадобилось несколько мгновений, чтобы слова Криди дошли до сознания Джерида.

— Вы не правы, мистер Криди,— возмущенно сказал Джерид.— Мы заработали сто семьдесят четыре доллара чистыми! И за мной только сто девяносто восемь долларов пятьдесят центов! Я все подсчитал!

Лицо Криди налилось кровью.

— Черт подери, Титер, здесь учет веду я! Как я сказал, так и будет.

Эта внезапная вспышка ярости заставила Джерида слегка отступить. Глядя Криди прямо в глаза, он проговорил:

— Знаете что, мистер Криди. У меня осталось от поездки сто пятьдесят долларов. Я их вам отдам. А потом сажаю семью в машину и уезжаю — прямиком через эти ворота, без оглядки, и вы не посмеете меня остановить.

Криди вскочил из-за стола.

— Никто не уезжает из Энджел-Сити, не заплатив мне долг! Слышишь — никто! Понял меня? Ты не посмеешь уехать!

— Я выезжаю через ворота и до свидания,— спокойно повторил Джерид.— И вы меня не остановите.

Джерид не заметил Джаббо, стоявшего позади, и не ожидал удара, который обрушился на него. Джерид ничком упал на землю. Потом попытался встать, но негр оглушил его. Какой-то миг Джерид лежал не двигаясь, выжидая, чтобы перед глазами исчезло мелькание пестрых огней и он начал видеть. В ушах оглушительно звенело, но он все же услышал, как Криди сказал: «Добавь-ка ему еще, Джаббо!» Потом почувствовал, как тяжелый грубый башмак пнул его в голову.

Джерид не знал, сколько времени пролежал на земле. Когда он наконец приподнялся и смог сесть, очередь у стола растаяла. Над ним стоял Криди. Он швырнул на землю десятидолларовую бумажку и сказал:

— Вот тебе аванс на следующую неделю, Джей Птичка.— С этими словами он повернулся и пошел прочь.

Когда Джерид добрался до крана возле душа, рабочие уже встали в очередь за ужином. Он открыл воду и подставил голову под струю, затем медленно побрел в свою комнату.

Клома, Кристи и Бенни ждали его у двери.

— Где ты пропадал, Джей? — спросила Клома.— Мы не успеем поужинать, пошли скорее! — Она заметила, что у него мокрая голова и на лице кровоподтеки.— Джерид, что ты там делал? — тревожно спросила она.

— Ничего особенного,— ответил Джерид.— Просто немного сполоснулся у крана. Пошли ужинать.

Они отправились к навесу и, получив ужин, вернулись к бараку. Джерид с трудом проглотил несколько кусочков, поставил тарелку и проговорил:

— Клома, я должен вам кое-что сказать, слушайте меня внимательно.

— В чем дело, Джерид? — спросила она, все еще ничего не понимая, встревоженная внезапной переменой, происшедшей в муже.

— Скоро автобусы поедут в магазин и ворота будут открыты. Нужно, чтобы вы все стояли наготове у восточной стены барака. Я хочу выехать на фургоне. Когда я заведу мотор, бегите и прыгайте на ходу в машину. Мы уезжаем.

— Почему так внезапно? Перед ужином ты говорил, что у нас все будет хорошо.

— Делайте, как я говорю! — резко сказал он.

— А как быть с вещами?

— Пусть остаются! Идите!

Джерид медленно подошел к машине. Вокруг никого не было. Он вставил ключ в зажигание и нажал стартер. Двигатель молчал. Он вылез из машины и открыл капот. Заглянув внутрь, он сразу все понял: аккумулятора на месте не было. Он закрыл капот и вернулся к бараку.

— Садитесь на автобус, поедем в магазин,— сказал он совершенно спокойным голосом.— Надо купить еду на следующую неделю.

Клому его поведение совсем сбило с толку. Она ничего не могла понять, и это усиливало ее беспокойство. В полном смятении она, как и вся ее семья, встала в очередь и вместе с остальными рабочими начала протискиваться в автобус.

Когда они вернулись из магазина, Джерид сел на край койки, бессильно свесив руки. Голова у него разламывалась, правая сторона лица побагровела. Клома понимала, что случилась беда, но Джерид пока не хочет ей ничего говорить, и молча зашивала его порванную рубашку. Кристи сидела на койке и шила держалку для горячих кастрюль, а Бенни где-то гулял.

Джерид внимательно посмотрел на Клому. Ее живот с каждым днем увеличивался. Для него она все еще оставалась совсем молоденькой. Почти такой же, как в тот день, когда на благотворительном базаре в церкви он купил у нее жареного цыпленка и они потом вместе съели его. Он помнил их свадьбу, их первую брачную ночь, долгие прогулки в лесу, когда они мечтали о будущем, которое неизменно связывали с горами и фермой Титер-Ридж. У них была нелегкая жизнь, но она освещалась частыми вспышками счастья. Джерид помнил еще, какой была Клома, когда носила Кристи.

Затем он перевел взгляд на дочь, подумал, как удивительно она похожа на Клому в молодости. Те же синие наивные глаза. То же незнание жизни — вот и сейчас она не понимала того, что происходило вокруг. Он вдруг подумал, как все они зависят от него. Он держал их жизни в своих руках и мог, словно гончар из глины, лепить из них все что угодно. Это открытие испугало его. Такая ответственность нелегка для любого мужчины, а теперь, когда он бросил ферму и переехал сюда, она еще более тяжким грузом легла на его плечи. Джерид еще раз посмотрел на жену и дочь — он сознавал, что они не заслуживают заточения в этом отвратительном лагере, в мрачной каменной каморке, куда он их привез. На поверку он оказался плохим гончаром, и ему было больно об этом думать. Он встал и вышел на улицу.

Сай стоял, прислонившись к стене, и пил из литровой бутылки виски. Джерид сел рядом с ним.

— Я видел, как они вас отделали,— сказал Сай.— Но все это пустяки по сравнению с тем, на что они способны.

— С меня и этого хватит,— сердито сказал Джерид.

— Хотите выпить?

— Нет, спасибо,— проговорил Джерид. Затем рассеянно пробормотал: — Должен же быть какой-то выход.

Сай поставил бутылку на землю.

— Мистер Джей, только не повторяйте глупостей. Живите себе и ждите своего часа. Ну какой вам толк от того, что вас ухлопают?

— Но ведь должен же быть какой-то выход,— упрямо повторил Джерид.— Можно сообщить в полицию или кому-то еще. Есть же на свете добрые люди.

— Только напрасно время потратите,— сказал Сай, снова прикладываясь к бутылке.— На таких, как мы с вами, всем наплевать. Мы для них пустое место. Тьфу, и все. Чем раньше вы это поймете, тем лучше. Принимайте жизнь такою, как она есть. А если не успокоитесь, то в конце концов натворите такого, что в здравом уме никогда бы не сделали. Все равно ничего не измените. Принимайте жизнь такою, как она есть, а об остальном забудьте.

— И что же, все здесь так думают? — спросил Джерид.

— Они уже давно это для себя решили. Здешние люди мертвые, мистер Джей. Мертвец — не только тот, кто не дышит. Из этих людей выбили жизнь. Они уже родились мертвыми. Им остается только работать и ждать, пока не зароют в землю. А если у них есть где поспать, какая-нибудь еда да бутылка виски в субботний вечер, то уже не так тяжко коротать оставшиеся часы.

— Меня им не сломить! — твердо сказал Джерид.— Никогда. Мы — с гор!

— Плевать им на то, что вы с гор,— сказал Сай.— Смотрите не натворите глупостей.— Он протянул Джериду бутылку.— Почему бы вам немного не взбодриться? От виски только полегчает. Я знаю, голова у вас сейчас раскалывается.

Джерид взял бутылку и отвинтил пробку. Сделав большой глоток, он вернул ее Саю. Тепло, разлившееся по телу, было приятно, и боль в голове почти утихла.

— Спасибо. Я вам очень признателен.

Он пошел к себе в комнату и лег на койку.

9

В понедельник Джерид вышел в поле и по-прежнему трудился изо всех сил. Теперь он понял, почему Сай сказал, что неважно, сколько он соберет помидоров. Тем не менее Джерид снова решил попытаться существенно уменьшить свой долг. А вдруг Криди иначе отнесется к ним, если увидит, как он, Кристи и Бенни хорошо работают и ведут себя смирно.

В среду после обеда Джерид заметил, что старик Руд стал еще более странным, чем всегда. Утром Джерид работал рядом с ним, и старик тянул свою бесконечную песню об Иисусе на томатном поле. В этом ничего особенного не было, потому что Руд почти всегда что-то напевал, но потом он начал опрокидывать ведра с помидорами на землю, вместо того чтобы нести их к грузовику. Он накладывал помидоры доверху, опрокидывал ведро, двигался дальше, снова наполнял ведро и снова высыпал помидоры. В ложбинке между рядами помидор за ним тянулась сплошная красная полоса.

Один раз к нему подошел Сай и что-то сказал, но старик продолжал петь и устилать помидорами выемку между рядами. Спустя несколько минут он бросил ведро и побрел к араукариям, выстроившимся вдоль дороги. Джерид заметил, как Джаббо тотчас пошел вслед за ним и вернул его на поле; но как только Джаббо отошел, Руд снова отправился к деревьям. Больше Джерид не видел Руда, пока они не вернулись в лагерь.

После ужина на их сторону барака пожаловали Криди с Джаббо. Джерид и Сай сидели на земле и разговаривали. Негр первым заметил подошедших и быстро сказал Джериду:

— Мистер Джей, что бы сейчас ни случилось, вы в это дело не вмешивайтесь. Мы здесь ничем не поможем.

— Не понимаю, о чем вы.

— Сейчас поймете,— ответил Сай.— Только не вмешивайтесь.

Криди подошел к двери и заглянул в комнату. Руд сидел на койке и по-прежнему пел. Джерид с удивлением увидел, как Криди вошел к комнату. Первый удар прозвучал так, будто кто-то грохнул бутылку о каменный пол.

Сначала старик только повизгивал, затем начал кричать. Джерид вскочил на ноги, когда из комнаты выбежала Клома.

— Боже мой, что происходит? — спросила она дрожащим голосом.

— Иди обратно в комнату! — резко сказал Джерид.— И не смей выходить, пока я не позову!

Джерид двинулся к комнате, но Сай загородил ему дорогу.

— Я ведь вам говорил! Мы ничем не поможем!

— Но нельзя же стоять и смотреть, как избивают старика! — с отчаянием сказал Джерид.— Они убьют его, если мы не вмешаемся!

— Говорю вам, мы ничем не поможем! — закричал Сай, отталкивая Джерида.— Хотите ни за что получить то же самое?

В дверной проем Джериду видно было, как старик, закрыв руками голову, тщетно пытался уберечься от ударов. Рукоятка пистолета поднималась и опускалась. Чем беспощаднее его били, тем истошнее он вопил; потом при каждом ударе он начал выкрикивать: «Господи! Господи!»

Наконец Криди и Джаббо вышли. Внезапно рассвирепев, Криди крикнул Джаббо:

— Мало мы ему дали! Вернись-ка и добавь старому идиоту пару горячих! — Он повернулся и пошел, а Джаббо нырнул в комнату и снова начал рукояткой пистолета избивать Руда.

Как только Джаббо ушел, Джерид бросился в комнату Руда. Старик раскачивался взад и вперед, обхватив голову руками. Он стонал: «О господи... О господи... О господи...» Он был весь в крови, стены и пол были забрызганы кровью.

Джерид вбежал в свою комнату, на ходу крикнув Кломе:

— Приготовь какие-нибудь тряпки. Ты нам нужна. Только побыстрее!

Он взял ведро и побежал к крану за водой. Затем они вместе с Саем положили старика на койку.

Клома старалась остановить кровь, но не успевала она ее вытереть, как красные пузырьки на голове Руда выступали снова.

— Ему срочно нужен врач. С такими ранами я ничего не могу поделать. У нас нет ни лекарств, ни бинтов.

— Придется обойтись тем, что есть,— сказал Джерид.

Сай осмотрел пробитую голову старика и сказал:

— Тронутый он был, бедняга, но уж помидоры умел собирать. Если б не это, давно бы его здесь не было. Только теперь он наверняка тут не задержится.

Руд наконец перестал стонать и затих. Клома положила ему на лоб мокрую тряпку.

— Единственное, что мы можем сделать, это все время менять примочки на голове и присматривать за ним ночью. Кровь начинает останавливаться. Вы не знаете, из-за чего они так набросились на него?

— Ничего он плохого не сделал,— ответил Сай.— Просто состарился и износился. Слишком долго работал в поле.

Джерид и Сай вышли наружу и сели на землю, а Клома осталась в комнате с Рудом.

— Повидал я мерзких людей на своем веку,— заметил Джерид,— но куда им до Криди. Он будто и не человек.

— Самый что ни на есть обыкновенный,— возразил Сай.— Таких, как Криди, сколько угодно. Во всех лесах полно. Просто вы об этом не знали.

— У нас в Западной Виргинии такого негодяя давно бы повесили на первом суку,— сказал Джерид.

— А там, где я бывал, нигде этого не делали,— возразил Сай.

Джерид подумал немного.

— Я рад, что жил в других краях. Я бы этого просто не вынес.— Он встал и пошел к своей комнате.— Устал я смертельно, пойду прилягу. Разбудите меня, если понадоблюсь Руду.

— Вряд ли ему теперь что понадобится,— заметил Сай.— Зато хоть помидоры собирать завтра не придется.

На следующий день вечером Клома с нетерпением ждала возвращения автобусов.

— Я за ним целый день ухаживала,— сказала она, подбегая к Джериду,— но после полудня никак не пойму, дышит он или нет.

Джерид и Сай сразу пошли к старику. Джерид пощупал пульс, потом приложил ухо к груди.

— Он мертв. Надо пойти сказать кому-нибудь.

Минут через десять после того, как Джерид поговорил с Джаббо, гигант негр подогнал задом к двери красный пикап. Они с Клагом положили тело в кузов и накрыли его куском мешковины.

Джерид смотрел, как грузовик выехал за ворота и помчался по грунтовой дороге, ведущей к шоссе. За ним поднималось густое облако белой пыли.

— Интересно,— пробормотал Джерид,— как они объяснят, отчего у Руда такие раны на голове?

— А кому им объяснять-то? — спросил Сай.

— В похоронном бюро или полиции.

— Его и не собираются хоронить. Его везут на болото.

— Вы хотите сказать, они просто бросят его на болоте? — недоверчиво спросил Джерид.

— Закопают там или швырнут в омут. Руд не первый, кого увозят в этом пикапе. Были и другие. Живой или мертвый ты туда попадешь, обратно никто уже не возвращается.

— А вы не придумываете? — все еще не веря его словам, спросил Джерид.

— Мистер Джей, если вас когда-нибудь попытаются посадить в этот пикап, деритесь, как дикая кошка. Потому что это не машина, а катафалк. Когда туда попадают, обратно не возвращаются.

Сай говорил так искренне, что Джерид снова ему поверил.

На следующей неделе Джерид начал работать медленнее. Это получилось само собой, и сначала он не заметил, что стал отставать. Джерид никак не мог сосредоточиться: ему не давали покоя тяжелые мысли. Он корил себя за то, что остался в стороне и пальцем не шевельнул, когда убивали человека. Сай был прав: Джерид ничего не мог изменить. Ему было жаль старика, который умер в одиночестве, не видя ни единого дорогого лица. Словно не человек, а скотина. Он думал о том, что каждый человек достоин любви. Даже за Скипа они помолились. Джерида пугало и то, что Криди, Джаббо и Клагу ничего не стоит забить человека до смерти — все равно что пойти в сарай и зарезать на ужин курицу. Джерид вырос и жил в мире, где не было места таким людям, и он не мог заставить себя примириться с этими новыми правилами жизни, в которую он попал. И потом он не хотел, чтобы его дети видели подобную мерзость.

Заметив, что собрал меньше помидоров, Джерид с удвоенной силой набрасывался на работу, но его хватало только на час, а потом

он снова отдавался гнетущим мыслям и опять начинал отставать. Он не замечал ни камней, ни пыли, ни жары, ни голода; не замечал он и того, что Джаббо постоянно наблюдает за ним.

Когда суббота подошла к концу, он подсчитал, что они собрали за неделю тысячу триста двадцать ведер. За них он должен был получить триста тридцать долларов, а после всех вычетов — сто шестьдесят пять долларов пятьдесят центов. Он отнял эту сумму от трехсот двадцати двух долларов пятидесяти центов, и долг его сократился до ста пятидесяти семи долларов. Но радости, как в прошлую субботу, он не испытывал.

Он встал в молчаливую очередь за деньгами, и когда подошел к столу, Криди, мельком заглянув в журнал, сказал:

— За эту неделю твой долг уменьшился на тридцать пять долларов. За тобой — двести восемьдесят семь долларов пятьдесят центов.

Джерид спокойно воспринял эти слова и сам удивился этому. Он даже не стал возражать. Забрав десятидолларовую бумажку, он вернулся к восточной стороне барака и оттуда стал наблюдать, как каждый, стоявший в очереди — будь то мужчина или женщина,— получает свои пять долларов и возвращается к себе в комнату. Когда Криди кончил раздавать деньги, Джерид подошел к нему и сказал:

— Мистер Криди, можно вас на минутку?

— Ну что тебе еще надо? — нетерпеливо спросил Криди.

— Я хочу отдать вам свой фургон, чтобы возместить долг.

Криди быстро окинул взглядом машину.

— Эта колымага ничего не стоит.

— В Западной Виргинии я отдал за фургон свой пикап и еще пятьдесят долларов. И по дороге сюда истратил на него уйму денег. Он стоит намного дороже, чем весь мой долг. Можете взять его, и будем в расчете. А до Хомстеда мы доберемся пешком.

— Ты, наверное, думаешь, что я ненормальный,— сказал Криди.— Мне это совсем невыгодно. Я же не виноват, что ты позволил торговцу подержанными машинами себя обдурить. Я могу продать фургон, а то, что получу, пойдет на погашение долга. Согласен?

— Что делать, если по-другому вы не хотите.— Джерид отдал ему ключи и пошел к бараку. Завернув за угол, он оглянулся и увидел, как Джаббо вынес из передвижного домика аккумулятор и поставил на место.

10

За октябрем незаметно пришел ноябрь, рассветы стали прохладнее, но дни оставались по-прежнему влажными. В Западной Виргинии скоро должен был выпасть снег — пора заготовки дров и охоты на оленей. Деревья с оголившимися ветвями, должно быть, сурово замерли в ожидании холодов, коричневые поля, наверное, уже вспахали под пар. Постройки, дворы и леса скоро покроются белой пеленой, и под ногами весело захрустит снег. Дни станут короче, ночи длиннее, от потрескивающих в камине поленьев будут подниматься в серое небо тонкие струйки черного дыма. По вечерам в эту пору хозяйки наваливают на постели груды одеял. Джерид чувствовал, что Клома и дети тоже вспоминают о доме, только молчат.

Но на томатные поля Флориды и близлежащие окрестности осень не принесла никаких перемен. Араукарии и пальмы не теряли своей зеленой окраски. Листья с фруктовых деревьев не облетали, стебли помидоров не сохли и не бурели. Автобусы по-прежнему ежедневно сбрасывали армии людей на поля, по узким сельским дорогам с грохотом проносились грузовики, доставляя тысячи ящиков помидоров, фасоли, тыквы, окры на консервные заводы Хомстеда и Флорида-Сити; каменистые поля продолжали давать жизнь фруктам и овощам, которые попадали потом в супермаркеты в дальних городах;

их покупали люди в засыпанных снегом пальто, понятия не имевшие о том, откуда и каким образом свежие плоды появились у них зимой. Они их просто принимали как должное.

Для обитателей Энджел-Сити тоже все оставалось по-прежнему. Завтрак, проглатываемый еще до рассвета и состоящий из дешевых сардин и сосисок; поездка на автобусе в поле, где предстояло десять часов работать; обед, состоящий из сардин и сыра; вечером — остановка у магазина «Гейтер», чтобы купить те же консервы и сыр на завтра; затем бутылка вина и скудный горячий ужин; ночью — душные тесные каморки; по субботам — виски. Время от времени кого-нибудь били по черепу пистолетом. И все это были непременные вехи на пути следования помидоров, которые потом в салатах и сандвичах подавались на столы Нью-Йорка и Бостона, Чикаго и Детройта, Нового Орлеана и Миннеаполиса, Денвера и Торонто.

Для Джерида Титера, с нетерпением ожидавшего известия о том, что Криди продал его машину, все дни были похожи один на другой. Подходил уже конец второй недели, а он так и не видел Криди с тех пор, как отдал ему ключи. Джерид был уверен, что денег от продажи фургона хватит, чтобы погасить долг, и поэтому ослабил бешеный темп, с каким работал прошлые две недели. Теперь он не надрывался и собирал в среднем девяносто ведер в день.

Встав в очередь за деньгами, Джерид раздумывал, отдаст ли ему Криди то, что останется от продажи машины после погашения долга. Если Джерид получит хоть небольшую сумму, он купит в Хомстеде старенькую машину, которая сгодится на первых порах, пока он не сумеет приобрести что-нибудь лучше.

Когда подошла очередь Джерида, Криди, взглянув на него, сказал:

— Ты на этой неделе еле-еле угнался за остальными. Что с тобой случилось?

Сначала Джерид ничего не ответил. Его сейчас больше всего интересовали деньги, вырученные за машину, и он не хотел раздражать Криди. Наконец он виновато сказал:

— Я очень устал, мистер Криди. Но мне кажется, я не так уж плохо работал.

— Ну придется тебе постараться, если хочешь когда-нибудь погасить долг. Мне дали на свалке пятьдесят долларов за твою колымагу, так что за тобой еще двести тридцать семь долларов пятьдесят центов.

На мгновение Джерид замер. Кровь отхлынула от лица, руки задрожали. Потом его прорвало:

— Черт бы тебя, Криди, побрал! За кого ты меня принимаешь, за последнего идиота?

Он так закричал, что люди, стоявшие позади, испугались и попятились. Джаббо с Клагом придвинулись ближе к Джериду. Криди, оттолкнув свой стул от стола, приподнялся.

Джерид посмотрел сначала на Криди, затем на Джаббо и Клага. Ему неудержимо хотелось пустить в ход кулаки и разукрасить ненавистную морду Криди, чем бы это ему ни грозило. Несколько мгновений он колебался, весь напрягшись от ярости; потом он взял со стола десятидолларовую бумажку и быстро пошел к бараку.

За ужином Джерид ни с кем не разговаривал; перед поездкой в магазин он взял из своих сбережений три двадцатидолларовые бумажки. Сделав покупки, он разменял их по одному доллару и запихнул толстую пачку денег в карман.

Когда они вернулись в лагерь, Джерид пригласил Сая на прогулку. Они отошли к северной стороне забора. Придвинувшись к негру, Джерид сказал:

— Мне нужна ваша помощь.

— А в чем дело, мистер Джей? — осторожно спросил Сай.

— У меня есть план,— сказал Джерид.— Я знаю, как мы можем заставить Криди платить людям то, что положено.

— Как же это? — спросил Сай, пристально глядя на Джерида.

— Мы просто не выйдем в поле. Если мы откажемся работать, Криди ничего не сможет поделать. Нельзя же избить всех рабочих.

— Я не совсем понимаю, что вы задумали,— проговорил Сай.

— Утром в понедельник, когда автобус повезет нас на работу, мы не выйдем в поле, пока Криди не заплатит всем полностью за прошлую неделю.

Сай почесал голову.

— Люди на это не пойдут. Они побоятся.

— Не может же он избить всех рабочих,— продолжал настаивать Джерид.

— Так-то оно так,— признал Сай.— Но я просто не верю, чтоб рабочие согласились.

— Наверное, это поможет их убедить,— сказал Джерид, вытаскивая из кармана пачку денег.— Сколько рабочих ездит в нашем автобусе каждое утро? Человек двадцать пять — тридцать?

— Что-то вроде этого.

— Мы дадим каждому по два доллара. Начнем с нашего автобуса. Если получится, проделаем то же во втором.

— Не знаю, мистер Джей,— усомнился Сай.— Просто не знаю, что вам и сказать. Криди уж точно рассвирепеет как черт. И не угадаешь, что он может наделать.

— Не изобьет же он всех рабочих,— повторил Джерид.— Стоит попробовать. Кроме моих денег, нам терять нечего. Вы сможете раздать их рабочим и объяснить, что надо делать?

— Почему именно я? — спросил Сай, снова начиная сомневаться в затее Джерида.

— Вас они скорее послушают.

— Потому что я ниггер?

— Да,— коротко ответил Джерид.— Вам не надо ни с кем спорить. Просто дайте деньги и скажите, что делать. И только. Если в понедельник они все равно выйдут из автобуса и пойдут в поле, значит, сорвалось. А может, и получится.

Сай нехотя взял пачку денег.

— О'кей, мистер Джей. Я попробую. Но как закончу, сразу выпью залпом бутылку виски. Старина Криди рассвирепеет как зверь.

Джерид видел, как Сай вошел в первую дверь на западной стороне барака.

В понедельник утром рабочие молча сели в автобус, и по дороге никто не проронил ни слова; Джерид волновался, раздумывая, удастся ли его план, но по лицам сборщиков не мог ничего определить. Лица у рабочих были мрачные, и все подозрительно поглядывали друг на друга.

Когда автобус подошел к полю, Джаббо остановил его возле араукарий и вышел. Никто не двинулся. Джаббо на какой-то момент растерялся, затем снова вошел в автобус и крикнул:

— А ну выходи!

Никто не двинулся с места.

— Передайте Криди: сегодня работать не будем,— сказал Джерид, вставая,— до тех пор, пока нам не заплатят.

Джаббо, казалось, растерялся. Он несколько минут сердито сверкал глазами на сборщиков, затем задом вывел автобус из тени араукарий на край поля, закрыл окна, вышел и захлопнул дверцу.

Минуты для сборщиков, продолжавших сидеть на своих местах, казались часами. К середине утра солнце превратило автобус в раскаленную печь. Джерид вытирал пот с лица и думал, сколько они

смогут выдержать. Он впервые почувствовал близость к этим людям, среди которых раньше выделял только Сая. Может быть, они еще не совсем сломлены, подумал он.

Наступил полдень, и жара еще больше усилилась. Не было воды, негде было справить естественную нужду. Некоторые смущенно ерзали на сиденьях; но никто по-прежнему не двигался к двери.

После полудня на поле приехал Криди. Он быстро о чем-то переговорил с Джаббо и уехал. Джерид наблюдал, как «Марк IV» умчался по грунтовой дороге. Он слабо улыбнулся. Ему тоже становилось тяжко, но он чувствовал, какие прочные узы связывают его с товарищами, которые страдали наравне с ним. Даже Кристи и Бенни не жаловались, хотя и не понимали, что происходит.

Когда автобус вернулся в лагерь, рабочие молча вышли. За весь день никто, кроме Джерида, не проронил ни слова. Казалось, люди устали больше, чем за день изнурительной работы в поле.

Джерид и Сай сидели на земле возле своих комнат, когда из-за угла барака показались Криди, Джаббо и Клаг. Криди задыхался от быстрой ходьбы. Он остановился перед Саем и грубо спросил:

— Тебе какого черта надо, ниггер?

Сай не шевельнулся, глаза его наполнились страхом. Не дав ему ответить, Джерид быстро встал.

— Он здесь ни при чем. Это я все придумал.

Криди повернулся к Джериду:

— Если придумал ты, то как получилось, что деньги раздавал этот ниггер?

— Я дал ему деньги и сказал, что делать,— спокойно ответил Джерид.

Криди фыркнул.

— Ты еще будешь мне говорить, что белый дал черному пачку денег и велел раздать их другим ниггерам? Ни в жизнь не поверю.

— А где еще, по-вашему, он мог их взять? — спросил Джерид.— Вы-то ему ничего не платите.

Криди угрожающе посмотрел на Джерида.

— Так, значит, ты хочешь получить то, что причитается ниггеру?

— Я просто говорю вам, что это не его затея,— упрямо повторил Джерид.— Все придумал я.

— Не слушайте его,— сказал Сай, поднимаясь на ноги.— Я давно начал копить деньги. Этот белый не имеет к ним отношения. Он ничего и не знал. Это мы, ниггеры, придумали между собой.

— А я что говорил! — фыркнул Криди, снова повернувшись к Саю.— Пошли-ка с нами к навесу!

Сай пошел впереди них, и они завернули за западный угол барака. Джерид двинулся за ними, пытаясь объяснить, что Сай не виноват, но Криди его не слушал. Когда маленькая группа поравнялась с навесом, Криди начал бить в колокол.

Под этот звон люди медленно выходили из комнат. У многих в глазах застыл ужас. Когда все собрались, Криди громко сказал:

— Сегодня ужина никому не будет! И в магазин до субботы никто не поедет! Можете жрать помидоры, если проголодаетесь! А теперь посмотрите, что полагается сукину сыну, который подстрекает людей и не желает работать!

Криди внезапно повернулся к Саю и двинул его кулаком в челюсть. Сай упал на колени, и Криди ударил его ногой в живот. Стукнув негра еще пару раз, он повернулся к Джаббо и сказал:

— Теперь вы с Клагом можете за него приняться. Дайте ему так, чтоб помнил.

Сай пытался спрятаться от ударов, когда двое негров стали избивать его ногами и кулаками. Лицо Джерида помертвело, он наклонился, и его вырвало в белую пыль.

Избиение продолжалось до тех пор, пока Сай не затих. Тогда рабочие молча разошлись по своим комнатам. Джаббо и Клаг постояли немного над Саем, затем повернулись и направились к своему передвижному дому.

Джерид приподнял Сая с земли и попробовал его посадить. Он присел перед негром на корточки и спросил:

— Сможете встать?

— Попробую,— еле слышно проговорил Сай. Из носа и изо рта у него текла кровь.

Сай медленно поднялся и обхватил Джерида за плечи. Он едва передвигал ноги, и Джерид с трудом дотащил негра до его комнаты. Клома уже приготовила тряпки и принесла воду; когда Сай рухнул на край койки, она принялась смывать ему кровь с лица.

— Ну зачем вы это сделали, Сай? — виновато спросил Джерид.— Зачем? Все это должно было мне достаться, а не вам.

Сай взглянул на Джерида и запинаясь сказал:

— Это не... важно... мне ничего не будет... мистер Джей... у вас... семья...

Внезапно Джерид почувствовал, что с этим черным человеком его связывают узы, которые сохранятся на всю жизнь. Он положил руку на плечо Сая.

— Не надо было вам этого делать. Я в силах вынести то, что мне причитается.

Сай выдавил из себя улыбку.

— Разве вы не знаете... ниггера убить нельзя... даже если лупить по голове... однажды один белый... ударил меня... ломом, и лом... переломился... я все сдюжу, мистер Джей.

Джерид не знал — смеяться ему или плакать.

— Хотите вина? У нас есть.

— Хорошо бы,— сказал Сай. Казалось, у него, как у бегуна, появилось второе дыхание.— Но лучше б, конечно, виски.

— Я куплю в субботу две бутылки,— быстро сказал Джерид.— А в воскресенье у нас на завтрак будут яйца.

— Вот и хорошо,— сказал Сай. Он откинулся на спину и закрыл глаза.

Прошло три дня, прежде чем Сай смог снова работать в поле. Клома ухаживала за ним днем, а Джерид привозил ему с поля помидоры. Они поделились с негром своим скудным запасом сардин и сосисок, которые надо было растянуть до конца недели. Джерида мучила совесть оттого, что Клома, дети и все рабочие в лагере недоедали. Он раскаивался в своей бесполезной выдумке, принесшей людям одни несчастья, и поклялся, что никогда больше не поставит под удар никого, кроме самого себя.

Джерид по-прежнему работал медленно, не обращая внимания на предупреждение Криди, сказавшего, что иначе он не погасит долг. Джерид не считал, сколько ведер помидоров ему удавалось собрать. Он думал лишь о том, как вырваться из Энджел-Сити, это стало единственной целью его жизни и вытеснило из головы все другие мысли. Жестокая расправа над Саем не сломила Джерида, а еще более укрепила его решимость забрать семью и бежать из лагеря.

Когда в субботу днем Джерид встал в очередь за деньгами, ему было все равно, что скажет Криди о его долге, и Джерид равнодушно выслушал слова Криди о том, что в эту неделю он едва-едва выработал свою норму. Джерид без возражения принял десятидолларовую бумажку и пошел к Кломе и детям, уже вставшим в очередь за ужином.

После поездки в магазин они с Саем сидели, как всегда, на земле возле комнаты. Молча они наблюдали, как зашло солнце и на лагерь

опустилась темнота. Они не обсуждали печальных последствий задуманного Джеридом плана, но Джериду все больше казалось, что другие рабочие смотрят на него с ненавистью. Ему тяжело было сознавать, что он лишил их пищи и единственной радости — вечерней поездки в магазин. Враждебность по отношению к нему — действительная или воображаемая — глубоко огорчала Джерида, потому что он не хотел людям ничего плохого.

Наконец Джерид нарушил молчание:

— У меня есть еще один план.

Сай взглянул на него, не веря своим ушам.

— Мистер Джей, вы так до сих пор ничему и не научились? Посмотрите еще раз хорошенько на мое лицо.

— Этот план никого не касается, кроме меня,— быстро сказал Джерид, жалевший Сая и очень мучившийся от сознания, что негр пострадал из-за него.— Надо же что-то делать. На следующей неделе я положу всему этому конец.

Сай в изумлении смотрел на него.

— Что же вы теперь задумали? — с ужасом спросил негр. Он заранее боялся ответа.

— Я дам им денег, чтоб меня выпустили за ворота, пойду в Хомстед и приведу полицию. С этим надо кончать. Так вечно продолжаться не может.

Сай покачал головой.

— Вы просто сваляете дурака, и они изобьют вас до полусмерти. Криди в игрушки не играет. Пора бы это понять.

Джерид пропустил мимо ушей слова Сая.

— Все это будет касаться меня одного. Я пойду в Хомстед и приведу полицию.

Сай сделал большой глоток из бутылки.

— Да понимаете ли вы, что хотите сделать? Здесь кроме вас есть и другие люди.

— Знаю,— сказал Джерид.— И на этот раз я не причиню им вреда. Но они в такой же западне, как и я.

Сай оперся спиной о стену. В глазах его вспыхнуло беспокойство. Он повертел бутылку в руках.

— Если эти люди отсюда выйдут, куда им деваться? В другой лагерь?

— По крайней мере у них будет выбор.

— В теперешние времена никакого выбора нет. Все лагеря одинаковые. Единственная разница между Энджел-Сити и любым другим в том, что ворота здесь заперты и не хватает денег на виски.

— Я что-то не понимаю вас,— сказал Джерид, глядя в распухшее, ничего не выражающее лицо Сая.— Вы что, считаете, всем этим людям нравится так жить?

— Я и сам не знаю. Я-то ведь всего-навсего черный ниггер. Но эти рабочие совсем не похожи на вас, как и мы с вами разные люди. Вы приехали сюда, потому что так захотели. Вас никто не заставлял. А мы родились в лагерях. Мы только их и знаем, и нам некуда ехать, даже если б мы захотели. А лагеря все одинаковые. Ну, теперь уж я совсем запутался.

Джерид пристально посмотрел на Сая.

— Вы хотите остаться здесь на всю жизнь? Или вы хотите выбраться отсюда, как я?

Некоторое время Сай не знал, что ответить. Казалось, он взвешивал все «за» и «против». Наконец он сказал:

— Я хочу выбраться. Но только из-за мальчика. Я хочу, чтоб ему лучше жилось.

Джерид немного помолчал.

— А почему, вы думаете, я хочу отсюда уехать? Только ради себя?

Внезапно глаза Сая вспыхнули пониманием.

— Нет. Теперь я знаю, и мне с самого начала надо было понять. Не только ради себя.

Несколько минут оба смотрели в темноту. Затем Джерид произнес, как бы разговаривая сам с собой:

— Это никого не затронет, кроме меня.

Сай сделал еще один большой глоток из бутылки.

— Наверное, вам виднее.

12

В среду после ужина Джерид подошел к Джаббо, который, сидя у передвижного дома, ел пирожное и облизывал пальцы, испачканные шоколадом. Он с негодованием взглянул на Джерида.

Сначала Джерид просто молча смотрел на Джаббо, затем неуверенно спросил:

— Можно вас на минуточку?

— Чего надо? — резко ответил Джаббо.

Тон негра не располагал к откровенному разговору, и Джерид осторожно спросил:

— Вы не хотите немного заработать?

Джерид не сводил глаз с черного гиганта.

— А что надо делать?

— Да ничего особенного. Можно заработать пятьдесят долларов.

Казалось, Джаббо заинтересовался. Он осторожно спросил:

— Так что же надо сделать?

— Всего-навсего открыть ворота сегодня вечером и выпустить меня. Жена плохо себя чувствует, и мне позарез надо купить ей лекарство. Вы только меня выпустите, никто об этом не узнает, я вмиг вернусь.

— А деньги у тебя есть?

Джерид сунул руку в карман и вытащил пачку смятых бумажек.

— Вот пятьдесят долларов.

Джаббо взял деньги и положил их в карман.

— Когда тебе надо выйти?

— Как только стемнеет.

Не произнеся больше ни слова, Джаббо неожиданно повернулся и скрылся в передвижном домике.

Некоторое время Джерид смотрел ему вслед, раздумывая, откроет ли негр ворота или деньги выброшены на ветер. Джерид хорошо понимал, что, если Джаббо обманет его, он ничего не сможет с ним сделать. Джерид готов был пойти на риск.

Он вернулся к бараку и сел на землю около своей комнаты. Джерид ничего не сказал Кломе, так как знал, что она испугается и будет его отговаривать; не поведал он и Саю, когда собирается осуществить свой замысел.

Сай вышел из комнаты и сел рядом с ним. Они немного поговорили, но Джерид слушал его невнимательно, думая лишь о том, что будет, когда наступит темнота. Сай заметил его рассеянность, но не догадывался о причине. Прежде Джерид всегда любил по вечерам поболтать, а сегодня, как ни старался сосредоточиться, без конца терял нить разговора. Так ничего и не сказав Кломе и даже не заглянув в комнату, Джерид встал и медленно направился к восточному краю барака. Луна еще не взошла, и поля за забором казались морями черноты. Джерид ничего не видел, ступая по кромке светлой полосы, отбрасываемой прожектором. Сердце у него бешено колотилось, когда он проходил мимо араукарий.

Дойдя до забора, он остановился и дал глазам привыкнуть к темноте. Затем плечом надавил на ворота. Они открылись. Он вышел и затворил их за собой.

Джерид оглянулся и, убедившись, что кругом никого нет, пошел по грунтовой дороге. Ему неудержимо захотелось побежать, но он

понимал, что звук его шагов вспугнет тишину полей и донесется до лагеря. Он двигался медленно и осторожно, словно слепой, нащупывая путь на пыльной дороге. Раз он оглянулся, и ему показалось, что лагерь, залитый светом прожектора, остался далеко позади.

Метрах в тридцати от шоссе сзади неожиданно вспыхнули автомобильные фары. Волна яркого света ослепила Джерида, и он попытался заслонить от нее глаза. Он услышал рокот мотора, затем скрип колес. Краем сознания понял, что пикап движется прямо на него. На мгновение он растерялся, но все-таки успел отскочить — пикап пронесся мимо и, сделав резкий разворот, снова залил его ослепительным светом.

Ужас обуял Джерида, когда пикап вновь устремился на него. Джерид резко повернул направо и побежал в поле, пикап тоже развернулся и опять стал его настигать. Джерид запутался в кустах помидоров, и, пока выбирался, машина кружила рядом. Когда Джерид, не разбирая дороги, бросился к южному краю поля, пикап двинулся прямо на него.

Казалось, фары вот-вот настигнут Джерида, но каждый раз ему удавалось отскочить в сторону; затем игра начиналась снова. Он бежал, петлял, увертывался, падал, снова бежал, но, как ни старался, не мог ускользнуть от беспощадного света фар.

Джерид почти совсем выбился из сил, как вдруг почувствовал боль: осока резанула его по ногам. Он упал, и вязкая жижа брызнула ему в лицо. Мгновение он лежал неподвижно, стараясь отдышаться, затем оглянулся и увидел, что фары погасли. Только теперь он понял, что пикап загонял его в болото.

Несколько минут он не двигался. Стояла полная тишина, только справа доносились какие-то ухающие звуки. Он никогда их раньше не слышал и тут вспомнил об аллигаторах, о которых говорил Сай. В кромешной тьме он заблудился и не мог теперь определить, откуда вышел к болоту.

Наконец Джерид заставил себя встать и побрел вперед, с трудом передвигая ноги и с каждым шагом все глубже погружаясь в жидкую грязь. Он слышал, как потревоженные змеи удирали у него из-под ног. Когда вода дошла Джериду до груди, он повернул назад и пошел, как ему казалось, обратно. Вода постепенно убывала, и он неожиданно очутился на краю поля.

Джерид опустился на каменистую землю и глубоко вздохнул. Примерно в миле на западе смутно виднелись огни лагеря. Отдохнув несколько минут, он встал и побрел по полю на восток. Едва он прошел несколько метров, как фары вновь зажглись и залили его ослепительным светом. Джерид почувствовал, что у него совсем не осталось сил, но все же, спотыкаясь, продолжал идти прямо по кустам помидоров.

Пикап снова и снова настигал Джерида, он бежал, спотыкался, падал и снова бежал. Джерид понял, что проиграл. Если он не остановится, они просто убьют его. Он опустился на землю и замер.

Джерид слышал, как метрах в десяти от него остановился пикап, затем открылась дверца, и раздался топот ног. Первый удар рукояткой пистолета по лицу оглушил его. Он удивился, что почти не почувствовал боли, и даже не стал заслонять голову от ударов. Слишком он устал, и ему было все равно, что с ним сделают; когда сознание стало гаснуть, он даже почувствовал облегчение.

Очнулся Джерид от удара о дно кузова и услышал, как Клаг спросил:

— Сбросим его в колодец?

— Не-е-е,— донесся до него голос Джаббо.— Мистер Криди велел привезти его в лагерь. Мы заберем девчонку.

Чернота снова сомкнулась, и больше Джерид ничего не помнил, пока его не швырнули на землю возле комнаты. Затем его затащили

внутрь и бросили на койку; словно во сне слышал он безудержные рыдания Кломы, Кристи и Бенни, но не мог заставить себя произнести хоть слово.

Наконец Джерид открыл глаза и обнаружил, что видит и слышит, но не в состоянии двигаться и говорить. Он видел, как Джаббо схватил Кристи за руку и сказал:

— Мистер Криди велел тебе идти к нему.

Он слышал, как Кристи закричала:

— Нет! Нет, папа! Я боюсь! Я не хочу! Папа! Я боюсь!

Джерид из последних сил попытался подняться и не смог. Он беспомощно наблюдал, как Джаббо потащил Кристи к двери. Внезапно из темноты появился Сай.

— Почему бы вам не оставить девчонку в покое? Боитесь потерять тепленькое местечко? Ничего, вы сегодня и так постарались.

— Что, тоже хочешь получить? — спросил Джаббо, глаза его враждебно блестели.

— А мне все одно,— гневно ответил Сай.— Будешь драться сам или позовешь Клага? А ну попробуй один, я из тебя все кишки выпущу.

Джаббо шагнул было к Саю, не отпуская Кристи, потом остановился и сказал:

— Ты свое еще получишь, дай только отвести девчонку.

Сай молча смотрел, как Кристи билась в руках у Джаббо, когда верзила тащил ее к пикапу, затем зашел в комнату и спросил у Кломы:

— Ну как мистер Джей?

— Не знаю,— рыдая, ответила Клома.— Боже мой, просто ничего не знаю.

Сай подошел к койке и осмотрел лицо и голову Джерида.

— Как будто кости целы, но постарались они на совесть. Не надо, не убивайтесь. Через несколько дней он поправится, а пока я вам помогу.

Клома сидела на краю нар и обмывала голову Джерида.

— За что они его так? — спросила она у негра.

— Хотел пробраться в Хомстед. Я его пытался отговорить, да он и слушать ничего не желал. Думал, все игрушки. А в игрушки здесь не играют.

13

Проснувшись на следующее утро, Джерид еле поднялся с койки. Глаза у него заплыли, на правой стороне лица багровел рубец. Руки и ноги при малейшем движении нестерпимо болели, между ребрами, куда его били ногами, словно ударяло электрическим током.

Он взял кофе, который принесла Клома, и стал его пить маленькими глотками. Сначала он не помнил событий минувшей ночи, но затем они стали всплывать перед ним, словно обрывки дурного сна. Перед глазами его стояла Кристи, которую тащили из комнаты, и мысль о том, что Криди держит ее как заложницу, причиняла нестерпимую боль. Джерид поставил на пол кружку с кофе и сердито оттолкнул ее.

Несколько минут сидел он на краю койки, пытаясь соединить в одно целое события прошлой ночи. Теперь он убедился, что Сай был прав: в игрушки здесь не играли. С тех пор как Джерид узнал жестокую правду об Энджел-Сити, в глубине души он все надеялся, что это — дурной сон, который развеется, и однажды утром он проснется и обнаружит, что на самом деле все обстоит иначе; но пустая койка Кристи и боль в теле напоминали ему о том, что эти надежды тщетны. Он все еще не мог до конца осознать, в какое положение попал, но понимал, что дело обстоит крайне серьезно.

Звуки гонга, сзывающего на посадку в автобусы, заставили Джерида встать и выйти из комнаты. Клома вместе с Саем умоляли его остаться, но Джерид их не послушал. Он решил любой ценой пока-

зать Криди, что побои не сломили его. Еле передвигая ноги, Джерид с трудом добрался до автобуса.

На поле он порой словно куда-то проваливался и не помнил, как наполнял ведра помидорами и относил их к грузовику. Вместо глаз у него остались узкие щелочки, и он срывал помидоры на ощупь. С наступлением дневной жары в голове у него начало нестерпимо стучать; несколько раз он падал на колени и его рвало. После полудня он свалился в ложбинку между рядами кустов и лежал не двигаясь, пока в конце рабочего дня Бенни и Сай не посадили его в автобус.

До конца недели Джерид каждый день выходил на работу в поле, и постепенно к нему начали возвращаться силы. После обеда в субботу, получая свои обычные десять долларов, он с вызовом посмотрел на Криди.

Перед поездкой в магазин Джерид взял еще десять долларов из оставшихся у него шестидесяти и помимо продуктов купил две литровые бутылки виски. Клома смотрела, как драгоценные деньги переходили из рук в руки, но ничего не сказала. Она верила, что Джерид поступает правильно.

Вечером Джерид, как обычно, сидел на земле возле своей комнаты, поставив с каждой стороны по бутылке. Он уже сделал несколько глотков, когда вошел Сай и сел рядом. Откупорив принесенную с собой бутылку, негр сказал:

— Похоже, вы сегодня гуляете.

— Решил немного выпить,— запальчиво отвечал Джерид, не сразу поняв, что́ сказал Сай.

— Да я вас не осуждаю,— заметил Сай.— Человека так избили, а он все равно работает; конечно, надо это отметить. Много белых я повидал на своем веку, но такого упрямого встречаю впервые.

Джерид поднял бутылку и осушил ее почти на целую четверть.

— У нас в Западной Виргинии сейчас забивают свиней.— Он пытался отделаться от мыслей о настоящем и окунуться в прошлое, но родные горы и ручьи казались такими далекими, словно их никогда и не было.

— Эх, сейчас бы кусочек окорока с хороший арбуз,— сказал Сай,— да сладкой печеной картошечки.

— Мы делали и колбасы, и ветчину, и копченую грудинку, и сало,— сказал Джерид, снова как следует прикладываясь к бутылке.— Мясо коптили над пекановыми угольями. Ох, и любил я побаловаться жареной колбаской да еще с лепешечкой, которую жена только вытащила из печки. И масло у нас было свое, а зимой оленину ели.

— Мистер Джей, вы бы лучше помолчали. А то бурчит в животе, это сердится солонина с тыквой, которую нам дали на ужин. От ваших слов прямо слюнки текут. И как это вы бросили такую райскую жизнь?

Джерид снова отхлебнул из бутылки.

— Да я, по правде говоря, и не хотел, и когда мы окончательно снялись с места и махнули во Флориду, сам трясся от страха. Времена в горах наступили тяжелые, и я не мог свести концы с концами. Налоги стали слишком высоки, а где денег заработать? Сначала рубил лес на одном из своих склонов, пока он не кончился. Сплавлял древесину. Две зимы проработал на угольных шахтах, но никак не мог привыкнуть к такому житью. Бог не для того создал человека, чтоб он закопался в землю, как крот, а после помирал с этой черной заразой в легких.

— Я бы тоже не стал там работать,— сказал Сай.— Не могу жить без воздуха.

Джерид схватил бутылку, в которой оставалось еще около половины содержимого, и одним глотком осушил ее. Затем швырнул к забору и откупорил другую. Сай с любопытством за ним наблюдал.

— Вы бы немного полегче, не торопитесь, мистер Джей. Еще ночь впереди.

— Черт подери, думаете, я пить не умею? — огрызнулся Джерид.

— Да нет, я ничего,— быстро проговорил Сай, удивленный сердитым ответом Джерида.

— В окрестностях Динка люди сами гонят виски,— мечтательно продолжал Джерид, будто только что и не огрызался.— Оно в сто раз лучше здешнего из магазина. Из дистиллятора оно вытекает совсем прозрачное, а потом, как нальешь в бочонок, коричневеет.— Джерид немного помолчал, затем спросил: — А вы когда-нибудь охотились на енота?

— Было раз, в Джорджии,— ответил Сай.

— А мы не упускали ни одного случая,— сказал Джерид.— Ходили главным образом посмотреть на собак. Топали в лес и разводили костер. Но с енотами не спутывались никогда. А вот дядька у меня был, так он не брезговал. Звали его почти так же, как мою жену,— Кломер. Дядюшка, бывало, напьется еще до охоты, пока мы сидим у костра, разговариваем, бежит вслед за собаками, а потом лезет за енотом на дерево. Поймает одного, принесет к костру и выпустит, чтобы поглазеть на собачью охоту. Однажды ночью дядя Кломер залез на дерево в стельку пьяный, схватил енота за задние лапы и потащил на себя. Только это оказался не енот, а дикая кошка. Но дядя Кломер с пьяных глаз не разобрал. Сначала кошка подумала, что дядюшка решил поиграть с ней, и ударила его раза три-четыре задними лапами. Брыкалась, как мул. Но дядя Кломер не сдавался. Тогда кошка начала звереть. Решила устроить гнездышко в волосах дяди Кломера, только прежде все их начисто выдрала. Шум был такой, точно кто-то решил обломать все ветки с дерева. Посыпались листья и сучья. Затем кошка задумала отодрать и уши дядюшке Кломеру, но он решил по-другому. Он просто не мог понять, почему енот устроил такое побоище. К этому времени дядюшка и сам обозлился. Через несколько минут услышали мы страшный удар, бежим к дереву, а там, на земле...

Джерид внезапно замолчал, прислонился к стене и еще раз как следует глотнул из бутылки. Сай с любопытством спросил:

— Ну, мистер Джей, так что же случилось с вашим дядюшкой?

Джерид продолжал молчать, устремив взгляд далеко за забор, в поля; затем наконец повернулся к Саю:

— Я им не кто-нибудь! Я был церковным старостой! А двоюродный брат у меня — член городского управления в Мадфорке. Я им — не высохшее коровье дерьмо, которое можно раздавить и отбросить в сторону!

Сай не понял, почему вдруг Джерид заговорил совсем о другом, и не знал, что сказать.

— Я-то понимаю, мистер Джей,— наконец неуверенно произнес он.— Сразу видно, вы из порядочных.

Джерид снова выпил, затем тихо проговорил:

— А в Западной Виргинии, наверное, уже лежит снег. Кристи родилась в снегопад. Пикап у меня застрял, и пришлось ехать за доктором на муле. Я боялся еще больше, чем Клома. Она потом надо мной смеялась. А ребеночек был такой малюсенький. Словно куколка. Никогда почти не плакала. Посажу ее, бывало, на колени и качаю вверх и вниз. Ох, ей и нравилось. Заворкует как голубок. Никогда особо не плакала. Была послушная девочка и...

На глазах Джерида показались слезы. Сай положил ему руку на плечо.

— Мистер Джей, не убивайтесь вы так. С ней ничего не случится. Они моему сыну плохого не сделали. Все будет с ней хорошо, мистер Джей.

— Ваш сын — совсем другое дело. А она в чужом месте ни разу не ночевала. И людей почти не видела, не то что ваш сын, даже не

знает, как себя вести. И потом он мальчик, а она девочка — это большая разница, вы же понимаете.

Сай хотел как-то утешить Джерида, чтобы он не боялся за Кристи, но не мог. Он только повторил:

— Никто ее не обидит, мистер Джей.

Джерид поднял бутылку, наполовину осушил ее и запел:

— «Зап — Вир — гини... горы мои, горы, возьмите меня к себе... домой... Зап — Вир — гини... горы мои, горы... наши крутые дороги... возьмите меня домой».

Внезапно он вскочил и нетвердыми шагами устремился к забору. Ухватившись за толстую проволоку, он стал бешено трясти забор, затем упал на колени.

— Господи, никому в жизни я ничего плохого не сделал... ничего по-настоящему плохого... но если ты мне сейчас не поможешь, господи... если не поможешь...

Джерид повалился лицом вниз у забора и затих. Он не помнил, как Сай поднял его и отнес в комнату.

14

В воскресенье настроение у Джерида непрестанно менялось — его то душила злоба, то он впадал в отчаяние и словно в трансе бродил по лагерю. Клома старалась его приободрить и утешить, но он не обращал внимания на ее слова. Когда у передвижного домика остановилась машина Криди, Джерид сразу бросился к ней. Кристи среди детей не было, и это очень его встревожило. Весь остаток дня он просидел один у забора на северной стороне лагеря, не сводя глаз с поля и с шоссе, ведущего к Хомстеду.

На следующий день Джерид ничего не видел перед собой, он машинально наполнял ведра помидорами, высыпал их и снова принимался за дело. В полдень он съел банку сардин с помидором, но пища застряла у него в горле. Он выплюнул разжеванный помидор на землю и прополоскал рот водой.

К концу дня, когда Джерид вошел в магазин, он, казалось, совсем успокоился. Купив продукты, он отдал Бенни пакет, затем подошел к управляющему и громко сказал:

— Помогите нам! Нас держат в заточении. Вы должны нам помочь!

К нему сразу двинулся Джаббо. Управляющий попятился.

— Ты, парень, наверное, перегрелся на солнце. Присядь лучше, передохни.

Он отвернулся от Джерида и стал обслуживать другого покупателя.

Джерид задом двинулся к двери, громко повторяя: «Помогите, кто-то должен же помочь!»

Дойдя до выхода, он повернулся и побежал по шоссе. С запада приближалась машина, и Джерид бросился ей наперерез, бешено размахивая руками. Машина круто свернула в сторону, чтобы его не сбить, и прибавила скорость. Джерид устремился вверх по шоссе к дому, до которого оставалось метра четыре, пробежал через двор и постучал в дверь. Когда ему отворили, он взволнованно проговорил:

— Помогите... нам нужна помощь.. кто-то должен же помочь...— Женщина быстро захлопнула дверь и заперла ее.

Джерид взглянул на шоссе и увидел приближавшегося Джаббо. На мгновение его охватила паника, но он быстро спрыгнул с крыльца и укрылся в роще апельсиновых деревьев, что росли к югу от дома. Уже совсем стемнело, когда он остановился передохнуть под папайей. Сорвав похожий на дыню плод, он высосал из него сок и сно-

ва двинулся вперед, пока наконец, совершенно измученный, не свалился на землю и не заснул.

Когда утром Джерид проснулся, солнце стояло уже высоко. Он растерянно вскочил на ноги, еще не понимая, где находится и как сюда попал. Оглядевшись, он увидел, что провел ночь на краю фасолевого поля. Вдали виднелись мужчины и женщины с большими плетеными корзинами. Он знал, что если свернет на север, то в конце концов выйдет на шоссе.

Добравшись до дороги на Флорида-Сити, он не осмелился идти по обочине: побоялся, что Джаббо или Клаг будут его преследовать; он шел, прячась за домами, рощицами или полями, пока не показались окраины города. На первой же бензоколонке он спросил, где здесь полицейский участок.

До хомстедского отделения полиции оставалось еще километра три, и, пока он шел, не было человека, встретившегося ему на дороге и на тротуарах, который не обратил бы внимания на его одежду и лицо со следами побоев. Он постоянно оглядывался и смотрел, нет ли за ним погони. Дойдя до небольшого бурого здания с лепными украшениями, он быстро вошел в него.

В первой комнате помещалась приемная, и когда Джерид вошел, дежурный, сидевший за столом, подозрительно его оглядел.

— Чем могу служить? — не без иронии спросил он.

— Нам нужна помощь,— быстро произнес Джерид.— Нас насильно держат в лагере, и у меня отняли дочь. Кто-то должен же помочь нам.

Дежурный вновь пристально посмотрел на Джерида.

— Присядьте. Помощник шерифа Драммонд примет вас через несколько минут. А я здесь всего-навсего дежурный.

Джерид, волнуясь, прождал больше десяти минут; наконец его пригласили в кабинет. Он сел у стола, и полицейский офицер представился:

— Моя фамилия Драммонд. Я — помощник шерифа. Что у вас случилось?

Джерид быстро заговорил:

— Нас держат точно рабов... У меня отняли дочь!.. Вы должны помочь нам!..

— Не волнуйтесь,— остановил его Драммонд,— и спокойно расскажите все по порядку. Вы — сезонный рабочий?

— Я работаю в поле,— ответил Джерид, стараясь успокоиться.— Мы приехали сюда из Западной Виргинии.

— Как ваша фамилия?

— Джерид Титер. Друзья называют меня Джей.

Помощник шерифа поиграл карандашом, затем снова взглянул на Джерида.

— Мистер Титер, говорите мне, пожалуйста, правду. Принимаете наркотики или слишком много выпили? Мы с вами сэкономим массу времени, если вы все скажете начистоту.

Джерида удивил вопрос, но он твердо сказал:

— Ничего я такого не делал! Нам очень нужна помощь.

Полицейский внимательно оглядел Джерида.

— Хорошо Так кто же довел вас до такого состояния?

— Его фамилия Криди. Сайлас Криди. Мы живем в Энджел-Сити.

— Никогда ни о том, ни о другом не слышал. Правда, мы особенно не следим за лагерями кочующих рабочих. Слишком много их развелось.— Он снова внимательно посмотрел на Джерида.— Так что же именно этот Криди вам сделал?

— Он держит нас в лагере и никому не платит,— сказал Джерид, стараясь ничего не забыть.— Говорит, что мы все у него в долгу и

потому должны оставаться в лагере и отрабатывать долг. Из Энджел-Сити никого не выпускают. Я раз попытался выйти и попросить помощь, но они поймали меня, взяли дочь и увезли как заложницу к Криди. Он и у других рабочих забрал детей.

— Где живет этот Криди? — спросил помощник шерифа.

— Не знаю,— ответил Джерид с отчаянием: ему бы так хотелось сразу отправиться к Криди.— Наверно, где-то здесь или во Флорида-Сити, а может быть, в пригородах Майами.

— Н-да, не слишком точный адрес,— пробормотал помощник шерифа.— А кто это вас так разукрасил?

— Они били меня пистолетом,— сказал Джерид, вздрогнув при воспоминании о побоях.— Они так убили насмерть одного старика, а потом отвезли на болото и бросили. Я видел своими глазами. Мой друг работает в Энджел-Сити — уже два года. Он говорит, что они уничтожили кучу людей и всех побросали в сточный колодец.

Помощник шерифа немного помолчал, раздумывая над тем, что сказал ему Джерид.

— Да, скверная история, мистер Титер,— сказал он.— А где он находится, этот Энджел-Сити?

— Я точно не знаю,— ответил Джерид,— но могу показать вам дорогу. Совсем недалеко от Флорида-Сити.

Прямые ответы Джерида, его откровенность и неподдельное волнение подсказывали помощнику шерифа, что в словах Джерида есть доля правды. Он поднялся из-за стола.

— Может, нам лучше сразу поехать в Энджел-Сити и посмотреть?

Джерид последовал за полицейским, и они сели в зеленую патрульную машину с красной мигалкой на крыше. Доехав до Флорида-Сити, помощник шерифа спросил у Джерида:

— Когда вы ели в последний раз?

До сих пор Джерид не думал о еде.

— Право, не помню. Наверное, дня два назад.

Полицейский остановился у ларька и купил ему две булки с котлетами и молочный коктейль. Джерид все это жадно проглотил по дороге; выехав из города, они повернули на запад к шоссе, ведущему в лагерь.

Шел уже седьмой час, когда патрульная машина свернула с шоссе на грунтовую дорогу. К удивлению Джерида, ворота были открыты. Помощник шерифа поставил машину рядом с передвижным домиком и вышел.

Из передвижного домика сразу же появился Криди, он подошел к помощнику шерифа и спокойно сказал:

— Я вижу, вы привезли беднягу Титера. Он немного тронутый, вы уж, наверное, и сами успели заметить.

Пропустив слова Криди мимо ушей, помощник шерифа спросил:

— Ваша фамилия Криди?

— Правильно, я — подрядчик и управляющий в этом лагере.

— Мистер Титер рассказывал мне о вас довольно неприятные вещи,— сказал помощник шерифа, пристально глядя на Криди.

— Я же вам говорю, он с приветом. Я забочусь о нем, делаю все, что в моих силах, но иногда он становится совсем невменяемым и убегает. Можете расспросить его семью.

— Мистер Титер говорит, что вы держите его дочь и других детей в своем доме. Это правда?

Криди переступил с ноги на ногу.

— Надо же такое придумать,— возмущенно сказал он.— Я живу в этом домике. Можете посмотреть.

Джерид стоял рядом и все слышал. Он повернулся к помощнику шерифа и закричал:

— Это ложь! В домике живут Джаббо и Клаг! Он здесь вообще не живет.

Помощник шерифа отметил неподдельное возмущение, вспыхнувшее в глазах Джерида, и, обратившись к Криди, спросил:

— Вы не возражаете, если я осмотрю лагерь?

— Пожалуйста,— спокойно ответил Криди.— Смотрите все что хотите.

Когда полицейский зашел в передвижной домик, Криди прошипел Джериду:

— Если у меня будут неприятности, пеняй на себя. Наверное, забыл, где твоя девчонка?

Джерид встревожился, он не ожидал, что дело примет такой оборот. Он предполагал, что помощник шерифа сразу арестует Криди и возвратит ему Кристи; но он все еще надеялся, что Драммонд установит истину прежде, чем уедет из лагеря. Пока он говорил только с Криди, но ведь есть еще Клома и Сай, которые расскажут ему всю правду.

— Я осмотрю лагерь,— выходя из передвижного домика, сказал полицейский.— Подождите меня здесь.

Джерид последовал за Драммондом. Тот подошел к первой комнате на северной стороне барака, заглянул туда и спросил:

— У вас есть какие-нибудь жалобы?

Четыре угрюмых черных лица молча смотрели на него. Наконец один негр сказал:

— Нет, сэр.

— Вы можете уехать из лагеря, если захотите?

— Да, сэр. Мы можем уехать в любое время, когда захотим.

У Джерида кровь отхлынула от лица.

Полицейский прошел вдоль барака и везде получал один и тот же ответ. Наконец он подошел к комнате Джерида. На одной койке сидела Клома, на другой — Бенни. Взглянув на Джерида, Клома сказала:

— Где ты пропадал, Джерид? Мы так волновались.

Прежде чем Джерид успел открыть рот, полицейский спросил:

— Это ваш муж?

— Да,— спокойно ответила Клома.— Это — Джерид.

— Где ваша дочь? — спросил он.

— У нас нет дочери,— ответила Клома, опустив голову и пряча глаза от Джерида.— У нас только сын — Бенни.

У Джерида сжалось сердце, теперь он знал, почему ворота были открыты: Криди успел подготовиться. Джерид уже не удивлялся, когда Сай сказал помощнику шерифа, что у него нет сына.

Опросив еще несколько человек, полицейский вернулся к передвижному домику. Он прислонился к дверце патрульной машины, пристально глядя на Криди, затем как бы невзначай сказал:

— Довольно роскошная машина для простого подрядчика.

Криди посмотрел на свой «Марк IV» и виновато проговорил:

— Я своим горбом заработал каждое потраченное на нее пенни. Вы знаете, как я вкалываю — каждый день выхожу на рассвете в поле и работаю наравне со своими людьми.

Слова Криди не произвели впечатления на полицейского.

— А как получилось, что у этого человека так изуродовано лицо? — спросил он, пристально глядя на Криди.

— Откуда мне знать? — огрызнулся Криди.— Он всю ночь пропадал в лесах. Может, где-нибудь и упал. Я о нем забочусь, но временами он становится совсем невменяемым.

Помощник шерифа догадывался, что Криди и все остальные его обманывают, но показаний одного Джерида было мало.

— Ну я, пожалуй, поеду, мистер Титер.

— Вы его не арестуете? — упавшим голосом спросил Джерид.

— За что? Никто не подтверждает ваших слов, даже жена.

— Я же говорил вам, что он ненормальный,— сказал Криди, к которому снова вернулась уверенность.

— Может быть, это так, а возможно, и нет,— резко ответил Драммонд, глядя Криди в глаза.— Я сейчас ничего не могу сказать, но тут не все чисто. Зачем вы обнесли лагерь проволокой, словно тюремный двор?

— Кругом много воруют,— осторожно сказал Криди.— Вы же знаете, сезонники бродят по округе. Готовы стянуть все, что не прибито гвоздями. И потом, я не нарушил закон — это мой участок и мой забор.

Подойдя к патрульной машине, помощник шерифа обернулся:

— Вы не переживайте, мистер Титер. А с вами, Криди, мы, возможно, еще увидимся.

Джерид смотрел, как патрульная машина выехала за ворота и повернула к шоссе, унося с собой его единственную надежду вернуть Кристи и выбраться из лагеря. Когда он поплелся к бараку, Криди крикнул:

— Подожди-ка, Титер!

Джерид остановился.

— На этот раз мы не будем тебя наказывать, потому что, судя по всему, ничего тебе впрок не идет. Но ты у меня в приличном долгу, и так или иначе выплачивать его тебе придется. Устроишь еще один такой фокус или еще что-нибудь в этом роде, и с твоей девчонкой действительно худо будет. Понимаешь, о чем я говорю, Джей Птичка?

— Понимаю,— ответил Джерид, и у него сдавило горло от сознания понесенного поражения.— Клянусь, я не причиню вам больше неприятностей.

Криди остался доволен ответом Джерида.

— Давно бы так. Здесь еще никто так плохо себя не вел, надо честно отрабатывать свой долг. Но с сегодняшнего дня будешь получать по субботам всего четыре доллара. А заурчит в брюхе, начнешь шевелить мозгами.

— Моей жене нужно сейчас больше есть,— сказал Джерид, обеспокоенный словами Криди.— Уже скоро роды, и ей надо поддерживать силы. Делайте со мной что хотите, но за меня ее не наказывайте.

— Надо было думать об этом раньше,— сказал Криди.— Если твоя баба проголодается, можешь отдать ей половину своей жратвы.

— Я так и сделаю,— сказал Джерид и побрел к дому.

Когда он вошел в свою комнату, Клома схватила его за руку и заплакала.

— Прости меня, Джерид! Прости меня! Я никогда раньше не лгала, ты же знаешь. Но мистер Криди сказал, что он жестоко побьет Кристи, если я его не послушаюсь. Он грозил этим же Саю и другим рабочим. Ну прости меня, Джерид, я не знала, как поступить! Я боялась за Кристи!

— Я все понимаю,— сказал Джерид, глядя ей в глаза. Он обнял Клому и попробовал ее успокоить.— Не расстраивайся. Я знаю, что у тебя не было выхода. Ничего, Клома, не беспокойся. Ты поступила правильно.

Через два дня поздно вечером Криди в своей машине привез в лагерь пьяного негра. Негр вышел и, качаясь, пошел к бараку. Подойдя к Джериду и Саю, которые сидели на земле, он спросил:

— Это одиннадцатый номер? Мистер Криди велел мне идти в одиннадцатую комнату. Я у него буду работать.

— Это она и есть,— сказал Сай.

У негра в руках была бумажная сумка.

— Меня зовут Хут, я из Орландо. Мистер Криди дал мне аванс десять долларов. Хороший человек! Будет платить двадцать пять центов за ведро помидоров.

Указывая на комнату, Сай сказал:

— Твоя койка справа. Человеку, который здесь до тебя жил, пришлось недавно уехать. Заходи и чувствуй себя как дома.

Хут заглянул в комнату и снова подошел к ним.

— Ребята, хотите выпить? Мистер Криди дал мне целый литр виски.

— Я не прочь,— сказал Сай, поглядывая на бутылку.— Присаживайся к нам на землю, поговорим не спеша. Мы тут каждый вечер после ужина отдыхаем.

15

Все дни походили один на другой: утром еще до рассвета автобусы покидали лагерь, а поздно вечером возвращались. Однообразная жизнь нарушалась лишь дважды: один раз рабочих заставили убирать фасоль, а не помидоры, в другой — они несколько дней сажали помидоры, вместо того чтобы их собирать. Они не знали, сколько платят сажальщикам, но сумма, которую в конце недели выдавал Криди, не изменилась.

В декабре дни стали короче, и обитатели Энджел-Сити частенько начинали работу в поле задолго до рассвета. Ужинали теперь уже в сумерках, по ночам дул резкий, пронизывающий ветер. Над головами пролетали стаи диких гусей и уток, направляясь к бескрайним просторам болот Эверглейдс. Чаще стали идти дожди, земля в лагере превращалась в вязкую жижу, грязь забивалась в обувь и покрывала цементные полы в комнатах.

Кристи больше не работала в поле, и Джерид получал в день только два доллара; вместе с четырьмя, выдаваемыми по субботам, выходило шестнадцать долларов в неделю на еду и все остальные нужды. Сам он ел мало, отдавая большую часть продуктов Кломе и Бенни, вечерами мылся без мыла, экономил каждый грош, чтобы купить лишнюю банку сардин или сосисок. Он приносил помидоры с поля, иногда пробирался к апельсиновым деревьям, когда работали по соседству, и воровал апельсины, которые привозил в лагерь в бумажном пакете за пазухой. Он выпрашивал в магазине мясные обрезки, по вечерам варил бульон и оставлял его Кломе на день.

По воскресеньям после обеда в лагерь привозили Кристи, и с каждым разом она менялась все больше. Прежняя лучезарная улыбка теперь исчезла с ее лица, и ей было все безразлично. Джерид пытался расспросить, как с ней обходится Криди, но она не отвечала. Отворачивалась и уходила гулять одна, как ни упрашивали ее родители побыть с ними. Иногда она часами стояла, прильнув к забору и уставившись на пустынные поля, а когда приходило время отъезда, вставала и уходила, даже не попрощавшись. Джерид с Кломой невыразимо страдали и беспокоились за свою дочь, но ничего не могли поделать; им оставалось только надеяться, что апатия со временем пройдет.

Джерид больше не пытался бежать. Он решил последовать совету Сая и спокойно ждать чуда, когда кто-то неизвестный придет из неведомого далека и его освободит. Ему все так же неудержимо хотелось уехать из Энджел-Сити, но воля его была сломлена, и он решил ничего не предпринимать, пока Криди держит у себя Кристи и ей угрожает опасность. Он покорно встречал каждый новый день и вместе с рабочими, выросшими в лагерях, безропотно принимал тусклую, однообразную жизнь, в которой человек не был себе хозяином.

Теперь он в своих мыслях, чувствах и даже поступках все более походил на Сая. Временами он ненавидел себя за то, что полностью

подчинился Криди, и старался заглушить гнев бутылкой виски, которую иногда по субботам выпивал с Саем. Джерид с нетерпением ожидал воскресенья, когда ненадолго вся семья собиралась вместе, хотя во время своих посещений Кристи почти не бывала с ними. А утром в понедельник он снова отправлялся в поле, часы и дни тянулись бесконечной чередой до наступления следующего выходного дня.

В субботу вечером Джаббо подошел к северной стороне барака. Джерид с Саем, как обычно, сидели на земле у комнаты негра, было совсем темно, только из-за неплотно прикрытой двери пробивалась узкая полоса света. Хут спал в комнате. Внезапно из темноты появился Джаббо.

— Мистер Криди велел вам завтра быть в автобусе в шесть утра.

— Это еще зачем? — резко спросил Джерид, удивленный и раздраженный внезапным приходом Джаббо в субботний вечер.— Мы никогда раньше не работали по воскресеньям.

— Мистер Криди сказал, что один автобус повезет людей работать в Белл-Глейд. Он велел всем, кто живет на северной стороне, быть в автобусе.

Джерид не сразу понял смысл слов Джаббо.

— Я не поеду! Не могу я уехать из лагеря и оставить жену в таком положении!

Джаббо повторил:

— Мистер Криди велел быть в автобусе в шесть. У тебя здесь останется парень. Мы берем только мужчин.— И он двинулся дальше вдоль барака.

Джерид повернулся к Саю.

— В чем дело? Зачем они везут нас в Белл-Глейд?

— На уборку,— спокойно ответил Сай, ничуть не удивившись новому распоряжению Криди.— Они там выращивают сладкую кукурузу, сельдерей и салат. Криди может послать нас даже на сахарный тростник. Вот если он туда нас загонит, то по вечерам без бутылки не обойтись.

— Я думал, мы будем все время здесь. Криди ничего не говорил о переезде в другое место.

— Мы там, где есть работа,— сказал Сай.— Фасоль и огурцы в Каролине, персики в Джорджии, картофель в Алабаме, апельсины в любом месте, куда он нас пошлет. Если бы эти автобусы не были такими развалинами, мы бы поехали в штат Нью-Йорк собирать виноград и яблоки, да только Криди не станет тратить деньги на починку старой рухляди для дальних переездов.

Джерид немного помолчал.

— Я не поеду! Пусть хоть силком тащат меня в автобус!

Сай сердито покачал головой.

— Я думал, вы уже кое-чему научились. Не поедете — только себе навредите и на дочку накличете неприятности.

Джерид понял, что Сай и на этот раз прав.

— А надолго мы едем?

— Трудно сказать. Смотря что будем убирать и сколько нагнали людей. Большей частью на две-три недели или на месяц. Хотя работы там хватит на всю зиму, так что, может, и надолго. Иногда здесь начинают платить больше, и Криди везет нас обратно. Куда дотащится наша развалина, туда мы и едем.

— Ну как я оставлю Клому на такой срок — ей скоро рожать.

— Ничего не поделаешь. Проломят вам голову или девочку изуродуют — это ведь вашей жене не поможет, правда?

— Может, он отпустит Кристи, чтоб она побыла с матерью?

— Здесь на другой стороне барака есть женщина — Берта. Она акушерка и хороший человек. Я поговорю, чтоб она присмотрела за вашей женой.

— А если понадобится доктор? — спросил Джерид.

— Будете вы здесь или нет, никакого доктора не положено. Сами знаете. Пойду поговорю с Бертой.

Прежде чем сказать об отъезде Кломе, Джерид решил посмотреть, не уехал ли Криди. Он подошел к передвижному домику. «Марк IV» стоял на обычном месте. Он постучал.

— Мистер Криди, вы не привезете мою девочку в лагерь, когда мы завтра уедем в Белл-Глейд?

— Это еще зачем?

— Жене скоро рожать — Кристи бы за ней присмотрела, пока меня нет.

— Ты, наверное, думаешь, я сумасшедший! — огрызнулся Криди.— Да я на метр за ворота тебя не выпущу, если девчонка будет здесь. Сразу махнешь в свою Западную Виргинию.

— Разрешите ей вернуться,— упрашивал Джерид.— Если она будет здесь, клянусь, я ничего не сделаю. Вы же знаете, я теперь веду себя тихо. Ну, пожалуйста, верните ее, мистер Криди.

Криди, казалось, заколебался, потом сказал:

— И не подумаю! Здесь остается парень — он и присмотрит за твоей бабой. И вообще, не ко времени ты накрутил ей пузо. Она и дня не проработала в поле с тех пор, как приехала.

— Что же делать, если ей понадобится помощь? — спросил Джерид, понимая, что ему не уговорить Криди.

— Тут останется Клаг с южной бригадой, и весь день торчит повар. Тебе этого мало? И потом, есть одна черномазая, она это дело знает. Эти черномазые бабы, черт их побери, хорошо справляются. Рожают прямо в поле, а потом весь день работают.

Джерид понял, что с Криди разговаривать бесполезно. Он молча повернулся и пошел к своей комнате, с ужасом думая, как скажет Кломе об отъезде.

16

Клома с Бенни пошли провожать Джерида, когда он по удару гонга направился к автобусу. Резкий металлический звук отдавался в его ушах, словно зловещее предупреждение о надвигающейся судьбе. Казалось, его призывал к себе колокол какого-то языческого храма, а жена и дитя в ее чреве приносились в жертву богу полей, которого Джерид не мог ни принять, ни понять. Он был в отчаянии, что уезжает, ему хотелось остаться и разделить с Кломой муки и радость появления на свет нового существа, зачатого ими обоими в прекрасный час любви, которая скоро найдет свое выражение в новой жизни. Он знал, что его желание неосуществимо, и старался утешиться мыслью, что, возможно, успеет вернуться в Энджел-Сити до рождения ребенка.

Они подошли к автобусу; Джерид поцеловал Клому и еще раз строго наказал Бенни заботиться о ней; затем он быстро отвернулся и исчез в темной пасти старой машины. Когда они миновали ворота и медленно потащились по грунтовой дороге, он оглянулся и увидел у восточного края барака Клому и Бенни, одиноко стоявших в свете прожектора.

Небо в это утро было затянуто тучами, и рассвет наступил, только когда они достигли северных окраин Хомстеда. За грязным окном проплывали дома, овощные лотки и поля. Поля выглядели сейчас опустевшими и заброшенными, будто отдыхали до следующего дня, когда их, словно саранча, наводнят армии сборщиков.

В нескольких милях от Хомстеда Джериду показалось, что он узнал то место у обочины шоссе, где они останавливались в день приезда, когда у них перегрелся радиатор. Он помнил, как они ели сосиски с крекерами, запивая их теплой кока-колой, болтали о фруктовом лотке, океане, о рыбной ловле, купальных костюмах и о бу-

дущей светлой жизни. Теперь он знал, что их мечты были тщетны и рухнули, как замок из песка, унесенный горным потоком.

Скоро они миновали то место, где шоссе № 27 пересекалось со старой индейской тропой Тамайами-трейл, и продолжали свой путь на север. Джерид не отрываясь смотрел в окно на людей, машины, дома и рощи, на широкие полосы осоки там, где болото Эверглейдс вплотную подходило к шоссе. Он видел лагеря кочующих рабочих, еще более отвратительные, чем Энджел-Сити: прогнившие деревянные хижины на высоких сваях, некрашеные бараки из цементных плит, дворы без единого деревца, голых ребятишек, старые разбитые машины, мусор, пивные банки и людей с безрадостными лицами, глазеющих из окон с выбитыми стеклами на машины, бесконечным потоком движущиеся по шоссе.

Когда они доехали до Эндитауна, пошел небольшой дождь, а на севере небо вообще казалось сплошной черной стеной.

— Идет холод,— сказал Сай.— Будет сильный дождь, и мы не сможем работать — вот Криди-то взбесится.

В нескольких милях севернее Эндитауна к шоссе опять подошли болота Эверглейдс; затем автобус въехал в обширный сельский район, где выращивали сахарный тростник,— поля, покрытые густой зеленой растительностью, уходили за линию горизонта; по сравнению с ними даже самые большие поля помидоров вокруг Энджел-Сити казались маленькими лужайками. Джерид с недоумением смотрел на черную землю, словно покрытую толстым слоем сажи, на дым, поднимавшийся от полос огня, протянувшихся по полям.

Сай весело наблюдал за Джеридом, потом сказал:

— Прежде чем рубить тростник, поля поджигают. Уничтожают листья и все ненужное. Здесь большей частью работают ниггеры-колдуны.

— Кто, кто? — переспросил Джерид.

— Ниггеры с островов [1]. Простые сборщики рубят тростник в самом крайнем случае, когда уже совсем нет работы. Это слишком тяжелый труд. А эти — их привозят сюда с Ямайки — размахивают своими тяжелыми мачете, словно перышками. Одно удовольствие поглядеть, как они рядами идут по полю.

Джерид продолжал смотреть на бескрайние поля.

— А вы когда-нибудь убирали тростник?

— Немного, но эта работа не по мне. Лучше уж я отволоку тысячу ведер помидоров, чем буду день убиваться на рубке тростника.

— Даже не пойму, как они его весь успевают убрать,— сказал Джерид.

— Поймете, когда увидите, сколько народу сюда нагонят. Куда ни взглянешь — одни колдуны размахивают своими огромными резаками.

Около полудня старый автобус дотащился до Саут-Бея. Здесь шоссе пошло по южному берегу озера Окичоби. Слева были Бин-Сити и Лейк-Харбор, Коустон и Мур-Хейвен; справа — Белл-Глейд и Пахоки. Автобус свернул направо.

В двух милях от Саут-Бея въехали на грунтовую дорогу, по правую сторону от нее тянулся оросительный канал, а по левую — поле тростника. Еще через милю они оказались возле рощицы араукарий. Не успел Джаббо поставить автобус под деревьями, как на них обрушилась стена дождя.

Более двух часов, пока продолжался ливень, рабочие молча сидели в автобусе, прислушиваясь к стуку тяжелых капель. Об обеде никто не упоминал, и в животе у Джерида начинало урчать, стоило ему подумать о пище. Когда дождь кончился, они вышли из автобуса и стали топтаться на небольшой площадке под деревьями.

Уже поздним вечером к автобусу подъехал «Марк IV». Из него вышел Криди и о чем-то долго говорил с Джаббо. Криди открыл ба-

[1] Негры из Вест-Индии, исповедующие многобожие.

гажник, вытащил картонную коробку и поставил ее на землю; затем снова сел в машину и укатил.

В коробке лежали банки сардин и фасоли и буханки белого хлеба. Джаббо дал каждому по две банки и по два куска хлеба. Джерид и Сай сели прямо на влажную хвою и стали есть, доставая пищу руками из банок.

— Где мы остановимся на ночь? У Криди здесь тоже лагерь?

— Считайте, что это и есть лагерь,— ответил Сай, допивая масло, оставшееся от сардин.— Хочешь — спи на земле, хочешь — в автобусе.

Вода была только в оросительном канале. Пахла она отвратительно и была подернута зеленой ряской. Джерид выпил ровно столько, сколько требовалось, чтобы проглотить застрявшую в горле пищу.

Некоторым удалось разжечь костры из влажных веток и сучьев, но мокрое дерево сильно дымило и давало мало тепла. Стало холоднее; ветер крепчал и грозно завывал, ударяясь о толстые ветки деревьев. Джерид взял из автобуса привезенное с собой одеяло. Он закутался в него и подсел ближе к дымному костру, но согреться не мог. Дрожа от холода, Джерид пошел в автобус и наконец заснул на сиденье, прижавшись к свернувшемуся клубком Саю.

17

Утром Джаббо разбудил рабочих еще до рассвета. Он дал им на завтрак те же консервы с хлебом; не было даже кофе, который помог бы перенести пронизывающий холод. За ночь температура упала почти до нуля. Джерид не захватил с собой даже легкой куртки, так как понятия не имел о холодных ветрах, дующих зимой во Флориде.

С едой было быстро покончено, и рабочим велели садиться в автобус. Когда они свернули по шоссе направо к Белл-Глейду, в слабых лучах рассвета показалось серое небо, отливавшее холодным, стальным блеском. Проехав две мили по шоссе, они снова свернули на грунтовую дорогу, тянувшуюся вдоль тростникового поля. Сай взглянул в окно и печально сказал:

— Ну, кажется, мы пропали! На кукурузных полях, должно быть, слишком мокро. Он везет нас на тростник.

Джериду было все равно, что тростниковые, что овощные поля, он знал об уборке тростника со слов Сая и поэтому не обратил внимания на замечание своего изрядно обеспокоенного соседа.

Когда автобус остановился, Джерид заметил, что около «Марка IV» стоит грузовик. Криди разговаривал с водителем. Всем велели выходить из автобуса, и Джерид вздрогнул от холода, когда пронизывающий ветер ударил ему в лицо.

Рядом стоял еще один грузовик; сидевший в нем человек выдал каждому рабочему по мачете и указал его ряд тростника. Джериду и другим новичкам, незнакомым с этой работой, он показал, как рубить тростник прямо под корень, а затем измельчать на куски в метр длиной. Джерид сжал рукоятку огромного лезвия и взмахнул мачете. Не выдержав тяжести, рука сорвалась, и он чуть не разрезал себе ногу.

Сначала работа увлекла Джерида новизной, он лихо размахивал мачете, рубя твердые стволы, разрезал их на части и бросал на землю автопогрузчикам, которые следовали за рабочими и подбирали тростник. Сажа от обгоревших стеблей покрывала лицо и руки, залетала в глаза, а в башмаках хлюпала черная грязь, но все же новизна и необычность работы скрашивали эти первые утренние часы.

К полудню руки, спина и ноги Джерида разламывались от боли, а мачете становилось тяжелее и тяжелее. Теперь он уже вкладывал всю силу, чтобы оторвать нож от земли. Джерид без конца останавливался и с тоской смотрел на свой ряд тростника, которому, казалось, конца не будет. В этот день после работы Сай с трудом дотащил его до автобуса.

Вечером опять ели холодные консервы и пили воду из оросительного канала. Джериду удалось немного отмыть лицо и руки, но одежду его покрывали грязь и толстый слой сажи. Устроив себе постель из хвои, он завернулся в одеяло. Он так устал, что, не замечая ни холода, ни сырой земли, ни воя ветра в араукариях, сразу заснул, едва спустились сумерки.

Температура снова упала до минус 2°, и Джерид очень замерз, хотя без остановки размахивал тяжелым мачете. Руки у него после этой работы дрожали; в полдень в автобусе он сел вплотную к Саю, но согреться не мог. Жаль, что Джаббо не раздает по вечерам бутылок вина, как в Энджел-Сити, думал Джерид, это помогло бы перенести холод и унять боль в костях.

Вечером четвертого дня, когда автобус с рабочими возвращался в лагерь под араукариями, за ним пристроился пикап. На его дверцах была эмблема сахарной компании, а над кабиной возвышалась антенна.

Из пикапа вышел мужчина и, прочитав на боку старого автобуса надпись «Энджел-Сити», подошел к Джаббо.

— Это и есть бригада Криди?

— Да-а, сэр.

— И вы живете здесь всю неделю?

— Правильно,— сказал Джаббо.— Это — наш лагерь.

— И Криди тоже остановился здесь?

— Нет, сэр, он в мотеле в Белл-Глейде. Скоро приедет — привезет продукты.

Человек вернулся к пикапу и стал ждать. Появился «Марк IV». Приезжий наблюдал, как Криди поставил ящик на землю и Джаббо выдал каждому рабочему по банке консервов и по нескольку кусков хлеба; затем он подошел к Криди.

— Ваша фамилия Криди? Вы подрядчик этой бригады?

— Правильно,— ответил Криди.— А что вам?

— Я полевой инспектор сахарной компании, и вы расположились в моей секции. Сколько времени находятся здесь эти люди?

— С воскресенья,— осторожно ответил Криди.

— Они спят на земле?

— Могут спать и в автобусе, если захотят.

— Просто поразительно, как они до сих пор не схватили воспаление легких.— Инспектор посмотрел на рабочих, которые сидели на земле и ужинали, пальцами доставая пищу.— Ни разу еще не видел таких измученных людей. Когда они в последний раз мылись?

— Я не слежу за их привычками,— сказал Криди, все более выходя из себя.— Если захотят, могут помыться в канале. Я им, черт побери, не нянька. Я — подрядчик.

— Им нельзя больше здесь оставаться,— сказал инспектор.— Разместите их в бараках в лагере номер девять.

— А во что это обойдется? — спросил Криди.

— Мы дадим им такую же скидку, как другим рабочим из дальних районов. Жилье бесплатное, а еда — по семьдесят пять центов.

Криди немного подумал, потом сказал:

— Нет, это мне не по карману. Больше двух долларов на человека за одну только еду. Да я их меньше чем за доллар накормлю.

— А при чем тут вы? — спросил инспектор.— Стоимость еды вычитается из их заработка. К вам это отношения не имеет.

— Все деньги получаю я, а потом сам с ними расплачиваюсь,— твердо заявил Криди.

— Что? — Инспектор пристально посмотрел на Криди.— Это у вас не пройдет! Мы заплатим вам, как любому подрядчику, за то, что вы привезли людей, а рабочие получат свою долю сами.

— Не выйдет,— вызывающе бросил Криди.— Деньги получаю я, а потом раздаю рабочим. Некоторые у меня в долгу, и я удерживаю долг из их заработка.

— У вас есть судебное постановление на этот счет?

— Еще чего! Зачем мне, черт побери, какое-то постановление, чтобы получать свои кровные денежки.

— Положено по закону! — Инспектор придвинулся к Криди.— Слушай, парень, я не знаю, с кем ты имеешь дело там, откуда приехал, но эти люди выглядят хуже свиней. Будешь перевозить их в бараки или нет?

— Да я лучше их совсем увезу отсюда!

— И увози! — гневно бросил инспектор.— Но больше ты сюда не вернешься! Ты вообще без разрешения находишься на земле компании! Ты нарушил закон!

— Мы должны еще получить деньги,— быстро сказал Криди.

— Знаю. Сейчас поеду в контору и посмотрю, сколько каждый из них заработал. Через полчаса вернусь и уплачу им.— Он пошел к пикапу, сел в него и быстро уехал, обдав грязью из-под задних колес бок автобуса.

Как только пикап скрылся из виду, Криди злобно ударил ногой по картонной коробке с продуктами, и банки с грохотом покатились по лужайке.

— Подонки! — заорал он.— Сукины дети! Человек уже не может честно заработать себе на жизнь из-за этих паршивых инспекторов!

Рабочие, сидевшие под деревьями, с любопытством смотрели, как Криди снова и снова пинал коробку ногой, пока, наконец, не загнал ее в канал.

Когда инспектор вернулся, каждый получил конверт с деньгами. Рабочим заплатили в соответствии с количеством срубленного тростника; в конверте Джерида было пятьдесят два доллара. Он сунул бумажки в карман. Криди стоял в стороне и сердито наблюдал. Завершив свое дело, инспектор сел в пикап.

— Чтобы через полчаса и духа вашего на земле компании не было! — сказал он, высунувшись из машины.— И чтобы больше я вас здесь не видел.

Криди проводил взглядом пикап, а когда он исчез в сгустившихся сумерках, повернулся к рабочим.

— Я поступлю с вами по справедливости. Мне стоило денег привезти вас сюда, и я потратился на еду. Я оставлю вам половину того, что вы заработали, а половину возьму себе. Это все равно больше, чем вы всегда получаете. Кроме того, по дороге сюда я велю Джаббо остановиться у магазина.

Каждый молча встал и, подойдя к Криди, отдал ему половину денег. Криди запихнул их в пакет из-под продуктов и отвел Джаббо в сторону. Они несколько минут поговорили, затем Криди сел в «Марк IV» и укатил. По сигналу Джаббо люди собрали одеяла и погрузились в автобус.

Доехав до шоссе, они повернули направо и поехали в Белл-Глейд, а затем дальше на север к Пахоки. Примерно в миле от города автобус остановился у сельского магазина. Люди помчались к магазину, торопливо накупили пива, вина, пирожков, дешевых мясных консервов, печенья. Джерид купил себе хлопчатобумажную куртку за восемь долларов, несколько банок тушенки и сардин, литр красного вина и две шоколадки. Ему было совестно перед Кломой и Бенни, которые недоедали в Энджел-Сити, но он слишком промерз и проголодался и не мог удержаться, чтобы не потратить часть неожиданно свалившихся на него денег. Когда Джерид вышел из магазина, у него оставалось еще пятнадцать долларов.

Они проехали мили две на север, и автобус свернул с шоссе на грунтовую дорогу к заброшенному лагерю для сезонных рабочих.

Примерно в метре от земли на сваях, словно скворечники, стояли деревянные хижины с крохотными клетушками площадью около квадратного метра. Они были без окон и дверей, кое-где на крыше и в стенах зияли дыры.

Джаббо выключил мотор.

— Мистер Криди сказал, чтобы мы остановились здесь.

Джерид и Сай осторожно вошли в хижину. Их сразу облепила паутина, прогнивший пол прогибался под ногами. Пахло гнилью.

— Да, не больно шикарно, но все же лучше, чем на земле,— сказал Сай.— Даже как-то и дом вспоминается. Пошли поищем сучьев — разведем костер.

Они осмотрели место возле хижин. Джерид нашел ржавое ведро, наполовину утонувшее в грязи. Сай собрал охапку хвороста. Через несколько минут огонь, разведенный в ведре, осветил хижину, и они оба принялись греть над ним руки.

Потом Джерид и Сай открыли банки с тушенкой и выпили вина.

— У меня прямо сердце радовалось,— сказал Сай,— когда этот парень из сахарной компании выдавал Криди. Я думал, пузатый боров вот-вот захлебнется слюной.

— Куда он нас теперь повезет? — спросил Джерид.

Сай проглотил большой кусок тушенки и запил вином.

— Да куда угодно, скорее всего на кукурузу, но на тростник уж точно не потащит. Те ребята не захотят больше иметь с ним дело.

— Ну и хорошо,— сказал Джерид.— Я этим тростником сыт по горло.— Он расстелил одеяло и лег. Вино горячей струей разлилось по телу. Новая куртка приятно согревала плечи и руки.— А сколько здесь длятся эти холода? — спросил Джерид.— Я думал, во Флориде жара стоит круглый год.

Сай отпил из бутылки, поставил ее и сказал:

— Иногда бывает так холодно, что апельсины замерзают на деревьях и их отогревают кострами. Если этот холод продержится, плохо придется и овощам.

— Пусть хоть все перемерзнет. Может, вернемся тогда в Энджел-Сити.

— Боитесь за жену?

— Да.— Джерид и не догадывался, как выдавали его лицо и голос.

— Да вы не беспокойтесь. Берта — хорошая женщина. Она поможет. Сделает все как надо.

— Может, и так,— неуверенно сказал Джерид.— Но лучше уж мне вернуться.

18

На следующий день Криди появился в лагере в одиннадцатом часу. Он выгрузил банки с консервами и нетерпеливо сказал:

— Поедите, ребята, в автобусе. Мы опаздываем.

Рабочие торопливо заняли свои места, и Джаббо поехал следом за «Марком IV» — сначала назад в Белл-Глейд, а потом по шоссе № 441 на восток. Милях в пяти от города они остановились на краю кукурузного поля. Там их ждал грузовик с откидными бортами, заваленный пустыми проволочными корзинами. Он тронулся, как только рабочие сошли с автобуса, а они двинулись вслед за ним, обрывая на ходу кукурузные початки и укладывая их в корзины, которые потом устанавливали на платформу грузовика. Машины подходили одна за другой и, взяв груз, отправлялись на консервный завод в Белл-Глейд, где кукурузу охлаждали, перегружали в рефрижераторы и везли на рынки Восточного побережья, на Средний и Дальний Запад, в Канаду.

Вечером, закончив работу, бригада вернулась в заброшенный лагерь, а наутро отправилась на то же поле. Наступила суббота, но Криди денег не выдал. Джерид по сути дела и не надеялся что-нибудь получить: ведь им разрешили оставить половину того, что они заработа-

ли на тростниковой плантации, за это в Энджел-Сити пришлось бы гнуть спину несколько недель. Другим рабочим в бригаде, по-видимому, было все безразлично. Они взяли банки с сардинами и фасолью и потащились в полуразрушенные хижины.

Джерид и Сай сидели на полу и молча ели. Джерид был рад, что поездки в магазин в этот вечер не будет. Он еще не совсем опустился, и ему было стыдно за свой вид. Копоть и сажа въелись ему в лицо и руки, а одежда заскорузла от грязи. Он мечтал помыться, хотя бы в грязной воде оросительного канала, но боялся подхватить простуду.

Они еще не кончили ужинать, когда Джаббо велел всем выходить. Поднимаясь, Джерид сказал:

— Наверное, опять уезжаем. Может, на этот раз в Энджел-Сити.

Криди стоял перед автобусом, его и без того красное лицо совсем побагровело от злобы. Когда все собрались, он сказал:

— У нас не хватает одного ниггера. Того, которого зовут Хут. Кто его видел?

Рабочие переглянулись, но все молчали. Криди пошел к «Марку IV» и вернулся с бутылкой.

— Первый, кто скажет, где этот ублюдок, получит литр виски.

Все продолжали молчать. Затем старик лет шестидесяти пяти вышел вперед.

— Я видел его, мистер Криди. Как раз, когда мы вернулись в лагерь, он побежал к шоссе. Я видел его.

— А на шоссе — в какую сторону он направился?

— Не знаю, сэр. Из-за деревьев не разглядеть было. Но я видел, как он бежал к шоссе.

Криди повернулся к Джаббо.

— Он не мог далеко уйти.— Потом он протянул бутылку гиганту-негру.— Поставь обратно в машину. Я не собираюсь отдавать литр виски за такие ерундовые сведения.

Старик, опустив голову, отошел назад.

— Двое из вас поедут с Джаббо в Пахоки, а двое со мной в Белл-Глейд. Остальные останутся в лагере, и уж лучше вам быть на месте, когда мы вернемся. Понятно?

Люди молча кивнули.

Первыми двумя, на кого указал Криди, были Джерид и Сай. На поиски Хута Криди отобрал рабочих, чьи дети находились у него. Джерид и Сай пошли за Джаббо к автобусу, а Криди и еще двое уехали в «Марке IV». Добравшись до шоссе, автобус повернул направо и потащился по узкой дороге, петлявшей среди плантаций сахарного тростника и овощных полей и густо обсаженной араукариями.

Когда они добрались до южных окраин Пахоки, шоссе уже погрузилось в темноту. Они въехали в негритянский квартал города. По обе стороны дороги лепились друг к другу двухэтажные блочные дома. Некоторые были когда-то покрашены в ярко-красный, розовый и желтый цвета, но теперь сильно поблекли. Вид у домов был настолько жалкий, что, казалось, подуй сильный ветер — и они посыплются друг на друга, как поставленные в ряд костяшки домино. На покосившихся деревянных балконах сохло белье; дворы, лишенные всякой растительности были завалены мусором; кое-где на деревянных подпорках стояли старые ржавые машины без колес.

Джаббо съехал на боковую улочку, поставил автобус и велел Джериду и Саю выходить.

— Вы вдвоем осмотрите западную часть, а я пойду по восточной. Если найдете ниггера, тащите его к автобусу.

Один квартал Джерид и Сай прошли вместе. У стен домов и на тротуаре молча сидели люди — одни пили пиво, вино или виски, другие просто глазели по сторонам и сплевывали.

Джерид и Сай остановились под тусклым фонарем.

— Я пойду по этой стороне,— сказал Сай,— а вы поищите в следующем квартале. На южном углу встретимся.

Положив руку негру на плечо, Джерид спросил:

— Как вы поступите с Хутом, если его найдете?

— Скажу: беги что есть мочи и не оглядывайся.

Джерид улыбнулся:

— Я так и думал.

— Только будьте поосторожнее. Это — плохая часть города,— предупредил его Сай, и они разошлись.

На углу Джерид остановился и стал смотреть на людей, шедших по улице, и на поток автомобилей; он не заметил, как рядом с ним остановилась патрульная машина. Из нее вышел полицейский и подошел к Джериду.

— Ты что здесь делаешь, приятель? — спросил он, внимательно оглядев Джерида с головы до ног.

— Прогуливаюсь,— наконец выговорил Джерид, растерявшийся при неожиданном появлении полицейского.

— Ты сезонный рабочий? — спросил полицейский.

— Я работаю на кукурузных полях. Мы живем в лагере к югу отсюда.

— Какой компании принадлежит лагерь?

Джерид помялся:

— Названия компании я не знаю. Мы работаем у подрядчика. Он привез нас в город на автобусе.

— В красном, что стоит на той стороне улицы?

— Да, в нем. Мы приехали отдохнуть и скоро вернемся обратно в лагерь.

Полицейский снова внимательно посмотрел на Джерида.

— Нечего вам делать в негритянском квартале в субботний вечер. Разве вы не знаете?

— Нет, сэр. Я не знал,— робко сказал Джерид.— Я просто прогуливался.

— Ну и гуляйте себе в другом месте. У нас и так полно беспорядков, а вы тут сами лезете на рожон.

Джерид облегченно вздохнул, когда полицейский снова сел в машину и уехал. Ему вспомнилась ночь, когда он так мечтал встретиться с полицейским, а сейчас ему пришлось лгать, чтобы отделаться от него. Но Джерид знал, что если ему не поверили в Хомстеде, то полицейский в Пахоки, безусловно, примет его за сумасшедшего. И к тому же Джерида не оставляла мысль о Кристи.

Проходя по улице, Джерид чувствовал, как его молча провожают взглядом сидевшие на тротуаре люди; наконец он зашел в кафе под названием «Отдых». Вдоль одного конца помещения шла стойка, а посредине и вдоль стен тесно стояли столики; на противоположной стене то и дело вспыхивала реклама пивной фирмы «Будвейзер».

За столиками сидело несколько чернокожих мужчин и женщин. Полная негритянка лет сорока возилась у стойки. Она неприязненно посмотрела на Джерида.

— Вам что надо, мистер? Это негритянский квартал, и нечего вам здесь делать.

Джерида удивила враждебность женщины.

— Я ищу человека по имени Хут. Черный, примерно моего возраста, рост — метр восемьдесят три, а вес — около семидесяти килограммов. Он сегодня не заходил?

— Они тут сотнями шляются, и все такие,— еще больше распаляясь, сказала женщина.— А зачем он вам?

— Мне нужно с ним поговорить. Он не заглядывал сюда?

— Вы будете что-нибудь брать? А нет, так убирайтесь отсюда к чертовой матери!

— Да я ищу Хута,— снова попытался объяснить Джерид.

Человек, сидевший за столиком неподалеку от стойки, не сводил с них глаз, внимательно прислушиваясь к разговору. Он встал и подошел к Джериду. Потом вдруг сунул руку в карман, вытащил нож и, нажав на кнопку, приставил к Джериду мгновенно выскочившее шестидюймовое лезвие.

— Отстань от нее! Хочешь нарваться на неприятности? Если так, то здесь самое подходящее место.

Джерид посмотрел на нож, на злое лицо негра.

— Не хочу я ни на что нарываться. Мне просто надо найти человека по имени Хут и поговорить с ним. Я хочу ему помочь.

— А я хочу выпустить из тебя кишки! — крикнул негр, надвигаясь на Джерида; тот попятился. Люди в комнате перестали пить и смотрели, что будет дальше.

Джерид стоял уже у самой стены, не сводя глаз с поблескивавшего лезвия. Он совершенно не понимал, чем навлек на себя такую ненависть. Он сделал было шаг к двери, но вооруженный негр загородил ему дорогу.

Тут Джерид увидел входившего в кафе Сая — ему сразу стало легче, как только появился его сильный, мускулистый друг.

— Стой, парень! — крикнул Сай.— Этот белый — мой друг!

Мужчина с ножом обернулся и посмотрел на Сая. Немного помедлив, он убрал лезвие и сунул нож обратно в карман.

— Если он твой друг, так скажи ему, чтоб закрыл пасть и не приставал с дурацкими вопросами,— сказал он, возвратившись к своему столику.

— Лучше нам отсюда поскорее убраться,— тихо сказал Сай.— Вам просто повезло, что я вовремя пришел. Еще немного, и он бы вас прирезал.

Они вышли на улицу и встали у края тротуара. Руки у Джерида дрожали.

— Просто не знаю, из-за чего они так разозлились. Я всего-навсего спросил про Хута.

— Да ладно, забудьте,— сказал Сай.— Но нам лучше теперь держаться вместе.

Они двинулись дальше по улице и подошли к зданию, на котором было написано «Пиво и бильярд». Они вошли. У столика стоял Хут и пил из бутылки пиво. Сай бросился к нему:

— Ты какого черта здесь делаешь? Разве не знаешь, что Криди тебя разыскивает? И здесь, и в Белл-Глейде.

Хут с изумлением обернулся.

— А я и не собирался убегать. Клянусь богом, не собирался. Я просто решил сходить в город попить пивка. Я вернусь.

— Черномазый дурак! — выругался Сай.— Разве ты не знаешь, что Криди ничего не стоит тебя прикончить?

— Клянусь богом, я не собирался бежать,— бормотал Хут; глаза его от страха чуть не вылезали из орбит.— И вы теперь поведете меня обратно?

— Никуда мы тебя не поведем,— сказал Сай более спокойным тоном.— Но ты на ночь где-нибудь спрячься, а утром побыстрее мотай отсюда. Отправляйся в Эйвон-Парк или Фростпруф. Там полно работы, и Криди тебя не отыщет. А к Хомстеду или здешним местам лучше и близко не подходи.

— Ну как я отсюда выберусь? Мне все равно придется выйти на дорогу и ждать попутной машины,— с отчаянием сказал Хут.— У меня не осталось ни цента, и мистер Криди тут же меня сцапает.

Джерид сунул руку в карман, достал десять долларов и протянул их Хуту.

— Этих денег тебе хватит на автобус и еще немного останется.

На лице Хута отразилось изумление. Он схватил деньги.

— И вы даете их мне просто так?

— Да, чтобы помочь тебе уйти от Криди. Но поторапливайся, тут с нами еще Джаббо.

В глазах Хута при упоминании о Джаббо снова промелькнул страх. Он тревожно покосился на дверь и сказал Джериду:

— Я вам очень признателен, большое спасибо. Я вас никогда не забуду.

— Пойду погляжу на улицу, как там,— сказал Сай, направляясь к двери. Он выглянул и быстро вернулся.

— Джаббо идет. Залезай скорее под стойку и сиди, пока мы не уйдем.

Хут спрятался, а Сай торопливо купил две бутылки пива. Он сделал Джериду знак занять пустой столик. Только они сели, как вошел Джаббо и сразу же направился к ним.

— Мистер Криди послал вас искать Хута, а не распивать здесь пиво.

— Мы уже все обшарили,— спокойно сказал Сай,— им тут и не пахнет. Мы и подумали, дай-ка выпьем пивка, прежде чем возвращаться к автобусу. Хочешь с нами?

Джаббо уставился на Сая.

— Ты угощаешь? — спросил он.

— Ты что, глухой? — огрызнулся Сай.— Так хочешь или нет?

Джаббо помедлил, потом сказал:

— Пожалуй, выпью. А потом поедем.— Он сел за столик, а Сай пошел к стойке.

Вернувшись, Сай поставил перед Джаббо бутылку. Джаббо отхлебнул пива и сказал:

— Мистер Криди рассвирепеет, как черт, из-за того, что мы не нашли этого ниггера.

— Так мы ж искали,— сказал Сай,— его и след простыл.

На лице Джаббо отразилось беспокойство.

— Может, мистер Криди найдет его в Белл-Глейде,— заметил он.

— Может, найдет, а может, и нет,— сказал Сай.— Если Хута подобрала попутная машина, он сейчас уже наверняка на полпути к Орланде.

Сай сделал еще глоток, затем взглянул на Джаббо, который сидел напротив него.

— Послушай, Джаббо,— сказал он,— сколько Криди тебе платит за то, что ты с нами, черными, вытворяешь? Ты ведь тоже негр — забыл, наверное? Чем ты отличаешься от меня, от Хута или старика Руда? Так сколько он тебе платит?

Джаббо пропустил слова Сая мимо ушей. Он поднял бутылку, осушил ее и дважды рыгнул.

— Ладно, пора идти. Надо возвращаться в лагерь. Мистер Криди разозлится, как черт.

Все трое молча пошли к автобусу. Приехав в лагерь, Джерид и Сай отправились в свою хижину и развели в ведре огонь; сев на пол, они съели банку тушенки и выпили вина.

Джерид думал о чем-то своем. Потом повернулся к Саю.

— Как же это все-таки получилось,— спросил он наконец,— что негры в кафе так набросились на меня? Я им ничего плохого не сделал.

— А почему вы ненавидите Криди?

Слова Сая озадачили Джерида.

— Это как понять? И при чем тут Криди?

Сай перестал есть и в упор посмотрел на Джерида.

— Вот мы были в негритянском районе, а чем он отличается от Энджел-Сити? Эти негры тоже весь день вкалывают на полях, а вечером возвращаются в свои домишки. Они такие же невольники, как и вы.

— Вы хотите сказать, они думают, что я виноват в их бедах? — с недоумением спросил Джерид.

— Они ничего не думают. Просто озлоблены, как и вы, потому что сидят в западне и не могут оттуда выбраться.

Джерид снова замолчал, затем пробормотал:

— Черт побери!

Пока они ели тушенку, маленький костер в ведре догорел. Они допили вино, Джерид лег и закутался в одеяло. Долгое время он раздумывал о стычке в кафе и о том, как к ней отнесся Сай. Несмотря на то что Джерид очень устал, тревожные мысли не давали ему уснуть. Он повернулся к Саю и спросил:

— Вы спите?

— Спал, но вы меня разбудили,— пробормотал Сай.

— А почему Криди назвал свой лагерь Энджел-Сити? — спросил Джерид.

— Не знаю,— ответил Сай, которому явно не хотелось разговаривать.— Может, думает, что это последнее пристанище для нас.

— Ну, один ангелочек сегодня оттуда вырвался, верно?

Сай хмыкнул:

— Уж это как пить дать.

Они замолчали.

— Когда умер мой отец,— снова заговорил Джерид,— его принесли домой в гробу, потом крышку подняли... Сидел я один с отцом в нашей холодной комнате, смотрел на него, и так жалко мне его стало... а потом вдруг вместо него увидел себя в этом ящике... не отца, а себя... и вроде нахожусь я в городе ангелов, прямо как по Библии... кругом ничего, только белые тени... плавают вокруг и разговаривают на каком-то своем языке... Я это увидел так ясно, что ужас как испугался... долго еще потом — год или два — я себя в том гробу все видел... а теперь, с тех пор как я в Энджел-Сити... мне опять кажется, точно сижу я и смотрю на себя в гробу и нет никакой возможности оттуда выбраться. Внутри все холодеет, а это, как говорят у нас в горах, совсем плохо... хуже и не бывает.

Джерид поднялся, взял несколько прутиков, сложенных горкой в углу комнаты, и подбросил их на уголья, тлевшие в ведре. Потом опять завернулся в одеяло и продолжал:

— Когда мы только приехали сюда, Кристи все мечтала о красном купальном костюме, чтоб пойти на пляж, а Бенни хотелось увидеть океан и половить там рыбу. Вот мы уже сколько времени во Флориде, а океана так и не видели. Я даже не знаю, есть ли он здесь вообще.

— Есть,— сказал Сай.— Вы бы помолчали и дали мне немного поспать. И так все кости болят от усталости, а завтра впереди целый день. Пока-то вы еще не в гробу.

Джерид еще долго лежал без сна, думая о поездке в Пахоки и случае в кафе, о побеге Хута и о том, что сказал ему Сай. Была уже поздняя ночь, когда в темноте раздались ругательства Криди — он в бешенстве поносил Джаббо последними словами. Несколько минут Джерид слушал, затем натянул одеяло на голову и заснул.

19

В понедельник утром рабочие снова вышли на поля кукурузы. Холод прошел, и в воскресенье вечером Джерид вымылся в канале неподалеку от лагеря и постирал одежду. Завернувшись в одеяло, он ждал, пока она медленно сохла возле огня, разведенного в ведре.

Криди все еще бесился по поводу Хута, и всякий раз, как Джерид и Сай смотрели на его красное от злобы лицо, они внутренне радовались, довольные своей ролью в побеге негра. Теперь Хут был, навер-

ное, уже в безопасности в Эйвон-Парке или Фростпруфе, а к Хомстеду или Белл-Глейду и близко не подойдет.

В середине недели их перевели на поле сельдерея; они выдирали белые сочные корни из черной, как сажа, земли и бросали в грузовики. Машины увозили сельдерей в Белл-Глейд, сбрасывали в огромные чаны, там его мыли, охлаждали, затем складывали в решетчатые ящики и отправляли в далекие магазины, где его купят, порежут в суп и салат или положат на кусочек острого сыра и подадут на закуску к коктейлям.

Джерид все чаще думал о Кломе. Иногда он заканчивал ряд, даже не отдавая себе в этом отчета, а иногда бросал сельдерей мимо грузовика, и тогда ему приходилось бежать и подбирать зелень. Однако Криди, судя по всему, не собирался возвращать бригаду в Энджел-Сити.

В субботу вечером он выдал каждому рабочему по пять долларов. Они уже собирались садиться в автобус, чтобы ехать в магазин, но тут возле «Марка IV» остановился какой-то пикап. Криди прочитал надпись на дверце — «Окичоби продьюс корпорейшн». Представитель компании быстро окинул взглядом рабочих и хижины.

— Мне сообщили, что здесь кто-то расположился. Это ваши люди?

— Я подрядчик,— осторожно ответил Криди.

— Сколько времени вы здесь находитесь?

— Недели полторы. А вам зачем?

Инспектор снова посмотрел на рабочих и на постройки.

— Этот лагерь был назначен на снос еще пять лет назад. Кто разрешил вам здесь остановиться?

— Никто,— ответил Криди, переминаясь с ноги на ногу.— Я думал, что никто не будет возражать.

— Лагерь принадлежит нашей компании, а вы, поселившись в нем, ставите нас под угрозу штрафа со стороны министерства здравоохранения. Вам придется немедленно вывезти отсюда людей.

— Мы никому не мешаем,— мрачно ответил Криди.

— Вы можете устроить своих рабочих в новом лагере к востоку от Белл-Глейда. Перевезите их туда. Я сейчас сообщу по радио, что вы едете.

— Сколько это будет стоить? — спросил Криди.

— Помещение — десять долларов с человека в неделю; это современная постройка со всеми удобствами. Сколько у вас здесь народу?

Криди не ответил. Он покраснел и сердито проговорил:

— Я не собираюсь платить по десять долларов в неделю только за одно жилье. Что я, с ума сошел? Около пятисот долларов только за то, чтоб они спали!

— Вам это ничего не будет стоить. Плата за жилье вычитается из их заработка и заранее не взимается.

— Не собираюсь я этого делать! — взорвался Криди.— Деньги получаю я и сам расплачиваюсь с рабочими. Они все — мои должники, и я удерживаю долг по частям из их заработка.

Инспектор отступил на шаг и взглянул на Криди — тот стал совсем багровым.

— Послушайте! Мне нет дела до того, как вы поступаете со своими рабочими. Разбирайтесь сами. Я просто хотел вам помочь. Но из этого лагеря вы должны уехать. В противном случае я вызову полицию.

При упоминании о полиции Криди сразу затих.

— Я совсем не хочу причинять вам неприятности,— сказал он более мирным тоном.— Я просто подумал, что мы никому не помешаем, если здесь остановимся. Ведь мы ничего плохого не делаем.

— Вам давно пора бы знать, что нельзя располагаться без разрешения в брошенных лагерях! — строго сказал инспектор.

Криди снова переступил с ноги на ногу.

— Разрешите нам остаться здесь на ночь, а завтра рано утром мы уедем.

— Я не могу вам ни разрешить, ни запретить. Но завтра в восемь утра для проверки состояния собственности компании я пришлю сюда помощника шерифа, и чтобы к этому времени духа вашего здесь не было. Вы меня поняли?

— Понял,— покорно ответил Криди.

Пикап еще не успел скрыться из виду, как Криди в бешенстве ударил ногой по заднему колесу автобуса и завопил:

— Будьте вы все прокляты! Не дают человеку честно заработать на жизнь!

Он долго говорил с Джаббо, затем сел в «Марк IV» и рванул по грунтовой дороге так, что завизжали покрышки.

Поездка в магазин была отложена.

На следующее утро рабочих на рассвете загнали в автобусы. Криди в лагере больше не появлялся и продуктов не привозил. Джерид поделился с Саем остатками тушенки, но у большинства рабочих ничего не было.

Автобус поехал в Белл-Глейд и оттуда в Саут-Бей, но не свернул на шоссе № 27, ведущее к Хомстеду. Они продолжали путь на запад к Клюстону и далее по шоссе № 80 к Ла-Беллу. Там они свернули на шоссе № 29. Уже после полудня старая машина доползла до Иммокали.

У бензоколонки на шоссе, ведущем к центру города, Джаббо остановился. Улицы были пустынны, только изредка попадались случайные машины да неторопливо прогромыхал грузовик для перевозки скота. В отдалении раздавался звон церковного колокола.

Джерид вопросительно посмотрел на Сая, но тот лишь озадаченно пожал плечами. У Джерида в это утро было хорошее настроение: он думал, что они, наконец, возвращаются в Энджел-Сити; но когда они миновали развилку на Хомстед и стали миля за милей углубляться в незнакомый район, он забеспокоился.

Часа через два к автобусу наконец подкатил «Марк IV», Джаббо вышел, о чем-то переговорил с Криди, через несколько минут вернулся обратно, завел мотор и последовал за машиной хозяина, которая, проехав по городу, двинулась дальше на юг по шоссе № 29.

В семи милях от Иммокали «Марк IV» свернул с шоссе влево и покатил по грунтовой дороге мимо пастбища. Вскоре они оказались в густой сосновой роще, примыкавшей к открытому полю. Когда автобус остановился, рабочие вышли, и к ним подошел Криди.

— Тут триста акров огурцов, мы должны их собрать. Я взял подряд на все поле, а не на число корзин. Если хотите, можете хоть весь день отсиживать себе задницу, но чем быстрее кончите, тем скорее вернетесь в Хомстед.— Он открыл багажник, вытащил коробку с консервами и бочонок воды, сел в машину и быстро поехал напрямик по пастбищу.

Кое-кто вынес из автобуса одеяла и начал располагаться под пышными соснами. Остальные уселись на землю прямо у автобуса.

Возле колючей проволоки, которой было обнесено пастбище, лежала груда пустых корзин. Джерид подошел к изгороди, взял корзину, направился в поле и начал собирать огурцы.

20

В понедельник часа в два Клома почувствовала первый приступ боли. Она сидела у своей комнаты на перевернутой пустой корзине из-под фасоли и смотрела на рабочих, которые убирали овощи по ту сторону шоссе. Она пошла в комнату и опустилась на край койки.

Через четверть часа начался новый приступ, на этот раз более сильный. Клома прилегла, надеясь, что ей станет легче. Но схватки не прекращались.

Наконец Клома с трудом поднялась и пошла на другую сторону барака. Повар, сидевший под деревом возле передвижного домика, при ее приближении даже не поднял головы, продолжая лениво копаться в грязи.

— Мне, возможно, понадобится помощь до того, как рабочие вернутся в лагерь. У меня начались схватки.

Старик тупо взглянул на нее.

— Я здесь за повара. Я больше не собираю помидоры, и мне дают две бутылки вина вместо одной.

Клома с минуту в упор смотрела на него, затем повторила:

— Вы что, не понимаете? У меня схватки! Мне нужна помощь!

Он опустил глаза и снова начал копаться в грязи.

— Я здесь за повара. Я больше не собираю помидоры...

Не дослушав, Клома повернулась и пошла к себе в комнату.

Целый час она просидела на койке, вздрагивая от приступов все нараставшей боли. Она знала, что не должна терять голову, ибо до возвращения рабочих надеяться было не на кого.

Время тянулось медленно, на лбу у Кломы выступили капельки пота, руки стали дрожать. Она постаралась отвлечься и забыть о боли. Клома стала думать о Джериде — где он, здоров ли. Затем ее мысли унеслись к тем временам, когда она была маленькой девочкой и помогала матери варить варенье из дикого винограда, который отец собирал в лесу за домом. В убогую каменную каморку ворвался запах жареной курицы, окорока, печенья. Клома вспомнила рождество, когда под елку возле камина ей клали маленькую фарфоровую куколку. Затем ее мысли перенеслись к тому дню, когда она закончила шестой класс: мама сшила ей белое платье, а папа подарил желтую ленту в волосы; ей дали тогда прочитать стихотворение Байрона, играла музыка, кругом были празднично одетые люди, а по краям сцены стояли два американских флага; летом они запасали на зиму фрукты и овощи, играли, бродили по лесу длинными воскресными днями, купались в ручье. Она вспомнила тот день, когда впервые встретила Джерида, каким он был долговязым и неуклюжим, когда на благотворительном базаре купил у нее жареного цыпленка, как он нежно коснулся ее плеча по дороге к праздничному столу, как был робок, пока они навеки не соединили свои жизни; как боялся за нее, когда она рожала Кристи и Бенни; вспомнила его гнев, страх и горькое разочарование, когда он потерял ферму. Воспоминания мелькали, как картинки в калейдоскопе. Клома бредила:

— Джерид! Джерид! Моя кровать!

В одно из таких мгновений в комнату вошел Бенни. Он побледнел и замер от неожиданности. Затем бросился к западной стороне барака, крича на ходу:

— Мисс Берта! Мисс Берта!

Негритянке было лет шестьдесят. Ростом она была полтора метра с небольшим, но весила почти девяносто килограммов и ходила переваливаясь, как гусыня. Голову она повязывала ярко-красным платком. Завернув за угол барака, она закричала:

— Разойдись! А ну, прочь с дороги! — хотя вокруг никого не было.

Бенни поставил ведро с водой на огонь под навесом и встал у закрытой двери своей комнаты. Каждый раз при крике матери он чувствовал, как у него внутри все обрывается и комок подступает к горлу. Он без конца бегал смотреть, нагрелась ли вода, и когда она, наконец, закипела, отнес ведро в комнату. Берта встретила его в дверях.

— Не входи!

Новость быстро распространилась по лагерю. После ужина рабочие стали собираться у двери: появление новой жизни, равно как и смерть, привлекало людей. Скоро на земле перед дверью сидели все обитатели лагеря.

Берта, наткнувшись на них, громко сказала:

— А ну, уходите отсюда! Здесь вам не цирк! Вы что, никогда не видели новорожденного?

Однако никто не двинулся с места.

В девятом часу вечера раздался крик ребенка. Из комнаты вышла Берта и радостно объявила:

— Мальчик! Отличный мальчишка!

Она широко улыбнулась и скрылась в комнате.

Люди стали медленно подниматься и разошлись, а через несколько минут снова вернулись обратно. Некоторые несли банки с сардинами, фасолью, сосисками, другие — соленые свиные ножки, черствый хлеб, надкусанные кусочки сыра. Они по очереди подходили к двери, опускали свой дар у порога и исчезали в темноте.

Затуманенными глазами Клома смотрела на подарки.

— Зачем они принесли столько еды? Ведь им самим не хватает.

— Это они от души,— сказала Берта.— Хорошие люди.

Берта продолжала сидеть возле Кломы, прикладывая ей к лицу влажные тряпки. Бенни то и дело вбегал и все спрашивал:

— Ну, как мама?

И каждый раз Берта строго ему отвечала:

— Твоя мама в полном порядке. Уходи-ка отсюда! Здесь мальчику делать нечего!

Около десяти вечера Клома ненадолго села в постели и взяла на руки ребенка. Берта покормила ее сосисками и сказала:

— Твой хозяин будет гордиться. Хороший мальчик. Как ты его назовешь?

— Не знаю,— ответила Клома.— Пусть Джерид решает, когда вернется.

В полночь Бенни вошел в комнату и лег на свою койку. На рассвете Берте надо было идти в поле, но она просидела возле Кломы и малыша всю ночь. Там и застал ее сигнал гонга, сзывавший рабочих к автобусу.

Утром в среду был сорван последний огурец. Люди скатали свои одеяла и сели в автобус; старая развалина миновала пастбище и по шоссе № 29 свернула на юг.

Около Карнстауна они пересекли Тамайами-трейл и повернули на восток к болотам Эверглейдс. Внимание Джерида привлекла резкая перемена ландшафта — ни каменистых полей Хомстеда, ни черных перегнойных земель Белл-Глейда не было и в помине. Джерид как зачарованный смотрел в окно на проносившиеся мимо индейские хижины на сваях, разбросанные по берегам каналов; он видел женщин в длинных цветастых платьях, сувенирные киоски, людей в надувных лодках, огромные поросшие осокой пространства, на которых группками высились капустные пальмы.

Наконец они повернули на юг по шоссе № 27, и перед Джеридом открылась знакомая картина: серовато-коричневая каменистая почва, ряды араукарий по берегам оросительных каналов, лотки с фруктами и овощами на перекрестках, грунтовые дороги, черными лентами убегающие от шоссе за горизонт, и армии сборщиков, идущих по полям за тракторами и грузовиками. Джерид настолько отвык от этих мест, что ему показалось, будто он не был здесь целую вечность.

С каждым оборотом колес Джерид все больше думал о Кломе. Он знал, что ей пора рожать. Когда они подъезжали к Хомстеду, ему захотелось выскочить и подтолкнуть старый автобус. Сай заметил его волнение и шутливо сказал:

— Вот уж не думал, что вас так потянет в Энджел-Сити.

— Я и сам не думал,— ответил Джерид, а перед глазами у него стоял их лагерь.

Они проехали мимо небольшого каменного строения, где находился полицейский участок Хомстеда; затем миновали Флорида-Сити и повернули на шоссе, ведущее к лагерю.

Завидев томатное поле, примыкающее к Энджел-Сити, Джерид уже не мог усидеть на месте. Он подошел к двери и, как только Джаббо вышел и отпер ворота, выскочил из автобуса и побежал к бараку.

Лагерь был пуст, но Джерид этого не заметил. Клома лежала в комнате на койке рядом с ребенком. Когда он вошел, она быстро села. Мгновение они молча смотрели друг на друга, затем Джерид опустился рядом с ней на колени. Он нежно обнял ее, погладил ребенка по головке.

— Клома! Клома! Я совсем не хотел, чтоб все так было! Не хотел, чтобы ребенок родился здесь. Я думал, к этому времени у нас уже будет свой дом. Прости меня, Клома!

Он наклонился к ней, она обняла его за плечи и ласково проговорила:

— Ничего, Джерид! Ребенок здоровый, а это главное. У нас мальчик.

Джерид встрепенулся:

— Мальчик?

— Да, мальчик.

Он снова погладил ребенка.

— Мальчик,— повторил он.

— Как мы его назовем?

Он посмотрел на нее, затем на ребенка. На мгновение он глубоко задумался, потом сказал:

— Мы назовем его Сай.

Клома улыбнулась.

— Это хорошее имя — Сай Титер. Очень подходит для мальчика.

Он наклонился, поцеловал Клому и поднялся.

— Послушай, Джерид,— сказала Клома, и лицо у нее стало озабоченное,— тебе надо срочно поговорить с Кристи. Теперь, когда ее привозят сюда, она садится в угол и молчит. А иногда держится за живот и долго плачет. С тех пор как ты уехал, она не сказала мне и десятка слов. Я боюсь, Джерид, они сотворили с ней что-то очень плохое. Тебе надо скорее поговорить с дочкой.

Джерид был так рад рождению малыша, что тревога Кломы не сразу дошла до него. Он поспешно сказал:

— Обязательно, Клома. Не тревожься и занимайся мальчиком.

Потом он быстро повернулся и вышел из комнаты.

В этот момент из-за барака появился Сай. Джерид бросился к нему.

— Она родила! — закричал он, обняв негра за плечи.— Мальчика! Оба здоровы, Сай! Оба здоровы!

Сай улыбнулся:

— Мальчик! Правда? Мальчик. Отлично. Я рад за вас!

— Мы назвали его Сай, в вашу честь.

Удивление промелькнуло в глазах Сая.

— Мистер Джей, вы хотите назвать вашего мальчика в честь черномазого?

— Нет,— покачав головой, ответил Джерид.— Я называю его не именем негра, а именем друга. Я хочу, чтоб вы были крестным отцом.

Сай почесал затылок.

— Знаете, мне никогда не приходилось быть крестным отцом. А что я должен делать?

— Ничего. Вы все уже сделали.

Сай улыбнулся:

— Мистер Джей, мне, конечно, приятно, что мальчика назовут Саем.— Он опять почесал в затылке.— Сай Титер. Но я никогда не был крестным отцом.

Джерид рассмеялся:

— У вас отлично получится. Ладно, хотите посмотреть на крестника?

— Конечно, хочу!

Они вошли в комнату. Сай взглянул на ребенка и сказал:

— Ох и парень будет у вас, миссис Клома.

Она улыбнулась.

— Подумать только, крестный отец,— снова проговорил Сай.— Это не пустяк! Я — крестный отец.

На лице Джерида тоже сияла улыбка.

22

На следующее утро Джерид уехал снова на томатное поле. Теперь ему было все равно, что делать — собирать помидоры, фасоль, кукурузу и огурцы или рубить тростник. Он думал только о Кломе и о ребенке. Он знал, что должен вывезти их из лагеря; он не мог допустить, чтобы мальчик жил и рос в этом отвратительном месте, но из-за Кристи у него были связаны руки. Дочь не выходила у него из головы. Он и помыслить не мог о том, чтобы рисковать ее жизнью ради новорожденного. Он все время стремился вырваться из Энджел-Сити, но пока не находил способа.

Поздно вечером Джерид сидел на земле у своей комнаты, по-прежнему мечтая о воле. Сай пил вино, которое Джаббо дал ему перед ужином.

— Как вы думаете,— спросил Джерид у негра,— Криди разрешит нам теперь уехать? Ведь у нас родился ребенок.

Сай поставил бутылку на землю.

— Неужели вы сами не знаете?

— Но нам необходимо отсюда выбраться. Ведь должен же быть какой-то выход.

— Хватит вам накликать на себя беду,— сказал Сай.— Теперь у вас есть ребенок, и его надо беречь.

— Вот поэтому нам и надо уехать,— настаивал Джерид. Он вдруг резко поднялся.— Пойду поговорю с Криди.

Сай безнадежно покачал головой, глядя вслед Джериду.

Криди стоял у передвижного домика и разговаривал с Джаббо. Джерид подошел, остановился прямо перед Криди и резко спросил:

— Почему вы нас теперь не отпускаете?

Вопрос застал Криди врасплох.

— Это как понять?

— Здесь неподходящее место для ребенка, и вы знаете это так же хорошо, как я.

— А что здесь неподходящего? Все негритянки работают в поле с младенцами, привязанными к спине. А твоя жена особенная, что ли?

Джериду хотелось с кулаками наброситься на Криди, но он сдержался.

— Я давно гну на вас спину и точно знаю, что с лихвой отработал долг. Почему вы не даете нам отсюда уехать?

— Никто из моих должников не уезжает из Энджел-Сити! — взорвался Криди.— Никто! Тебе бы пора знать! У меня нет больше времени слушать эту чепуху! Я занят!

Джерид вернулся к бараку и сел рядом с Саем.

— Что за человек этот Криди? Откуда он только взялся?

— Скорее всего из гнезда стервятника.— Сай видел гнев в глазах Джерида и понял, чем окончилась его наивная попытка поговорить

с Криди.— Я вам уже не раз говорил. Таких гадов везде хватает. Он цепляется за все, из чего можно что-то вытянуть, и ему плевать, как он это получит. Он зашел уже так далеко, что не может остановиться, даже если б и захотел. Он привык поступать так с нами — с ниггерами, и теперь ему все равно, с кем он имеет дело. Держитесь лучше от него подальше. Он уже не человек, а такой же мертвец, как и все в лагере, из кого он выбил жизнь.

— В каждом человеке есть что-то хорошее,— сказал Джерид.— Так написано в Библии.

— Бог никогда не жил в лагере сезонных рабочих,— сказал Сай.— Криди больше не человек. Держитесь от него подальше.

Остаток недели Джерид старался не думать о Криди, об Энджел-Сити и о безнадежности их положения. После работы большую часть времени он проводил с ребенком, Кломой и не заговаривал с Саем о побеге.

В воскресенье Криди, как обычно, привез детей. Но поскольку через день наступало рождество, он решил оставить их в лагере до вторника, чтобы не тратиться на праздничный обед. Джерид был рад, что Кристи побудет с ними несколько дней: он надеялся развеять ее тоску и узнать, что так мучит ее. Когда Клома рассказывала ему о происшедшей в дочери перемене, он сначала не обратил на это внимания, но постепенно Кристи стала его тревожить. Он надеялся, что девочка просто скучает, потому что ее оторвали от них.

В понедельник утром автобусы, как обычно, отправились на поля, и, когда забрезжил прозрачный рассвет, Джерид уже пошел вдоль нового ряда помидоров. Он решил воспользоваться рождеством, чтобы вернуть Кристи радость и прежнюю беззаботность; Джерид был уверен, что это ему удастся. Он хотел сделать дочери и всем остальным что-то приятное, и его охватило радостное волнение, как всегда в сочельник. Сай подозрительно поглядывал на Джерида, который, собирая помидоры, что-то мурлыкал себе под нос.

Когда в этот вечер автобус остановился у магазина, Джерид помимо еды решил купить и еще кое-что. Ему хотелось подарить Кристи красный купальный костюм, но таких товаров магазин не держал. Тогда Джерид купил два флакона одеколона для Кломы и Кристи, соломенную ковбойскую шляпу для Бенни и вязаные голубые башмачки малышу. Саю он выбрал стаканчик для бритья, его сыну — игрушечный рожок, а Берте — желтую косынку на голову. Он также купил моток розовой ленты, пакет красной гофрированной бумаги, три коробки бумажных стаканчиков, яблоки, коробку яиц и два фунта бекона.

Когда он вошел в комнату и Клома заметила покупки, она поняла, что он, должно быть, потратил их последние сбережения, но промолчала. Впервые после приезда в Энджел-Сити она увидела на его лице радость и хотела разделить ее с ним. Она разрезала старые пакеты и завернула каждый подарок в бумагу, затем перевязала их розовой лентой. Подарок для Кломы Джерид унес к навесу и сам его завернул.

Поведение Джерида после ужина озадачило обитателей лагеря. Он принес из-под навеса три пустые корзины для фасоли и, перевернув их вверх дном, установил одну на другую — получилось нечто похожее на елку с плоской верхушкой; потом он обернул их красной гофрированной бумагой. После этого Джерид принес стоявшую у водопровода лохань и водрузил ее сверху. В отдельную корзину он положил яблоки.

В их комнате у стен скопилось шестьдесят восемь бутылок вина. Вдвоем с Бенни они вынесли вино и вылили в лохань.

Когда все приготовления были закончены, Джерид попросил Бенни и Кристи подойти вместе с ним к корзинам. Бенни ничего не пони-

мал, но был радостно возбужден и взволнован, а Кристи никуда не хотела идти.

— Сегодня сочельник, Кристи,— сказал Джерид.— К нам придут гости, как бывало у нас в горах.

Кристи помолчала, затем медленно произнесла:

— Рождество... осталось... в Западной Виргинии... Здесь нет рождества.

— Неправда, Кристи,— ласково сказал Джерид.— Рождество есть всюду. И бог есть всюду, не только в Западной Виргинии. У нас будет хороший праздник.

Он крепко сжал ее руку.

Клома с ребенком сидела на дворе у комнаты и смотрела, как Джерид подвел Кристи к украшенным корзинам; за ними шел Бенни. Джерид запел рождественский гимн, который Бенни сразу подхватил, но Кристи продолжала молчать.

Люди выходили из комнат и с удивлением глазели на странную церемонию. Сначала поодиночке, потом группами они стали подходить и, образовав возле корзин круг, присоединялись к поющим, сливая свои голоса в единый хор. Скоро здесь был весь лагерь. Джерида поразила красота и сочность негритянских голосов — никогда раньше на рождество он не слышал такого прекрасного пения.

Кристи продолжала молчать; неожиданно, подняв голову, она сказала:

— Ты не беспокойся обо мне, папа. Я не принесу тебе неприятностей. Прости меня, я не хочу быть вам в тягость.

Джерид крепче сжал ее руку.

Они спели еще несколько гимнов, и Джерид угостил всех вином, черпая его из лохани бумажными стаканчиками. Яблоки он решил раздать потом. И скоро над лагерем и окружающими полями опять зазвучали рождественские мелодии.

Джерид заметил, что Джаббо и Клаг стоят под прожектором у восточного края барака и наблюдают. Джерид подошел к ним.

— Почему вы не празднуете с нами? Ведь сегодня сочельник.

Негры смутились.

— Мистер Криди ничего не говорил нам про пение,— растерянно сказал Джаббо.

— Криди сегодня здесь нет,— заметил Джерид.— Если хотите, идите к нам. Но дело, конечно, ваше.

Они молча в нерешительности потоптались на месте, а когда Джерид вернулся к гостям, направились к своему передвижному домику.

Песни долго не умолкали. Было уже далеко за полночь, когда люди начали расходиться по своим комнатам, и лагерь снова замер.

23

В рождественское утро Джерид пригласил Сая с сыном и Берту позавтракать. Пока открывали подарки, Джерид приготовил яичницу с беконом. Они почувствовали себя немного виноватыми, когда запах поджаренного бекона разнесся по лагерю: остальные рабочие, как всегда, ели на завтрак консервы.

Криди приехал в лагерь вскоре после полудня. Джерид и Сай сидели как обычно на земле у своих комнат, когда появились Джаббо и Клаг. Джаббо остановился перед Джеридом.

— Мистер Криди говорит, что девчонка теперь останется здесь и будет работать в поле, а он возьмет маленького.

— Что? — вскакивая, спросил Джерид.— Что вы сказали?

— Мистер Криди сказал, что забирает маленького,— повторил Джаббо.— Девчонка больше ему не нужна: можете забирать ее обратно. Он говорит, что она тронутая и с мужчиной не умеет обращать-

ся. Какой интерес с ней возиться. Я сам попробовал, когда мистера Криди не было.

Джерид в ярости бросился на черного гиганта, а Сай тотчас нырнул к себе в комнату. Джаббо выхватил пистолет и наотмашь ударил им Джерида по лицу. Удар отбросил Джерида к стене. Секунду он смотрел на Джаббо, затем рухнул на землю.

Из комнаты с кухонным ножом выбежал Сай.

— Только посмей тронуть ребенка! Больше тебе не жить! Понял, черная скотина? — Он приставил нож к горлу Джаббо.

Джаббо попятился, не сводя глаз с лезвия.

— Мы все равно заберем ребенка. Хочешь подохнуть из-за него?

Сай пригнулся.

— Тебе придется убить меня в лагере. Не на болоте, где никто не увидит, а здесь — на глазах у всех!

— Пошли-ка с нами к мистеру Криди,— сказал Джаббо, направляя на Сая пистолет.— А не пойдешь, так я из тебя здесь кишки выпущу!

— И пойду! — крикнул Сай, выпрямляясь и крепко сжимая нож.— Но ты ребенка не тронь. Пока я жив — не тронь.

С трудом приподнявшись с земли, Джерид увидел, как Сай с Джаббо и Клагом завернули за угол барака. Клома, Кристи и Бенни выскочили из комнаты, на лицах их застыл ужас. Отчаянно жестикулируя, Джерид загнал их в комнату, а сам, пошатываясь и держась за стену, побрел к навесу.

Там висел огромный стальной крюк, которым повар снимал кастрюли с огня. Джерид взял его и медленно пошел вдоль южной стороны забора. Дойдя до конца барака, он увидел, что Сай стоит перед Криди, а позади него — Джаббо и Клаг. Они яростно спорили. В руке у Криди был пистолет. Внезапно Джаббо и Клаг схватили Сая и потащили к пикапу. Он вырвался и бросился с ножом на Криди. Джерид видел, как Криди, не целясь, выстрелил и Сай упал. Джаббо и Клаг подхватили его и бросили в кузов пикапа.

Пот лил ручьями с лица Джерида, но он продолжал ползти, скрываясь за передвижным домиком, чтобы его не увидели. Когда он обогнул угол домика и почти приблизился к Криди, тот обернулся. В глазах Криди мелькнуло недоверие, когда он увидел крюк, еще миг — и крюк опустился ему на голову. Секунду он тупо смотрел перед собой, а затем повалился на спину. Пистолет упал к ногам Джерида.

Жужжащая, как оса, пуля ударила Джерида в левое плечо. Он схватил пистолет Криди и поднял глаза. Джаббо готовился выстрелить в него снова. Джерид быстро прицелился и спустил курок — пуля попала Джаббо в правую руку. Джаббо выронил пистолет и отступил.

Сначала Джерид не мог сдвинуться с места; он чувствовал, как под рубашкой стало горячо от крови. Наконец он заставил себя подняться и шагнул к Джаббо и Клагу.

Клаг смотрел на пистолет в дрожащей руке Джерида. Под гневным взглядом Джерида он отступил и умоляюще закричал:

— Я не хотел ничего плохого! Клянусь, не хотел! Это все мистер Криди! Он меня заставлял!

Джаббо молчал, тоже не сводя глаз с дрожащей руки Джерида.

— Джаббо, мне следовало бы тебя сразу убить! — сказал Джерид, поворачиваясь к черному гиганту.— После всего, что ты сделал, ты недостоин жить.— Он прицелился в голову негра, затем опустил пистолет и сказал: — Вот что, черный убийца. Я хочу, чтобы вы оба вышли за ворота и бежали отсюда без оглядки до самого Хомстеда. Поняли меня?

Клаг согласно кивнул, однако Джаббо крикнул:

— Ты, белый, наверное, рехнулся!

Джерид прицелился и выстрелил. Пуля оторвала кусок кожи от правого башмака Джаббо. Он отпрыгнул и побежал за Клагом к воротам. Джерид смотрел, как они неслись по грунтовой дороге к шоссе.

Из-за угла барака выскочил Бенни и подбежал к отцу.

— Ты ранен, папа? Ты ранен? — испуганно закричал он.

Джерид положил руку на плечо мальчику, стремясь его успокоить.

— Беги в магазин, Бенни, пусть они позвонят в полицию помощнику шерифа Драммонду. Скажи ему, чтобы немедленно ехал сюда и прислал «скорую помощь». Сообщи, что есть раненые. Одна нога здесь, другая там. Ладно, Бенни?

— Хорошо, папа. Я в два счета.— Он бросился к воротам и напрямик через томатное поле побежал к шоссе.

В висках у Джерида страшно стучало, но он не обращал внимания ни на голову, ни на острую боль в плече. Проследив взглядом за Бенни, он вернулся к лежавшему на земле Криди. Джерид нагнулся, сел верхом на его жирную тушу и прицелился прямо в лицо. Криди не шевельнулся. Рука Джерида теперь дрожала еще сильнее, он положил палец на курок. Сзади кто-то позвал:

— Мистер Джей! Мистер Джей!

По земле к Джериду полз Сай. Джерид глазам своим не поверил. Он был уверен, что его друг убит.

— Не убивайте его, мистер Джей! Не надо! Он не стоит того! Он свое получил!

Джерид по-прежнему держал пистолет у лица Криди, и тут он внезапно вспомнил слова Сая: «Вы кончите тем, что сделаете что-то такое, на что в здравом уме никогда б не пошли». Он бросил пистолет на землю и направился к Саю.

Рубашка негра промокла от крови. Джерид нагнулся над ним.

— Больно?

Сай попытался изобразить улыбку.

— Конечно, лучше б этого не было. Но они со мной еще не покончили. Отправить на тот свет негра не так-то просто.

Джерид взглянул ему в глаза.

— Когда все это кончится, Сай, давайте будем вместе. Заведем какое-нибудь дело.

— Это было бы здорово,— тихо сказал Сай.— Но надо еще посмотреть, на что мы годны, кроме как собирать помидоры.

Джерид подхватил негра под мышки и поднял. Острая боль пронзила плечо Джерида, однако он медленно дотащил Сая до комнаты и положил на койку.

У противоположной стены сидела Кристи, сжимая куклу, которую накануне их отъезда из Западной Виргинии подарил ей Джефф Биллингс.

— Помоги ему, Кристи, Бенни побежал за полицией.

Кристи не отвечала. Казалось, она не видела Джерида и не слышала его слов. Только прижалась к стене и еще крепче вцепилась в куклу.

— Кристи! Ты что, не слышишь? Помоги Саю.

Глаза Кристи безумно блеснули, она вскочила и с криком выбежала из комнаты.

Джерид выскочил наружу и наткнулся на Клому, которая, скрестив ноги, сидела на земле с ребенком на руках. Она пела, раскачиваясь из стороны в сторону:

— Господь бог... любит меня... я это знаю... так... сказано... в Библии... дети... в его руках... они слабы... а он силен.

Джерид молча смотрел на жену, будто видел ее впервые.

— Клома... что с тобой, Клома?

Она взглянула на него, но не узнала.

— Сейчас в Западной Виргинии снег,— сказала она.— Детям будет далеко ходить в школу.— И снова принялась раскачиваться и петь: — Да... бог любит меня... да... бог любит меня... в Библии сказано... сказано это...

Джерид опустился перед ней на землю и с ужасом проговорил:

— О господи! Сжалься надо мной! Что я с ними сделал! Что я натворил!

Он неотрывно смотрел на Клому, не веря своим глазам; ему хотелось подойти к ней, погладить ее и ребенка, но он не мог двинуться с места; и тут его охватила ярость. Он вскочил и бросился к восточной стороне барака, не замечая людей, которые жались к стенам здания, глядя на него с испугом и растерянностью. Он влез в красный автобус, включил мотор, дал задний ход, затем нажал до отказа на акселератор — древняя машина рванулась вперед и врезалась в передвижной домик; от сильного удара он повалился на бок.

Джерид снова дал задний ход, развернулся и на полной скорости направил автобус к северной части забора. Автобус врезался в толстую сетку и откатился назад. Забор покачнулся и рухнул.

Джерид вышел из автобуса и словно в забытьи направился к пикапу. Туман застилал ему глаза, в висках невыносимо стучало. Джерид заметил, что Криди успел отползти в сторону и сидел сейчас, прислонившись к «Марку IV», но глаза его по-прежнему были закрыты.

Дойдя до пикапа, Джерид снял крышку с бензобака и бросил туда зажженную спичку. Силой взрыва его отшвырнуло назад, и тут же облако огня окутало машину.

Джерид лежал на земле и равнодушно наблюдал, как пламя пожирает пикап, затем заставил себя встать, вышел за ворота и зашагал по томатному полю. Сорвал помидор, подбросил его вверх. Затем еще один, и еще, и еще. Он шел вдоль ряда, срывал спелые красные плоды и бросал их в воздух. И тут он услышал вой сирены. Резкий звук возвратил его к действительности, он повернулся и пошел обратно к воротам.

Впереди ехала патрульная машина, за ней — карета «скорой помощи». Бенни сидел впереди рядом с помощником шерифа. Джерид отступил в сторону, обе машины промчались мимо него, въехали в ворота лагеря и остановились. Собрав последние силы, он двинулся к карете «скорой помощи». Схватившись за нее руками, он успел сказать:

— Мой товарищ там, в комнате номер десять. Сначала к нему. Он тяжело ранен.— Темнота сомкнулась, и Джерид повалился на землю.

Когда к Джериду вернулось сознание, он увидел над собой кого-то из «скорой помощи». Сбоку стояли помощник шерифа и Бенни.

— Что с моим другом? — спросил Джерид.

— Ему здорово досталось, но он выкарабкается.

— А Криди?

— Это тот, здоровый?

— Да, тот самый. Он умер?

— Нет, с ним все в порядке. Череп у него, возможно, проломлен, но это нам не в новинку. Мы таких каждый день вывозим из лагерей. Завтра голова у него, конечно, потрещит. А вы, ребята, устроили здесь веселое рождество.

— Помимо головной боли у него будет и еще кое-что,— сказал помощник шерифа, наклоняясь над Джеридом.— Ваш сын подтвердил все, что вы рассказывали прежде, а теперь, может быть, заговорят и другие рабочие. Криди за многое придется ответить, в том числе и за пулю, которую он всадил в вашего друга.

Эти слова были сейчас для Джерида пустым звуком. Ни Криди, ни Энджел-Сити его больше не интересовали, он даже не испытывал удовлетворения от того, что ожидает Криди. Он лишь радовался, что не убил этого негодяя.

— ...Теперь все это не имеет значения... сегодня таких подонков полно повсюду... — равнодушно проговорил Джерид.

Помощник шерифа снова нагнулся над ним.

— О своей семье не беспокойтесь и о людях в лагере тоже,— сказал он.— Я пошлю сюда работников из системы социального обеспечения. Они наведут порядок.

Бенни подошел к Джериду и спросил:

— Что мы будем делать, папа? Когда уедем отсюда? Я хочу знать, как мы будем жить дальше.

— Не знаю, Бенни,— устало ответил Джерид.— Просто не знаю. Может быть, этот фруктовый ларек где-то нас еще дожидается, а может, придется вернуться в горы и я буду работать на шахте. Так или иначе, как-нибудь устроимся, я обещаю. Но тебе, пока меня не будет, надо позаботиться о маме, малыше и Кристи. Теперь все ложится на тебя, сын. Ты слышишь меня?

— Я все сделаю, папа,— ответил Бенни.— Ты не беспокойся. Я о них позабочусь.

Джерид крепко сжал руку Бенни, чувствуя, что его поднимают на носилках, чтобы нести в машину.

— Постарайся, Бенни! Они теперь целиком от тебя зависят.

Как только машины с мигалками на крышах выехали на грунтовую дорогу и свернули на шоссе, рабочие разбрелись по своим комнатам. Но некоторые так и остались стоять у барака.

Человека два-три направились к воротам и вышли из лагеря. Они молча постояли, оглядываясь на барак, поваленный забор и догорающий пикап. Потом неуверенно двинулись по дороге. И вдруг побежали, а до лагеря долетел топот их ног, когда они прямо через поле устремились к шоссе на свободу.

Кровь и помидоры

Читать эту книгу мучительно больно. Мучительно больно, потому что в ней заключена горькая правда жизни. С тех пор как К. Маркс в первом томе «Капитала» показал варварские методы первоначального накопления капитала, было написано множество романов, повествующих о системе жестокой эксплуатации, некоторые из них вошли в фонд классической литературы. Отнюдь не случайно, что именно перу американских художников принадлежит значительная часть этих произведений.

Соединенные Штаты Америки — не просто оплот мировой капиталистической системы. Это — страна чудовищной эксплуатации. В своем бессмертном произведении «Джунгли» Эптон Синклер разоблачил жестокую сущность потогонной системы американского капитализма в золотую пору его расцвета. Писатель показал, что могущество наших финансовых магнатов и промышленных королей выросло на поте и крови тружеников-иммигрантов, приехавших в Америку со всего света. Джон Стейнбек в «Гроздьях гнева», классическом романе о Великой депрессии, подчеркнул, что загнивающий капитализм, подобно раненому хищнику, становится все более жестоким и прожорливым. Этот ненасытный зверь, сначала нацелившийся на латиноамериканцев, черных, индейцев и азиатов, набросился ныне и на разорившихся белых фермеров, жалких и обездоленных, многие из которых были потомками первых американских поселенцев.

Патрик Смит вслед за Стейнбеком доводит летопись капиталистической эксплуатации до наших дней. Скажу откровенно: многим советским читателям трудно будет поверить Смиту.

Не только потому, что язвы американского общества, обнажаемые писателем, так трудно совместить с привычным образом самой богатой в мире страны, которая стоит у порога XXI века. Туристские маршруты в США проложены вдоль побережья и обходят далеко стороной временные пристанища кочующих сельскохозяйственных рабочих, поэтому советские и другие зарубежные гости видят иную Америку. О жизни батраков не знает и большинство американцев, которые живут в крупных городах. Это вполне объяснимо. К тому же ни в одной стране мира комфорт и показная роскошь не поражают так своим внешним великолепием, как в Соединенных Штатах.

Достаточно зайти в наши супермаркеты, забитые аккуратно упакованными товарами — символами изобилия, или увидеть зеркально блестящие автомобили, которые выстроились бампер к бамперу, или провести несколько часов, прильнув к витринам, как это любят делать американцы,— и хочется сказать: **«Америка, ты воистину земля обетованная. Чаша твоя переполнена».** Для некоторых она и впрямь переполнена. Для многих — полна, хотя источник изобилия иссякает. Но для большинства американцев пришло время засухи. Магазины все еще забиты товарами. Однако из-за безудержной инфляции, достигшей в 1980 году 18—20 процентов, все новые и новые

американцы вынуждены отказывать себе в товарах, разжигающих их аппетит. Миллионы простых людей в США считают сегодня роскошью говядину, которая некогда постоянно украшала наш обеденный стол. Захватывающее шествие на колесах продолжается, но его поток оскудевает, а скорость заметно снизилась. Энергетический кризис, обернувшийся золотым дождем для монополий, чувствительно ударил по интересам рядовых американцев, которые обычно едут к месту работы на своих машинах. Ошеломляющее падение курса некогда всемогущего доллара, кризис городов, моральное разложение, охватившее различные ячейки нашего общества,— все это резко обострило противоречия сегодняшних Соединенных Штатов.

Но и в лучшие дни Америка никогда не была похожа на страну, сияющий образ которой создали рекламные агенты с Мэдисон авеню. И если пресса, реклама, биографы большого бизнеса и особенно Голливуд потрудились на славу, создавая идиллический образ Америки и изображая жизнь иммигрантов на примере единиц, поднявшихся от «крайней нищеты к богатству», то такие наши писатели, как Майкл Голд в своем классическом произведении «Еврейская беднота» и Эптон Синклер в романе, повествующем о литовских рабочих скотобоен Чикаго, правдиво рассказали о том, как дешевый труд миллионов иммигрантов, подвергавшихся чудовищной эксплуатации, заложил основу процветания многих наших «лучших семей», а также приехавших из-за рубежа хищников, которым удалось вырваться наверх. Духовный мир заправил большого бизнеса показан в глубоко реалистическом романе Теодора Драйзера «Финансист». Джек Лондон в «Железной пяте» с большой силой показал, какую угрозу для американцев и всех народов земли таит власть сильных мира сего. Сегодня имя «сильным мира сего» — военно-промышленный комплекс. Ричард Райт в романе «Сын Америки» и Лорейн Хэнсберри в пьесе «Изюминка на солнце» пророчески предсказали взрывы, которые вскоре сотрясли черное гетто свыше ста городов США, в то время как пресса продолжала восхвалять «всеобщую гармонию» и «процветание».

Да, чтобы по-настоящему глубоко представить себе Америку, надо обратиться к творениям лучших ее художников, хотя и в их произведениях еще не найти законченной картины современной жизни Соединенных Штатов; сложный портрет страны, охваченной всесторонним кризисом, но с виду могучей, продолжающей блистать своим мишурным великолепием, еще предстоит дописать. «Энджел-Сити, или Ангельский город» Патрика Смита — волнующий, глубоко человечный фрагмент этой пока что разрозненной мозаики.

Рассуждая о любой стороне жизни американского общества, буржуазные идеологи без зазрения совести манипулируют словом «свобода». Его особенно часто применяют, говоря об освоении поселенцами огромных земельных пространств. Голливуд сделал бесстрашного пионера, отважно продвигающегося на Дикий Запад в крытой повозке вместе с женой и детьми, символом свободы и неограниченных возможностей. Но жестокая реальность давно соседствует с этим идеализированным изображением: крупные банки, межнациональные корпорации продолжают заглатывать фермы потомков первооткрывателей. Так что «вестерны» в лучшем случае правдивы лишь наполовину.

В. И. Ленин, полемизируя с русскими сторонниками американского пути развития сельского хозяйства, высмеял их идеализированный подход к жизни фермеров в США, а также мнение, будто в этой стране отсутствовали экономические пережитки феодализма. Он указывал: «Это — утверждение прямо противоположное истине, ибо экономические пережитки *рабства* решительно ничем не отличаются от таковых же пережитков феодализма, а в бывшем рабовладельческом юге Соединенных Штатов эти пережитки *очень сильны до сих пор*» [1].

Эти пережитки очень сильны и сегодня, через 65 лет после того, как В. И. Ленин написал свои пророческие слова. «Ангельские города», разбросанные по нашей плодородной земле, свидетельствуют о живучести отвратительного и позорного феодального «наследия».

Веками защитники эксплуататорских классов утверждали, что человечество нуждается в принуждении, будь его орудием плеть, которой погоняли раба, крепостного, испольщика, или ростовщики-банки, обиравшие бедных фермеров. Без плети (ныне искусно замаскированной эвфемизмом «свободное предпринимательство») не может быть истинного изобилия, заявляют сторонники капитализма.

Защищая свою точку зрения, они ссылаются на несомненное обилие сельскохозяйственных продуктов в Америке. Какая издевка над истинным положением вещей! Да, наше сельское хозяйство развивается в исключительно благоприятной климатической зоне, где расположена большая часть обрабатываемых площадей. Однако могущественные монополии, владеющие почти всей пахотной землей в США, очень часто считают это благо проклятием. Огромные урожаи пшеницы, кукурузы и других культур рассматриваются как бедствие, страшнее которого могут быть только засуха и голод. Если Верховный Совет СССР ежегодно выделяет значительные средства на развитие сельского хозяйства, то американский конгресс готов предоставить фермерам крупные ассигнования на сокращение производства. Во время «великого кризиса» 30-х годов, когда семнадцать миллионов голодных американцев бродили по улицам городов, тысячи тонн молока были вылиты на землю, миллионы голов свиней были уничтожены, поля с созревшим урожаем хлопка перепаханы.

Семейные фермы почти исчезли в Америке. В своей речи перед клубом «За процветание граждан Калифорнии» бывший министр сельского хозяйства США Роберт

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, с. 141.

Берглэнд заявил, что «шесть процентов крупных хозяйств страны контролируют теперь основную часть производства продовольствия. Два процента гигантских ферм дают... более трети всех продовольственных товаров». Сельскохозяйственное производство возросло. Это произошло не только благодаря его индустриализации, но и в результате нещадной эксплуатации миллионов сельскохозяйственных рабочих, особенно кочующих батраков, о которых повествует в своем романе Патрик Смит.

Берглэнд с безразличием бюрократа признал, что «социальные потери, связанные с вытеснением фермеров, неизмеримы».

Но он лишь слегка затронул проблему, которую раскрывает в своем романе Патрик Смит. Эти «социальные потери» художник показывает на примере семьи Титеров. Роман «Энджел-Сити» — трагический рассказ о судьбе миллионов Титеров, которые некогда служили опорой нашей буржуазной демократии, а потом были «вытеснены» со своих земель могущественными страховыми компаниями и банками. Советскому читателю, возможно, будет небезынтересно ознакомиться и с некоторыми статистическими данными.

За последние тридцать лет шестьдесят процентов американских ферм прекратили свое существование. Согласно подсчетам, в США имеется два миллиона шестьсот тысяч кочующих и сезонных сельскохозяйственных рабочих. На самом деле их гораздо больше, ибо на американских фермах трудятся миллионы мексиканцев, ежегодно пересекающих границу США. Они подвергаются самой жестокой эксплуатации, преследуются полицией и живут в постоянном страхе перед угрозой высылки из Соединенных Штатов. У мексиканских батраков самые низкие заработки, они непомерно много платят за жилье — как правило, ветхие лачуги, кишащие крысами. Мексиканцы составляют огромную армию тружеников, лишенных всех прав, включая и право на гражданство, они полностью зависят от сельскохозяйственных монополий, которые нанимают их за гроши. Эта еще не рассказанная история, тщательно скрываемая правда о жизни батраков проливает свет на то, откуда берутся горы продовольственных товаров в наших супермаркетах, поражающие зарубежных туристов. Сочные красные помидоры и чудесные фрукты, которые в любое время года подаются к столу американцев, омыты слезами и кровью миллионов Титеров, Саев и мексиканских рабочих.

Джеймс М. Пирс, директор-распорядитель Национального фонда испольщиков, в 1976 году указывал: «Из-за низкой заработной платы, отвратительных жилищных условий, скудного питания, почти полного отсутствия медицинского обслуживания и постоянного обращения с ядовитыми пестицидами средняя продолжительность жизни сельскохозяйственных рабочих не превышает сорока девяти лет. Смертность среди их детей при рождении и в возрасте до одного года в 125 раз выше, чем у детей представителей других отрядов пролетариата. Сельскохозяйственные рабочие умирают от гриппа и пневмонии в 2 раза чаще, чем в среднем по стране, а от туберкулеза и респираторных заболеваний — в 2,6 раза. Смертность от профессиональных заболеваний среди них в три раза выше общенационального уровня... Несмотря на то что от производственного травматизма страдает каждый десятый сельскохозяйственный рабочий, на большинстве американских ферм не соблюдаются правила техники безопасности и нет медицинского обслуживания».

Министр сельского хозяйства Берглэнд констатировал, что «половина бедняков США проживает в сельской местности». **Это — самая неприметная нищета, скрытая за фасадом «процветающей» Америки.**

Живя в ужасающей бедности, сельскохозяйственные рабочие создают огромные богатства для монополий. Только в начале 1980 года цены на продовольствие поднялись на 20 процентов, а за последнее десятилетие увеличились в два с лишним раза.

Бóльшую часть прибылей получают конгломераты, контролирующие производство сельскохозяйственной продукции. Четыре из них — «Келлог», «Дженерал миллс», «Дженерал фудс» и «Квэйкер оутс» — поставляют 91 процент зерна на рынок Соединенных Штатов, три — «Боден», «Нэшнл дэари» и «Канейшн» — контролируют 60—70 процентов сбыта молочных продуктов; «Кэмпбелл» производит 90 процентов суповых концентратов в Америке, «Дженерал фудс» продает 41 процент всего кофе в стране, шесть фирм держат в своих руках экспортную торговлю зерном, приносящую миллиардные прибыли.

Сейчас за пределами городов проживает менее трети населения США, лишь 4,2 процента всей рабочей силы занято в сельском хозяйстве. Эти цифры, говорящие о высокой производительности труда, впечатляют. Однако какой дорогой ценой достается она людям! Об этом еще предстоит рассказать. Но не языком бесстрастных статистических отчетов, которыми забиты пыльные шкафы в холодных кабинетах чиновников, а в таких бередящих душу произведениях, как «Энджел-Сити». Капиталистическая система не только жестока, она бездушна. Бездушные правления «Дженерал моторс» и «Юнайтед Стейтс стил» закрывают заводы и выбрасывают на улицу десятки тысяч рабочих семей в Детройте, Кливленде и Янгстауне, потому что заводы перестают быть рентабельными. «К чертям сантименты! Вы просто не нужны! Бизнес есть бизнес» — вот чем руководствуются хозяева в мире свободного предпринимательства.

Тот же самый святой закон «свободного предпринимательства» (погоня за прибылью) стоит и за «вытеснением» миллионов мелких фермеров, подобных Титерам.

Заслуга Патрика Смита заключается в том, что писатель показал, какие человеческие страдания скрываются за сухой статистикой и бесцветным словом «вытеснение». Мы страдаем вместе с Титерами, когда их отрывают от родной почвы. Новое понимание жизни приходит к ним через Сайласа Криди, кровного брата свирепых надсмотр-

щиков, которые до Гражданской войны нещадно хлестали плетьми спины чернокожих рабов. «Вытеснение» Титеров породило тысячи криди. Именно криди вербуют Титеров и Саев, помыкают ими, заставляя несчастных батраков работать до кровавого пота. За эту работу криди требуют и получают свой кусок мяса.

Производительность труда и гуманность в США находятся в постоянном и остром противоречии друг с другом. Американские рабочие и фермеры платили и платят чудовищную цену за свой высокий уровень жизни, который сейчас стал стремительно падать. Они расплачиваются расстройством нервной системы, психическими заболеваниями, постоянным страхом перед завтрашним днем. Причины этого страха— отсутствие уверенности в прочности своего общественного положения, боязнь потерять место на заводе, в учреждении или землю, которая вскормила не одно поколение Титеров.

Бараки кочующих сельскохозяйственных рабочих — отнюдь не единственное свидетельство трагедии американских бедняков. Миллионы разорившихся нищих фермеров — Титеров и раздавленных нуждой чернокожих батраков Саев, оставшихся без работы,— волна за волной вливаются в перенаселенные, кишащие крысами трущобы наших городов. Анархия капиталистического производства, погоня за прибылями и эксплуатация разрушили структуру нашего общества в городах и сельской местности. Система «свободного предпринимательства», законом законов которой остается получение максимальных прибылей, не дает ответа на вопрос: «ЧТО ДЕЛАТЬ «ЛИШНИМ» РАБОЧИМ и ФЕРМЕРАМ, ВЫТЕСНЕННЫМ НТР?» Прогресс становится настоящим бедствием в странах, где властвуют монополии. Богатейшая страна мира в лучшем случае может лишь временно облегчить участь безработных, предложив им пособие или жалкие гроши благотворительной помощи для самых бедных, которая непрерывно уменьшается. Но даже в этом отказано большинству кочующих сельскохозяйственных рабочих.

Когда советские люди будут с горечью читать «Энджел-Сити», они должны знать еще об одной важной стороне нашей жизни. Иначе читатель будет подавлен гнетущей картиной американской действительности, правдиво нарисованной Патриком Смитом. Самые яркие страницы истории рабочего движения в США пишутся сегодня сознательными сельскохозяйственными рабочими, создавшими свой профсоюз во главе с Сесаром Чавесом, который пользуется всеобщей любовью и уважением. Опорой профсоюза стали батраки плодородных полей Калифорнии, где производится четвертая часть сельскохозяйственных продуктов Соединенных Штатов. Борьба против нищеты и бесправия кочующих сельскохозяйственных рабочих только начинается, но повсюду в полях вспыхивают огоньки народного гнева. Не вызывает сомнения, что они еще разгорятся в полную силу.

До сих пор я мало говорил о самом романе. Просто я верю, что эта небольшая по объему, но очень содержательная и глубоко волнующая книга скажет сама за себя. Немногие так хорошо знают жизнь Титеров и Саев, как Эрскин Колдуэлл, автор «Акра господа бога», одного из самых ранних, классических произведений о тяжелой доле мелких фермеров и батраков нашего Юга. Ознакомившись с романом Патрика Смита, Эрскин Колдуэлл написал (и эти его слова напечатаны на обложке): «Обитатели бараков для кочующих сельскохозяйственных рабочих во Флориде (и других штатах) много лет ждали появления такого романа, как «Энджел-Сити», который, словно вспышка молнии, осветил страдания, переживаемые множеством мужчин, женщин, детей. Патрик Смит создал леденящий душу рассказ о печальной участи членов одной американской семьи из горного района Западной Виргинии, обреченных на жалкое существование в бараках для сельскохозяйственных рабочих в южной Флориде. В этом захватывающем романе утомительный труд сборщика помидоров и других овощей кажется приятным времяпрепровождением по сравнению с ужасными условиями труда и быта батраков — будь то черных или белых».

Еженедельник «Паблишерз уикли», орган американских книгоиздателей, отмечал: «Роман Смита, в основе которого несомненно лежат подлинные события, потрясает своим содержанием».

Конечно, герои Патрика Смита могут показаться несколько упрощенными, ибо писатель не уделяет достаточно внимания тонкой обрисовке характеров. Повествование выглядит порой прямолинейным. Но где-то в этой простоте таится особая сила произведения. Оно дышит подлинной правдой жизни. Она и стала главным «героем» романа Патрика Смита.

Борьба с насилием, несправедливостью и эксплуатацией, пробуждение сознания людей, искоренение мещанского самодовольства были и остаются основными задачами подлинно гуманистической литературы. И Патрик Смит великолепно справился с ними.

Майк ДЭВИДОВ

Перевод с английского Л. ОГУЛЬЧАНСКОЙ

НГУГИ ВА ТХИОНГО

Кровавые лепестки

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Перевод с английского А. ФАЙНГАРА

Путешествие

I

Илморог, место действия драмы, отнюдь не всегда являл собою скопище глиняных хижин, населенных стариками, старухами и детьми и лишь изредка посещаемое бродячими скотоводами. Были и у него славные дни: цветущие густонаселенные деревни, трудолюбивые крестьяне, которые покоряли буйные леса, разрыхляли почву, снимали урожай, способный прокормить дочерей и сыновей человеческих. Как они трудились сообща, расчищая дикие заросли, вспахивая землю, засевая поля, как горячо молились они о дожде во время засухи, о спасении во время эпидемий! В дни урожая они собирались группами: старики со стариками, молодые с молодыми и ходили из деревни в деревню, танцевали, выходили на илморогские равнины и пели гимны своим предкам. В те дни в небе не кружили стервятники, выжидающие, когда выбившийся из сил труженик рухнет замертво в изнеможении, и не роились тучи слепней, сосущих пот и кровь земледельцев. И только дряхлые старики да младенцы, пели они в своих песнях, не заняты общим трудом — зато они носители мудрости и невинности. Сидя во дворе вокруг семейного древа, старики потягивали медовое пиво и рассказывали детям о патриархе — основателе Илморога, и в голосах их слышалась и горделивость и тоска.

Патриарх был скотовод, который, устав от бесконечных странствий по равнинам, где он вынужден был приспосабливаться к переменчивому нраву природы, устав от бесконечных песен, воздающих хвалу лишь корове, ее бодливым рогам и полному молока вымени, решил отделиться от своих соплеменников. Сначала они принялись его упрашивать: слыхано ли это — жить без коров, без странствий по долгим равнинным дорогам и горным тропам, жить вдали от быков с позвя-

© Ngugi Wa Thiong'o, 1977.

НГУГИ ВА ТХИОНГО — NGUGI WA THIONG'O (род. в 1938 г.).

Кенийский прозаик, лауреат премии «Лотос». В 1964 г. окончил колледж Макерере в Кампале (Уганда), работал журналистом, учился в аспирантуре Лидского университета (Англия), затем в течение многих лет преподавал английскую литературу в университете Найроби. Автор четырех романов, два из них переведены на русский язык — «Не плачь, дитя» и «Пшеничное зерно», на русском публиковались также его рассказы из сборника «Частная жизнь» («Secret Lives», 1975) и статьи из книги публицистических и литературно-критических статей «Возвращение домой» («Homecoming», 1972). (О творчестве писателя см. статьи И. Икидде и В. Иорданского в «ИЛ» № 2, 1980).
Роман «Кровавые лепестки» («Petals of Blood». London, Heinemann, 1977) полностью будет напечатан издательством «Прогресс».

кивающими на шеях колокольчиками, ведущих стада к соляным участкам или к воде? Они упрашивали: ведь слово его волшебно, он умеет раскатами своего голоса заставлять людей и стада ступать шаг в шаг. Ничто не помогало. Тогда они принялись смеяться над ним, они издевались над его намерением укротить лес и плоскогорье, эти обиталища злых духов; как может сын человеческий вступить в схватку с богами?

Ндеми заострил орудие, и вырубил им деревья, и расчистил лесную поросль. Земные твари с раздвоенными языками пытались уничтожить его своим ядом, но он знал толк в травах и лекарствах, добываемых из корней и древесной коры. Слава об его опытах с разными растениями распространялась далеко вокруг, и ни один скотовод, проходя мимо Илморога, не забывал навестить его — сначала, чтобы убедиться, чем окончилась схватка человека с богом, потом — в поисках совета относительно той или иной целебной травы или же просто с целью отведать домашнего меда и сахарного тростника. В знак благодарности они давали ему коз и снова уходили, чтобы поведать о славе Ндеми четырем ветрам. Он заставил землю подчиниться прикосновению своих пальцев и своей мудрости и кроме несметного урожая стал обладателем громадного стада коров и коз.

Вскоре мужество одинокого поселенца привлекло к себе Ньянгендо, женщину, знаменитую щербинкой меж передних зубов, и Ньягутии, обладательницу черных десен, чья грудь была предметом бесконечных разговоров кочевников, когда и где бы они ни встретились. Да будут твои лесные боги нашими богами и будем мы матерями твоих детей. Другие женщины, устав от беспокойной кочевой жизни, тоже строили хижины из палок, папоротника, травы и глины — чтобы было где спокойно кормить младенцев и на заходе солнца ждать возвращения мужчин со стадами. Так илморогский лес превратился в обработанные участки земли, на которых выросла новая порода прирученных коров и коз. Новые поселенцы воспевали Ндеми:

Тот, кто укротил лес,
Тот, кто укротил злых духов,
Тот, кто вступил в схватку с богом.

Илморог продолжал процветать и после того, как Ндеми, отец многих дочерей и сыновей и дед многих внуков, отбыл в тайное обиталище добрых духов. Постепенно Илморог становился крупным торговым центром: его базарные дни славились повсюду — от Гулу до Укамбани, до земель народа календжин и даже за их пределами. Люди приходили сюда издалека со своими товарами и обменивали их на местные. Вскоре по соседству с земледельцами возникло поселение искусных кузнецов и литейщиков, гончаров и каменщиков. Их мастерство стало легендой и достигло слуха арабских и португальских грабителей на побережье.

Позже здесь разбил свою палатку первый пришелец из Европы — он пополнял свои припасы перед путешествием через равнину. Чего только не увидишь в базарный день — даже человека без кожи, пришедшего с моря, говорили люди. Они дали ему маис и бобы, сладкий картофель и ямс в обмен на ситец и блестящие бусы. Затем пришел еще один, с воротничком вокруг шеи и с Библией в руках, он тоже хотел пополнить припасы и искал проводников, чтобы добраться до двора великого короля Уганды. Дорогу ему показали. Но созвали военный совет: позволим ли мы злу беспрепятственно разгуливать по нашим равнинам? А не лазутчик ли это короля Мутеса, переодевшийся мзунгу, злым духом? Разве кто-нибудь видел когда или слышал, чтобы человек разгуливал без кожи? Старейшины решили не спешить. Но молодые воины не удовлетворились этим советом; пошептавшись между собой некоторое время, они издали боевой клич.

С тех пор иноземцы здесь не появлялись, хотя в течение многих лет по ночам люди видели белого духа, взывающего к своим сородичам о кровавом возмездии. Потом пришли другие европейцы и тоже разбили палатки; эти оставались дольше, они обменивали ткани на маис, бобы и илморогский металл, настойчиво расспрашивали про золото и слоновые бивни и, понизив голос,— о белом человеке с воротничком вокруг шеи.

И тогда пришел день, которого все опасались. Белые торговцы внезапно окружили рынок. В руках у каждого из них оказалась бамбуковая палка, извергающая огонь и злобу. Они потребовали, чтобы им выдали тех, кто повинен в гибели одинокого мзунгу. Никто не шевельнулся. Воины потянулись за своими щитами и стрелами. Но было уже поздно. Белые открыли огонь по женщинам, мужчинам и детям, а затем пропели «Боже, храни короля». Воины сопротивлялись, как умели, но что могли они сделать человеку, который извергал смерть прямо-таки из ничего? Вот завтра... завтра...— клялись те, кто остался в живых, и точили стрелы, чтобы быть наготове.

Позже европеец привез странное изделие из металла, обладающее зловещей силой,— оно умело ходить по земле.

Рассказывают, что первый черный человек в округе Чири, который прокатился на металлическом коне, был родом из Илморога.

Мунору был в ту пору преуспевающим фермером. Но металл, умеющий ходить по земле, околдовал его. У него с тех пор немели руки при одном только виде мотыги и панги. Он хотел лишь одного: ездить на металлическом коне под громкие крики толпы. Тем он и жил: показывал свое искусство управления машиной. Женщины смотрели на него с благоговением, они воспевали его как героя и, возбужденные, следили за каждым его движением. А потом и в других деревнях появились такие же металлические кони, и все новые молодые люди учились ездить на них, и людям в конце концов надоело платить за безделье и идолопоклонство. Но Мунору уже не мог вернуться к работе, при которой ему пришлось бы пачкать руки в земле: теперь он стремился заполучить какие-нибудь изделия белых иноземцев, с помощью которых сумел бы восстановить свой пошатнувшийся престиж.

И опять он оказался в числе первых: добровольно предложил воюющим европейцам свои услуги во вспомогательных частях, доставлявших провиант и оружие. Илморог стал вербовочным пунктом, большую часть молодежи погнали на войну прикладами винтовок. Они двигались по илморогским равнинам и расчищали себе путь к границе Танганьики, где вылавливали немцев. Чудо из чудес: вазунгу убивали друг друга из-за того, что туземцам казалось непостижимым,— разве могли они понять, что они сами, раздел их земель и труда были причиной этой войны? Мунору вернулся развалиной, он рассказывал о Вои, Дар эс-Саламе, Мозамбике, Морогоро, Варуше, Моши и других далеких местах, названия которых так ласкают слух. Но это был уже не человек, а труп, живущий лишь воспоминаниями о прошлом, каким оно ему представлялось. Были и другие, кто, вернувшись домой, не интересовался более землей и не стремился трудами рук своих заставить ее родить, как делали когда-то их отцы. Металл еще более губительный, чем тот, что сам передвигался по земле, ужалил их. В поисках этого металла, дающего средства на уплату налогов, а также для покупки бесполезных иноземных товаров они нанимались на плантации, отнятые у кенийцев, и на дорожные работы — ведь плантации нужно было связать со столицей и с морем.

Илморог, некогда благоденствующее сообщество людей, которые жили плодами своих трудов, стал приходить в упадок, население его сокращалось. Да и железная дорога ко двору короля Мутесы обошла его стороной. Во время второй европейской войны Илморог по-

кинуло еще больше молодых людей, они ушли в города, поманившие их заветным металлом, и то, что некогда было центром земледелия и торговли, превратилось в жалкую деревню, бледную тень вчерашнего дня...

Так рассказывала им Ньякинья, и ее истории из прошлого воодушевляли их. Они развели громадный костер и сидели группами вокруг огня. В походе в город приняли участие многие, захваченные волной надежд, всеми овладело чувство, что беда у них — общая, а потому и избавление от нее — тоже общее дело. Ньякинья всех сплотила вокруг себя, руководила всеми. Она рассказывала так, будто сама была участницей событий, будто сама принимала участие в войне против немцев, будто ток крови в ее жилах отражал взлеты и падения Илморога. Она была вся в черном, глубокие морщины прорезали ее лицо, но даже в старости она была прекрасна. Вдруг она замолчала, глаза ее смотрели на огонь. Путешествие ведь могло затянуться на много дней, и она тревожилась о детях, своих детях.

— Расскажи, а что же они увидели в городе? — попросил Карега. Ему не терпелось узнать всю историю до конца.

— Нечего больше рассказывать... совсем нечего,— сказала Ньякинья, по-прежнему глядя на огонь. Глаза ее, живые, пристально глядящие, светились ярче, чем луна в ночном небе. Ньякинья, мать мужчин, говорила голосом, в котором слышались печаль и радость, она вновь переживала все, что вспоминалось ей о потерях и обретениях, победах и неудачах, но прежде всего — о страданиях и мудрости, рожденных борьбой.

— Нечего больше рассказывать,— повторила она точно издали, точно голос ее еще раздавался в тех далеких мирах. Карега, взволнованный, стремясь хотя бы мимолетным взглядом проникнуть в прошлое, узнать, что приводит в движение историю, хотел было определить, что же именно утаивает Ньякинья, что заставило ее внезапно погрузиться в молчание и мрак среди шума детворы. Ванджа, Абдулла и Карега посмотрели на старуху, переглянулись и продолжали ждать.

— Сегодня был такой трудный день,— сказал, обращаясь ко всем, Нжугуна.— Спать пора, готовиться к завтрашнему дню. Нам надо рано тронуться в путь. До города еще очень далеко.

Карега не мог заснуть. Он ходил по равнине, вспоминая рассказ Ньякиньи. Снова он переживал этот рассказ: на миг вообразил себя Ндеми, который валил в лесу деревья и закладывал основы земледелия, ремесел... но его мысли, точно подавленные бескрайностью пространства, устремлялись куда-то мимо Ндеми, мимо Илморога. Они уходили в прошлое, которого он не мог знать, но, казалось, знает — сколько лет этому прошлому: сто, триста или больше? То, чему он пытался учить детей, то, что он хотел постичь в колледже, было лишь рядом логических утверждений и отрицаний, системой умозрительных заключений. Но прошлое, которое он пытался постичь, приобрело в устах этой старухи удивительно живую, конкретную форму. Он снова и снова вспоминал ее рассказ... перед ним всплывал образ за образом... и мысли его улетели далеко: искусство обращения с металлом и камнем... всевозможные сведения, которые собирались по крохам... песни, споры, разные истории по вечерам... так пытались они покорить силу металла и камня, а неподалеку были расположены селения тех, кто пытался сделать то же самое с землей. Затем приплыл корабль, и люди увидели дым, вылетающий из бамбуковых палок, и соотношение сил изменилось: теперь африканцы должны были бросить оседлое земледелие, забыть о схватке с богами металла и камня и искать убежища в лесах. Карега точно воочию видел страдания и ужас беглецов, уходящих все дальше и дальше в чащу леса, чтобы построить в новых краях новые дома... а огонь, о господи,

пожирал деревни, пламя жажды, побуждавшей завладеть красноватым прахом и слоновой костью, уничтожало накопленную за многие годы мудрость... так что тех, кто не смог убежать, приковали друг к другу цепью, и вели их к морскому берегу, и увозили в чужие края. Да, он видел теперь все это и мог противопоставить своим сомнениям то, что можно назвать неопровержимым доказательством. И говорил себе: если все это правда, как же тогда объяснить власть природы над человеком? Ведь ты выслушал только что рассказ Ньякиньи. Если шестьдесят лет могли уничтожить все труды Ндеми, так что от мудрости и усилий его теперь и следа не осталось, то что же натворили четыреста лет рабства и кровавой резни — змея-кровопийца, изменившая лишь цвет своего яда?

Он внезапно остановился, и напряженный поток его мыслей прервался. Впереди, в самом сердце равнины, конусом возвышалась гора, твердая, но трогательная в своем одиночестве. Он оглянулся, вздрогнул — рядом кто-то дышал.

— Это всего лишь я,— сказала Ванджа.— Я напугала тебя?

— Нет, нет, что ты. Но я очень боюсь змей, и эти твари мне всегда мерещатся на сухой равнине.

— Ш-ш! Ночью нельзя называть их по имени. Я тоже их боюсь.

— Ну, я не суеверен. Леопарда у нас называют «тот, кто весь в пятнах», или же «тот, кто ходит тихо». Почему? Если дух животного способен слышать, он всегда услышит, как мы его ни назовем.

— Помню, когда-то в моей хижине ты сказал, что ты не доверяешь именам. Ты сказал что-то вроде: цветок — это всегда цветок.

Она засмеялась. Ему стало неловко, и он поспешил объяснить:

— Я не то чтобы не доверяю именам. Есть имена, которые как бы выставляют на посмешище тех, кто носит их, наших африканских братьев и сестер, гордо величающих себя Джеймс Филипсон, Риспа, Котенсиа, Рон Роджерсон, Ричард Глюкоуз, Милосердие, Лунный Снег, Эзекиель, Шипра, Уинтерботомсон — всей этой коллекцией имен и псевдоимен Запада. Можно ли найти лучшее доказательство неуважения к себе, чем вечеринка для друзей, во время которой хозяева убеждают гостей никогда больше не называть их настоящими африканскими именами? Просто я больше верю в реальность того, что носит имя, чем в реальность самого имени.

— Ты об этом сейчас думал? Я довольно долго иду за тобой, а ты даже не почуял, что за тобой кто-то крадется. Или же тебя тревожит наш поход?

— Нет. Я размышлял о том, что рассказала Ньякинья.

— О Ндеми?

— Да.

— Ну и что? Ты веришь этому?

— Наверно, это правда. Почему бы нет? Если не в мелочах, то уж хотя бы в самом главном.

— О чем ты?

— О нашем прошлом. О великом прошлом. О том прошлом, когда Илморог, вся Африка владели своею землей.

— Ты забавный юноша,— сказала она и улыбнулась чуть виновато, вспомнив ту ночь, когда Карега сбежал из ее хижины.

— Чем забавный?

— Тем, что говоришь и делаешь. Однажды заявляешь вдруг, что не прикасаешься к спиртному. Дескать, пьешь только молоко или воду. А на следующий раз напиваешься в баре и лезешь в драку.

Ему стало неловко. Переминаясь с ноги на ногу, он глядел на далекую гору.

— Сам не пойму, как я мог до этого дойти. Думаю, я просто хотел забыться. Столько ударов обрушилось на меня со всех сторон. Мне хотелось отрешиться от всего.

— Отрешиться? А этот поход в город? Ты сказал, что много страдал в городе. Мне кажется, я понимаю тебя. Я поняла это по себе. Город умеет быть очень жестоким. Но почему ты думаешь, что на этот раз он будет иным? Я боюсь за тебя. Все эти последние дни у меня болит сердце — я вижу, сколько мужчин, женщин и детей захотели с нами пойти. И особенно меня взволновали песни надежды, которые мы пели. Но не думаешь ли ты, что им придется петь горькие песни, обращенные к тебе, когда город ударит их по лицу, наотмашь, как ударил когда-то тебя?

— Признаюсь, я об этом не подумал. Но все же стоит попытаться. Почему мы обязательно должны потерпеть поражение? Нас много. Глас народа и в самом деле — глас божий. А кто такой депутат парламента? Ведь он и есть глас народа в высших сферах власти. Он не может не выслушать нас. Он не может нас не принять.

— Ты так трогательно веришь в людей. Может быть, это и хорошо. Но я думаю... мне кажется...

Они остановились, погруженные каждый в собственные мысли. В небе сияла луна, озаряя своим светом равнину. Ванджа все повторяла мысленно слова, которые когда-то слышала от адвоката в Найроби. Карега смотрел на одинокую гору, но мысли его всецело были заняты походом в город и сомнениями, которые высказала Ванджа.

— Давай посидим,— предложил он, вдруг почувствовав усталость.— Как странно — эта гора все стоит, а остальные рухнули.

— Эта гора? Ее называют горой необрезанных мальчиков. Говорят, что, если мальчик обежит вокруг нее, он превратится в девочку, а девочка — в мальчика. Ты и в это веришь?

— Нет. Тогда были бы известны случаи таких превращений.

— А я хотела бы, чтоб это было правдой,— сказала Ванджа с нескрываемой горечью и злостью.

Она дала себе клятву, что в Илмороге станет другой. А потому не будет больше спать с мужчиной, пока не почувствует, что перемена произошла. Ухаживание и любовь тогда станут праздником в честь ее победы. Но чего именно ей хочется достичь, она пока что представляла себе смутно. Один вид Илморога, сраженного голодом, жаждой и засухой, был способен обескуражить кого угодно. Где же ей там начинать? В лавочке Абдуллы? С таким же успехом можно бегать вокруг горы, чтобы превратиться в мужчину, думала она, вспоминая свою клятву.

А Карега думал о другой горе и о другой равнине. Перед его глазами возникли болота в Мангуо, и радость этих воспоминаний смешивалась с горечью. Победа и поражение, успех и провал... Как сплелось все это. Он старался не думать о Муками, которая так властно вошла в его жизнь, и все же должен был признаться себе, что мысли о ней полностью им владеют, владеют всем его существом даже теперь, после ее гибели. Он погрузился в книги, в литературу, историю, философию, он отчаянно пытался отыскать решение загадки на этом перекрестке, где слились ирония истории, видимость и сущность, чаяния и реальность. Он отдавал себя целиком то одному делу, то другому, то одной работе, то другой, стремясь возродить нечто, что он не в силах был определить,— невинность? Надежду? Временами его охватывала тоска по ней, и он боготворил ее память, он с радостью воскрешал в своих мыслях эту зарю невинности и надежды, пока отчаяние вновь не овладело им, когда он стоял на вершине горы, глядя на болота Мангуо, точно с ужасом видел воочию, как гибнет чистота и невинность. Однажды в Сириане, когда его охватило подобное настроение, он принялся писать, но ему удалось передать не горечь, которую он ощущал, а неприкаянность и нервозность, глубокий пессимизм при мысли о том, что Муками покончила с собой.

На сердце у меня тяжело. Пронзительная боль в желудке. Почему всякие мелочи — звон цикады, стрекотанье кузнечика — заставляют меня вздрагивать и оглядываться по сторонам? Почему, когда я смотрю на нее, этот образ правды духа, я чувствую страх перед завтрашним днем? Почему, почему не могу я обрести спокойствие при мысли, что однажды на кочках болот Мангуо два сердца отказались от ненависти и бились в лад?

Это было перед самым исключением из Сирианы; горький, тяжкий выбор, думал он потом, думал и теперь, все еще глядя на залитую лунным светом одинокую гору, думал о том, что было лишь предчувствием в ту минуту, когда он это писал. В школу прибыл Чуи. Остальное стало историей.

— Скажи, Карега, ты всегда думаешь о прошлом? — спросила Ванджа.

Ее вопрос его удивил: уж не читает ли она его мысли? Ванджа чем-то сильно напоминала ему Муками. Он с трудом ответил:

— Чтобы понять настоящее... надо знать прошлое. Чтобы знать, где ты, нужно понять, откуда ты, не так ли?

— Зачем? Я вот как думаю. Засуха, голод и жажда нависли над Илморогом. И какой в том толк, если даже знать историю Ндеми? Я тону — какой же толк смотреть на крутой берег, с которого я упала в воду?

— Но ведь они работали, отказывались идти ко дну; разве это не вселяет в нас надежду, гордость?

— Нет, я предпочла бы, чтобы мне бросили веревку. Что-нибудь такое, за что можно ухватиться...— Она замолчала. Затем сказала уже совсем другим голосом: — Иной раз в прошлом нет ничего великого. И хочется спрятать прошлое даже от себя самой.

Карега понял, что она имеет в виду отнюдь не абстрактное прошлое.

— О чем ты говоришь?

Она ответила не сразу. Шагнула было дальше в темноту, но вдруг остановилась и прильнула к нему. Он почувствовал ее тепло. Невольно все чувства его обострились. Она всхлипнула, и Карега понял, что она плачет.

— Что с тобой? — спросил он изумленно.

— Не знаю... не знаю... пожалуйста, не обращай внимания,— сказала Ванджа, тщетно пытаясь улыбнуться сквозь слезы.— В моем прошлом много зла. Теперь, когда я оглядываюсь назад, я вижу лишь растраченные попусту годы.

— Тебе... тебе было трудно, значит? — спросил он и тотчас почувствовал всю ненужность этого вопроса. Что он о ней знает? Что можно знать о женщине, которая беспрестанно перевоплощается прямо у вас на глазах? Когда он впервые увидел ее, в ее хижине, она была владычицей мужчин, сидевших вокруг. Она была так уверена в каждом своем движении, в каждом взгляде. Раз или два пыталась она тогда, уклонившись от взглядов Абдуллы и Муниры, встретиться с ним глазами, но он инстинктивно избегал ее блестящих глаз. Когда они встретились в следующий раз, в Лимуру, он совсем запутался, пытаясь убежать от самого себя, и она бросила ему спасительную веревку. Тогда голос ее, шедший откуда-то из глубины, выражал неподдельную нежность, участие, в нем были жалость, и сочувствие, и понимание. Вот уже несколько недель он видит, как она расстается с прежними привычками, с нарочитой невозмутимостью, с заученным оживлением, как медленно рождается простая, подлинная красота. И вот она плачет! Но даже сейчас, несмотря на вихрь этих мыслей, он заметил, что она колеблется, точно не знает, что ему отвечать и как.

Так какая же из них — подлинная Ванджа?

И, уже собираясь ответить, Ванджа поняла, что почему-то не может заставить себя рассказать ему о Кимерии, о человеке, разрушившем ее жизнь.

Она рассказала ему, как работала в многочисленных барах, которые, словно грибы после дождя, стали повсюду появляться после независимости.

— Мы, официантки, никогда долго не задерживались на одном месте. Иногда нас увольняют — если мы отказываемся спать с хозяином. Или слишком уж примелькалось твое лицо. Тогда надо искать новую территорию. Знаешь, это довольно забавно: когда попадаешь на новое место, мужчины относятся к тебе как к невинной девушке. Готовы подраться друг с другом, чтобы угостить тебя пивом. Каждому хочется быть первым. Так мы и живем повсюду в Кении, где только есть бары. Даже в Илмороге.

Она засмеялась.

Позади них кто-то кашлянул. Они вздохнули с облегчением, узнав Муниру.

— Вот вы где спрятались. А мы уж испугались, что вас съели хищные звери,— сказал он с напускной игривостью.

— Трудно так рано заснуть посреди этой необъятной пустыни,— сказал Карега.

— Ванджа рассказывает тебе о своей жизни среди ресторанной пустыни? — спросил Мунира, усаживаясь так, чтобы Ванджа оказалась между ними.

— Она только начала,— сказал Карега.

Карега уже составил себе некоторое представление об этой жизни, когда занимался продажей овчин и грибов на обочинах дороги. Он знал многих парней, после трудового дня отдававших весь заработок какой-нибудь официантке, которой, скорей всего, приходилось кормить двух, а то и трех детей.

— Это не очень-то приятная пустыня,— сказала Ванджа.— Но не такая уж и плохая. Для женщины неплохо, когда тысячи глаз обращены на нее и она знает, что ее тело властвует над всеми. Иногда ты видишь, как все скверно. Хочется выбраться, но и остаться тоже. Ты все повторяешь: завтра... завтра. Были и такие, кто пробовал освободиться. Одной из них пришлось выполнять всю работу по дому. Она вставала в пять утра... Доила коров. Готовила завтрак. Убирала дом. Ходила в магазин или в поле, чтобы собрать овощей на обед. Кроме того, смотрела за детьми. Она готовила чай, варила ужин, она купала детей... а когда жены не было дома, хозяин требовал: иди ко мне в постель. И все это ради чего? Ради семидесяти шиллингов в месяц! Она сбежала. Другая нанялась собирать чайные листья и кофейные зерна для нового африканского плантатора. Знаете, сколько ей платили? В конце концов все они возвращаются в тот мир, где у них есть друзья и где известны правила игры, где знают, что честно и что нечестно, что правда, а что — нет, что хорошо, что плохо. Например: нехорошо и нечестно не заставлять мужчину тратить на тебя деньги. Одну девушку за это побили — ведь она пренебрегла золотым правилом: не сбивать на рынке цену. Ну а я? Я тоже пыталась освободиться. Однажды я вернулась домой. Отец сказал: «Я не желаю терпеть у себя в доме проститутку!» Мне было горько услышать такое от собственного отца. Официантки ведь не считают себя проститутками. Мы ищем и работу и мужчин. Я опять вернулась в ресторан. Мне повезло. Мне попадались хорошие друзья. Мне нравятся лица людей, нравятся новые места, мне даже нравится подбивать счета, наводить в делах порядок. Сидя за стойкой, я говорила себе: вот если бы эту голову да на те плечи... а тот нос на это лицо... если то... если это... и люди и все остальное вдруг становится забавным, интересным. Другие девушки спрашивали меня: Ванджа, о чем ты все время думаешь? Мне было трудно объяснить им. И все же я была одинока. Да, я любила людей.

Я любила шум, музыку, драки — да, даже драки, всякие неожиданные происшествия, но я все время чувствовала себя одинокой. Я переезжала с места на место. Чего-то искала. Через несколько месяцев мне захотелось бросить все, уехать. Я сама не знала куда. Я не хотела больше работать официанткой. В конце концов надоедает прислуживать всем. Решила: больше я к этой работе не вернусь. Я решила: чем уж так плох Илморог! Поскорей скоплю немного денег, вернусь в деревню, построю себе дом и буду жить там до конца своих дней! Я хотела вернуться в деревню — но вернуться богатой. Уж не знаю, откуда взялась эта мысль. Я уже говорила, что в основном привыкла полагаться на друзей и никогда особенно не думала о завтрашнем дне. Жить — вот что я хочу... мне нравилось покупать себе платья... меня волнуют краски... я вкладывала особый смысл в каждое платье, которое для себя покупала. Но теперь я сказала себе: хватит, больше никаких дружков. Замуж я все равно не выйду. Так почему бы не стать богатой? Но как? И тут же нашла ответ. Найроби. Европейцы. Сначала эта мысль мне показалась дикой... я никогда не могла заставить себя пойти с белым. Однажды ходила с индийцем. Он был полицейский инспектор. Он арестовал меня с приятелями за то, что мы торговали пивом в баре в городке кикуйю в слишком поздний час, и, когда обыскал ребят, он нашел у них бханг. Я испугалась. Он упрятал ребят за решетку. А меня привел к себе. Так я спаслась. А тем ребятам дали по пять лет. Это был первый и единственный раз. Но потом вдруг появилась эта женщина. Она была очень богата. Владелица фермы в районе европейских поселений. Были у нее также дома в Найроби. Но она была одинока и тосковала по дружбе. Обычно она приходила в бар, где я работала, в Нижнем Кабете. И говорила: Ванджа, я могу тебе устроить приятеля-европейца. Сама она сперва работала учительницей, потом секретаршей. Но деньги зарабатывала во внеурочное время. А потом в конце концов вышла замуж за очень старого европейца... ему было за семьдесят... люди говорили, что она заставила его написать завещание, а после этого столкнула с лестницы. И завладела всем его богатством. Когда она мне это предложила, я только рассмеялась. Не могла же я ей сказать, что европейцы для меня — это люди с розоватой, как у свиней, кожей, как у свиней или лягушек, которые долго пролежали в земле. Но потом я сказала себе: бизнес есть бизнес. Не все ли мне равно, кто будет моим клиентом. Да и потом — это лишь на месяц, на два. Европейцы и больше никто. Уехав из Илморога, я обошла все большие отели. «Хилтон». «Амбассадор». «Нью Стэнли». «Сирена». «Норфолк». «Интерконтинентал». «Гросвенор». «Пан-Африка». Шикарные заведения. Никогда не подозревала, что в одном городе может быть столько больших отелей. Но я дрожала от страха, я не знала, как себя вести. Да и одета я была не так, как другие девушки, и губы как следует не умела красить, не умела глаза подводить серебристо-зеленой краской и парик носить. Да и не знала, как строить глазки, когда видишь европейца. В баре, особенно сидя за стойкой, я умела заговорить с любым мужчиной, даже губами не пошевелив. Но в Найроби... Два вечера подряд я уходила в конце концов с африканцами. В Колледжинн я встретила девушку, с которой работала когда-то в баре в Элдорете: она-то и рассказала мне про ночные клубы «Звездный свет» и клуб Хэлиана. Если повезет, там можно сразу заработать тысячу шиллингов. Я отправилась в «Звездный свет». Там все время менялось освещение — синее, красное, зеленое, я толком разглядеть ничего не могла. У меня упало сердце. Да и за музыкой этой не поспевала. Вы не поверите, но в барах все иначе. Одно лишь могу сказать: в этом клубе было полно европейцев. Я сидела в углу и чувствовала: еще минута, и я перепрыгну через бамбуковый заборчик и сбегу в Болибо. И тут вдруг увидела, что какой-то человек подает мне знаки. Я улыбнулась. Он был высокий, с трубкой во рту и казался не таким старым, как те, другие, с одутловатыми морщини-

стыми лицами. Он хорошо говорил на суахили, но очень забавно вставлял все время английские слова. Он был из Германии и приехал сюда с особой целью. Он искал какую-то девушку из Кабете. Ее увез в Германию другой немец, пообещав на ней жениться. Но эта девушка обнаружила, что он надул ее: он хотел торговать ею, так как он и ему подобные считают, что если туристы заплатят деньги за авиабилет и отель в Малинди, как на рекламе, где изображен пожилой европеец и молоденькая африканка с надписью: всего за столько-то вы можете получить все это,— то еще охотнее такой турист выложит деньги, если Малинди будет доставлен ему прямо в Германию. Не знаю ли я эту девушку? Я сказала: откуда мне ее знать? И почему он ее здесь ищет, разве она не в Германии? А потому, сказал он мне, что человек, который ее увез, плохо обращался с ней, он бил ее и все такое, и это может привести к охлаждению отношений между Германией и Африкой. Девушке удалось бежать и вернуться в Кению, но она оставила в Германии ребенка. Человек этот не хочет заботиться о ребенке, и тогда группа людей, которых беспокоят отношения между Германией и Африкой, собрала денег и послала моего нового знакомца в Африку разыскать ту девушку и взять у нее показания, которые могут быть использованы против того человека в суде. Так не знаю ли я ее? Я опять сказала: откуда мне ее знать, ведь в этой стране черт знает сколько девушек. Он сказал, это точно, поэтому он и обходит все бары и ночные клубы, чтобы напасть на ее след. Не соглашусь ли я помочь ему в этих поисках? Он хорошо мне заплатит, и, если нам удастся ее отыскать, он возьмет меня в Германию, чтобы я выступила свидетельницей в суде. Странная это была история, и сначала я подумала, уж не чокнутый ли он, но он выглядел нормально и говорил нормально, кроме того, я слышала, что некоторые европейцы в самом деле похищают девушек и потом продают их в Германии или Италии. Можете представить, как быстро я все это перебрала в уме и сказала себе: еще вчера я была бесплатной официанткой в баре Абдуллы. А сейчас? К тому времени, когда закончатся поиски девушки, я буду богатой женщиной и куплю себе гитару и флейту. Вы мне, наверно, не поверите, но я очень люблю музыку, и, когда играет музыка, у меня перед глазами синие морские волны, а иногда я даже лечу на оранжевых, синих и красных облаках, а когда играют флейты, я переношусь на бескрайнее зеленое поле. Хор птичьих голосов может развеселить меня, вывести из уныния, а иногда мне слышится оранжевая мелодия, позже к ней присоединяются и другие мелодии, как разноцветные ручейки, текущие ниоткуда... я знаю, это ребячество, и мне стыдно... но я отклоняюсь от своего рассказа. Я говорила вам, что перебирала в уме все это, пока он вез меня на ночь к себе домой. То, что он европеец, мне уже было безразлично.

Никогда еще я не бывала в таком доме. Широкая дорога, обсаженная высокими джакарандами, вела во двор, полный всевозможных цветов. Он повел меня по всему дому... такой обходительный... показал мне разные комнаты... европейцы совсем не так уж плохи, подумала я... потом остановился перед одной картиной и стал мне что-то говорить о виноградных лозах за окном и все такое. А затем повел меня в другую комнату. Там я вскрикнула от ужаса. В той комнате стояли фигуры двух мужчин, одетых в странную броню, и с мечами в руках, точно готовые к бою. А стены были увешаны мечами разной длины и формы... Он коснулся лезвия одного из мечей и принялся мне что-то объяснять про свое хобби. Я ничего этого не поняла, мечи меня испугали, да и фигуры в латах, и я подумала: откуда у него этот дом и такая большая коллекция, если он только что прилетел из Германии? Но не успела я его о чем-либо спросить, как он повел меня в спальню. Там на стенах висели зеркала, и было их так много и развешаны они были таким образом, что ты всюду видела себя. Сердце мое снова забилось от страха. Он, наверно, очень богат, если может арендовать

такой дом, приехав всего-навсего на поиски исчезнувшей девушки. Или же, подумала я, он собирается остаться здесь на некоторое время, а в таком случае... И я снова занялась подсчетами и совсем запуталась в этих мечтах о богатстве, как вдруг рядом с собой я увидела или, верней, почувствовала собаку, уставившуюся на меня огромными зелеными глазами. У меня дыхание перехватило от страха, и я отпрянула назад. У меня подгибались колени. Я оглянулась и увидела вокруг себя множество собак. Я села на кровать, или, точнее, несколько Вандж сели на несколько кроватей, как будто все это было во сне. Тот человек подошел, или, точнее, несколько человек подошли к нам и сели около нас на множество кроватей, и нам показалось, что им доставляет удовольствие наш страх. Он сказал мне, чтобы я не волновалась... что все в порядке... и собаки подошли к нам, негромко рыча, и их зеленые глаза смотрели на нас отовсюду. Я изо всех сил старалась унять дрожь. Собака стояла, точно ожидая приказания хозяина. А хозяин сидел рядом со мной, тяжело дыша, и от него исходил мерзкий запах. Глядя, как шевелятся его пальцы, как расширились зрачки, как дрожит нижняя губа, я поняла, что он очень возбужден. Я словно приросла к этой ужасной кровати. Силы мои убывали, мне казалось, что зеленовато-красные глаза собаки высасывают из меня все силы, способность сопротивляться. Я точно повисла в воздухе... в безвоздушном пространстве. Но за этим ужасом, за тем необъяснимым, от чего я как бы оцепенела, пряталось другое чувство — настороженность. Мужчина принялся расстегивать мое платье, собака рычала и виляла хвостом, а мужчину била дрожь. Ощущение настороженности становилось все сильнее, оно боролось с оцепенением, собака чуть было не лизнула мои пальцы, как вдруг я услышала как бы со стороны свой собственный голос: «Ой, знаете, я забыла сумочку у вас в машине». И в тот миг, как я услышала свой голос, я уже знала, что оцепенение прошло, что я возвращаюсь к жизни. Он сказал: «Не волнуйся, я принесу». Я ответила: «Нет, в дамских сумочках хранятся дамские секреты, проводите меня, пожалуйста, к машине». Голос был мой, но кто подсказывал мне эти слова, до сих пор не знаю... Я встала. Он повел меня к двери. Собака следовала за нами. Я беззвучно молилась: дай мне сил, дай мне сил. Он вышел первый, я за ним и тут же быстро закрыла за собой дверь, чтобы не выпустить собаку. И теперь не понимаю, что со мной случилось, у меня будто выросли крылья. Я перелетела через деревья и газон и только раз оглянулась, когда была уже на шоссе...

Взвизгнули тормоза, возле меня затормозила машина. Я отпрянула в сторону, опасаясь, что это он. Ох, милые мои... Я никогда так не радовалась при виде черного лица. И вот тут я разревелась и сквозь слезы рассказала ему всю эту ужасную историю. Человек этот отвез меня к себе домой, он жил в западной части Найроби. Он приготовил мне кофе, дал каких-то таблеток и уложил спать. Я проспала всю ночь и весь следующий день. Он оставил меня еще на одну ночь, и я снова рассказывала ему всю эту историю, и он задал мне несколько вопросов: узнаю ли я этот дом? Узнаю ли я того человека? Он куда-то съездил и сказал: «Нет, все это бесполезно. Вот что бывает, когда туризм становится государственной религией и повсюду возводятся алтари новой веры». Я не спросила, что он имел в виду, видела только: он был очень сердит. На следующий день он проводил меня на автобусную остановку в Мачакосе, и я чуть не расплакалась от благодарности, потому что он ничего от меня не хотел и отнесся ко мне с сочувствием и без всякого осуждения. Он дал мне немного денег и сказал: «Почему бы тебе не вернуться домой к родителям? Этот город — неподходящее для тебя место... впрочем, он и для любого из нас не место... пока». Он мне сказал, где он работает, и дал свою карточку, и еще он сказал, что если у меня возникнут трудности — только не такие, как в ту ночь, потому что он надеется, я теперь вернусь домой,— я должна сразу же

к нему обратиться, а потом уехал, не дав мне договорить все те слова благодарности, какие я только могла припомнить.

Я поеду домой, решила я, я должна теперь вернуться домой...

Но когда автобус остановился около моего дома, я не сошла. Я спросила себя, как же я могу пойти сейчас домой, так и не устроившись на работу? Я вернулась в Болибо и снова стала официанткой...

2

Абдулла был душой этого путешествия. Каждый день его узнавали с какой-то новой стороны. Во-первых, люди были ему благодарны за осла. Они сравнивали тележку, запряженную ослом, с фургонами поселенцев-колонистов, которые тащили быки. И перед ними тоже была цель — им предстояло завоевать город.

Несмотря на хромоту, Абдулла наотрез отказался ехать в тележке. Пусть по очереди едут дети, сказал он. Его выдержка подбадривала остальных, и цель поездки казалась яснее. Солнце палило нещадно, сухая трава больно колола босые ноги. Абдулла был особенно внимателен к детям. Он рассказывал им всевозможные истории, чаще всего по вечерам, когда всходила луна. «Луна и солнце — злейшие враги. Вот почему одно светило поднимается днем, а другое ночью. Но не всегда они были врагами. Вот как все произошло. Однажды солнце и луна решили искупаться в реке. Потри мне спину, а потом я тебе потру, сказало солнце луне. Луна усердно терла солнце, пока оно не засверкало ярким светом. Теперь твоя очередь, сказала луна. Солнце же смочило слюной землю и натерло луну грязью».

Днем он перечислял им названия разных кустарников и трав и, если кустарники не высохли, учил их, как их использовать для разнообразных поделок и нужд. Он показывал им всяческие фокусы с ножом. Как, метнув нож, разрубить пополам тоненькую палочку. Он был судьей в соревнованиях, определял самого меткого стрелка из рогаток, которые он сделал детям перед путешествием. Мальчишки были счастливы, они заключали пари, кто сумеет подстрелить на лету птицу. Он как бы заражал детей своей неиссякаемой энергией, и в течение первых двух дней они все отказывались ехать в тележке и шагали рядом с ним.

Где-то в другом конце колонны кто-то затянул песню. Слова долго не складывались, потом, наконец, песня приобрела законченный вид:

Говорят, начался голод,
Но молчат о том,
Что голод лишь для тех,
Кто не хочет есть хлеб Иисусов.
Много домов, земли и богатств,
Деньги в банке, диплом университета,
Но утолит ли все это голод в сердцах,
Если люди не едят хлеб Иисусов?
Посмотри на богатых и бедных, взгляни на детей —
Все они слоняются по дорогам.
Их гонит голод, проникший в сердца,
Потому что они забыли про хлеб Иисусов.

Слова песни, заключенный в них религиозный смысл в их бедственном положении казались насмешкой. Но голоса людей, хором тянувших песню, затронули какие-то тайные струны в душе Абдуллы — они пробудили воспоминания о голосах прошлого.

Абдулла как бы вновь пережил иные походы и бегства через эту же равнину. Их вел Оле Масаи, наполовину индиец, отличавшийся высоким ростом. Тогда они тоже пели, напоминая себе об обещаниях, принятых ими в прошлом, когда они приносили клятву:

Когда Джомо, предводитель черных людей, был
арестован темной ночью,
Он оставил нам послание и поставил перед нами цель.

Я буду держать осла за голову, сказал он нам,
Сможете ли вы, дети мои, заставить его не брыкаться?
Да, да, ответил я и достал свой меч,
И все дети этой земли крепко взялись за руки,
И я дал клятву, прикоснувшись губами к острию копья,
Что никогда не повернусь спиной к рыдающим от горя
черным людям,
Никогда не отдам эту землю рыжеволосым чужестранцам.
Никогда не продам ни пяди этой земли иноземцам.

Ему действительно пришлось перенести жажду и голод, шипы и колючки, вонзавшиеся в онемевшее от усталости тело, но его вдохновляло видение, впервые открывшееся ему в тот день, когда он принес присягу единства.

Он работал тогда на обувной фабрике, находившейся неподалеку от дома. Там то и дело вспыхивали забастовки. Рабочие требовали повышения заработной платы и улучшения жилищных условий, но неизменно появлялись полицейские в касках и подавляли забастовки. Не раз он спрашивал себя: как же это получается, что хозяин, никогда в жизни не поднявший тяжести, не испачкавший рук в зловонной жиже, не мучившийся от омерзительного запаха в сыромятне или в любом другом цехе фабрики, живет в большом доме, имеет машину с шофером и держит четырех человек только для стрижки газонов в саду?

Как волновали его открывавшиеся перед ним перспективы, сколько в них было новых замыслов, возможностей, желаний. Освободить страну, бороться за то, чтобы промышленные предприятия, на которых, как на их обувной фабрике, установлена потогонная система, стали принадлежать народу, чтобы было достаточно одежды и еды для детей, чтобы прочная кровля защищала их от дождя, чтобы они могли с гордостью сказать: мой отец умер, чтобы я жил, из раба своего хозяина он превратился в человека. В тот день он почувствовал себя настоящим мужчиной.

Абдулла шагал или, скорей, скакал на своей единственной ноге, но глаза его блестели, подбородок был высоко вздернут, взгляд устремлен к далеким вершинам; и снова все они удивлялись тому, что только он знает дорогу в этой враждебной человеку пустыне.

Образы теснились в его воображении, и, хотя он возглавлял процессию, задавал движению ритм и темп, он был не с ними. Оле Масаи... как странно, что все это снова происходит в Илмороге, происходит опять... не мерещится ли это ему? На землю упал стручок фасоли, и мы разделили его между собой... как хорошо, что Карега оказался в Илмороге... запоздалый посланник божий... Так сказал старый Мутури... Бог вкладывает мудрость в уста младенца... вот уж воистину верно сказано, как верно... разговоры в лавке стали совсем другими после появления Кареги. Вот уже пять месяцев упоминаются имена, которые ласкают слух... Чака... Туссэн... Самоей... Нат Тёрнер... Арап Маньей... Лайбон Туругат, Дессалин... Мондлейн... Овало... Сиотуне и Киамба... Нкрума... Кабрал... и, несмотря на солнце и на засуху и беспокойство за судьбу осла, он сознавал, что движение «мау-мау»[1] — это лишь одно звено в цепи, всего лишь эпизод в долгой борьбе африканских народов в разные эпохи и в разных частях света... Новые горизонты!.. Снова, как тогда в лесу... с Оле Масаи. Он часто говорил им, что ненавидит самого себя, свою мать, отца, двойную свою природу, что иногда ему хочется убить себя за то, что он не принадлежит этой земле полностью. И не в богатстве тут дело... Они жили в лучшей части Истлея, его отец-индиец приезжал часто, давал им деньги, оплачивал его образование, обещал отдать ему часть своего состояния, открыл даже счет в банке на его имя... и все же Оле Масаи ненавидел себя. Он сбежал из школы, из дома, стал уличным мальчишкой...

[1] Движение крестьян этнической группы кикуйю против колониального порабощения *(прим. перев.)*.

Кариоку... Пумвани... Наури Мойо... он играл в орлянку, приворовывал, дрался... но прислушивался к разным разговорам, кое-что откладывалось у него в мозгу... он стал читать газеты, особенно «Хабари за Дуниа» и «Колониал таймс». Арест Маркхана Сингха [1], который не отделял себя от африканских рабочих, снял с его глаз пелену... Он предпринял попытки проникнуть в городское подполье. Над ним сыграли злую шутку — попросили как бы невзначай передать сверток человеку, который будет стоять на углу мечети Ходжа... Он шел по Ривер-роуд и вдруг споткнулся, сверток выпал у него из рук, и он увидел, что в свертке пистолет... он задрожал от возбуждения, хотя ему стало немного страшно, он бережно нес сверток с пистолетом, подошел к человеку, которому должен был его передать, хотел уже протянуть этот кое-как перевязанный сверток, когда двое белых полицейских в штатском подошли к этому человеку с обеих сторон. Оле Масаи выхватил пистолет и направил его на полицейских... он был в возбуждении, он кричал, чтобы люди подошли поближе и посмотрели, как он убьет полицейских... полицейские подняли руки вверх... но тот человек схватил его за плечо, и они оба скрылись в толпе... Он никогда не мог забыть эту минуту, минуту своего превращения в настоящего мужчину, когда он заставил подчиниться себе двух европейцев-угнетателей и смело стал на сторону народа. Он отверг все то, с чем был связан его отец, который хотел завещать ему богатство, принадлежавшее африканскому народу... Оле Масаи был необыкновенный человек, вздохнул Абдулла. К тому же он был начитан и много рассказывал им о других странах и народах... о Китае, Корее, России, о том, как рабочие люди и крестьяне поднялись против своих и иностранных угнетателей... Оле Масаи погиб, Абдулле прострелили ногу. Он всегда будет помнить тот день... они тщательно обдумали, как захватить гарнизон в центре городка Накуру и освободить заключенных в находившейся неподалеку тюрьме. Они освободили заключенных. Гарнизон уже был готов сдаться, когда Оле Масаи убили — какие штуки выкидывает судьба! — только из-за того, что у него заело затвор винтовки. Поднялся переполох, люди кричали: «Держи! Лови!»... Тут на мгновение Абдулле показалось, что он обрел двойное зрение.

Дети, собравшиеся вокруг него, кричали что есть мочи: «Держи! Лови! Еда! Мясо!» — и тогда он увидел то, что видели они. Колонна путников спугнула стадо антилоп, и оно теперь стремительно мчалось по равнине. Мысль Абдуллы лихорадочно заработала.

— Стойте! — крикнул он детям, и они сразу же подчинились неожиданной властности, прозвучавшей в его голосе.— Дайте сюда рогатку и быстро подносите мне камни!

Ему протянули рогатку и несколько камней. Дети стояли рядом молча, они замерли от любопытства, хотя и не верили, что у него что-то получится. Он вложил в рогатку острый камень, остальные положил в карман. Поднял с земли щепотку песку и подбросил ее в воздух, определяя силу и направление ветра. Укрепил потверже свой костыль и крепко на него оперся. И все это время его глаза неотрывно следили за антилопами, которые неслись вскачь где-то уже далеко. Он достал из кармана камни и попросил Муриуки держать их на раскрытых ладонях. Прижал пальцем нижнюю губу и начал издавать какие-то звуки, заставившие антилоп повернуть в сторону путников. Но, увидев людей, они снова повернулись было в нерешительности и теперь стояли боком к Абдулле. Он прищурил один глаз и натянул резину. Все произошло быстро, точно во сне. Они не видели, как летит камень, не успевали следить, как Абдулла снова и снова перезаряжает рогатку. Слышали только, как в воздухе свистели камни. А затем увидели, как две антилопы высоко подпрыгнули, одна вслед за другой, потом упали на землю и забились в судорогах. Люди не верили своим

[1] Маркхан Сингх — один из руководителей партии Индийский конгресс Кении *(прим. перев.)*

глазам. Мунира, Карега, Нжугуна и дети побежали в поле. Там лежали две антилопы с перебитыми ногами. Дальше все уже было просто.

Абдулла стоял не двигаясь, не меняя позы, в их глазах он превратился теперь в некое сверхъестественное, неведомое им существо. Неподвижный, словно бог равнины, он смотрел на далекие горы, которые в течение многих лет были его домом. Он все еще вспоминал Оле Масаи и отчаянную, роковую попытку их группы взять в плен солдат гарнизона в Накуру и снова завладеть инициативой, временно потерянной после того, как Дедан Кимати попал в плен. Даже вражеские газеты вынуждены были признать, что их план был разработан хорошо и смело. Глаза его сверкали. Он протер их тыльной стороной ладони и бросил рогатку на землю.

В этот вечер они устроили пир. Впоследствии они еще долго вспоминали это событие и рассказывали о нем как о самом радостном из того, что им довелось пережить во время похода в город. Дети играли вокруг костра, взрослые сидели группами, говорили, вспоминали былые времена. Нжугуна посмеивался над Ньякиньей: он говорил, что это были не антилопы, а козы, одичавшие из-за того, что женщины плохо за ними присматривали. Мунира, лежа на спине, считал звезды и чувствовал, что он освобожден от постоянно преследовавшего его ощущения, что он остался в стороне от событий. В его голове рождалось множество вопросов. В частности, о Кареге. Рядом с ним ему всегда было не по себе, и он до сих пор не знал, как к нему относиться. Может быть, им удастся поговорить во время похода. Ему хотелось и с Ванджей поговорить по душам. Он надеялся, что они вновь начнут с того же места, на котором оборвалась связавшая их ниточка, тем более что оба они теперь пережили нечто почти одинаковое: испытание огнем и страхом. Не перст ли судьбы в этом почти полном совпадении выпавших на их долю страданий? Однако он чувствовал, что Ванджа постепенно ускользает от него. Куда же? Он следил за ней, но, кажется, у нее ни с кем не установилось каких-либо особых отношений. Она всегда удивляла его резкими сменами настроения, открывала все новые и новые стороны своей натуры. Больше всего его поражало ее уменье рассказывать о том, что с ней случилось, своего рода горестными притчами, и голос ее завораживал при этом, она заставляла себя слушать, и в конце концов слушатель привязывался еще крепче к ее жизни, к ее судьбе. Теперь он прислушался к разговору Абдуллы и Ньякиньи. Как мог он не заметить прежде, что скрывается за внешней оболочкой этого человека? Сейчас Мунира, как и все другие, стал свидетелем этого необыкновенного расцвета человеческих способностей, который всех их объединил так, словно каждый обнаружил и в себе частицу Абдуллы. Ванджа, сидевшая за спиной Ньякиньи и Абдуллы, была особенно счастлива: она всегда подозревала, что за простреленной ногой Абдуллы кроется целая история. Теперь это уже не искалеченная нога, а знак доблести, навсегда запечатленный на теле этого человека. Она слушала рассказ об Оле Масаи, об их трагической попытке захватить гарнизон в Накуру. Сердце Нжогу трепетало от гордости. Он всегда стыдился того, что его дочь рожала детей от индийца. Они и раньше слышали про Оле Масаи, но теперь услышали от человека, который знал его лично. Нжогу не сомневался, что все это случилось потому, что в нем восторжествовала черная кровь. Одним словом, то была ночь великих открытий, в том числе и для Абдуллы, который не представлял себе раньше, что волею судеб он будет торговать в той самой лавке, в которой некогда торговал отец Оле Масаи. Теперь он понял смысл скептических замечаний Нжогу, когда он в первый раз спросил его про эту лавку. А Ванджа пыталась нарисовать в своем воображении образ этого индийского купца, частично признавшего свою жену-африканку и сына, которого она ему родила. Она подумала, что в другое время и при других обстоятельствах никого бы не заинтересовало, кто на ком женит-

ся и кто с кем спит, но вдруг вспомнила свои мытарства в городе и усомнилась в этом. Тем временем беседа приняла новый оборот, который заинтересовал и ее, и не только ее. Даже дети оставили свои игры и сели послушать, что отвечает их новый герой, которого Карега спрашивал о Кимати. Наконец-то он готов рассказать то, от чего так долго уклонялся. Все замолчали и не сводили глаз с Абдуллы. Он не стал упрямиться, голос его звучал обыденно тихо.

— На самом деле многие из нас никогда не видели Дедана, хотя и выступали от его имени. Наша группа действовала на этих самых равнинах. В течение четырех лет наша группа из Лимуру, объединившаяся с отрядом Оле Масаи, сражалась с удивительным упорством, хотя ряды ее постоянно редели из-за голода, усталости и вражеского огня. Мы не могли пополнить свои продовольственные запасы, так как вокруг многих деревень были вырыты рвы, утыканные отравленными пиками. Вы слышали о таких местах, как Камирито, Гитима. Время от времени старик, старуха, даже мальчик, тайком от некоторых наших братьев, тех, кто из-за невежества, подкупа, пыток, заманчивых обещаний продался иностранцам, вступив в так называемые силы самообороны, приносили нам еду и рассказывали, что говорят и что делают люди. Но эти связи становились все реже. Признаюсь, было у нас всякое: и ссоры, и сомнения, и безнадежность. Но мы знали, помнили: народ нас не забыл — да и как он мог забыть нас? Ведь мы были их руками, держащими оружие. И эта мысль, сознание, что мы часть своего народа, поддерживала наши силы. Мы нападали на дома поселенцев, сжигали их, резали скот и чуть не плакали при этом— потому что это ведь все было наше. Однако пополнений мы почти не получали, потому что большая часть молодежи оказалась в концентрационных лагерях, и был такой момент, когда нас осталось всего двадцать человек.

Именно в это время до нас дошла весть о созыве Всекенийского парламента в лесу на горе Кения. Туда должны были явиться все боевые отряды или их представители, потому что Дедан Кимати разработал новые планы для следующего этапа войны. Он хотел, чтобы мы заново распределились по районам и избрали верховное военное командование и отдельно от него политическое и идеологическое руководство, чтобы подготовиться к захвату и осуществлению власти. Он хотел также, чтобы мы приложили все усилия для установления связей с другими войсками, борющимися с английской оккупацией в районах, населенных племенами укамбани, календжин, луо, лухуа и гириама, да и вообще по всей Кении. Он хотел, чтобы мы объединились в борьбе с Аддис-Абебой и Каиром. Суэцкий канал был уже в руках Гамаля Абдель Насера, и он боролся против английской и французской агрессии. Я говорил вам, у нас не было продовольствия. Но мы были полны решимости проделать долгий путь через Олкалоу, горный хребет Ньяндарва и через равнины Ньери к горе Кения. Я хотел увидеть этого человека, ведь он был символом власти африканцев и его военный гений признавали даже наши враги. Судите сами. Он победил таких военачальников, как генерал-лейтенант Эрскин, генерал Хайнд и генерал Лэндбери, возглавлявших войска, доставленные сюда из Англии,— полки «баффс», ланкаширских стрелков, девонширских стрелков, королевские военно-воздушные силы, королевский артиллерийский полк и другие части, принимавшие участие в войнах в зоне Канала, в Палестине, Малайе — всюду, где когда-либо правила Англия. Мы говорили о нем с благоговением, и те места, где он одерживал победы, стали для всех нас святыми. Он был для нас почетным главой Африканской империи, нашим премьер-министром, человеком, который смог четырнадцать дней и ночей прошагать без воды и без пищи, который смог семь миль и даже больше проползти на животе, и все мы стремились ему подражать. Были и другие — Матенге, Карари Ва Нджама, Кимбо, Каго, Варуинги, Кимемиа, чьи письма и об-

ращения мы нередко читали, но которых также никогда не видели. Нас объединяло общее дело.

Никогда я не забуду этот поход! У нас оставалось совсем мало патронов. Мы пытались увеличить наши запасы, разрезая пули пополам и высыпая из патрона половину пороха, но из этого ничего не вышло. Мы делали силки, чтобы раздобыть мясо, но какой от силков толк во время похода? Иногда мы ели сырой маис, побеги бамбука, все, что удавалось найти. Однажды мы обнаружили дикое просо, растерли его прямо руками и полученную таким образом муку таскали за собой в кожаных сумках. Оле Масаи подбадривал нас, рассказывая о старом Найроби. В тысячный раз повторял он все те же истории: как он направил пистолет на полицейского-европейца и как они дрожали у стен мечети Ходжи, пока мусульмане молились, но истории эти уже не действовали на нас так, как в другие, более счастливые дни. Наша одежда, сшитая из шкур диких животных, поистрепалась, но мы упорно пробирались через густые кустарники, и острые шипы ранили нас и рвали на нас одежду, нам нередко приходилось спасаться от ядовитых змей. Время от времени казалось, что идти дальше нет сил, но мы все шли и шли к горе, чтобы услышать, что он нам скажет. Наконец мы достигли вершины горы. Друзья! Что сказано об этом в великой книге? Что есть время для всего под этим небом... время любить и время ненавидеть. Для нас то было время и для того, и для другого — и для любви, и для ненависти. Сколько собралось народу: на милю вокруг не было ни дерева, ни куста, возле которого не стояли бы люди. Они пели с вызовом, и их голос был подобен грому:

А вы, предавшие народ свой,
Куда вы сбежите,
Когда все смельчаки сойдутся вместе?
Ведь Кения — это страна черных.

Сердце мое дрогнуло, глаза были сухими, хотя мне казалось, что их заливают слезы. Мне стало дурно. Я подошел к ближайшему кусту и почувствовал, что теряю сознание. Вокруг пели:

Куда побегут предатели,
Когда облака рассеются
И смельчаки вернутся?
Ведь Кения — это страна африканцев.

Дедана схватили и выдали врагам наши же братья, которых более всего заботила собственная сытость. Пусть будут прокляты навечно их имена, как был проклят Иуда, пусть станут они для наших детей вечным примером того, кем не надо быть! И вот мы ждали, чем же закончится издевательство, которое они назвали судебным процессом. Все планы и попытки спасти его провалились. Больница, в которой он лежал, тщательно охранялась — бронемашины, кавалерия, пехота, мотоциклисты патрулировали улицы, в небе носились истребители. Как будто они боялись, что каким-нибудь чудом в дело вмешается, спустившись с неба, африканский бог! Говорили, что в каждом доме европейских поселенцев праздновали эту временную победу колониализма над освободительным движением. А мы сидели на горе и ждали, когда вернутся наши лазутчики, посланные в Ньери. Их ждали с минуты на минуту.

И когда они наконец явились на четвертый день рано утром, их слова нам были уже не нужны. Как мне вам это объяснить? Вы знаете, как бывает, когда умирает великий человек. Вам и жарко, и холодно одновременно. В небе летит одинокая птица, и вы не знаете, куда она летит, потому что она летит в никуда. Мы все снова разошлись по домам, исполненные решимости сражаться, продолжать борьбу, но все было уже не так, как прежде! Да, друзья мои... все было уже не так.

3

Тогда они не знали этого, но та ночь оказалась кульминацией их эпического перехода через равнину. Триумф Абдуллы придал им новые силы, решимость, и на следующий день, несмотря на солнце, которое взошло раньше и припекало злее обычного, точно пыталось испытать их выдержку вопреки всем очевидным признакам его жестокой победы — увядали кусты акации, пепельно-серые кусты лелешва, колючие грушевые деревья,— они шли быстрым шагом, как будто преисполнились решимости выйти из схватки с солнцем победителями. Рассказ Абдуллы заставил их по-новому смотреть на землю, по которой они ступали, потому что земля эта, трава, кактусы, все, что росло на равнине, было вытоптано ногами тех, кто сражался и умер за свободу Кении; может быть, и в них жива частица духа тех людей. Теперь даже они, жители Илморога, имеют своего представителя в высших эшелонах власти. Теперь уж скоро, сегодня, завтра или послезавтра, в конце своего похода они встретятся с ним лицом к лицу. Они впервые чего-то потребуют от него, и при этой мысли каждый на свой лад ощущал страх перед необычностью и дерзостью своего поступка. Во время прошлых выборов, вспоминали некоторые не без сомнения, он им много чего наобещал, в том числе воду и хорошие дороги. Но на это потребуется время, предупредил он. Может быть, думали они с замиранием сердца, он все еще ведет нескончаемые переговоры с правительством Кениаты. Вспоминая геройство Абдуллы в прошлом и его вчерашний подвиг — какое счастье, что бог послал им Абдуллу, Ванджу, Муниру и Карегу,— они думали о том, как изменится жизнь в Илмороге, если уж не для них самих, то хотя бы для их детей. Они даже сложили песню, в которой восхваляли эту четверку, выражавшую их заветные мечты и надежды.

Но прошло три дня, и ими овладело странное спокойствие, безучастность. У тех, кто шел вместе с Нжугуной, раз или два срывались с языка слова сожаления и раздражения по поводу похода, предпринятого в спешке, по совету юнцов. Карега вспомнил, что несколько дней назад Ванджа предупреждала его об этом, и избегал ее взгляда. Кончились еда и запасы воды. И наконец жажда стала столь нестерпимой, что люди чуть не бросили всю эту затею: Абдулла подвел их к высохшему руслу ручья; они перерыли все камни, прижимали язык к их холодной, спрятанной от солнца поверхности, чтобы унять палящий жар во рту. Стада антилоп им больше не встречались, только однажды — труп животного. Дети снова попросились в тележку — какое счастье, подумали все, что они взяли с собой осла и детям не все время приходится ощущать укусы раскаленного песка и сухих колючек... А они продолжали идти вперед, и ястребы и грифы кружились над ними в надежде... Ньякинья пыталась поддержать в своих спутниках силы: «Не отчаивайтесь, половина пути уже позади. Говорят, однажды ребенок целый день мужественно терпел голод и вдруг разрыдался, увидев, как мать кинула в горшок последнюю горсть крупы».

Утром они внезапно вышли к подножию гор, где начиналась уходящая вниз долина, покрытая зеленым лесом и кустарником.

Они отдохнули под горой, усталые, но гордые огромным переходом, многочисленными милями оставшейся позади равнины. Еще одно усилие, только одно, и камень сдвинется с места, подбадривала их Ньякинья, а на склонах мы найдем воду и дикие фрукты. Откуда у нее, у старухи, нашлись силы, а ведь она, как и Абдулла, отказывалась ехать в тележке!

Среди леса и кустарника, извиваясь вверх по склону, пролегало некое подобие дороги. Лесная служба вырубила по обеим ее сторонам широкие просеки, которые должны были приостановить распространение лесных пожаров. Они двинулись по этой дороге с вновь обретенной надеждой и верой. Примерно в миле от них простиралась

долина, и Абдулла вдруг вспомнил, где тут была вода. Долина оказалась неглубокой, в ней и в самом деле нашлась вода. Все склонились над водою, утоляя жажду, а дети разделись и искупались. Искупались и взрослые, но для этого нашли более укромные места. Возле воды росли кусты крыжовника, гуавы и другие дикие фрукты.

Карега смотрел, как жадно утоляет осел голод и жажду. Ванджа сидела с детьми. Их голоса растравляли ее душевную рану, и слезы навертывались ей на глаза. Ее любовь к ним была мучительна, и в такие минуты ей хотелось обнять, накормить всех детей земли. Да простит господь наши грехи, да простит господь наши ошибки, и пусть дитя войдет в меня. Но она заставила смолкнуть молитву, звучавшую в ее сердце, когда увидела Иосифа. Он один не купался. Лицо его осунулось, он тяжело дышал и явно пытался скрыть от нее свое состояние. Она дотронулась до него, у мальчика был сильный жар.

— Давно он болен? — спросила она, обращаясь к другим детям. Они отводили в сторону глаза, и ей пришлось повторить вопрос снова.

— Весь вчерашний день и ночь,— ответил кто-то.— Он велел никому не говорить. Он не хотел, чтобы к вашим бедам прибавилась еще и эта.

Самоотверженность мальчика глубоко ее растрогала. Она направилась к взрослым.

— Заболел Иосиф,— сказала она Мунире, Абдулле и Кареге.

Они тотчас подошли к мальчику. К ним присоединились Нжугуна и Ньякинья, вскоре об этом знали и все остальные. Абдулла и Нжугуна скрылись в кустарнике и вернулись оттуда с какими-то корешками и зелеными листьями. Некоторые из них они дали Иосифу пожевать. А вообще-то нужно, сказал Абдулла, отварить корешки и листья, закутать мальчика в толстое покрывало, сунув внутрь горячий котелок, чтобы он пропотел как следует и изгнал из своих суставов болезнь. Им следует как можно скорее идти вперед, добраться до первого же фермерского дома и попросить лекарство или уголок, где они могли бы сами ухаживать за мальчиком.

Снова они вывели осла на дорогу и впрягли его в тележку. Хотя дорога бежала вокруг горы, подъем все же был слишком крут, и копыта осла все время скользили. Мунира, Карега и Ванджа подталкивали тележку изо всех сил, задыхаясь и обливаясь потом, пока наконец не достигли вершины, где начиналась мощеная дорога.

Если бы не болезнь Иосифа, они возликовали бы при виде открывшейся перед ними картины. У подножья горы лежал город. Ванджа даже узнала отель «Хилтон» и Дом конгрессов имени Кениаты, которые возвышались в самом центре столицы.

Они быстро начали спускаться, но было уже почти темно, когда они достигли первого фермерского дома. Карега и Мунира хотели было открыть железные ворота, но тут к ним вышла европейская женщина и заявила, что рабочих рук не требуется, и, не дожидаясь, пока они произнесут хоть слово, велела им убираться вон. Карега и Мунира не могли сдержать улыбки. «Почему она решила, что мы вечером станем врываться в ее дом в поисках работы?» — спросил Карега и хотел было что-то сказать вообще о белых людях, но вспомнил свою схватку с городом и замолчал.

У следующих железных ворот они сначала прочитали надпись на табличке. Их сердца забились ожиданием и надеждой. «Преподобный Джеррод Браун»,— прочитал Карега вслух. Они предпочли бы африканца, но служитель божий, каков бы ни был цвет его кожи,— воплощение доброты и милосердия! Они послали вперед Карегу, Муниру и Абдуллу. Абдулла — хромой, и это будет свидетельствовать об их мирных намерениях.

Подъездная аллея, ведущая к дому, была обсажена с обеих сторон аккуратно подстриженными кипарисами. За деревьями виднелся

столь же аккуратно подстриженный газон. Среди лужайки там и сям стояли отдельные кипарисовые деревья с изящно подстриженными ветками, красивыми куполами устремляясь в небо. Сколько лет стараний, сколько искусства, мастерства, сколько сил человеческих и работы разума ушло на приукрашивание этих деревьев, подумал Карега. Сам дом представлял собою красивое обширное бунгало с крышей, крытой красной черепицей.

Внезапно на них бросились две собаки. Их грозный лай заставил бы кого угодно остановиться и обратиться в бегство. Но тут из-за дерева вышел человек и велел им стоять на месте. Сторож, подумали они; на нем была синяя форменная одежда и белая шапочка с надписью «Служба охраны». К охраннику присоединился еще один человек с красной феской на голове и красным поясом; он вышел из дому и приблизился к охраннику, который держал за ошейник двух овчарок.

— Кто вы такие и что вам здесь нужно? — спросил человек в красной феске, по-видимому хозяйский повар. Охранник поглаживал собак и смотрел на пришельцев с таким видом, точно был бы только рад спустить на них своих питомцев.

— Мы пришли издалека и хотели бы видеть хозяина. У нас случилась беда.

— Это видно,— сказал охранник,— и если вы не хотите попасть в еще большую беду, то рассказывайте побыстрее, в чем дело.

— Чего вы хотите? — сказал человек с красным поясом.— Преподобный отец Браун сейчас молится, а после молитвы он обычно удаляется в свой кабинет и готовится к службе. Он очень занятой человек и терпеть не может, когда его беспокоят.

— У нас несчастье,— объяснил Мунира.— Часть наших людей осталась у ворот. С нами больной ребенок. Конечно, мы можем подождать, пока преподобный отец Браун закончит молитву.

— Пройдите и подождите на веранде,— сказал охранник, снова окинув их подозрительным взглядом. И в самом деле, подумал Карега, как не насторожиться: все они в грязи и уже столько дней не меняли одежду.

Они поднялись на веранду. Оттуда Кареге были видны дома рабочих из соломы и глины, крытые двумя слоями соломы. А ведь мы сражались, думал Абдулла, ради того, чтобы покончить с красными фесками и красными поясами.

Вскоре вышел преподобный Браун и остановился у двери; они не верили своим глазам. Это был черный, африканец. У Муниры забилось сердце. Он узнал священника: один или два раза он видел его в доме отца. Но там его знали как преподобного Камау. Джерродом Брауном назвали его при крещении. Это один из самых уважаемых деятелей англиканской церкви, его называли даже в числе наиболее вероятных кандидатов в епископы.

— Что у вас случилось? — спросил он пронзительным голосом.

— Дело в том, что у нас беда,— сказал Мунира.

— Мы идем издалека,— объяснил Карега.

— Мы умираем от голода и жажды, и у нас, там, у ворот,— больной ребенок,— добавил Абдулла.

— Откуда вы идете?

— Из Илморога,— ответили они хором.

— Илморог, Илморог,— повторил он медленно, оглядывая всех троих с головы до ног. Если бы они просили работы, было бы это понятно, но трое взрослых здоровых мужчин просят еды? Он вздохнул скорее с жалостью, чем с негодованием.

— Зайдите в дом!

В его голосе было сочувствие и понимание. Как христианин, он знал, в чем состоит его долг. И Мунира внезапно почувствовал себя счастливым и подумал: а может, сказать ему, кто я такой?

Они вошли в просторную гостиную. Жена священника, тучная матрона — очень похожа на мою мать, подумал Мунира,— сидела с вязаньем возле камина. Она окинула их быстрым взглядом, поздоровалась и снова занялась вязаньем. Неподалеку от нее на стене висела застекленная книжная полка, уставленная детскими книжками с золотыми буквами на корешках и библиями всех цветов и размеров. Над камином висела надпись в рамке под стеклом: «Иисус — Глава этого дома, Молчаливый Слушатель всех разговоров во время всякой трапезы». На противоположной стене в рамке висел портрет царя Навуходоносора, он был голый, волосатый, как животное, стоял на четвереньках, а под ним начертана какая-то предупреждающая подпись. Кроме этого на стенах были в основном групповые фотографии преподобного Брауна в окружении знатных особ.

Мунира кашлянул перед тем, как представиться, но преподобный Джеррад Браун, взяв с полки Библию, пригласил их помолиться вместе с ним. Он молился за нищих духом, униженных, безработных бродяг, за всех алчущих и жаждущих, никогда не евших хлеба и не пивших воды из колодца Иисусова. Он молился за все и вся под солнцем, и голос его затрагивал нечто сокровенное в их сердцах.

Он кончил молитву.

Мунира кашлянул, прочистил горло перед тем, как представиться. Но преподобный отец снова раскрыл Библию.

Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм;

Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни.

Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи.

Они терпеливо сидели, слушали отрывок и последовавшую за ней проповедь, полагая, что это просто неизбежная, хотя и затянувшаяся прелюдия к чему-то; чего же еще следовало ждать от христианского священнослужителя?

— Библия говорит не столько о физическом недуге, сколь о состоянии души. Обратите внимание, что человек этот никогда не заходил внутрь храма, пока не излечился от духовной хромоты. С тех пор он больше не попрошайничал. Библия, таким образом, несомненно против того, чтобы люди бездельничали и нищенствовали. Вот в чем недуг этой страны. Видимо, многие из нас предпочитают бродяжничать и просить милостыню, нежели жить в тяжком труде и зарабатывать хлеб насущный в поте лица своего. С того мгновения, когда человек вкусил от плода познания, пренебрег божьим наказом и отверг его, ему велено богом усердно трудиться и никогда более не получать ничего даром, никакой манны небесной. Даже моих собственных детей, когда они приезжают из школ-пансионатов в Ленане, Найроби, из Кенийской высшей школы и школы для девочек в Лимуру, я не освобождаю от работы: они подстригают траву, кустарник, кормят кур, чтобы заработать на карманные расходы. А что касается больного ребенка (почему же вы не привели его ко мне?), то я уже за него помолился. Идите же с миром и верой в господа.

— Но преподобный отец, сэр...— начал было Карега, но осекся.

— Нам только... нам нужно...— попытался заговорить Абдулла, но слова застревали в глотке.

Мунира был настолько ошарашен, что лишился дара речи. Он был рад лишь тому, что не открылся преподобному отцу. Они встали, подошли к двери, и тут Карега, не сдержавшись, процитировал текст из Библии, который помнил наизусть:

Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти; вы дайте им есть... и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословив и преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все и насытились...

— Вот именно, сын мой,— торжественно сказал священник,— то были хлеб и рыба Иисусовы!

Злые, с пустыми руками вернулись они к воротам, где их поджидали остальные. Они не знали, как рассказать о том, что с ними произошло, но выражение их лиц, их молчание все объяснило людям. Абдулла сказал:

— Попробуем в следующем доме. Надо только не попасть к европейцу или священнику.

Ванджа расспросила о случившемся Карегу. Он вдруг расхохотался.

— Ты помнишь гимн, который мы пели, отправляясь в дорогу? «Умирают от голода и жажды лишь те, кто не желает есть хлеб Иисусов». Знаешь, этот преподобный ублюдок мог предложить нам только духовную пищу, хлебы и рыбу Иисусовы!

Они прошли мимо нескольких домов, не зная, в который войти. На большинстве особняков висели таблички с азиатскими и европейскими именами, потому что это был самый фешенебельный район в пригороде столицы. У Ванджи он вызвал неприятные воспоминания о ее пребывании в городе, она не захотела заходить ни в один из домов. Вдруг Мунира остановился, у него екнуло сердце. Он еще раз перечитал фамилию на табличке и подозвал Карегу. «Рэймонд Чуи»,— прочел Карега и посмотрел на Муниру.

— Я не пойду с тобой,— сказал Карега.— Я останусь со всеми и подожду.

— Ладно, ладно,— радостно сказал Мунира.— Ты знаешь, он мой однокашник, замечательный спортсмен... ну что ж, мой друг, нам, знаешь ли, надо о многом поговорить... мы оба были исключены из Сирианы... товарищи по бунту, так сказать.

Он пошел один. У входа стояло несколько машин. В окнах мелькали женщины в длинных платьях, с бокалами в руках, оживленно что-то говорившие. Потом люди в доме начали петь. Сначала запели женские голоса:

Красный картофель.
В чьем доме его чистят?
Его чистят в доме Нгины.
Мы ждем, когда она возьмет ключ.
Наши дети говорят по-английски.
Мы занимаем высшие должности.

Тут подхватили мужчины и запели скабрезные песенки, которые обычно поют при посвящении юношей:

Говорят, что темно.
Говорят, что темно.
Но я все же вижу
Холмы Туму-Туму.
Да, да, Вайнага.
Дубинка что надо,
Дубинка что надо,
Ею мы откроем темные ворота.
Да, да, Вайнага.
Темные ворота, прикрытые листочком банана,
Темные ворота, прикрытые листочком банана,
Вот так ворота!
Да, да, Вайнага.

И они разразились хохотом и захлопали в ладоши. В комнате можно было разглядеть нескольких африканцев и европейцев. Это была поистине «передовая» смешанная вечеринка, и Мунира почувствовал, что он боится войти. Он стоял у двери, снедаемый робостью, так как понял вдруг, что от него разит потом, что волосы его растрепаны, а одежда покрыта грязью. Он представил себе вечеринку, на которую собрались высшие представители разных национальных групп; но ведь всего шесть месяцев назад простых людей, рабочих заставили принести присягу, что они будут защищать — что же именно? Этих поющих?

Дверь отворилась изнутри, и Мунира оказался в потоке яркого света лицом к лицу с женщиной; она была в пышном парике «афро», с ярко накрашенными губами, вся в ожерельях и браслетах. Больше он ничего не успел разглядеть. Ибо женщина сперва обомлела, а потом обрела голос и, дико завизжав, тут же рухнула в обморок. На мгновение он прирос к земле. Он услышал топот и звон разбитого стекла. Чуи и его друзья услышали крик женщины и бегут к ней на помощь, подумал он, его же они убьют, прежде чем он сумеет что-нибудь объяснить. Мужество совсем его покинуло. Он нырнул в тень и побежал со всех ног. Перепрыгнул через забор — откуда только силы взялись. Он вернулся к своим и велел им быстрей уходить. Они услышали сзади выстрел и без всяких объяснений поняли, что Мунира попал в беду.

— Идемте прямо в город,— предложил Мунира.— Не стоит заходить в эти дома. Все они одинаковы.

— Тем более что уже поздно,— поддержал его Абдулла.

Но Иосифу стало хуже, он стонал громче и громче. Все столпились вокруг него, а мальчик бредил, вспоминая, очевидно, какие-то события прошлого, но понимал его один Абдулла. Он плакал, смеялся, жаловался, кричал.

— Это моя... моя... эта... вот эта кость... я хочу есть... ей-богу, я ничего не ел со вчерашнего дня... не бей меня... пожалуйста, не бей меня...— Он замолчал. Теперь он как будто отвечал кому-то на вопросы: — Иногда сплю в старых брошенных автомашинах... да, да... а иногда и в кустах.— Он задыхался, один раз позвал на помощь маму. Но матери ведь не было. Ванджа не могла этого вынести. Стоны мальчика больно ранили ее нерастраченные материнские чувства. И она сказала, что зайдет в первый попавшийся дом. Ньякинья предложила всем пойти вместе с нею, но остальные не согласились, они предвидели очередную неудачу, после которой придется вновь спасаться бегством. Пойти вызвались Абдулла и Карега, но было решено, что Абдулле лучше остаться с Иосифом. Вместе с Ванджей и Карегой уговорили пойти Нжугуну, понадеявшись, что присутствие старика явится лучшим доказательством того, что у них нет дурных намерений. Мунира еще не пришел в себя от предыдущих неудач и решил остаться.

Но их попытка кончилась катастрофой прежде, чем они подошли к следующему дому. Несколько человек бесшумно подкрались к ним, окружили со всех сторон, вывернули и связали им руки. Карега возмущался, но люди, арестовавшие их, даже не пожелали ему ответить. Они осветили фонарями их лица.

— Э, да тут есть женщина! — крикнул один и подтолкнул их в спину, чтобы шли побыстрее. Их отвели в одну из комнат большого дома и заперли в темноте. Все это было странно, с ними обращались так, точно они очутились на вражеской территории. Нжугуна так и подумал: какая нелегкая занесла меня сюда из Илморога? Вслух он сказал:

— Что все это значит? Как они смеют арестовывать старика, по возрасту годящегося им в отцы? Вот что стало с нашими детьми, вот во что они превратились, покинув Илморог!

Прежде чем Карега или Ванджа успели ему ответить, сказать хоть что-то в утешение, вдруг загорелся яркий свет. Когда глаза их привыкли к свету, они обнаружили, что в комнате, кроме них, никого нет. Несколько минут все молчали. Потом услышали, как кто-то поворачивает дверную ручку. Все настороженно смотрели на дверь. Но вот она отворилась, и перед ними оказался джентльмен в темном костюме и цветастом галстуке.

Глаза Ванджи встретились с его глазами, и несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Карега и Нжугуна не знали, что стали свидетелями драмы. Джентльмен перевел взгляд на Карегу и Нжугуну, затем снова посмотрел на Ванджу. Та глядела прямо перед собой, точно не замечая ни мужчины, ни дверь у него за спиной.

— Извините, что я был вынужден подобным образом пригласить вас в свой дом,— сказал он с нарочитой вежливостью.— Но как вы, очевидно, понимаете, в этой части города в последнее время участились случаи воровства и грабежей. Приходится принимать меры предосторожности. Профилактика — лучшее лечение. Знаете ли вы, что масаи иной раз будят мирных жителей, когда приходят сюда требовать, чтобы им вернули их коров? Нет, разумеется, мы все должны быть осторожны, и никакого зла я не хотел вам причинить. Чем могу быть полезен?

— Как вы смеете так обходиться со старым человеком? Вы стали бы так обращаться со своим отцом, человеком, у которого седые волосы? — сказал Нжугуна.

— Если бы мой отец был жив, он не стал бы по ночам тревожить мирных горожан. Во всяком случае, скажи спасибо своим сединам и этой молодой даме, что вас не пристрелили у ворот.

Карега постарался как можно яснее объяснить этому господину ситуацию. Он рассказал о цели их похода в город.

— Достопочтенный депутат парламента от Илморога? Ндери Ва Риера? Я с ним знаком. Мы друзья. Так вот какие в жизни вдруг бывают повороты, старина, а потому ни о ком не следует говорить дурно. Ведь никогда не знаешь, где придется встретиться завтра. Итак, господин Ндери Ва Риера. У нас с ним некогда обнаружились небольшие разногласия. Он был, так сказать, борцом за свободу, то есть членом партии, и его посадили. А я... ну, одним словом, занимал другую позицию. Но теперь мы с ним друзья. Почему, спросите вы? Потому что все мы теперь понимаем: были ли мы по ту сторону забора или по эту или же сидели на заборе верхом, мы боролись за одни и те же цели. Разве не так? Мы все боролись за свободу. Но как бы там ни было, теперь мы добрые друзья. У нас с ним есть одно-два общих предприятия. Вы ездили на чаепитие? Скажу вам кое-что. Мы участвовали в его организации. Мы все члены Культурной Организации Клятвоприношений. Некоторые из нас даже позаимствовали немного — несколько тысяч — из тех денег, что были собраны на чаепитиях. Я пожизненный член КОК. Как и Ндери. Я рассказываю все это, чтобы дать вам понять, что Ндери для меня не чужой. Но он ничего не говорил мне про засуху в Илмороге, не то что о голоде! Уверен, что он организовал бы Харамбее — программу взаимопомощи и самоспасения, у него множество друзей, и все они что-нибудь пожертвовали бы. Благотворительность начинается дома, ха-ха-ха!

— Не могли бы вы благотворительности ради распорядиться, чтобы нас развязали? — прервал его смех Нжугуна. Карегу поразила словоохотливость этого господина. Казалось, он изо всех сил старается произвести на них хорошее впечатление. Но с какой стати он делает это перед случайными людьми, захваченными чуть ли не в плен у ворот его дома.

— Норовистый старик. Я к вам кого-нибудь пришлю.— И, не сказав больше ни слова, господин скрылся за дверью.

Карега посмотрел на Ванджу и Нжугуну. Они стояли неподвижно, точно статуи. Он подошел к двери и толкнул ее ногой. Странная история, подумал он, точно сцена из мелодрамы или приключенческого романа. Дверь оказалась запертой. Приключение отнюдь не было приятным.

Через несколько минут появился человек, который запер их в этой комнате. Лицо его выглядело теперь добрее, казалось даже, он хотел им что-то объяснить, но раздумал. Он разрезал веревки и сказал, что господин хочет побеседовать с дамой. Карега двинулся было вслед за нею. Но человек сказал: нет, только с дамой, наедине.

Ванджа, точно пробудившаяся статуя, пошла следом за ним; сердце ее стучало, мысль лихорадочно работала. Они шли по бесчисленным коридорам — дом был велик. Ее проводили в комнату к господину, видимо, это был его кабинет.

При ее появлении он встал и закрыл за ней дверь. Пригласил ее сесть, но она отказалась.

— Не возражаешь, я сяду? — спросил он.— Наконец-то, Ванджа, наконец-то,— сказал он. В его голосе звучали одновременно и утверждение и вопрос.

— Зачем ты это делаешь? Как можно обращаться так со стариком, с ребенком, он ведь серьезно болен?

— Думаешь, я поверил в вашу сказочку, Ванджа? Я послал к воротам двух своих людей, чтобы привели остальных. Я хотел помочь им всем ради тебя. Но их там не оказалось.

— Это неправда. Ты лжешь. Они там, и там же осел с тележкой.

— Ты говоришь неправду, Ванджа. Может быть, ты просто перепутала мой дом с каким-нибудь другим. Может быть, ты собиралась навестить приятеля? Я же заметил, как ты удивилась, увидев меня. Почему ты не садишься? Я не укушу тебя. И вообще не сделаю тебе ничего дурного... ты лучше объясни мне, почему ты от меня сбежала?

— Может быть, мы поговорим о чем-нибудь другом? Однажды ты уже разрушил мою жизнь. Тебе мало?

— Это каким же образом? Ты сама убежала. Я только подразнил тебя, когда ты сказала, что беременна. Просто мне хотелось тебя испытать, проверить, говоришь ли ты правду. Скажи, что случилось с ребенком? Где он сейчас? Мальчик или девочка? Видишь ли, я женился на женщине, которая приносит мне одних крольчих.

Она посмотрела на него с ненавистью. Ненависть горела в ее сердце. Ты когда-нибудь за это заплатишь, подумала она, за все заплатишь.

— Почему ты держишь меня здесь, всех нас? — спросила она умоляюще.— Что мы тебе сделали? Мы зашли сюда в поисках помощи, потому что у нас заболел ребенок.

Он встал и подошел к ней. Она отстранилась. Этот человек не умеет стареть, подумала Ванджа и тут же на себя рассердилась за эту мысль о нем. Он подошел ближе, и она вновь отстранилась. Даже зашла за диван. Он нажал кнопку, и диван превратился в широкую кровать.

— Кимерия! Если ты приблизишься ко мне, я закричу, и твоя жена услышит,— предупредила она, огляделась и увидела нож на столе.

Он остановился. Она отступила еще дальше. Он пристально на нее смотрел. Затем вдруг подошел к ней вплотную и торопливо сказал:

— Моей жены сегодня здесь нет, но дело не в этом. Ты ведьма, ты знаешь это? Ты околдовала меня. Вернись ко мне, прошу. Я куплю тебе прелестную квартиру в центре города. На улице Муинди-Мбинги. Или на авеню Хайле Селассие. Где захочешь. Буду оплачивать все расходы. Тебе ничего не придется делать. Только красить ногти и все в этом роде. Или нет, подожди. Ты могла бы поступить в училище для секретарей. Таких училищ много в городе. Тебе нужно будет только

научиться стучать — бам! бам! — на машинке. А потом я найду тебе работу. Я знаю нужных людей. Кения ведь страна черных. Что у тебя общего с этими смешными, странными людьми? Что ты делаешь в Илмороге? Я люблю тебя, Ванджа. Ни годы, ни твои страдания не испортили тебя, не изменили.

Он присел с ней рядом и нерешительно положил на ее руку свою.

— Хватит, Кимерия,— сказала она и оттолкнула его с силой, но в то же время испугалась своего слишком бурного гнева.— Почему ты не хочешь оставить меня в покое? Как ты можешь... правда, ты всегда был таким бесчувственным, всегда думал только о своих мужских доблестях и мгновенных победах.

Внезапно она вскочила и схватила нож. Его лицо исказилось от злобы. Голос его звучал теперь твердо, жестко:

— Это все, что ты можешь сказать? В ответ на то, что я тебе предложил? Тогда слушай. Ты не выйдешь отсюда, пока я тебе не разрешу. Мне стоит только поднять телефонную трубку, и вас всех арестуют за попытку вторгнуться в частное владение в районе Блю Хиллс. Вас месяцев шесть продержат за решеткой. Нам потребуется только — чисто юридическая формальность — вызвать тебя в зал суда. Мы же законопослушные граждане. До сих пор ни одна женщина не позволяла себе так со мной обращаться. Сбежала, пряталась от меня! Что я, какое-то чудовище? А теперь хватаешься за нож. Нет. Уж раз судьба привела тебя в мой дом, я не отпущу тебя, пока ты не разденешься и не ляжешь вот на эту постель. Тоже мне, девственница. Подумайка хорошенько. Выбор в твоих руках, а в моих — свобода давать и брать. А теперь иди.

Он позвонил в колокольчик, и Ванджу увели к ее спутникам. Она забилась в угол и сидела лицом к стене, не в силах ни говорить, ни плакать. Карега и Нжугуна поинтересовались, чего хотел от нее господин. Она только пожала плечами.

Дверь снова отворилась, на этот раз кто-то из многочисленных слуг позвал Нжугуну. За дверью ему сказали: Ванджа — бывшая жена хозяина этого дома. Она сбежала от него в Илморог и теперь отказывается делить с ним постель. Вернувшись, Нжугуна осуждающе посмотрел на Ванджу.

Со всей мягкостью, на какую он был способен, Нжугуна объяснил им положение, в которое они попали.

— Нет! — закричал Карега, как только понял, о чем идет речь.

— Но тогда умрет ребенок... неужели же Иосиф должен умереть... из-за того... Да к тому же она... в некотором роде жена господина,— настаивал Нжугуна.

— Она его не знает! Она, как и все мы, встретила его сегодня впервые! — восклицал Карега, не в силах смириться с услышанным.

— Тогда пусть она скажет, что это не так,— сказал Нжугуна, голос его звучал торжествующе и властно.

— Это правда? Ванджа, это правда? — спросил Карега.

Но она сидела в той же позе, точно не слышала вопроса. Ей причинила боль не столько возведенная на нее напраслина, несправедливость Нжугуны и даже не вопрос Кареги, но то, что Нжугуна сказал о смерти Иосифа. Она будет виновна в смерти человека. Она вспомнила, как начался этот поход в город. Может быть, это она виновата. Ведь именно она предложила и даже настояла на том, чтобы зайти в этот дом, когда другие высказались за продолжение похода... если бы она не оступилась в юные годы... если... если... так много если, и все они тяжким бременем навалились на нее. Что же делать? Уступить человеку, которого она ненавидит, всего через шесть месяцев после того, как она дала себе ту клятву? А если не послушаться... и Иосиф умрет... а Ньякинья и все остальные там... на холодной улице... голодные... умирающие от жажды... в Илмороге засуха... поход в город провалился... избавления ждать неоткуда... и люди снова будут умирать...

что же делать? Что же мне делать? Смириться с еще одним унижением? Ей хотелось рассказать Кареге всю правду о своем прошлом... тогда бы он помог разрешить ее сомнения... она подняла голову и посмотрела Кареге прямо в глаза.

— Да! Все это правда! — прошептала она, встала и направилась к двери.

Карега так и застыл, уставившись в одну точку: чему же верить? Чему теперь можно верить? Он встал и не сразу даже осознал, что движется к ней и берет ее за руку в то самое мгновение, когда она уже была готова открыть дверь. По ее телу пробежала дрожь, она подняла на него глаза, в них были мольба и растерянность, а затем отвернулась, точно ожидая его приговора. Все, что угодно, все — только не этот позор.

— Я ничего не знаю,— сказал он, обескураженный напряженной тишиной.— Но... но... ты в самом деле должна туда идти? — закончил он вдруг жалобно.

Она бросила на него быстрый взгляд, увидела поблескивающие в его глазах огоньки и почти возненавидела его за его молодость и невинность. В это мгновение она ощутила разделяющую их пропасть и стиснула зубы, чтобы не разрыдаться. Нетерпеливым, резким движением она высвободила руку, открыла дверь и вышла, захлопнув за собой дверь с такой силой, что в комнате все задрожало, как задрожало что-то и внутри нее. Он должен умереть, вдруг прозвучал внутренний голос, он должен умереть. Все очень просто. В этой мысли была какая-то горькая сладость. Она вернула ей спокойствие и самообладание.

А Карега у нее за спиной весь точно сжался и тихо застонал. Он должен умереть, сказал он, точно отвечая на заданный кем-то вопрос. Если бы у меня был огонь, я сжег бы этот дом, сказал он. Нжугуна с удивлением посмотрел на него, сжавшегося в комок, неподвижного, как изваяние, а потом уставился на стену. Молодость, молодость, пробормотал он про себя. Мрачная тишина, зловещий мрак поглотил их обоих.

4

Наконец в понедельник утром делегация пришла в город. Они шутили и смеялись сами над собой — все вокруг рождало изумление и беспокойство: улицы, высокие здания, уличное движение и даже разнообразные одежды мужчин и женщин этого города. Переход через улицу был для них целым событием. Один или два раза они стремглав перебежали улицу, и несколько автомобилей с визгом затормозили, а водители обрушили на их головы потоки брани: откуда они взялись, эти масаи? Этой деревенщине с их ослами и тележками надо бы запретить появляться в городе! И все же они радовались, что после стольких страданий прибыли наконец в знаменитый город. Даже самая длинная ночь сменяется в конце концов дневным светом.

Приемная достопочтенного Ндери Ва Риеры, депутата парламента от Илморога и южного Руваини, помещалась на втором этаже Икбал Иклуд-билдинг на Маркет-стрит, в нескольких минутах ходьбы от ресторана Камэй и парка Дживанджи-гарденс. Делегация осталась в парке, а Карега и Мунира отправились в приемную, чтобы выяснить, примет ли почтенный парламентарий делегацию своих избирателей.

Секретарша, дама в парике и с ярко накрашенными губами — они застали ее за маникюром,— оглядела вошедших с головы до ног и точно окатила их ушатом холодной воды: члена парламента сейчас нет в городе, он уехал в Момбасу и ожидается со дня на день. Увидев, как они сразу же изменились в лице, с каким унынием на нее посмотрели, она почему-то прониклась к ним жалостью: а может, они попытают счастья завтра? Карега и Мунира вернулись к своим спутникам разочарованные; где искать ночлег? Как могли они не подумать о такой

возможности, почему не предвидели ее? Да, но что они могли сделать, даже если бы заранее знали об отъезде депутата?

А тем временем на них обрушилась новая беда: осла с тележкой увели в полицейский участок за нарушение правил уличного движения и загрязнение навозом улицы и Дживанджи-гарденс. Абдулла объяснил полиции все обстоятельства, и ему ответили, что осла с тележкой задержат до того момента, когда вся их делегация будет готова покинуть город.

Карега особой религиозностью не отличался, но даже ему пришло в голову, что их преследует дьявол. Им пришлось вынести голод, жажду и равнодушие своих соплеменников. Теперь же судьба нанесла уже поверженным новый удар. Все смотрели на него, инициатора похода, ожидая от него решения. Ну, что я могу поделать, думал он с горечью, разве что объявить и без того очевидное: придется провести ночь под открытым небом в Дживанджи-гарденс.

Но тут на выручку снова пришла Ванджа.

Она сидела одна, поодаль от всех, но заметила встревоженное выражение на лице Кареги, и у нее возникла идея, быть может подсказанная угрызениями ее собственной совести.

— Послушай, Карега. Я рассказывала тебе про одного человека, живущего в этом городе. Он адвокат, и он... какой-то не такой, как большинство людей.

Карега радостно ухватился за эту спасительную соломинку.

Они отправились вдвоем через парк к индийскому ресторану возле мечети Ходжи. В других обстоятельствах Карега с удовольствием осмотрел бы это здание, представил бы себе, на каком углу Оле Масаи так эффектно припугнул белых полицейских. Но сейчас обоими владела одна и та же мысль: а вдруг адвоката тоже не окажется в городе? Ванджа набрала номер, и раздавшийся в трубке голос был для нее как рука помощи, опять протянутая к ней после новой ужасной ночи, и она почувствовала, что готова разрыдаться. Она попыталась что-то ему объяснить, но он предложил сразу же приехать к нему в контору. Он объяснил, где это и на каком автобусе добираться.

Карега никогда еще не бывал в адвокатской конторе, и пока автобус вез их по Мбойя-стрит, Нгала-стрит, Ривер-роуд, Кариокор и затем Пумвани, он мысленно представлял себе устрашающие коридоры цитадели, где отстаиваются привилегии власть имущих. Однако автобус привез их в захудалый район с бесконечными рядами фанерных домов и жестяных крыш. Перед крошечной конторой адвоката вытянулась длинная очередь. Он встретил их приветливо, казалось, он нисколько не удивился, снова увидев Ванджу.

— А, это вы, молодая особа,— только и сказал он и усадил их на скамью. Карега ожидал увидеть пожилого седовласого человека в очках с толстой оправой, в брюках с подтяжками, в жилете, шляпе и с зонтиком. А перед ними стоял мужчина лет сорока в белой рубашке с короткими рукавами и скромным галстуком, слишком молодой, казалось бы, для адвоката, к которому выстроилась такая длинная очередь. Присмотревшись, Карега обратил внимание на его усталое лицо, тревожные, точно подсвеченные внутренним светом, отягощенные чрезмерным знанием глаза.

— Так вы и не уехали домой,— сказал он, но в его голосе не было осуждения; казалось, ему и в самом деле интересно узнать, как сложилась судьба Ванджи.

— Нет... не получилось,— ответила она шепотом.

— Чем я могу вам помочь? — спросил он, глядя на Карегу и как бы подключая и его к разговору. И снова в его голосе была заинтересованность, нечто такое, что располагало собеседника к откровенности, внушая ему, что его слова ни в коем случае не будут обращены против него самого, что ему не надо опасаться ни порицания, ни осуждения,

ни насмешки. Карега рассказал ему о засухе в Илмороге, о том, как было решено послать в столицу делегацию, о походе, о последних мытарствах. Он не вдавался в подробности. Сейчас им нужно только одно — место для ночлега в ожидании аудиенции у депутата парламента. Лицо адвоката слегка помрачнело; он постучал пальцами по столу и сказал:

— Вы видели очередь — все эти люди ждут меня. Большинство тоже приезжие, из деревень — им нужны советы по разным вопросам: одним банк грозит конфисковать их землю, другие собираются купить какую-нибудь лавку или киоск, кто-то хочет посоветоваться о деньгах, которые у них выманил ловкач, пообещавший им ферму на взгорье, и все в том же духе. Вы не забыли, где я живу?

— Нет... но напомните, пожалуйста, какими улицами ехать и номер автобуса.

— Поезжайте туда со своими односельчанами. За домом есть сад. Во всяком случае, сзади никаких домов больше нет и вы никому не помешаете. Встретимся позднее.

Карега испытал огромное облегчение. Как хорошо, что не придется теперь всю ночь видеть устремленные на него осуждающие глаза. Какой удивительный человек... значит, остались в этой стране и такие, подумал он с чувством огромной благодарности к Ванджа.

В автобусе он хотел ей сказать об этом, но потом раздумал; он смотрел из окна на трущобы, на голых детей, играющих на узких улочках, и думал: кому лучше — крестьянину в забытой богом деревне или горожанину, копошащемуся на этих свалках, именуемых локациями?

Ванджа поняла его состояние; это причинило ей боль, задело ее едва зажившие раны, но она старалась его понять. Теперь он всегда будет помнить о том, что случилось с ней в доме Кимерии. Откуда ей было знать, что судьба сведет ее лицом к лицу с прошлым, от которого она хотела бежать? Внезапно она почувствовала, как где-то внутри нее закипает ненависть: ей была ненавистна его невинность, то моральное бремя, которое он самим своим молчанием налагал на нее. Если она и уступила, что тут такого? — пробормотала она про себя, чтобы не расплакаться. Разве недостаточно она ради них всех настрадалась? А ведь она даже не хотела с ними идти!

Адвокат жил в западной части Найроби, в одном из тех районов, что прежде почти исключительно были заселены индийцами. Перед домом был просторный, покрытый брусчаткой двор, окруженный каменной стеной, а позади дома — маленький сад, тоже обнесенный каменной стеной. Одни расположились в саду, другие во дворе перед домом. Корешки и листья эвкалипта, которые набрал Абдулла, к счастью, подействовали: их отварили, укутали Иосифа в одеяло, и, пропотев как следует, мальчик стал выздоравливать. Теперь он играл с другими детьми. Все были счастливы, что наконец-то оказались в Найроби. Ванджа испытывала к этому городу смешанные чувства: он ей напоминал и о позоре и об избавлении. Затем она вспомнила свой последний позор, еще одно унижение накануне вечером, когда после разговора с Кимерией она вернулась к Кареге и Нжугуне. Они вышли тогда из дома, втроем молча подошли к воротам и с изумлением обнаружили, что их товарищи исчезли. Но тут из темноты вынырнул какой-то человек и велел им следовать за ним. Загадка разрешилась следующим образом.

Хозяин дома не лгал, когда сказал, что отправил двух своих людей проверить рассказ Кареги и Ванджи. Выслушав историю этих несчастных людей, слуги хозяина отлично знали жестокость мистера Хокинса — он был известен им под этим именем; как-то раз он целую неделю продержал под замком на одной воде человека лишь за то, что тот спросил у него дорогу,— и решили ничего не сообщать ему об этих людях. Один из слуг проводил всех путников

в рабочий квартал, другой вернулся и солгал хозяину. Все это время Карега и Ванджа старались избегать друг друга. Даже Нжугуна ушел в себя и был печален.

Карега тоже размышлял о загадке той ночи и прошлого Ванджи. Что на самом деле связывало ее с Хокинсом? Он гнал от себя эту мысль. У каждого есть свое прошлое, не предназначенное для посторонних ушей и глаз. Он смотрел на Абдуллу, который сидел привалившись к стене. Он, как улитка, ушел в раковину, в непроницаемый мир молчания и мрака. Превращение богоподобного охотника, знатока целебных трав и повелителя стихий, отлично обращавшегося с оружием, гордого своим знанием и причастностью к героическому прошлому, в жалкого, ушедшего в себя старика,— превращение это отозвалось болью в сердце Кареги. Затем Карега вспомнил, что осла увели полицейские, и ему все стало ясно. Он увидел, как из дому вышла Ванджа, и двинулся за нею. Он один понимал, что они всем обязаны ей. Догнал ее. Вместе они молча шли по узкой посыпанной гравием дорожке, пролегавшей позади дома.

— Уходи, уходи от меня,— сказала она вдруг с плохо скрытой злостью.

Но он не ушел. Они прошли по Сухохо-роуд, по Гадхи авеню и вышли на Лангата-роуд, к баракам. Она остановилась у забора и посмотрела на равнину Найроби-парка. Он стоял с ней рядом, его глаза были устремлены на горы Нгонг, силуэт которых четко вырисовывался на фоне подернутого дымкой неба. Низко пролетел маленький самолет.

— Сейчас грохнется,— сказала Ванджа. Затем пролетел еще один, еще, и Карега вспомнил, что они стоят неподалеку от аэропорта Вильсона. Здесь туристы брали напрокат самолеты, чтобы ненадолго слетать в глубь страны, посмотреть заповедники с дикими животными и засветло вернуться в город.

— Я хотел... сказать тебе спасибо за все, что ты сделала,— заговорил он смущенно, надеясь, что она поймет его правильно.

— Прости меня за мою вспышку. Мне очень стыдно...

Он задумался.

— Нет,— сказал он.— Не тебе одной. Это было наше общее унижение...— Он не знал, что сказать дальше, и прибег к обобщению: — Когда унижен и оскорблен один из нас, пусть даже малое дитя, мы все оскорблены и унижены, потому что это всех людей касается.

Адвокат вернулся домой после шести, он привез с собой несколько пакетов муки, молоко и капусту. Он пригласил их в гостиную, просторную комнату удлиненной формы. Здесь могла бы поместиться целая хижина, воскликнула Ньякинья, и все засмеялись. Дети все еще играли во дворе и смотрели на самолеты, летящие в сторону Эмбакаси. Но некоторые присоединились к взрослым. Стены были украшены портретами Че Гевары — волосы как у Христа, глаза святого,— Дедана Кимати, сидящего в надменно-спокойной позе, картиной Мугалулы, изображающей уличного попрошайку. В углу стояла деревянная скульптура борца за свободу работы Ванджау. Абдулла постоял несколько минут перед портретом Кимати и вдруг быстро проковылял через комнату и вышел в сад. Остальные окружили скульптуру и обсуждали волосы воина, толстые губы, смеющийся рот и висящий на поясе меч. Но почему же у него женские груди, спросил вдруг кто-то, получается, как будто это и мужчина и женщина в одном лице; разве такое возможно?

Все заспорили, но тут Ньякинья быстро разрешила спор:

— Мужчина не может без женщины родить ребенка. Женщина не может родить ребенка без мужчины. И разве мужчина и женщина не сражались вместе за свободу этой страны?

— Но мужчина важнее женщины,— сказал Нжугуна.— Не в одних же детях дело... хм!

— Интересно, а где же хозяйка этого дома? — спросила Ньякинья, чтобы переменить разговор.

— Она уехала на несколько месяцев за границу учиться на акушерку. Пожалуй, мне придется ей написать, чтобы возвращалась поскорей, если не хочет найти в доме новую жену и кучу детей,— адвокат бросил заговорщицкий взгляд в направлении кухни, где Ванджа готовила овощной суп.

Все засмеялись и тут же заговорили о полигамии.

— Не всякий мог позволить себе иметь несколько жен. За жену приходилось расплачиваться козами, а они тогда были нашим главным богатством. Только богатые могли себе это позволить,— сказала Ньякинья.

Дома он совсем не такой, как в конторе, подумал Карега, усталость исчезла с его лица. Он хотел о многом спросить адвоката, но не знал, как начать разговор.

После ужина адвокат пригласил Карегу и Муниру в свой кабинет, куда вскоре пришли Ванджа и Абдулла. В комнате было много книг, целые кипы книг лежали повсюду, и адвокат любовно трогал их пальцами. Мунире стало стыдно за свои почти пустые книжные полки. Они сели на пол, и хозяин засыпал их вопросами об Илмороге, об его истории, условиях жизни, об их депутате парламента, о том, чего они рассчитывали добиться своим походом в город. Карега попытался объяснить, и внезапно его пронзило ощущение расплывчатости их цели. Он заметил, как печать усталости снова легла на лицо адвоката, а голос стал печальным.

— Думаю, он вас примет. Он организует даже митинг, чтобы успокоить свою нечистую совесть. Немножко благотворительности...

— Мы не станем возражать и против благотворительности,— сказал Мунира.— Пока мы не нашли ее в этом городе.— Он рассказал, как они побывали в доме священника и в доме Чуи.— Чего я никак не могу понять, это почему с таким пылом они распевают всяческие непристойности. Говорят, что раньше песни и слова всегда соответствовали месту и времени — певцы обращались друг к другу, они даже оскорбляли друг друга, но все это было уместно и выглядело достойно. В молодости я, случалось, убегал из дома, чтобы побывать на обрядах посвящения юношей.

Он замолчал, задумался: может быть, такие вечеринки посещают и его братья, которых отец так расхваливает? Карега и Ванджа вспоминали о своих испытаниях в другом доме. Они предпочли промолчать об этом. Потом заговорил адвокат. Это было похоже на диалог со своим внутренним «я», а они превратились в зрителей, на глазах которых он делился сам с собой своими сомнениями и страхами.

— Все это и печально, и больно, и временами я просто выхожу из себя, видя черных стиляг, эти ожившие карикатуры, которые танцуют танцы своих господ под господскую музыку. Они в этом достигли совершенства. Но когда это надоедает им, вернее, нам, мы обращаем свой взор на народную культуру и поносим ее... просто так, для смеха, за бутылкой шампанского. И вот я спрашиваю себя: разве мы можем рассчитывать на какие-то другие плоды, кроме тех, семена которых мы посеяли своими руками? И я думаю о растраченных силах, упущенных возможностях, о том часе, дне, моменте истории, когда, очутившись на перепутье, мы выбрали не ту дорогу. То было памятное время, когда весь мир, одушевляемый, разумеется, разными чувствами и ожиданиями, наблюдал за нами с мыслью: как эти люди, показавшие Африке и миру путь мужества, путь избавления черных, как собираются они поступить с чудовищем? Эти люди, обагрившие свои копья кровью белых угнетателей, тех, кто превратил их в рабов на службе чудовищ, отлитых из золота и серебра, какой танец исполнят они теперь на освободившейся сцене? Тогда все

было в наших силах, потому что за спиной у нас стоял народ. Но мы, лидеры, предпочли и сами начать заигрывать с этим божеством, со слепым и глухим чудовищем, которое пожирало нас сотни лет. Мы решили: все дело в том, что божеству прислуживали люди не того цвета кожи, а сейчас мы — хозяева и мы укротим это божество-чудовище, мы подчиним его своей воле. Мы забыли, что оно всегда было слепо и глухо к человеческому горю. И вот мы продолжаем вскармливать чудовище, и оно растет и требует все новых жертвоприношений, и постепенно мы превратились в его рабов. Мы падаем ниц перед его алтарями, молимся, возлагаем на него надежды. И вот к чему это приводит... жители Блю Хиллс, взявшие на себя миссию служения слепому божеству,— тысяча акров земли... даже целый миллион акров в руках служителя этого божества, а тем временем его прихожане мечтают получить хоть один акр! Им говорят: все это создано вашими трудами... будем же честными рабами божества-чудовища, отдадим ему наши души, а десять процентов дохода, ведь служитель тоже должен жить... мы отдадим его вассалу, банку... а пока давайте молиться, чтобы бог заметил нашу честность и наш пыл, и нам тоже перепадут кое-какие крохи. И вот бог продолжает жиреть и сверкает все ярче, и разжигает аппетиты своих священнослужителей, знающих лишь один-единственный этический закон: алчность и накопительство. Я спрашиваю себя: справедливо ли это, справедливо ли по отношению к нашим детям?

Я адвокат... что это значит? Я тоже зарабатываю себе на жизнь, прислуживая этому чудовищу. Я являюсь знатоком закона, призванного охранять святость божества-чудовища и его ангелов, всего клира. Я предпочел защищать тех, кто этот закон нарушает, от кого общество хочет себя оградить. Запомните, лишь немногие избранные могут найти себе удобное местечко в этой иерархии. И вот что больнее всего: трудами простых людей кормятся богословы, церковные старосты, дьяконы, священники, епископы, ангелы... вся иерархия. И как раз именно они, простые люди, презираемы и угнетены.

Я священник, отец-исповедник, я заглядываю через узенькую щель в душу народа... я вижу шрамы, раны, запекшуюся кровь... я вижу все это на их лицах, в их испуганных глазах. Скажите нам, скажите, пока мы не покаялись в наших грехах: кто устанавливает все эти законы? Для кого? Кому они служат? Я не могу ответить на эти вопросы... и все же, я говорил уже, для меня они — окно в мир.

Я спрашиваю себя: что произошло? Что случилось? Беру книги, читаю, ищу в них мудрость, ключ ко множеству проблем. Наш народ сказал: мы больше не будем рабами чудовища, давайте молиться и искать подлинного бога внутри себя. Мы хотим распоряжаться всей этой землей, ее недрами, служить единственному богу — тому, который внутри нас. Они сражались... проливали кровь не для того, чтобы потом немногие поселились в Блю Хиллс и прислуживали изваянному из золота божеству, богу, находящемуся вне нас, нет, они сражались для того, чтобы многие смогли жить полноценной жизнью. Белые священнослужители, предчувствуя свое поражение, посмеиваясь, говорили тем, кто шел им на смену: опасайтесь разрушителей, мы-то уходим, но ведь эти люди уничтожат все уложения и каноны... А мы, ведь мы учились в их школах, били себя в грудь: это мы-то — разрушители? Это мы уничтожим законы? Мы такие же, как вы, мы и не собираемся низвергать божество-чудовище, и мы вам это докажем. Вам будет стыдно, что вы позволили себе в нас усомниться.

Все это старая история. Вы говорили, что учились в Сириане вместе с Чуи. Я тоже там учился, но гораздо позже, через много лет. Мы много слышали про Чуи... но о нем тогда говорили как о ниспровергателе. Мне очень хотелось стать священнослужителем, высокообразованным священнослужителем. Поэтому я ненавидел Чуи. Само имя его вызывало в воображении образ ночного лесного

бродяги... Затем Питер Пулс застрелил африканца, который бросил камень в его собаку. Его судили, процесс вызвал большой интерес. Мы все, учащиеся Сирианы, были счастливы, когда его приговорили к смерти. А знаете, что произошло потом? Фродшэм созвал общее школьное собрание. Он говорил нам о необходимости заботиться о животных. Уровень цивилизованности определяется тем, насколько бережно люди научились относиться к животным. Не хотим же мы стать такими же безжалостными, как эти русские, которые, несмотря на все протесты, послали бедную собаку Лайку умирать в космическом пространстве? Пулс, возможно, слишком уж вспылил. Но им двигал высокий, благороднейший порыв: оказать помощь, защитить беззащитное существо. И он прочитал нам свое письмо к губернатору с призывом о снисхождении, письмо, кончавшееся трогательной цитатой из Шекспира:

Не действует по принужденью милость;
Как теплый дождь, она спадает с неба
На землю и вдвойне благословенна
Тем, кто дает и кто берет ее [1].

Мы расходились после собрания с опущенными головами, точно все мы были виновны. Некоторые плакали. Можете вы этому поверить? Мы плакали вместе с Фродшэмом. И все же у нас оставались кое-какие сомнения, и не все мне было понятно. Да и как я мог это понять? Образование, которое мы получили, не подготовило нас к пониманию таких вещей: оно было призвано замаскировать в наших глазах такие понятия, как расизм и прочие формы угнетения. Оно было рассчитано на то, чтобы мы смирились со своим подневольным положением, признали бы их превосходство над нами, законность их власти. Потом я побывал в Америке. В книгах по истории я читал о том, что люди в этой стране верят в свободу и равенство. Когда я учился в колледже для черных в Батон-Руж, штат Луизиана, я своими глазами видел черного, повешенного на дереве неподалеку от церкви. В чем была его вина? Он ударил белого, который надругался над его сестрой. Обстановка в городе была крайне напряженной. Вот вам и Америка, страна свободных и смелых!

Он замолчал, казалось, его взор проникает в далекое прошлое. Затем стал напевать блюз Джоша Уайта:

На деревьях Юга
Странные плоды.
Кровь сочится из листьев.
Кровь из корней сочится.
Тело черного раскачивается
На южном ветру,
Странные плоды
Висят на тополях Юга.

Он снова замолчал... Они не всегда поспевали за его мыслями, но чувство, им выраженное, они хорошо понимали. Он продолжал:

— Разве не то же самое происходило в Кении после 1896 года? И я сказал себе: черный не чувствует себя в безопасности дома, черный не чувствует себя в безопасности за границей. Что же все это значит? А потом в американских городах я увидел белых нищих... увидел белых женщин, продающих за несколько долларов свое тело. Порок в Америке — ходкий товар. Я трудился бок о бок с белыми и черными рабочими на заводе в Детройте. Мы работали сверхурочно, чтобы обеспечить себе скудное пропитание. В Чикаго и в других городах я видел массу безработных. Мысли мои совсем спутались. И тогда я решил: вернусь домой, ведь теперь черные взяли власть в свои руки. И вдруг, словно молния вспыхнула, я увидел, что мы в Африке служим тому же божеству-чудовищу, которому служат в Америке!.. Я увидел те же признаки болезни, тот же самый недуг...

[1] Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

и мне стало страшно... я так напугался, что не мог сдержать слез: сколько еще Деданов Кимати должны умереть, скольким еще сиротам придется проливать слезы, сколько еще времени наш народ будет трудиться в поте лица своего, чтобы немногие могли откладывать тысячи долларов в банк божества-чудовища, которое вот уже четыреста лет терзает наш континент? И мне, точно при ярком свете дня, открылась роль, которую играли фродшэмы колониального мира в деле превращения всех нас в черных оборотней, распевающих непристойные песенки в особняках в Блю Хиллс, в то время как наш народ умирает от голода, живет в жалких хижинах, не имеет приличных школ для детей. А мы тем временем радуемся тому, что нас называют сдержанными, цивилизованными и умными!

Он говорил ровным голосом и только под конец с явным отвращением произнес заключительные слова — «сдержанные, цивилизованные, умные». Слушателей захватил ход его мысли, хотя не все им было понятно. Каждый находил в его словах что-то близкое своим сокровенным тревогам. Для Абдуллы это была мысль о напрасно пролитой крови, мысль эта постоянно беспокоила его, когда он думал о землях в Тигони и других местах сражений: справедливо ли, что купленное кровью народа попадает в руки немногих лишь потому, что у них есть деньги и кредит в банке? Разве боролись деньги и банки за землю? Но он так и не мог найти ответ на эти вопросы — ведь землями все же завладели черные. Он и сам был бы не прочь получить одну из этих ферм. Ванджу поразил рассказ о белых проститутках в Америке; неужели это правда? Муниру встревожил образ чудовища, но больше всего его удивило совпадение: адвокат тоже учился в Сириане. Там же учился и Карега, и вот все трое встретились теперь в одном доме. В этом, вероятно, есть какой-то высший смысл. Кареге казалось, что адвокат сказал им не все. Но разговор волновал, разжигал любопытство; казалось, ум его вот-вот догонит, ухватит ускользающую мысль, казалось, хаос вселенной и его собственная запутанная история могут сразу стать понятными благодаря стройной системе мировоззрения.

— А что тогда с тобой случилось в Сириане, Карега? — вдруг ворвался голос Муниры в ход его мыслей. Он звучал настойчиво, в нем слышалось напряженное желание понять.

— Вы тоже учились в Сириане? — удивился адвокат, повернувшись к Кареге.

— Да,— сказал Карега. Он подумал, что был, наверно, несправедлив к Мунире; им достались разные Сирианы и разные фродшэмы, и, видимо, у каждого было к ним свое отношение. Откуда мог Мунира знать все, что происходило в школе после его ухода?

— Когда же это было?

— Я ушел... меня исключили... года полтора назад... да нет, уже больше двух... прошло почти три года. Так быстро бежит время.

— Вас исключили из-за забастовки? Вы в ней участвовали? — спросил адвокат с живейшим интересом. Сердце Кареги радостно забилось — наконец-то он встретился с человеком, который хотя бы слышал о забастовке.

— Можно сказать, да...

— Видите ли...— прервал его адвокат и замялся, подыскивая нужное слово.— Видите ли, когда я вернулся из Америки и убедился, что мы здесь поклоняемся тому же чудовищу, я пал духом. С чего же начать? — задал я себе вопрос. Я открыл практику в районе городской бедноты. Я брал немного, но ведь я тоже на них зарабатывал. И разве мое образование, моя работа, самый факт, что я открыл адвокатскую практику, не является оправданием тех самых законов, что призваны служить чудовищу,— разве я не обеспечивал в каком-то смысле собственное существование служением системе, которую я отвергал? Затем случилась забастовка в Сириане, и, читая

между строк, я подумал, что в стране появляется новая молодежь, свободная от позора и унижений нашего прошлого и потому не искалеченная духовно, как предыдущие поколения. Не такая, как в наше время. Я сказал себе: в них наша надежда, в этих новых детях, которым нет нужды что-то доказывать белому человеку, которые не чувствуют необходимости доказывать кому бы то ни было, что они умеют есть ножом и вилкой, говорить по-английски в нос, что они могут служить чудовищу столь же исправно, как и белые священнослужители, и поэтому ясно видят наше общее унижение и готовы сражаться за истинное царство черного бога внутри нас всех — мугикуйю, ммасаи, мджалуо, мгириама, псомали, мкамба, календжин, масаи, лухуа,— всех нас... вся наша сила, дух народа, наше общее «мы», работающие на нас. Может быть, я слишком много читал об этом, но подобные размышления вывели меня из угнетенного состояния, я увидел проблески, которые предвещали свет, и я сказал себе: Фродшэм и все черные фродшэмы получат по заслугам.

Его воодушевление всех заворожило, оно не оставило безучастным и Карегу. Он сказал:

— Вообще говоря, забастовок было две, но большинство знает только о первой, наверное, потому, что дело касалось европейца. Вторая была не менее серьезна, и мы негодовали, что о ней так мало пишут. Однако обе они тесно переплелись друг с другом, потому что главными действующими лицами в обеих были Кембридж Фродшэм и Чуи Римуи, я, правда, не упоминаю о той давнишней забастовке,— сказал он, обращаясь к Мунире,— в которой вы принимали участие вместе с Чуи.

— Вас тоже исключили, господин Мунира? — спросил адвокат.

— Да.

— Поразительно... Когда же?

— После первой забастовки... забастовки Чуи.

— Вместе с Чуи? Это был не человек, а легенда... мы все говорили о нем... рассказывали о его подвигах. Все мы стремились в Америку только потому, что поехал туда он. Фродшэм не любил Америку — у американцев плохое английское произношение, говорил он... но Чуи выбрал Америку, а он не мог поступить неправильно...— Адвокат покачивал головой, погружаясь в воспоминания.

— Он подавал большие надежды,— сказал Мунира.

Карега откашлялся и стал рассказывать:

Как вам известно, Кембридж Фродшэм обладал завидной способностью; он умел кого угодно вывести из себя, даже самого спокойного и уравновешенного человека. Когда он уезжал в город, чтобы повидать людей из министерства, другие учителя могли себе позволить спокойно погулять во дворе или, положив ноги на стол, покурить, поболтать, пошутить, посмеяться вместе с нами — учениками. Но стоило им издали заметить Фродшэма или его «фольксваген», как они тут же приводили себя в порядок, быстро выкидывали окурки в окно или давили их ногами. А ведь они были белые; как же умудрялся Фродшэм нагнать на них такого страху? Как сумел он их так запугать? Мы рассуждали об этом, лежа на железных койках в спальнях, мы поражались этому, надраивая по утрам полы. Возбужденно обсуждали мы особенности характера белого человека, ежедневно в пять часов утра стоя под холодным душем. Фродшэм — это сила, говорили мы. Ему бы следовало быть губернатором или еще кем-нибудь в этом роде, а не просто директором школы, но, рассказывают, он сам отказался. Это заставляло нас относиться к нему с еще большим благоговением. Вы бы послушали, как мы распутывали тайны его жизни, узнавали все новые сказки и легенды о его любовных связях, и самой большой загадкой, пожалуй, было то,

как мы узнавали это. В Кембридже он был одним из самых способных студентов, это мы знали, знали даже, что он имел обыкновение поправлять профессоров. Он отличался большой храбростью, воевал в Турции, в Палестине и в Бирме, а однажды в одиночку остановил немецкий танк — за что королева наградила его медалью или чем-то еще. В Бирме он был ранен в ногу, и ему предоставили отпуск. О чем он думал, возвращаясь героем домой? Мы представляли себе, как он достает бумажник и тревожными глазами смотрит на фотографию той, что дала ему силы выдержать все эти кампании, пески Сахары, дикие джунгли Юго-Восточной Азии, гром орудий, взрывы бомб, снарядов и мин. Поезд подпрыгивал на стыках рельсов, сердце его стучало, воображение забегало далеко вперед. Она принадлежит ему, принадлежит ему, но когда он приехал, его ждало горькое разочарование. Он пошел в церковь и стал молиться. Он молился до тех пор, пока не услышал ответивший ему голос. Он должен поехать в Африку, чтобы служить там богу и, быть может, умереть, оставив по себе память. Он так и не простил ту женщину, которая сбежала с другим вернувшимся с войны солдатом, он проклял всех женщин. Свою любовь он отдал собакам. В наше время у него была маленькая собачка по кличке Лиззи. Она всегда сопровождала его в класс, к церковной службе, в Найроби — куда бы он ни ехал. Его настроение обычно зависело от нее. Если она болела, он становился раздражительным и нетерпимым и выглядел совсем одиноким, покинутым. Лиззи, «фольксваген» и Фродшэм — мы называли их тремя мушкетерами нашей школы, настолько они были неразлучны.

И вот однажды Лиззи померла.

Что-то надломилось в Фродшэме. Он не мог больше вести занятия, не мог молиться. Морщины на его лице сразу залегли глубже, глаза стали бесцветными, говорил ли он, молчал ли — мысли его были где-то далеко. Он и в самом деле был так одинок, что до некоторой степени мы прониклись к нему жалостью. Но мы не могли его понять. Собаки мерли в наших деревнях, собаки дохли на дорогах, мы гонялись за ними по полям и горным склонам, и когда нам удавалось попасть в собаку камнем и она удирала прихрамывая, мы гоготали до слез. Настоящие собаки нужны для охоты на антилоп и на кроликов, смелые, отважные собаки охраняют стада и дома от гиен и воров. Но Лиззи была совсем другая, как же можно из-за нее так убиваться?

Он созвал школьное собрание. Мы думали, что будет очередная лекция о бойскаутах, Англии, Кембридже и истории мира от кельтских времен до появления новых государств в Азии и Африке. Но то, что он сказал, вызвало всеобщий хохот, у меня даже все заболело внутри от смеха. Он говорил о роли домашних животных в человеческой жизни; он говорил, что в цивилизованных странах умение заботиться о домашних животных повышало уважение людей друг к другу и научило их более глубокой любви к богу. Школа содрогнулась от смеха. Фродшэм разъярился, он сказал, что африканцы бесчувственны. Но, несмотря на его гнев, мы продолжали смеяться, потому что говорил он совершенно непонятные вещи и мы просто не могли поверить своим ушам. Слыханное ли дело, чтобы собаке устраивали похороны, как человеку?

Он велел школьному старосте отобрать из каждого класса по четыре мальчика — рыть могилу и сколачивать гроб для Лиззи. Он потребовал также, чтобы были выделены носильщики. Староста сначала вызвал добровольцев. Мы все опустили головы, опасаясь, как бы он нас не назвал. Добровольцев не нашлось, и староста сам назначил нескольких человек. Они отказались. Отказались мы все поголовно. Фродшэм столкнулся с открытым неповиновением.

Он объявил, что исключает из школы тех ребят, которых выделил для похорон староста.

Мы объявили всеобщую забастовку.

Мы и сами словно не верили в то, что происходит. Ведь в истории школы была уже одна забастовка, и Фродшэм вышел из нее победителем. Он бушевал, кричал и угрожал. Он вопил, что мы не подчиняемся приказам. В любом цивилизованном обществе есть люди, которым дано право отдавать приказания, и люди, которым надлежит эти приказания выполнять, руководители и подчиненные, и если вы отказываетесь подчиняться, то как вы сможете руководить и требовать подчинения? Взгляните на небо: на троне восседает бог, а вокруг него ангелы, каждому из которых отведена особая подчиненная роль; так поддерживается всеобщая гармония мироздания. Эти тирады неожиданно в каком-то смысле открыли нам глаза.

Еще вчера это был сильный белый человек, теперь все стало иначе.

Еще вчера он был белый, сильный, непобедимый, твердыня; а теперь все не так. И все, о чем мы перешептывались, все трещинки, противоречия, которых мы толком и не замечали, все вылезло наружу. Он попытался пойти на компромисс: только один ученик будет исключен из школы. Мы отказались вернуться в классы. Ладно, остается лишь одно маленькое наказание: четыре палки каждому и один день стричь газоны. Мы увидели, что под его ногами зашаталась почва. И выдвинули новые требования.

Мы потребовали, чтобы нам преподавали африканскую литературу и африканскую историю — мы хотим лучше узнать самих себя. Почему мы должны искать собственное отражение в белых снегах и весенних цветах, трепещущих на ледяных озерах? Затем кто-то крикнул: мы хотим директора-африканца и африканских учителей. Мы отвергаем систему старшинства, царивший в школе дух господ и лакеев. Эти требования не остались незамеченными. Газеты уцепились именно за это и осудили нас. С каких это пор студенты стали указывать своим учителям, чему они должны их учить? Если студенты так умны и уже знают, чему их следует учить и кто это должен делать, зачем же они тогда пошли в школу? И в какую школу, с такой репутацией? С директором, которым гордились бы лучшие английские школы вроде Итона? Они подсчитывали израсходованные на каждого студента деньги и сравнивали их с доходом беднейшего крестьянина.

Но мы стояли на своем. «Чуи, Чуи!» — крикнул кто-то. Его имя было для нас легендой. Мы хотели, чтобы именно он возглавил школу. Долой Фродшэма, долой систему старшинства, долой белых. Вперед, вместе с Чуи! Всех их прочь! Власть черным!

Приехали представители министерства. Один из них был выпускником нашей школы. Они призывали нас вернуться к занятиям. Наши требования, наши жалобы будут изучены, четыре мальчика подвергнутся незначительному наказанию — подстригут газоны и их самих остригут наголо.

Мы вернулись в классы. Но что-то уже изменилось; правила игры были поставлены под сомнение, и все было не так, как прежде. Мы это знали, знал это и Фродшэм, и примерно через месяц он подал в отставку и вскоре отправился следом за Лиззи. Мы были горды, взволнованы, мы увидели себя в новом свете. Мы клялись, что если у нас будет директор-африканец, мы будем подчиняться ему во всем, мы будем трудиться более прилежно, чтобы не опозорить ни его, ни себя. У нас не будет больше старост. Мы сами выберем себе руководителей. Мы называли себя африканскими популистами, и мы хотели директора-популиста.

Одним словом, мы хотели Чуи. Мы ждали его затаив дыхание. Никто из нас не видел его раньше и не знал о нем ничего, кроме школьных легенд и фольклора. Но мы пели, исполненные надежды: новая школа, новые люди. Начнем все сначала. Среди белых учите-

лей царили мрак и уныние, двое или трое даже подали в отставку. Опасение и торжество, отчаяние и надежда, поджатые губы и ослепительные улыбки — все это перемешалось, пока мы ждали приезда Чуи.

И вот наконец он приехал, мы выстроились вдоль дорожки от ворот до канцелярии. Он помахал нам рукой, и мы ответили криком, который вырвался из наших сердец: «Чуууууууи!»

Первое собрание... мы явились в зал почти на час раньше назначенного времени. Мы пели, хлопали в ладоши, произносили речи. Белые учителя стояли поодаль и нервно переговаривались между собой.

Вошел Чуи. Мертвая, могильная тишина. Он поднялся по ступенькам на сцену. Все глаза были устремлены на него. На нем были шорты цвета хаки, рубашка и тропический шлем — черная копия Фродшэма. Мы ждали, когда же он заговорит и рассеет наши сомнения и страхи. Он начал с провозглашения правил. Он поблагодарил учителей за высокий уровень преподавания, принесший нашей школе мировую известность. Он желает, более того, он горячо об этом мечтает, чтобы все учителя остались и чтобы они знали: он приехал не ломать, а строить дальше на фундаменте, который уже существует; никакой программы скороспелой африканизации, так как нервозная поспешность не раз уже приводила к краху прекрасные учебные заведения. В последнее время в школе наблюдалось резкое падение дисциплины, и он поклялся — с помощью всех окружающих — разрешить и эту проблему. Вместо того чтобы разрушать систему старост, он вольет в нее свежую кровь. Послушание — прямая дорога к устойчивости и порядку, единственно возможная основа нормального образования. Школа подобна телу человека: у нее есть голова, руки, ноги, выполняющие возложенные на них функции ради блага всего организма. Он прочитал нам отрывок из Шекспира:

На небесах планеты и Земля
Законы подчиненных соблюдают,
Имеют центр, и ранг, и старшинство,
Обычай и порядок постоянный.
И потому торжественное Солнце
На небесах сияет, как на троне,
И буйный бег планет разумным оком
Умеет направлять, как повелитель,
Распределяя мудро и бесстрастно
Добро и зло. Ведь если вдруг планеты
Задумают вращаться самовольно,
Какой возникнет в небесах раздор!
Какие потрясенья их постигнут!
Как вздыбятся моря и содрогнутся
Материки! И вихри друг на друга
Набросятся, круша и ужасая,
Ломая и раскидывая злобно
Все то, что безмятежно процветало
В разумном единенье естества.
О, стоит лишь нарушить сей порядок,
Основу и опору бытия —
Смятение, как страшная болезнь,
Охватит все, и все пойдет вразброд,
Утратив смысл и меру. Как могли бы,
Закон соподчиненья презирая,
Существовать науки и ремесла,
И мирная торговля дальних стран,
И честный труд, и право первородства,
И скипетры, и лавры, и короны.
Забыв почтенье, мы ослабим струны —
И сразу дисгармония возникнет [1].

Эти слова принадлежат великому писателю, более великому, чем даже Майллу или Хэдли Чейз. Традиции школы, выдержавшие испытание временем, должны сохраниться. Он не желает больше слышать

[1] Перевод Т. Гнедич.

никакой ерунды об африканских учителях, африканской истории, африканской литературе и разном прочем африканском: да слышал ли кто когда-нибудь об африканской, китайской или греческой математике и науке? Важны хорошие учителя и разумная учебная программа — история есть история, литература есть литература, и они никак не связаны с цветом кожи. Задача школы, как сказал один великий педагог,— постичь все лучшее, что было написано и придумано во всем мире. Расизм погубил многие школы, многие государства, многие народы; Сириана верит в мир и братство людей. Он никогда не допустит, чтобы школой управляли бунтовщики и бандиты, и преподавателям-европейцам бояться нечего.

Мы слушали молча, не веря собственным ушам: неужели это тот самый Чуи, который когда-то руководил забастовкой в этой самой школе?

В течение целого семестра мы спорили о том, что он сказал. Новые старосты оказались еще большими тиранами, чем прежние. Приказания нового директора шли через тщательно разработанную иерархическую цепочку — школьный староста, старосты старших классов, старосты младших классов. Привилегии предоставлялись в зависимости от старшинства. В шестом классе, к примеру, разрешалось носить брюки, куртки и галстуки, а в первом разрешалось носить башмаки только в дни посещения церкви. Чосер, Шекспир, Наполеон, Ливингстон, западные завоеватели, западные изобретатели и открыватели — все это еще более настойчиво вдалбливалось в наши головы. Ну, а где же, спрашивали мы, наша Африканская мечта?

Чуи был встревожен низким уровнем нашего разговорного и письменного английского языка. На одном собрании, обратившись к европейцам-учителям, он сказал:

— Разумеется, дареному коню в зубы не смотрят. Я не собираюсь вам указывать, как вы должны выполнять свою работу. Я не собираюсь уподобляться тому безумному американскому торговцу, который пытался продавать холодильники эскимосам. Но я директор, тон в этой школе задаю я. Научите их отличному, образному английскому языку!

Мы объявили забастовку и вновь отвергли его тактику «разделяй и властвуй». Долой Чуи, да здравствует африканский популизм, долой эмигрантов и иностранных советчиков, да пребудет во веки веков власть черных!

Остальное известно. Чуи вызвал полицейских, которые прибыли в нашу школу — можете себе представить! — во главе с белым офицером. Нас разогнали, кое-кому переломали руки, ноги, проломили головы. Школа была временно закрыта, а когда ее открыли вновь, я оказался в числе десяти ребят, которых исключили.

В рассказе Кареги слышались жалобные нотки, то ли отчаяние, то ли недоумение. В комнате воцарилось мрачное настроение, и все старались как-нибудь преодолеть его. Первым заговорил Мунира, он, собственно, повторил то, что еще раньше сказал адвокат:

— Не понимаю... в наше время все было не так — я имею в виду ваши требования. Это что — результат независимости? Я не пойму: чего же вы все-таки хотели добиться?

— Трудно сказать... вот когда говорил наш адвокат, мне казалось, я знаю, улавливаю смысл, но он каким-то образом ускользает... смысл в том, что мы, вся школа... вели общую борьбу, не так ли? Нам открывались новые горизонты... все начать сначала... школа, управляемая нашими собственными усилиями, нашими общими решениями, целями, страхами, надеждами... право обрести самих себя, обновиться... все это, но не только это... я говорю не очень ясно... в общем, «африканский популизм» — эти слова выражают наши стремления лучше всего.

5

Были времена, когда Ндери Ва Риера и в самом деле был человеком из народа. Он любил метать стрелы в мишень, подначивая при этом соперника: ну, сегодня я тебе покажу! Думаешь, зря я провел время в Маньяни! Рассказывали, что он выбрал помещение для своей конторы на Маркет-стрит, чтобы быть поближе к Камею — это место славилось жареной козлятиной, пивом и помещением для стрельбы из лука. Камей действительно дал самых первоклассных стрелков во всей Африке, таких, как Вайгуру и Парсалли; они вышли в финал соревнований клуба «Сверкающие ночи» по тому виду спорта, который прежде считался прерогативой азиатов и европейцев, и имена их были известны во всех спортивных клубах Найроби. В те дни он был одним из самых красноречивых и настойчивых сторонников реформ как вне, так и внутри парламента. Он отстаивал лозунги популистов: введение ограничений на земельную собственность, национализация главных отраслей промышленности и торговых предприятий, ликвидация неграмотности и безработицы и Восточно-Африканская Федерация как первый шаг на пути к панафриканскому единству.

Затем на него посыпались приглашения занять директорские посты в компаниях, принадлежащих иностранцам. «Господин Риера, вам ничего не придется делать, мы не собираемся отнимать ваше драгоценное время. Просто мы верим в сотрудничество белых и черных, направленное к истинному прогрессу». Денег, которые он собрал со своих избирателей, на водопровод не хватило. Но они пригодились ему как обеспечение для новых займов, при помощи которых он сумел приобрести акции целого ряда компаний и вложить деньги в земельную собственность, дома и мелкий бизнес. С тех пор он перестал появляться в прежних непрезентабельных местах развлечений. Теперь его можно было видеть лишь в закрытых клубах, а фотографии его — в газетах, где он был запечатлен на вечеринках с коктейлями. Чтобы упрочить свой новый социальный статус, он приобрел большую ферму в Рифт-Вэлли. Но наиболее доходные связи образовались у него в туристском деле. У него было немало заведений для туристов в Момбасе, Малинди и Ватаму, а также акции туристских курортов вдоль побережья. Вскоре он начал говорить о том, что «народ должен повзрослеть и смотреть в глаза реальности. Африке для ее подлинного развития нужен капитал и капиталовложения, а не социалистические лозунги». Но он по-прежнему остался горячим поборником африканской культуры и африканской индивидуальности: «Если вы хотите носить парики, носите на здоровье, но почему не африканские?» Он настоял на том, чтобы большинство компаний, в которых он был директором или председателем правления, отказались от европейских названий и стали называться «Ухуру», «Вананчи», «Тайфа», «Харамбе», «Афро», «Пан-Африка», что придаст этим предприятиям определенный африканский колорит.

Ндери Ва Риера вызывал зависть большинства своих коллег-парламентариев. Его округ был так далеко от столицы, что жалобы избирателей почти никогда его не беспокоили. Твои избиратели — это просто дар божий, говорили ему другие депутаты, а он только улыбался. Политическая свобода депутата парламента! И верно, кресла и ковры в его приемной пропитались бы пылью, если бы их состояние зависело от количества посетителей из Илморога. Весть о прибытии делегации из Илморога сразу же достигла ушей его коллег. Они с нетерпением ждали исхода этой непредвиденной встречи.

Выяснилось, что ждать им придется до вторника: Риера уехал в Момбасу по разным делам, в том числе обследовать на месте два курорта для иностранных туристов, относительно которых в зарубежной прессе появились сообщения, что, дескать, там «даже престарелый европеец может купить себе африканскую девственницу лет четырна-

дцати-пятнадцати, уплатив за нее стоимость билета в дешевый кинематограф». По этому поводу местные газеты задавали всякие щекотливые вопросы.

Он вернулся в понедельник вечером и, наскоро заглянув домой на Лэвингтон-грин, отправился узнавать новейшие сплетни. Он посетил ресторан Тамбо в «Аркадии Адама», не встретил никого из знакомых, и, выпив бокал холодного пива, поехал дальше по Нгонг-роуд к отелю «Гэйлорд».

Здесь, в баре «Прощанье», его сразу обступили друзья, которые хотели расспросить его про делегацию. Он подумал, что речь идет об африканских девственницах, и отшутился: «Все это сплошная чушь... европейцы никак не научатся определять возраст африканок: для них любая женщина, у которой грудь не отвисает, даже если в бюстгальтер напихана вата,— девственница». И только когда они упомянули Илморог, он стал пристальнее всматриваться в лица своих собеседников, точно почуяв, что становится жертвой малоприятного розыгрыша. Не кто иной, как его друг Кимерия, подтвердил, что никто его не разыгрывает, и упомянул также про засуху. Риера вроде бы не принял рассказ о делегации всерьез и продолжал потягивать пиво. Но внутри у него все напряглось: неужели они действительно проделали весь этот путь из-за засухи, о которой в газетах не появилось ни строчки? И как они сумели организовать такой поход? Похоже, подумал он, кто-то зарится на его место.

В восемь часов утра он был уже в своей приемной. Секретарша показала ему список посетителей. Он еле дождался двух часов: он готов был к схватке; старый политик, поднаторевший в интригах, он докажет тем, кто плетет заговор против него, что он все тот же Ндери, сын Риеры!

Делегация немного запоздала: все проспали, еле успели сварить на завтрак овсянку. Как удачно, что они нашли адвоката! Это добрый знак, думал Карега, приближаясь к Дживанджи-гарденс. Разговор с адвокатом затянулся до глубокой ночи. Он дал пищу для многих размышлений, и Карега пожалел, что Илморог не является пригородом Найроби,— тогда они могли бы разговаривать ежедневно. Адвокат постарался не разочаровывать их относительно пользы встречи с депутатом парламента. «Мы должны до конца исчерпать все ресурсы демократии,— сказал он.— Но если исход окажется неблагоприятным, вы всегда здесь желанные гости. Во всяком случае, я хочу знать, чем кончится ваше посещение».

Как и накануне, большая часть делегации осталась в парке. Однако на этот раз вместе с Карегой и Мунирой в здание «Икбал Иклуд» поднялись Ванджа, Абдулла и Нжугуна. В рваной, грязной одежде они напоминали скорей огородные пугала, чем посетителей приемной члена парламента: раньше здесь бывали лишь мужчины и женщины в безукоризненных деловых костюмах.

Но Ндери Ва Риера, одетый в серый костюм-тройку, не выказал ни малейшего удивления. Он поднялся им навстречу и самолично пододвинул всем вошедшим стулья. Неплохое начало, подумал Карега, с удовольствием усаживаясь. Их только пятеро, с облегчением подумал Риера, а ведь друзья его предупреждали что их много; в то же время он был несколько разочарован, потому что политик предпочитает иметь дело с толпой.

— Как ваше самочувствие? — спросил он вежливо, пожимая каждому руку.

— Неплохо,— отозвались они хором.

Депутат сел в кресло, не переставая изучать вошедших оценивающим взглядом.

— Вы пришли издалека? — спросил он, делая вид, будто не предупрежден об их приходе.

— Из Илморога,— сказал Мунира.— Мы были здесь вчера. Ваша секретарша вам не говорила?

— Конечно говорила,— засмеялся он.— Но таков уж наш язык. Вы видите, как кто-то валит дерево, и все же спрашиваете: «Что ты делаешь?»

— Это верно,— сказал Мунира, и все засмеялись.

— Очевидно, вы устали с дороги. Вы ехали автобусом? — спросил он, нажимая кнопку.

— Нет,— ответила Ванджа.— Мы пришли пешком.

— Да ну?

В дверь просунулась голова секретарши.

— Пожалуйста, приготовьте нам кофе, пять кофе — для этих господ и дамы... В самом деле пешком? — повторил он, продолжая их рассматривать.— Но я задаю слишком много вопросов. Мы еще даже не представились друг другу. Меня зовут Ндери Ва Риера.

— Это мы знаем,— сказали они.

— Раньше меня звали Дэвид Сэмюел. Но я спросил себя: почему мы заменили свои имена иностранными? Ха-ха-ха! У меня есть друг, черный, как сажа на дне кастрюли, который называет себя Уинтерботтом. Ха-ха-ха!

— Эти европейцы заставили нас отказаться от многих прекрасных обычаев. Я говорю не только об обрезании,— сказал Нжугуна и подумал: весьма-таки разумного депутата избрали мы в парламент.— Меня зовут Нжугуна, я илморогский крестьянин.

— Мне так жаль, что из-за занятости в парламенте я не имею ни одной свободной минуты. Я хотел приехать к вам на целую неделю, повидать своих избирателей, познакомиться с людьми. Я хотел также познакомиться поближе с проблемами сельского хозяйства в вашем районе. Кения — сельскохозяйственная страна, и само наше существование зависит от крестьян, таких людей, как вы.

Вошла секретарша с подносом. Каждый взял чашечку кофе и печенье.

— А вы кто? — спросил он, обращаясь к Ванджа.

— Меня зовут Ванджа... в Илмороге я в некотором роде гостья.

— Так, так. И вы решили пойти со всеми вместе? Не правда ли?— спросил он и повернулся к Мунире.— А вы тоже крестьянин?

— Нет. Я директор илморогской начальной школы, меня зовут Мунира, Годфри Мунира. Как видите, я еще не избавился от иностранного имени. Однако носим же мы их рубашки и живем в их домах... но мы уже говорили об этом,— сказал он, обращаясь к Кареге и Ванджа.

— Вам следовало тоже быть в парламенте,— сказал депутат.— Рад познакомиться с вами, господин Мунира. В конце концов не так уж важно имя. Куда важнее, что вы делаете для своей страны. Взять хотя бы учителей. Без хороших учителей немыслимо существование страны. Учителя — истинные представители народа. А мы здесь только исполнители. Вы из Илморога?

— Не совсем. Родом я из Лимуру.

— Ваш округ здесь представляет священнослужитель. Я хорошо его знаю. А вы тоже из Лимуру? — спросил он Карегу.

— Да. Но я преподаю в той же школе.

— Вы выглядите слишком молодо для учителя,— смеясь сказал Ндери, а про себя подумал: тут надо держать ухо востро, почему это вдруг среди них только один коренной житель Илморога? — В наши дни приятно встретить разумного молодого человека. Большинство предпочитает стать клерками — так называемыми белыми воротничками,— а сами строчки на машинке напечатать не умеют.

— Я не согласен с вами, сэр,— ответил Карега, вспомнив, как он обивал пороги контор.— Я уверен, что большинство выпускников

высших школ согласились бы на любую работу, если бы им платили приличное жалованье.

Прав я был: с ними надо поосторожней, подумал депутат, запальчивость Кареги не осталась для него незамеченной. Как всякий политик, Ндери знал, что не бывает незначительных противников, как не бывает мелочей, которыми можно пренебречь, если только ты не делаешь это намеренно.

— Совершенно с вами согласен. Безработица — наболевшая проблема в нашей стране. Но то же самое происходит во всем мире. Мы читаем в газетах о миллионах людей — даже в Англии и Америке, которые остались без работы и вынуждены жить на подаяние. Всему виной демографический взрыв. Единственное спасение — контроль над рождаемостью.

— И снова позвольте мне не согласиться с вами. Не кажется ли вам, что контроль над рождаемостью — это попытка западных держав ограничить рост нашего населения? Британия — крошечный остров, однако на нем проживает пятьдесят миллионов человек, так почему бы им не ограничить прирост населения?

Как странно, что он говорит точно то же, что говорил когда-то я, подумал депутат; он увидел частицу самого себя в этом серьезном юноше.

— Знаете, когда я был молод, мне казалось, что мировые проблемы можно решить с помощью лозунгов. Но когда я постарел, я научился быть более реалистичным, смотреть фактам в глаза. И мы, черные, должны научиться не отворачиваться от правды, какой бы жестокой она ни была, даже если для этого надо пересмотреть столь дорогие нашему сердцу теории. Возьмем хотя бы ту же проблему народонаселения!

— Не хотите ли вы сказать, что наши женщины должны перестать рожать детей? — сказала Ванджа, и в ее голосе неожиданно прозвучало страдание.

— Нет. Но им следует рожать детей, сообразуясь с нашими возможностями прокормить новые рты. Если не произойдет какой-нибудь катастрофы, мы скоро будем как Индия — там тысячи голодных, которые вскорости вцепятся нам в глотку. Вы не согласны? — спросил он, обращаясь к Абдулле.— Вы еще даже не представились, а мы с Карегой уже решаем судьбы мира.

«Итак, врагом их стал народ»,— подумал Карега.

Абдулла ответил не сразу. Он откашлялся и заговорил унылым, монотонным голосом:

— Заяц и антилопа однажды провалились в яму. Давай я заберусь тебе на спину, выпрыгну, а потом тебя вытащу, сказал заяц. Он взобрался на спину антилопы и выскочил на залитую солнцем землю. Отряхнулся и побежал прочь. Эй, а про меня-то ты забыл, крикнула антилопа. А заяц ответил ей так: позволь дать тебе совет, моя милая. Я попал в одну с тобой яму по ошибке. Твоя беда в том, госпожа антилопа, что ты все прыгаешь и скачешь, вместо того чтобы твердо ступать по земле и смотреть, что у тебя под носом. Прости меня, но ты сама во всем виновата.

С этими словами Абдулла встал и вышел, и в комнате воцарилась какая-то неловкая тишина.

— Кто это? — спросил депутат.

— Абдулла... торговец... у него лавка в Илмороге,— объяснил Мунира.

— И при этом отменный рассказчик, ха-ха! А как идет в ваших краях торговля?

— Ничего... он кое-как концы с концами сводит,— ответил Мунира, явно пытаясь как-то сгладить неблагоприятное впечатление от внезапного ухода Абдуллы.

— В своей деятельности мы должны опираться только на собственные силы. Как вам известно, до независимости вся торговля была в руках индийцев. Теперь африканцы занимаются тем же, и у них неплохо получается, иной раз их доходы даже выше, чем были у индийцев. Умение извлекать из торговли прибыль не является монополией какой-то одной расы. Он родом из Илморога?

— Не совсем. Он тоже из приезжих.

Депутат откинулся на спинку кресла. Опасения его подтверждались. Это явно какой-то заговор, затеянный с целью опорочить его доброе имя. Его политические противники засылают в Илморог инородцев, чтобы баламутить мирных местных жителей. Он не забыл еще, что случилось с двумя посланцами, которых он отправил в Илморог, чтобы организовать чаепитие. Сам он был занят организацией этого чаепития в масштабах страны. Ведь идея нового культурного движения принадлежала именно ему и его друзьям. Они предложили ее крупному деятелю. Напряженность, возникшая в стране после убийства индийского коммуниста, заставила Ндери и его сподвижников придумать это массовое чаепитие с принятием клятвы в вечной верности; оно казалось им идеальным выходом из положения. Но избиратели прогнали его посланцев.

— А теперь, друзья мои, чем я могу быть вам полезен? Мы — ваши слуги, и неважно — мои вы избиратели или нет.

— Сэр, наши товарищи ждут в Дживанджи-гарденс. Нас они только послали узнать, приехали ли вы.

— Так почему же вы не привели их сюда? — Он нажал кнопку с чувством явного облегчения; вошла секретарша.— Не могли бы вы сходить в Дживанджи-гарденс и пригласить всех остальных членов делегации в мой кабинет? Это ведь их кабинет, их дом, им нечего здесь опасаться.

— Погодите... Их слишком много, в этой комнате всем не поместиться. Лучше бы вы сами пошли к ним и там бы с ними поговорили,— сказал Мунира.

— Ну, что ж, тогда не нужно за ними ходить... Мне так жаль, что вы вчера меня не застали. Я уезжал в Момбасу. Правительственное задание. Боже, до чего много работы. Но мы поклялись служить народу. Нет такого слона, который не мог бы поднять собственный хобот, каким бы тяжелым он ни был. Но прежде чем я встречусь с остальными, вы, может быть, объясните, что привело вас сюда.

Сначала он думал сразу выйти к делегации, но, вовремя спохватившись, решил подготовиться.

— Мы пришли,— сказал Нжугуна,— потому что знаем: ты наш сын. Вот уже полгода в Илмороге не было дождей. Скот гибнет. Нет такой хижины у нас в деревне, где не был бы съеден последний козел. Мы съели последние зерна маиса из прошлогоднего урожая. Тогда мы сошлись все вместе и сказали: у нас есть сын, чьи губы близки к ушам нашего правительства.

Ндери все больше и больше мрачнел, слушая Нжугуну. Как депутат парламента от этого округа, он должен был узнать о засухе заранее. Если это станет известно всем, его противники заработают на этой истории политический капитал. А теперь, быть может, уже поздно. Вероятно, его враги пронюхали про засуху и все это подстроили, чтобы посмотреть, как он будет выкручиваться.

— Почему же вы не пришли сразу? — спросил он участливо, пытаясь в то же время придумать какой-нибудь выход из положения.

— Мы знали, что вы занятой человек. Мы знали, что вы загружены правительственной работой, иначе вы бы приехали к нам. Но мы вас и избрали для этой работы — так зачем же жаловаться? А еще мы надеялись, что начнутся дожди. Но ведь говорят, что бог на небесах не ест нашей пищи. Он послал нам эту женщину и двоих учителей,

которые больше нашего понимают в городских делах. Они сказали, что ты будешь рад нашему приходу.

— Ну разумеется. Они были правы, и я им весьма благодарен,— сказал он, окидывая оценивающим взглядом Муниру и Карегу. А в сердце закипало возмущение — нет, это явная провокация. Мои враги придумали ловкий ход — действуют через учителей; а может быть, этот Мунира и сам не лишен политических амбиций, вот он и заигрывает с моими избирателями. Хм! — Вы молодец, что поехали учительствовать в Илморог. Кто там... я забыл... инспектор просвещения в Руваини?

— Мзиго.

— И давно вы...

— Да мы, собственно, там новички. Я работаю немногим больше двух лет, Карега — только несколько месяцев.

Так, так... ох, уж этот Мзиго! Наверняка он их подкупил. Сеет в округе недовольство. Сует мне палки в колеса. В нем разгорались политические страсти.

— Вы совершили долгое и трудное путешествие. Пойдемте же встретимся с остальными. Я буду говорить со всеми сразу.

Они отправились в Дживанджи-гарденс, и, когда подошли к ожидавшим, женщины запели «Пять Нгеми», песню, исполняемую обычно при рождении мальчика или в честь возвращения героя-победителя. Вокруг тотчас же собралась целая толпа бродяг, безработных, ночующих обычно на скамейках парка, для которых всякое драматическое событие — религиозное, политическое или уголовное — являлось долгожданным развлечением. Прием, оказанный Ндери, его обрадовал, хотя опасения его полностью не исчезли. Нжугуна представил его как «нашего блудного сына, которого мы послали в город, чтобы он помог нам получить нашу долю», и вновь воззвал о помощи для борьбы с засухой. Карега не мог полностью определить своего отношения к депутату, но, как и все остальные, возлагал на его речь большие надежды и внимательно следил за каждым его движением. Что же касается Ндери, то он еще не выработал плана действий. Но политик всегда остается политиком, и вид растущей толпы возбуждал его и вдохновлял и даже напомнил волнующие дни конференции в Ланкастер-хаус, поездки в Лондон, толпы ожидающих их в аэропорту, речи в Камкунджи, которые всегда сопровождались приветственными криками, от которых трепетало сердце.

— Долой врагов нашей свободы, завоеванной кровью!

— Долой наших врагов!

— Долой смутьянов и сеятелей слухов!

— Спасибо, друзья мои. Спасибо, граждане Илморога. Это самый счастливый день в моей жизни с тех пор, как вы отдали мне свои голоса и велели мне впредь и всегда беззаветно сражаться как вашему преданному представителю в парламенте.

Он сделал паузу, подождал, пока утихнут восторженные аплодисменты.

— Я узнал о ваших бедах. В них никто не виноват... и тем не менее я рад, что со своими заботами вы пришли к вашему слуге. Хотите вы работать сообща, рука об руку, ради уничтожения безработицы и прочих наших недугов?

— Хоти-и-им!

— Говори же! — ревела толпа безработных.

Он снова выждал, пока стихнут аплодисменты. И вдруг, точно вдохновленный толпой и овацией, ясно увидел, как он сможет уязвить своих врагов и обратить их махинации себе на пользу. Идея была так проста, что он удивился, как она не пришла ему в голову раньше.

— Спасибо, друзья мои. Теперь позвольте мне кое-что вам посоветовать, и я надеюсь, что вы будете внимательно слушать, потому что это касается всех — больших и малых, учителей и учеников: каждый

должен будет чем-то пожертвовать ради общего блага и процветания Илморога.

Женщины целых три минуты приветствовали его криками, и это привлекло новых прохожих.

— Я хочу вам предложить вернуться в Илморог. Соберите всю деревню, и пусть каждый пожертвует деньги по подписке. Можете даже продать часть своих коров и коз — это лучше, чем обрекать их на гибель. Пошарьте по своим карманам. Ваши лавочники, торговцы, вместо того чтобы рассказывать сказки, могли бы раскошелиться пощедрее. Создайте группу певцов и танцоров — тех, что знают песни: гитиро, мутхуу, ндумо, мумбуро, мутунгусу, мвомбоко и так далее. Наша культура, наша африканская культура и наши духовные ценности должны составить истинный фундамент нашего народа. Мы обязательно должны послать представительную делегацию в Гатунду.

Он так увлекся своей идеей, что мертвое молчание толпы принял за безмолвное одобрение, и это побудило его вознестись еще выше в вымышленные им эмпиреи.

— Новое чаепитие устроим! — выкрикнул кто-то.

— Постойте! Как же это!..— кричали ему из толпы, но он уже принялся подробно развивать свою идею.

— Мы должны продемонстрировать, что мы участвуем в осуществлении планов самопомощи, чтобы раз и навсегда избавить нашу землю от всевозможных засух.

— Но мы умираем с голоду,— тщетно пытались перекричать его люди из толпы.

— Все это очень важно. И вы, Мунира и Карега, должны внести свою лепту. Подготовьте детей. Пусть будет создан детский хор. Научите их петь патриотические песни.

Он с ума сошел, подумал вдруг Карега, вокруг которого бушевала возмущенная толпа.

— Господин Ндери! — крикнул он, но депутат махнул ему рукой, призывая к молчанию.

— Найдите нескольких стариков. Столь же разумных, как Нжугуна,— знаете, таких, что умеют украсить свою речь пословицей или притчей. И пусть вашими представителями будут коренные илморогцы, а не пришельцы — а я непременно возглавлю такую делегацию. Я передам правительству ваши жалобы и просьбы. Мы должны крупными буквами нанести слово Илморог на карту нашей страны.

Он остановился, чтобы перевести дыхание и вкусить сладость оваций. Кто-то крикнул: «Вот люди, которые злоупотребляют нашей свободой», и толпа ответила на эти слова грозным гулом. Брошенный кем-то камень попал в лицо депутату. За ним градом полетели апельсиновая кожура, камни, палки — все, что попадалось под руку. Ндери пытался делать вид, будто не замечает этих летящих в него снарядов. Вдруг комок грязи залепил ему рот. Теперь уже нельзя было отступить достойно, и он пустился наутек, недоумевая, в чем же была его ошибка, что он не разглядел в кознях своих политических противников. Он устремился к Главному полицейскому управлению, а следом за ним бежали люди, и он жалел лишь, что не может полететь по воздуху.

— Наш поход провалился,— с горечью прошептал Карега. На глаза его навернулись горячие слезы. Он старался ни на кого не глядеть. Брошенная своим депутатом, горожанами, которые торопливо разбежались по ближним улицам, делегация илморогцев сидела на газоне парка с таким чувством, будто весь мир им враждебен.

На место происшествия прибыли полицейский автомобиль с сиреной и наряд полиции. Офицер был весьма удивлен, увидев растерянных стариков, женщин и детей. Ндери, сидя в машине рядом с офицером, указал на Муниру, Абдуллу и Карегу.

— Вам надлежит пройти в участок и ответить на некоторые вопросы,— сказал им полицейский, вталкивая их в машину.

Ньякинья повернулась к застывшим в оцепенении людям.

— Пошли за ними следом и потребуем, чтобы их освободили,— сказала она твердо.— Они не сделали ничего плохого.

6

Муниру, Карегу и Абдуллу всю ночь продержали в полицейском управлении. Наутро их доставили в суд, где они не признали себя виновными в действиях, направленных на создание беспорядков.

Спас их адвокат. Он не только добился, чтобы слушание дела перенесли на следующий день, но добился также освобождения арестованных под залог, хотя обвинитель требовал отложить слушание на две недели и настаивал на том, чтобы все трое провели две недели под стражей до вынесения приговора. В день суда они увидели адвоката совершенно в новом свете: это не был больше радушный хозяин, озабоченный сомнениями интеллигент, это был решительный, твердый защитник и безжалостный обвинитель, когда дело дошло до перекрестного допроса свидетелей обвинения и особенно самого депутата парламента. Своими вопросами и комментариями адвокат сумел нарисовать четкую картину всех злоключений этих людей, испытавших тяжкие страдания из-за засухи и нелегких условий жизни. Он охарактеризовал Илморог такими словами, как «покинутая земля», «богом забытая деревня», остров, которого не коснулся прогресс и который, после того как из него выжали все соки, превратился в застывший, чудовищно искаженный призрак того, чем была и могла бы стать снова эта деревня. Он обрушился на тех, на кого была возложена миссия представлять интересы этих людей. Если бы избранные народом представители выполняли свой долг, разве было бы необходимо путешествие, которое совершили эти люди? Он описал их поход с такой выразительностью, что публика и даже судья были глубоко тронуты. Затем он с пылом предложил судьям выйти на улицу и посмотреть на осла, которого ему лишь сегодня утром удалось вызволить из полиции. Оправдав подсудимых, судья как бы согласился со словами адвоката, назвавшего их «добрыми самаритянами», и на душе у всех троих повеселело.

С волнением разглядывали они свои фотографии и имена в газетах. «Три добрых самаритянина оправданы»,— гласил заголовок в одной из ежедневных газет. Какой-то журналист, почуяв эффектный материал для статьи, по пятам ходил за делегацией, сделал несколько снимков и задал им массу вопросов. Еще через день их история оказалась на центральных полосах газет с тройной шапкой: «Смерть в пустыне. Голод в Илмороге. Спасительная миссия осла с тележкой». В самом центре была фотография осла, запряженного в пустую тележку, и всех илморогцев, напуганных, растерянных среди неведомых им джунглей — машин, домов, спешащих по делам прохожих.

Именно благодаря этой статье увенчался успехом их поход в столицу. Отовсюду посыпались пожертвования. Через три часа после выхода газеты контора адвоката ломилась от подаренных горожанами продуктов, и тележка была нагружена доверху. Какая-то компания предложила для делегации, осла, тележки и даров бесплатный транспорт. Преподобный Джеррод призвал союз церквей послать в Илморог депутацию, чтобы выяснить, чем церковь может помочь этой деревне. Представитель правительства заявил, что туда будут направлены эксперты с тем, чтобы определить, какое место займет Илморог в долгосрочных планах развития сельскохозяйственных районов и не могут ли эти планы быть ускорены, чтобы в будущем Илморог и подобные ему районы могли своими силами противостоять засухам.

К ним приезжали в течение целого месяца после триумфального возвращения делегации: церковные деятели, служившие молебны о

дожде и обещавшие построить церковь; правительственные чиновники, заявившие, что району нужен свой инспектор — слишком уж далеко от Руваини расположен Илморог, чтобы им можно было управлять оттуда; они же обещали послать правительству доклад о необходимости создания полномочной комиссии для разработки плана развития района; благотворительные организации, пообещавшие продавать в районе больше лотерейных билетов, а также группа студентов университета, написавших статью, в которой засухи и неравномерное развитие страны ставились в прямую связь с неоколониализмом,— статья призывала к немедленному уничтожению капитализма, и ее авторы даже создали комитет «Студенты против неоколониализма».

Единственный, кто не испытывал восторга от такого развития событий, был Ндери Ва Риера. Он скрывался в многочисленных закрытых клубах, где пытался утопить горечь временного поражения в пиве и виски. Но мозг его лихорадочно работал. Чем больше он думал обо всей этой истории, тем более убеждался, что она подстроена его политическими противниками, то есть врагами процветания и стабильности страны. В неожиданном развитии событий ему виделась чья-то продуманная оркестровка, завершившаяся триумфом в суде.

Снова он вспомнил, как были унижены двое его посланцев в Илмороге; в свое время он скрыл от всех эту историю, ибо она свидетельствовала о том, что он, вдохновитель кампании чаепития, оказался неспособным повести за собой своих же собственных избирателей. Но враги его ошиблись, если увидели в его молчании слабость. И он докажет им, что они ошиблись. Порукой тому — его деловые связи с сильными мира сего. Ведь у него побольше веса, чем у иного министра. Чтобы сокрушить врагов, он использует все свои связи. Он подробно разработал план, как превратить КОК в страшное орудие принуждения и террора, действующее в масштабах страны.

Сначала КОК в его представлении была чем-то расплывчатым. Мысль о ней родилась из его веры в самоценность культуры, и это принесло ему немалые выгоды в деловом сотрудничестве с иностранцами. Почему бы не использовать культуру как базис этнического единства? Он где-то вычитал, что в странах Западной Африки некоторые видные деятели являются членами тайных обществ, которые культивируют колдовство и другие пережитки доколониальных культов, а также партий, которые держат своих последователей в страхе и повиновении. Вот так! А почему бы и нет? Сам он недавно получил приглашение вступить в масонскую ложу Найроби — тайное европейское братство бизнесменов. Почему бы не создать параллельно чисто африканское общество для контроля над Центральной провинцией, рабочие и крестьяне которой известны своим строптивым нравом, а это очень опасно, потому что за их плечами годы вооруженного сопротивления колонизаторам, в них жив еще дух борьбы, которым могут злоупотребить враги прогресса и экономического процветания. А впоследствии эту идею можно будет передать вождям других этнических групп.

Он поделился своей мыслью с директорами компаний, крупными землевладельцами и другими видными людьми. Кое-кто был против, утверждая, что возрождение такой практики в современных условиях слишком примитивно и что существуют полиция, армия и суд, всегда готовые подавить недовольство низов.

Но его идея обрела сторонников после того, как обнаружились неожиданные последствия убийства двух политических деятелей — индийца и африканца. Тут даже те высокопоставленные деятели, которые ранее возражали Риере, ухватились за его идею.

Массовое чаепитие увенчалось почти стопроцентным успехом, если не считать немногих недовольных в парламенте, церкви и среди

студентов университета. Иностранная пресса по наивности решила, что чаепитие организовано «мау-мау». Политические страсти достигли весьма высокого накала, и было трудно в этих условиях объяснить западным газетам, что эта кампания не имеет ничего общего с «мау-мау» и вовсе не направлена против активного экономического сотрудничества с Западом. Он, Ндери Ва Риера, убежден, Африка добьется уважения только тогда, когда в ней появятся свои собственные рокфеллеры, свои хьюзы, форды, круппы, мицубиси... КОК будет служить интересам богатых африканцев и их иностранных партнеров, созданию таких же экономических гигантов!

КОК сумела отразить недавние нападки на массовое чаепитие, и Риера верил, что организацию можно укреплять и другими методами. Даже иностранная пресса и вожди прочих этнических групп не станут возражать, когда поймут, чьи социальные и экономические интересы она защищает.

При мысли о КОК он испытал внезапное успокоение и умиротворенность. Он теперь знает, как отплатить своим противникам. Он и в самом деле пренебрег Илморогом. Зато теперь он не пожалеет усилий для укрепления Илморогского отделения КОК, председателем, генеральным секретарем и казначеем которого он являлся. Со временем он, пожалуй, предоставит один-два поста надежным ребятам из этого района. Затем учредит Страховую компанию Илморогского отделения КОК. Капитал будет нетрудно обеспечить: нужно продавать акции илморогцам и выходцам из Илморога, где бы они ни жили. Можно также использовать какие-то суммы из тех миллионов, что были собраны во время массового чаепития. Да и банки не откажут в займе. Страховая компания Илморогского отделения КОК, контролируя другие компании, разумеется, сумеет приступить к освоению и развитию туризма в этом районе... если бы не дороги!

И тут он вспомнил о своих врагах. Они постараются сорвать его планы. Но кто они? Эта троица — Карега, учитель и калека? Все они, конечно, лишь подставные лица: они на кого-то работают. Но на кого?

И вдруг он понял. Конечно же на адвоката. Ндери на радостях угостил выпивкой всех, кто был в клубе. Как же он не понял этого раньше? Адвокат был инициатором всей этой затеи. Вот кто его враг. Он враг КОК и прогресса. И Ндери его во что бы то ни стало уничтожит. Он попросит своих подручных завести досье на адвоката.

Итак, да здравствует Илморог. Да здравствует КОК. И он отправился в казино, чтобы не упустить улыбнувшуюся ему удачу.

На следующий день Ндери опубликовал заявление, в котором обещал изучить возможности открытия илморогского района для туризма и добиться займов для коренных жителей — но только для коренных, а не для пришельцев, которых подсылают туда его политические противники, чтобы нажить себе капитал на стихийных бедствиях. Цель этих мероприятий — дать возможность илморогцам поднять сельскохозяйственное производство. Вскоре он приступит к осуществлению гигантского финансового проекта: созданию Инвестиционной и страховой компании — Илморогского отделения КОК, который поможет быстрейшему преобразованию района. Илморог никогда больше не будет таким, как сегодня...

■

ФАЙНГАР АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1931 г.).

Советский переводчик и журналист. В его переводах с английского печатались романы «Вашингтон, округ Колумбия» Гора Видала, «В точке покоя» Мэри Бенсон и другие произведения.

Нгуги Ва Тхионго как художник, как мыслитель и как гражданин весь обращен к народу. В его культуре он видит высшую ценность, его судьбу стремится понять с позиций марксизма. В отрывке из романа «Кровавые лепестки», который публикует «Иностранная литература», кенийский писатель рассказывает о походе в Найроби — столицу Кении — депутации крестьян Илморога, небольшой, погибающей от затяжной засухи деревни. Со страхом и надеждой идут в столицу крестьянские посланцы. Они ждут от города помощи, ищут сострадания и поддержки. Но что их встречает?

Мне довелось несколько раз побывать в Найроби. Залитые солнцем небоскребы городского центра, утопающие в зелени садов богатые предместья великолепны. Но даже невнимательный взгляд поражают социальные контрасты кенийской столицы. У блестящих витрин магазинов нищие просят подаяние. Огромное количество безработной молодежи.

Нгуги Ва Тхионго видит дальше и глубже. Он остро ощущает разрыв между городом и деревней. Найроби и Илморог в его глазах — это два противоположных полюса страны, два различных образа жизни, две различные культуры.

Столица Кении — молодой город. Он возник по воле и решению англичан — завоевателей края, покоренных красотой окружающей природы, мягким и здоровым климатом этих мест. Население города быстро росло; сгоняемые захватчиками с земли крестьяне искали здесь пристанища и работы. Еще и сегодня основная масса горожан — это недавние крестьяне, дети или внуки выходцев из деревни.

Казалось бы, в таком городе должны устойчиво сохраняться традиции народной культуры. Но нет. Нгуги Ва Тхионго с болью и горечью отмечает, что колониальный город беспощадно разрушает обычаи крестьянской солидарности и взаимопомощи. Он разрывает давние связи между людьми, навязывает им лихорадочный ритм жизни, втягивает в бесконечную погоню за заработком, наживой, удовольствиями. То, что раньше было ценностью в их глазах: уважение близких, радость труда, отзывчивость и человечность — стремительно утрачивает свой прежний смысл в напряженной, взвинченной атмосфере столичного быта.

В то же время этот город слишком молод, чтобы там могла сложиться и окрепнуть самостоятельная, уходящая корнями в народные толщи культура. Городское население вынуждено заимствовать замашки и привычки у заезжих европейцев — их манеру одеваться, обставлять дом, их питание. А вместе с тем их этические, культурные, религиозные нормы. Конечно, все это усваивалось зачастую поверхностно, иногда карикатурно.

Почему Нгуги Ва Тхионго так остро, даже болезненно воспринимает распад в городе народной культуры? Думается, не только потому, что город становится очагом морального разложения, которое начинает подтачивать все общество. На его взгляд, особая опасность заключается в том, что городская верхушка, клика политиканов, дельцов, чиновников утратила чувство ответственности перед народом. У нее исчезает сознание долга перед теми, кто своим мужеством и самопожертвованием завоевал стране независимость. «Освобождаясь» от народной культуры, последней своей внутренней связи с трудовым людом, эта клика все больше и больше утверждается в мнении, что ей все дозволено.

Писатель становится беспощаден, когда рассказывает об этой прослойке городского общества. Он безжалостно разоблачает ее корыстолюбие, эгоизм, жажду власти и богатства, ее политические преступления и демагогию. Крестьянская депутация из Илморога наталкивается в Найроби на почти сплошную стену равнодушия: никому из сильных мира сего неинтересны страдания погибающей деревни.

Страницы, создающие коллективный портрет богатеющей на подачках западных монополий и на безудержной эксплуатации народа кучки политиканов, доморощенных бизнесменов и чиновников, принадлежат к числу наиболее ярких в романе. И все же не в этом пафосе обличения его оригинальность.

Сейчас в африканской литературе появляется немало произведений, авторы которых зло критикуют сложившуюся в некоторых странах континента за последние два десятилетия прослойку связанных с неоколониализмом предпринимателей, высших чиновников, политических деятелей, которые прислуживают зарубежным хозяевам, пренебрегая народом, жестокими методами поддерживая свое господство. С огромной художественной силой эти настроения выражены, в частности, в романе нигерийского писателя Воле Шойинки «Время беззакония».

Особенность романа «Кровавые лепестки» в том, что его автор не останавливается на безоговорочном и бескомпромиссном осуждении неоколониалистской правящей верхушки. Марксизм помогает ему увидеть то, что не умеют разглядеть некоторые другие африканские писатели,— революционные силы африканского народа. Его оптимизм зиждется не на хрупких иллюзиях. В забитых, обманутых, замученных крестьянах Илморога ему явственно виден отблеск огня, озарившего Кению несколькими годами раньше, когда вспыхнуло восстание «мау-мау» и повстанцы с оружием в руках потребовали у колонизаторов землю и свободу. В характере скромного помощника сельского учителя он обнаруживает задатки будущего рабочего вожака. Прислушиваясь к голосу народа, вдумываясь в его мысли, Нгуги Ва Тхионго в финале романа говорит о том времени, когда выступления крестьянских масс сольются с рабочим движением и образуют общий поток, который смоет преграды на пути страны к социальной справедливости и обновлению.

Роман «Кровавые лепестки» — это предвестие. Писатель верит, что эпоха, когда народ станет хозяином своей судьбы, уже поднимается над историческим горизонтом его родины.

В. ИОРДАНСКИЙ

ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ

Измерения

ПОВЕСТЬ

Перевод с болгарского Л. ЛИХАЧЕВОЙ

До чего же трудно вглядываться в сумрак прошлого! Не раз задумывался я над тем, что оно такое — наш мир, действительно ли он существует. И понял, что сказать: «Конечно же существует, хотя бы в памяти людей» — отнюдь не ответ. А память — что это такое? Неужто лишь тени, нетленные призраки, обитающие в наших усталых душах? Думать так — значит не иметь никакого понятия о природе вещей. Все в этом мире состоит из частиц или волн, что почти одно и то же. Даже сны, даже мечты. А память просто механизм, не более того, который запечатлевает бытие и сохраняет его в себе, вещественное и реальное. Наверное, невещественны лишь образы, которые она воссоздает, они словно бы витают вне времени и пространства.

Но к чему вдаваться в ненужные рассуждения? Важно, что в это прошлое можно войти, словно в кинотеатр, по своему выбору и желанию. И выйти из него. Последние несколько месяцев я именно этим и занимаюсь; я входил в него, выходил, возвращался снова и снова. Меня хлестали дожди, пули свистели в ушах, я чувствовал во рту сырой вкус крови, такой свежий и отчетливый, словно она лилась на самом деле. Вначале меня это потрясало. Откуда я мог знать о том, чего никогда не было в моих ощущениях? Потом я понял, привык. Спокойно садился на придорожные камни, отмерявшие неизмеримое. Я не знаю, что такое время, и никто не знает. Но теперь я думаю, что именно оно делает вещи реальными, вводя их в фокус наших ощущений. Или связывая их в единый процесс, у которого доказана только одна из его сущностей — изменение. Вот в чем узел всех проблем. О прошлом можно сказать, что оно, по крайней мере, содержится в нас самих. А будущее? Что оно такое? Существует ли оно реально? В нас или вне нас? А может, оно всего лишь возможная и вероятная проекция нашего настоящего?

ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ (род. в 1914 г.).

Болгарский писатель; лауреат Димитровской премии, Герой Социалистического Труда, народный деятель культуры. Автор романов, повестей, сборников рассказов, переведенных на языки многих стран мира. По сценариям П. Вежинова для кино и телевидения поставлено более двадцати полнометражных художественных фильмов.

Творчество его хорошо знакомо советским читателям. На русский язык переведены его «Военные повести», повести «Барьер» («ИЛ», 1978, № 1), «В долине», «Вдали от берегов», «Вторая рота», «Следы остаются», «Синие бабочки», романы «Ночью на белых конях», «Звезды над нами», сборник рассказов «Раннее, раннее утро» и др.

Повесть П. Вежинова «Измерения» была опубликована в журнале «Пламък» (№ 11, София, 1979). Она войдет в книгу «Современные болгарские повести», которую готовит к печати издательство «Художественная литература».

В сущности, это рассказ об одной старой женщине, объединившей в себе все три лика времени. Во всяком случае, мне так кажется. Женщину эту я знал очень хорошо, потому что она — моя собственная бабушка. И я очень похож на нее, даже внешне. Если она — мое прошлое, то я — ее будущее, по крайней мере до сего дня. Несмотря на то, что ее давно нет в живых.

Но начнем с начала. Когда после разгрома Апрельского восстания орды Хафиз-паши ворвались в Панагюриште, бабушке моей было около восемнадцати, а деду Манолу — тридцать два. В те времена такая разница в возрасте мужа и жены была редкостью. К тому же дед женился на бабушке уже вдовцом. Он и сейчас как живой стоит у меня перед глазами, хотя погиб за полгода до рождения моего отца. Это был громадный человечище, пожалуй, самый высокий из «гугов», как тогда называли всех мужчин в нашем роду. Обращаясь к прошлому, люди обычно плохо помнят цвета. Но я вижу деда словно на красочной картинке. Особенно поражала меня его алая феска с длинной кистью. И не только поражала, но даже слегка возмущала. Чтобы член революционной организации, личный друг Бенковского[1] разгуливал в турецкой феске в самый канун восстания — этого я просто не мог понять. Но бабушка говорила, что носил он ее нарочно, чтобы позлить турок. Такой красивой, дорогой фески, купленной, наверное, в самом Стамбуле, не было даже у пловдивского вали[2]. Темно-вишневый сюртук, застегнутый сверху донизу, узкие брюки, венгерские сапожки. Так он выглядел на снимке, сделанном в Гюргеве, в Румынии. Цвета запомнила бабушка и не забывала до самой своей смерти.

Волосы у деда были русые, лицо приятное, с тонкими чертами, которые редко встречаются у людей такого роста. Однажды я спросил у него, почему нас зовут «гугами». Дед задумчиво поглядел на меня с портрета, пожал плечами.

— Прозвище у нас такое... С незапамятных времен. Еще с тех пор, когда мы не были православными...

Кем мы были до того, как стали православными, осталось для меня тайной. Портрет все-таки не живой человек, чтобы спрашивать его обо всем, что придет в голову. Слова доходили до меня будто обломки, которые море выбрасывает на берег. По куску обгоревшей мачты нужно было судить обо всем корабле. Могу только предположить, что дед был родом из чипровских католиков, которые после разгрома Чипровского восстания[3] расселились по всей стране. Но бабушка Петра объясняла прозвище гораздо проще. Оно, по ее словам, пошло от детской игры в орехи. Самый большой орех полагалось выбить из кучки первым. В него все и целились. Этот орех и доныне в наших краях называют «гуга». Правда, кто знает, наши ли мужчины получили прозвище от орехов или наоборот.

Дед был человек зажиточный, торговал скотом, даже поставлял овец турецкой армии, то есть, как тогда говорили, был «джамбазин». Он сам закупал их в панагюрских селах, а больше всего — в Петриче, откуда, в сущности, и пошел наш род. Потом через горы, реки и броды гнал их с несколькими помощниками до самого Стамбула. Тяжкое и трудное это было занятие, опасней его, пожалуй, не было во всей Османской империи. Бабушка до конца жизни хранила его «китап», своего рода разрешение ездить верхом и носить оружие. Без этого ни одна овца не попала бы в турецкую армию.

Несмотря на свое суровое ремесло, дедушка Манол, как видно по всему, был человеком добродушным. А за столом с родичами и при-

[1] Бенковский Георгий (род. между 1841—1844, ум. в 1876) — видный деятель болгарского национально-освободительного движения, один из вождей Апрельского восстания 1876 г. *(Здесь и далее — прим. перев.).*

[2] Губернатор провинции — вилайета.

[3] Имеется в виду восстание болгар против османского владычества в 1688 г. с центром в г. Чипровец (северо-западная Болгария).

ятелями — даже веселым. Стоило ему выпить несколько стаканов, и его белые щеки начинали алеть, словно маки. «Отчего это у тебя такие щеки, Манол?»— посмеивались приятели. «От турецкой крови!— беззлобно отвечал дед.— Если ее вдруг из меня да выпустить в Тополницу — в речке кровавая вода потечет».

Впрочем, я, кажется, слишком увлекся дедом, хотя он вполне заслуживает доброго слова. Но ведь, как я уже упоминал, эта небольшая хроника посвящена бабушке, бабушке Петре, самой удивительной, самой невероятной из женщин, которых я встречал в жизни. А она была простой крестьянкой из села Мечка [1], которое до сих пор зовется этим чудесным именем. Съездить в это село я так и не собрался. Впрочем, не очень-то мне верилось, что бабушка именно оттуда. Все связанное с ней странно и, пожалуй, даже необъяснимо. Взять хотя бы ее появление в Панагюриште. До самой смерти она ни разу не упомянула ни об отце, ни о матери. Не было у нее ни метрического, ни брачного свидетельства, так что я даже не знаю, как ее по-настоящему звали. Да и не очень-то стремился узнать, мне почему-то казалось, что излишнее любопытство оскорбит ее память.

Впрочем, кое-кто из родичей постарше поговаривал, что бабушка вовсе не из Мечки. Места там глухие, в селах все друг друга знают. Отец шутил, что дед Манол похитил себе жену у каракачан [2]. Мне эти шутки не нравились, хотя, пожалуй, они были не лишены оснований. Когда бабушка появилась в Панагюриште, в ее длинные, до пояса, косы были вплетены бусы и множество медных и серебряных монет, каких мечкарские девушки в то время не носили. Сукман у нее был узкий, прямой, без складок. Не то чтобы я стыдился быть каракачанским потомком, просто это неверно. Бабушка Петра говорила на чистейшем и благозвучнейшем болгарском языке, на каком и поныне говорят в пустеющих панагюрских селах. Дед привез ее на своем гнедом коне, лоснящемся и злом, как осенний стручок перца. Она сидела за его спиной выпрямившись, по-мужски обхватив ногами могучий круп лошади, так что ее тоненькие, почти детские ноги в лиловых вязаных чулках видны были почти до самых колен. Она была такой маленькой и худенькой, что люди поначалу просто не поняли, кого это привез Манол — то ли девушку, то ли мальчика. Показалась она им слишком смуглой, почти желтой, одним словом дурнушкой, годной разве что в служанки, а уж никак не в жены. Сокрушались люди: Манол — человек богатый, ученый, полсвета объездил, каких только людей, каких женщин не видывал — от черкешенок до белолицых полнощеких банатчанок, а на что польстился. В те времена, если девушка была не в теле, не кровь с молоком, как говорится, ее и за девушку-то не считали.

Никто из родичей невесты на свадьбу не явился, хотя Мечка не бог знает как далеко от Панагюриште. Несмотря на это свадьба прошла очень весело — пошумели изрядно, как говорил другой мой дед, Лулчо. Одни кричали, что молодая «краденая», другие — что «найденная», третьи — что упала с орехового дерева, видимо намекая на ее малый рост. Но бабушка держалась с большим достоинством, без капли смущения или детской стеснительности, будто и впрямь была невестой из знатного рода. Сидела на своем месте молча, еле касаясь гостей взглядом, еле наклоняясь, когда нужно было поцеловать руку у кого-нибудь из стариков. Все это в целом произвело благоприятное впечатление на гордых и самоуверенных панагюрцев.

Сейчас я думаю, что бабушка была очень хорошенькой, даже красивой, но в современном смысле слова. Это видно хотя бы по фотографии. Чудесный овал лица, чуть скуластого, но с очень нежным подбородком. Тонкие черты, живой сверкающий взгляд женщины, осознав-

[1] Мечка — в переводе с болгарского: медведь.

[2] Представители грекоязычной этнической группы Балканского полуострова. Занимаются преимущественно овцеводством и ведут полукочевой образ жизни.

шей себя. На фотографиях тех лет обычно жена сидит, а муж стоит рядом, положив руку на спинку стула. Тут было наоборот — дед сидит, а она стоит слева от него и улыбается своей еле заметной лукавой улыбкой. При жизни бабушка очень часто показывала мне этот снимок и объясняла все, особенно, что какого цвета. Желтая блуза — такие и сейчас носят,— лиловый суконный контошик [1] и вместо сукмана — длинная, до пят черная юбка. Волна умиления и сострадания захлестывала меня, когда я видел, как она постарела по сравнению с портретом. Бабушка прекрасно понимала мое состояние, хотя лицо ее давно уже разучилось выражать и скорби и радости. Они с мужем очень любили друг друга. Об этом мне никто не говорил, это я понял сам, словно бы тоже жил в то время. Думаю, сейчас уже не встретишь такую горячую, такую преданную любовь, которая связала бы двух одиноких людей такими неразрывными узами. А больше они ни в чем не нуждались — ни у себя дома, ни в городе, на пороге стольких ужасных событий. В наше время все по-другому. Слишком много лиц, событий, зрелищ тянут в разные стороны душу человека, ставшую разреженной, как атмосфера на Марсе, которая не может удержать в себе ничего живого. И чем дальше, тем становится все более разреженной. Не знаю, что должно случиться, чтобы люди вновь обратились к себе, осознали себя, поняли свои настоящие чувства. А то они окончательно превратятся в муравьев, которые при встрече узнают друг друга не иначе как на ощупь.

После свадьбы дед не поехал, как обычно, перегонять скот. Просто не захотел в первый же год оставлять в одиночестве молодую жену. А может, его удержали дела революционной организации. Восстание назревало, все лихорадочно к нему готовились. Все, кроме, может быть, влюбленных, хотя дед исправно выполнял свои обязанности. Вероятно, без особого воодушевления, но и не отлынивая. Бенковский очень любил деда и доверял ему хотя бы потому, что тот не был сторонником Бобекова, его противника. Бабушка, правда, Бенковского недолюбливала, во всяком случае говорила она о нем всегда довольно холодно и отчужденно. Однажды, незадолго до восстания, Бенковский явился к ним в дом около полуночи, как всегда с целой свитой. Спутники его остались во дворе выгуливать разгоряченных лошадей, а Бенковский прошел в комнату, где дед обычно принимал гостей. Хмуро взглянул на бабушку и распорядился:

— Ступай, молодка, свари нам по чашке кофе.

Наверное, хотел остаться наедине с дедом. Бабушка сварила кофе и, подавая его, сдержанно проговорила:

— Ничего у вас не выйдет, Георгий... Только головы свои сложите.

— Можешь не бояться, уж твоя-то голова останется в целости,— мрачно ответил Бенковский.— На тебя турки и не глянут — больно худа.

Понятно, почему она его не любила. Рассказ этот бабушка словно клещами из себя тащила. Закончила она его следующими словами:

— Сразу видно, что не из очень-то хорошей семьи был человек... Выпил кофе и чашку вылизал, будто деревенский портняжка...

Моя дорогая бабулечка, и когда она только успела усвоить светские манеры? Давно ли, кажется, явилась она в этот дом с бусами в длинной косе. У нас бусы вплетали только в лошадиные гривы.

Остановлюсь на последнем эпизоде их краткой совместной жизни. Последнем и самом трагическом — смерти деда. Не могу отделаться от мысли, что именно тут начало всего того, что потом многим покажется таким странным. Но до этого, видимо, придется хотя бы в нескольких словах описать дом деда Манола, потому что именно здесь разыгрались самые драматические события. Дом этот стоит и сейчас,

[1] Верхняя одежда с откидными рукавами.

правда совсем заброшенный и полуразвалившийся. В свое время бабушка его продала, а лет десять назад я купил его за бесценок, заплатив по существу только стоимость участка. К сожалению, у меня нет ни времени, ни средств привести его в порядок... А когда-то дом был очень хорош, один из самых заметных в городе. Можно было бы, конечно, реставрировать его, как архитектурный памятник, но, по правде говоря, что-то мешает мне это сделать. Давно уж я сказал себе: «Мир их праху» — и не хочу больше ничем тревожить покой почивших. Тем более что нынешняя публика не очень-то этого заслуживает. И вряд ли я вообще рассказал бы эту историю, если б не некоторые особо важные обстоятельства.

Итак, дом двухэтажный. На второй этаж ведет узкая деревянная лестница, потемневшая, позеленевшая, словно изгрызенная гнилыми зубами времени. Наверху две спальни и комната для гостей — сейчас абсолютно пустые, холодные зимой и летом. Я бывал там несколько раз и всегда со стесненным сердцем, словно посещал старую, заброшенную могилу. В гостевой комнате — тучи пауков, сороконожек, каких-то вонючих букашек и других невероятных насекомых, которых я больше нигде не видел. Стоишь посередине, растерянный, испуганный, словно попал в какой-то совершенно неведомый мир. Кажется, само время здесь иное, другие у него измерения, другая осязаемость, даже другой запах. И давящее неотступное чувство, как будто только мое сознание живо, а все остальное, включая мое тело, мертво. На мгновения время словно бы исчезает, именно на мгновенья. Невыносимое чувство, гораздо более неприятное, чем ощущение мертвеющей оцепенелости собственного тела.

Торопливо выйдешь на веранду. Глубокая провинциальная тишина. Сквозь ветки умирающего вяза видна облысевшая горная гряда. Тишина, тишина, только где-то еле слышно трепещут крыльями птицы. Медленно спускаешься по деревянной лестнице, под ногами мягко пружинят гнилые ступеньки. Внизу, под лестницей, сбитый из досок закут, в котором когда-то складывали наколотые на зиму дрова. От него начинался туннель — подземный ход, выходивший в соседнее ущелье. Дед Лулчо рассказывал, что пробили его по совету самого Левского на случай, если турки вдруг выследят какое-либо собрание революционного комитета. Тот же дед Лулчо его и выкопал, можно сказать голыми руками, за одно лето. И знали об этом только они двое с дедом Манолом, бабушка даже не подозревала о его существовании.

Сейчас двор утопает в буйном, словно кустарник, бурьяне. Дорожка еле заметна. Очень высокая каменная ограда придает всему дому вид крепости. Ни в одном селе не видел я больше таких высоких оград. Целый век прошел, а они крепки по-прежнему. Только известковый раствор, скрепляющий камни, кое-где выкрошился, тронутый временем. В тот страшный день, когда за городом гремели выстрелы, бабушка, бледная, безмолвная, стояла у дверей и ждала. От них к тяжелым, обитым железом воротам вела дорожка, вымощенная мелкой речной галькой. Все было пусто, нигде ни души.

В это время дед Манол сражался на Бырдото. Из истории известно, чем закончился этот бой. Погода стояла холодная, хмурая, в горах Эледжика даже шел снег, хотя по-теперешнему это была середина мая. Потом полил дождь, вымочил порох в жалких самодельных патронах повстанцев. Ружья смолкли. Хафиз-паша дорого заплатил за победу, но так или иначе его регулярные части, возглавляемые ордой башибузуков, ворвались в опустевший городок.

Бабушка по-прежнему ждала. Она сразу поняла, что мертвая тишина вещает не победу, а гибель. Разгромленные повстанцы рассыпались по горам, каждый искал спасения в одиночку. Но многие все-таки пробрались в обреченный город. Это горстка храбрецов, о которых рассказывает в своих «Записках» Захарий Стоянов. Известны имена Рада Клисаря, Стояна Пыкова, Тодора Гайдука из Радилова, кото-

рые своими допотопными ружьями остановили целую армию. Но имена моего деда и его маленькой храброй жены остались неизвестными, как и многие-многие другие. Все они предпочли погибнуть в последнем бою, но не жить в отчаянье и позоре поражения. Хотя это уже принадлежит истории и не имеет отношения к моему рассказу.

Когда дед, задыхаясь, ворвался во двор, бабушка все так же стояла в дверях. Он был в повстанческой форме, в тяжелой суконной накидке на плечах, но без шапки, которую потерял в бою. В руках у него был винчестер и к нему два патронташа. Как известно, винчестер — одно из лучших ружей того времени, вооружены им были лишь немногие. Дед, как говорят, за немалые деньги купил его у Нури-бея, одного из самых богатых пирдопских черкесов, с которым его связывало какое-то старое приятельство. Дед был чрезвычайно возбужден, даже губы у него побелели, может быть от усталости. Но, заговорив, он сразу пришел в себя, лицо его смягчилось. Во дворе было тихо, спокойно — укромное зеленое гнездо за крепкими стенами. Стрельбы в городе пока не было слышно. Только что расцветшие гиацинты улыбались, орошенные дождем. Даже тучи поредели, в просветах засияло чистое небо. Казалось, что все вокруг рождено для вечного мира. Дед взглянул на жену своими ясными голубыми глазами и еле слышно вздохнул.

— Ну, Петра, пришел наш последний час!— сказал он спокойно.— По крайней мере умрем по-человечески!

— А я?— тихо спросила она.

— Что ты?

— Нету ведь у меня оружия.

— Об этом я позаботился!— ответил дед.

Сунул руку под накидку и вытащил двуствольный пистолет.

— Здесь две пули,— сказал он.— Если поганцы убьют меня, хорошо. А если ранят, ты убьешь и меня и себя.

И протянул ей пистолет так, как протягивают дорогой подарок. Она поцеловала ему руку и опустила глаза. Бабушка никогда не описывала мне своих тогдашних переживаний, ни в одном из ее многочисленных рассказов не было ни слова о чувствах. Когда-то люди стыдились своих чувств, вернее, стеснялись их не меньше, чем наготы. Это благодаря ей я понял — не может быть глубоким и сильным то, что показывается без всякого смущения.

А тогда она сказала только:

— Хорошо, Манол.

Вскоре в городе загремели первые выстрелы. И началось то, что потом навсегда врежется в память людей. Не все из тех, что остались в Панагюрище, сражались до конца. Но все прощались — с близкими, с горькими своими надеждами. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, в ушах у меня звучат тихие, умоляющие голоса, предсмертные стоны. Последние прощальные слова, может быть, последние проклятия. Женщины падали на колени перед пропахшими воском иконами, и тут настигал их роковой удар ятагана, слышался хруст костей. Может быть, кто-то из стариков молитвенно простирал руки, надеясь на пощаду. Кто-то плакал. Но настоящие мужчины бились до последнего патрона. Некоторым даже удалось спастись, но ни один из них потом не был счастлив. Горечь поражения оказалась сильней подаренной жизни.

Дед Манол сбросил накидку и направился к воротам, стройный, с легким ружьем в руках. Бабушка слышала, как глухо и грозно загремели засовы. Затем дед прикладом выбил камни, прикрывавшие заранее проделанные в ограде бойницы. Их было три: две выходили на площадь, одна — на боковую улочку. Потом он тщательно зарядил винчестер.

Стрельба в городе усиливалась. Дед стоял у бойницы и ждал. Наконец и на нашей улице появились турки. Вернее, это были не турки, а

черкесы, о чем легко можно было догадаться издалека по прямым блестящим шашкам, не похожим на кривые турецкие ятаганы. Было их довольно много, человек двадцать. Впереди шагал крупный мужчина в распахнутой черкеске и с громадным животом, который он время от времени приподнимал руками, словно боялся уронить. Это и был знаменитый Нури-бей, продавший деду винчестер. Верно, спешил заполучить его обратно, пока до Хафиз-паши не дошло, что он продал оружие неверному.

Вдруг черкесы остановились. Нури-бей вытер рукавом взмокший лоб.

— Сдавайся, Манол-эфенди!— крикнул он не слишком громко.— Ничего плохого мы тебе не сделаем.

Видно, заметил торчащее из бойницы ружье. За это время дед успел прицелиться — в самое брюхо. Прогремел выстрел. Нури-бей покачнулся и упал лицом в грязь. Остальные, не залегая, открыли беспорядочную стрельбу.

Видимо, случайная пуля сразу же попала в деда. Хлынула из шеи алая мужская кровь. Сейчас я думаю, что вряд ли он умер сразу, слишком уж громко хрипела его пробитая гортань. Но бабушка так и не узнала, когда именно это случилось. Почти не сознавая, что делает, она схватила ружье и встала к бойнице. Прицелилась еще более твердой и жестокой рукой, чем дед, и выстрелила. Один из головорезов повалился ничком и замер. Только тут черкесы залегли, кто где сумел. Они все еще не знали, что сражаются с женщиной. Мне тоже так и не довелось узнать, когда моя бабушка научилась владеть оружием. Об этом она хранила упорное молчание.

Если судить по некоторым рассказам, бабушка защищалась чуть не два часа. Израсходовала почти все патроны, убила четверых. Наконец это дурачье догадалось, что нужно сделать. Один из них обошел двор и уж не знаю как, но сумел перебраться через высокую ограду. Бабушка все еще продолжала стрелять. Ружье ни разу не дрогнуло в ее слабых женских руках — так велика была ее ненависть и таким яростным желание отомстить. Черкес тихонько подкрался сзади и изо всех сил обрушил приклад ей на голову. У нас, потомков бабушки Петры, пока, правда, только у мужчин, невероятно крепкие черепа. Ее наследство. Иначе вся история так бы и закончилась этим ударом. Но бабушка только повалилась на мягкую траву между белыми, ясными, словно капельки солнца, ландышами.

Можно представить себе, как был поражен черкес, когда понял, кто с ними сражался. Но времени терять было нельзя. Он бросился к тяжелым, запертым на три крепких железных засова воротам. Свирепая орда ворвалась во двор. Все бросились к дому, рассчитывая найти там богатую добычу. Но три человека молча остановились у распростертой среди цветов женщины. Один из них, совсем еще молодой, с тонкими усиками, походил скорее на писаря, чем на разбойника.

— Герой-баба!— уважительно пробормотал он.— Если тут все такие, падишаху не поздоровится.

— Может, оттащить ее к колоде да прикончить?— спросил второй.

— Ты только и знаешь головы рубить, дурень!— рассердился молодой.— Лучше принеси воды, вдруг удастся ее в чувство привести. Кому как не ей знать, где Манол прячет золото.

Третий, до сих пор молчавший, склонился над бабушкой, потрогал ее лоб. Невысокий, плотный человек в чалме, может быть турок.

— Да она мертва, эфенди!— сказал он.

Странное дело жизнь, каких только неожиданностей она не преподносит. Почему он так сказал? Конечно, бабушка была жива, горячая кровь пульсировала в ее жилах. Тогда почему он солгал? Может, просто лень было тащить воду? А может, он пожалел эту маленькую

храбрую женщину и не хотел, чтобы черкесы измывались над ней и в конце концов погубили?

Вот как неожиданно сплетаются невидимые нити судьбы. В сущности именно этому неведомому, смешному, коренастому турку я обязан жизнью. Потому что как раз тогда бабушка была беременна моим отцом. И связь поколений, которая, может быть, продолжится на века, совершенно случайно не оказалась прерванной.

Но неужели правда, что все в этом мире лишь цепь случайностей? Не так это, не может быть так. Чем старше я становлюсь, тем более противоестественной и отвратительной мне кажется эта вероятность. Мы не знаем, откуда берутся миры, этого нам не понять никогда. Но они непременно должны куда-то уходить, осуществив себя и все свои возможности.

Внимательный читатель наверняка заметил, что по крайней мере два эпизода этого рассказа кажутся неправдоподобными. Или, скажем, необъяснимыми. Сам я не могу в этом разобраться. Не могу понять, где кончается реальность, а где начинается воображение. Но в одном я убежден — все здесь или чистая правда, или одно лишь воображение. Во всяком случае, добросовестность требует, чтобы я вас предупредил: ни одна из многочисленных летописей той поры не упоминает бабушкиного имени. Все пятеро убитых черкесов были отнесены на счет деда Манола. Это в какой-то степени понятно. Бабушка уверяла, что впервые рассказала эту историю моему отцу перед тем, как его взяли в армию. Отец промолчал, но явно не поверил ни одному ее слову. Но я поверил ей всей силой души. И до сих пор словно бы собственными глазами вижу эту картину, до того вся бабушкина история кажется мне реальной и правдоподобной. И до того она соответствует бабушкиному облику, по крайней мере тому, который сохранился в моей памяти.

И все же противоречия есть противоречия. Во-первых, подземный ход. Дед Лулчо утверждал, что бабушка вообще не знала о его существовании. Дед Лулчо был не братом, а дядей Манола, хотя разница между ними была в каких-нибудь пять-шесть лет. Как станет ясно из дальнейшего, дед Лулчо — очень важный свидетель. Ему, по-моему, следует верить без всяких оговорок. Я никогда не говорил бабушке о том, что знаю про подземный ход. И вы меня, верно, поймете. Этим я, может быть, разрушил бы нечто, составляющее основу ее существования.

А вопрос на первый взгляд очень простой — почему дедушка Манол не воспользовался подземным ходом, чтобы спастись от осады? И от гибели, разумеется.

Верно, что весь город был заполнен войсками и башибузуками, ускользнуть от них было бы нелегко. И все же надежда есть надежда, а деду случалось выпутываться и из более тяжелых положений. Во всяком случае, они могли хотя бы укрыться в тайнике, пока не минует опасность. Ведь так в конце концов и получилось. Подпалив город со всех сторон, турки ушли из него и расположились в окрестностях на холме у церквушки святой Петки. Но наш дом уцелел. Оба могли остаться в живых.

По всему видно, что дед сознательно пожертвовал жизнью. И не только своей, но и жизнью молодой жены. Да, вполне сознательно! Он держал в своих руках жизнь и смерть. Любовь и достоинство. Как ни сильна была любовь, он предпочел достоинство. Когда-то это слово объясняло все, даже безумные поступки. Зато теперь оно все больше теряет цену. Многие считают его признаком наивности, незрелости, рабской зависимости от химер прошлого. А в сущности оно, быть может, костяк человеческой нравственности.

Но продолжим. Пока бабушка Петра рассказывала о том, что произошло, когда она без чувств лежала в траве, мой мозг, словно

песчинка, царапала одна неотвязная мысль. А откуда ты все это знаешь, бабуля? Ведь ты же была без сознания. Наконец я не выдержал и спросил ее об этом. Она взглянула на меня строго, даже чуть удивленно.

— Так было! — ответила она сердито.— Я все помню!

Хоть бы сказала: я все слышала. Она же упала лицом вниз. Уже потом нашли ее в двух-трех шагах от трупа деда. С фрактурой черепа, как сказали бы сейчас. И в полном беспамятстве. Допустим, что-то из слышанного еще могло запечатлеться в подсознании, но дело в том, что видеть-то она ничего не могла. Тем более чалму турка.

Откуда я знаю все эти подробности? От деда Лулчо, я уже о нем упоминал. На рассвете следующего дня он нашел бабушку все еще в полном беспамятстве. Дед только дивился, как ей удалось выжить без всякой врачебной помощи. Придя в сознание, она целых десять дней молчала. Ничего не сказала, ни о чем не спросила, словно ей и так все было ясно. Такой она осталась на всю жизнь — молчаливой, замкнутой. Словно жила в каком-то другом мире, не похожем на наш и совершенно, совершенно недоступном.

И все же ее рассказ остался во мне и в моей памяти как истина, а не как горячечное видение воспаленного мозга. Я знаю, она не обманывала меня, она пережила все это на самом деле, хотя и в воображении. Так было! — сказала она мне. Кто знает, может, и вправду было. Дело в том, что все детали ее рассказа были удивительно правдоподобны и полностью соответствовали тому, что могло быть в действительности. А не болезненному, лихорадочному состоянию.

Впервые я увидел бабушку, когда мне было восемь лет.

В то время мы жили в Пловдиве. После службы в армии отец не захотел вернуться в Панагюриште, городок был слишком тесен для его амбиций. Его гораздо больше привлекали торговые улицы Пловдива, где он с таким шиком мог размахивать лакированной тросточкой, пить пиво за столиком, застланным белой скатертью, или, надвинув на лоб соломенное канотье, кататься в черной пролетке. Так что он не задумываясь покинул мать, у которой был единственным сыном.

Бабушка даже не попыталась его удержать. Дала ему денег — причитавшуюся ему долю отцовского наследства. Этот факт уже сам по себе говорит, что разбойникам Нури-бея не удалось найти то, что они искали. Сама она почти за бесценок купила в Панагюриште постоялый двор, разумеется даже не заглянув в него,— всеми делами занимался дед Лулчо. Доходов постоялый двор приносил не бог весть сколько — в то время заведения такого рода повсюду стали приходить в упадок, но двум неприхотливым людям и этого было более чем достаточно.

Отец открыл торговлю табаком. Не знаю уж, как он вел свои дела, но через три года прогорел. Судьба его меня не удивляет — отец словно рожден был неудачником. Щеголь, бонвиван, хвастун, он вообще был мало похож на болгарина, такое отвращение вызывала у него любая работа, все равно — умственная или физическая. Даже совершенно обеднев, он одевался будто какой-нибудь городской туз — всегда элегантный, отутюженный, с внушительным золотым пенсне на ленточке, которое тогда еще только входило в моду. Но вообще-то он был хороший человек, незлобивый, щедрый, безумно доверчивый, что, вероятно, и привело его к разорению. Одна лишь моя мать обожала его и превратила себя в его личную служанку. Ничем не блистала эта бедная женщина — ни умом, ни красотою. Люди с большими претензиями обычно очень мало получают от жизни. Отец женился на ней в надежде на какое-то богатое приданое, которого, конечно же, так никогда и не получил. Сложная штука человеческая наследственность — это вам не гороховая шелуха Менделя.

Когда бабушка переехала жить к нам, отец был всего-навсего

содержателем самой обычной кофейни. Да и кофейня-то едва заслуживала этого названия — просто узенький коридорчик, где с трудом умещались три столика и очажок для варки кофе. Но место было хорошее — в самом центре торгового квартала. Кроме того, можно было не признавать за отцом никаких достоинств, но кофе он варил мастерски. Так что трех жалких столиков было явно недостаточно для его клиентуры. Отец рассчитывал главным образом на торговлю вразнос. Кофе разносил в основном я и очень редко — мой брат, который был на шесть лет старше меня и для такой работы считал себя слишком взрослым. К тому же брат был гордец и воображала, подавая кофе, он краснел, будто вареный рак. Впрочем, может, я и несправедлив к нему. Возможно, он просто был так же застенчив, как и я. А мне казалось, что все люди, видя, как я таскаю по лавкам круглый жестяной поднос с этими проклятыми чашками, смотрят на меня насмешливо и презрительно. Я ужасно страдал, не то что мальчишки из других кофеен, которые, распевая во все горло, разносили свои чашки, хотя получали за это гроши — только чтобы не умереть с голоду.

До конца жизни не забуду я день, когда впервые увидел бабушку. О том, что она переедет к нам, я знал давно. Дед Лулчо внезапно скончался от инсульта, как это часто бывает с хозяевами постоялых дворов, которые не прочь выпить с посетителями. Бабушка не могла жить одна. И все-таки ей нелегко было решиться переехать в Пловдив. Наверное, там, в Панагюрище, ее с огромной силой удерживала могила мужа. Но она согласилась, чтобы люди не оговаривали отца, по ее собственному выражению. Так или иначе отец закрыл свою кофейню и почти на неделю уехал в Панагюрище. Славное это было времечко. Мы целыми днями бултыхались в мелких заводях Марицы. Однажды, вернувшись домой, я сразу понял, что бабушка здесь. Мать возбужденно сновала по двору и, завидев меня, сказала:

— Иди, иди!.. И не забудь поцеловать ей руку.

Но я забыл, настолько меня поразил бабушкин вид. Я представлял себе традиционную бабушку — сгорбленную, подслеповатую, с глуповатой беззубой улыбкой. Когда я вошел, она сидела на высокой кровати, едва доставая ногами до пола, и была больше похожа на немолодую девушку, чем на старушку. Даже платочка на ней не было. Черные смолистые волосы спускались на грудь двумя толстыми косами. А в них — ни одной седой волосинки. Хотя тогда ей было уже около шестидесяти. Бабушка смотрела на меня пристальным немигающим взглядом, в котором не было ни удивления, ни любопытства. Ну и бабушка, да с ней можно в жмурки играть! Наверное, у меня был очень глупый вид, потому что она улыбнулась, блеснув прекрасными белыми зубами.

— Ты и есть Манол?

— Да...

Но не добавил «бабушка», как полагалось.

— Подойди ко мне!

Я подошел довольно робко — таким пронзительным был ее взгляд. Бабушка протянула красивую руку, положила ее на мою стриженую голову. Казалось, она внимательно ощупывает ее, время от времени надавливая пальцем,— так на базаре проверяют, созрела ли дыня. Осмотр, видимо, ее вполне удовлетворил, в глазах мелькнула доброта и нежность — в первый и в последний раз за всю нашу жизнь в Пловдиве.

— Ты в меня! — сказала она довольно.— Только в тебе и чувствуется моя косточка!

Я смущенно молчал.

— А почему ты босой?

— Да ведь лето! — удивленно ответил я.

— Ну и что ж, что лето? Ты — внук дедушки Манола, носишь его имя. Негоже тебе босиком бегать.

Так обул я эти проклятые ботинки, чтобы уже больше никогда с ними не расставаться. Но тогда я не думал об этом, я по-прежнему во все глаза рассматривал бабушку. Почему никто не сказал мне, что я назван в честь деда? За человека не считают!

— Почему ты такая молодая? — внезапно вырвалось у меня.

— Я не молодая,— серьезно ответила бабушка.— Помню все, что было давным-давно, еще с Христовых времен.

Я так никогда и не понял, что она хотела этим сказать. Может, просто пошутила.

— А ты не ведьма? — как последний дурак спросил я.— Говорят, только ведьмы не старятся.

Что-то вроде улыбки появилось на ее тонких, но свежих губах. Похоже, она ничуть не обиделась.

— Может, и ведьма. Не думала я об этом покуда... Но, похоже, я и вправду ведьма! — Она легонько потянула меня за ухо, маленькое и круглое, как у нее.

Как ни сильно я любил свою странную бабушку, я всегда ее немного побаивался. Даже когда подрос. Мне все казалось, что она, если захочет, может превратиться в кого угодно — в филина, черного козла, даже в прекрасную принцессу. Бабушка приподняла полу черного шелкового платья, под ним показалась жесткая нижняя юбка. Сунула руку в карман, достала монетку.

— Вот, купи себе конфет,— сказала она.— Ну, беги!

Уходя, я заметил, что в комнате появилось нечто новое. Это был сундук, громадный, гораздо больше самой бабушки. Никогда раньше я не видел такого красивого сундука. Весь окованный разноцветными жестяными полосками, он, казалось, был перенесен сюда прямо из сказок Шехерезады. Мальчиком я страшно хотел заглянуть в него, узнать, какие тайные сокровища хранит в нем бабушка. И когда подрос, тоже. Бабушка прожила с нами еще пятнадцать лет, но мечте моей так и не суждено было осуществиться. Сундук был разбит, вернее, просто исчез в Софии во время большой ночной бомбежки. Тогда же в развалинах погибла и сама бабушка.

Бабушка жила у себя в комнате тихо и бесшумно, как мышка. Никуда не ходила, почти ничего не ела. За все это время она ни разу не заглянула в церковь, словно все еще сердилась на бога за жестокую смерть деда. Наверное, так оно и было. А может быть, там, где она родилась, вообще не было церкви.

Только раз в неделю, по пятницам, она ходила в старую турецкую баню. Долго готовилась к этому, чем-то шуршала у себя в комнате, отпирала и запирала сундук. Я ничуть не удивился бы, если бы она вдруг вынула из сундука ковер-самолет и полетела бы на нем к свинцовым куполам бани. Никогда не забуду, какой легкой прямой походкой выходила она в этот путь. Даже соседи высовывались в окна, чтобы на нее посмотреть. Но сама она ни на кого не глядела, словно жила одна на этом свете. А может, так оно и было. Воспоминания — еще с Христовых времен — были для нее единственной реальностью. Да и кто может сказать, какая жизнь более настоящая — реальная или та, что внутри нас. Одним лишь безумцам все ясно в этом вопросе, мы же, остальные, только обманываем сами себя.

Из бани бабушка возвращалась ровно через три часа, хотя никогда не глядела на часы, будто и не ведала об их существовании. Она и в самом деле была единственным известным мне человеком, который словно бы носил время в себе самом. Домой она возвращалась свежая, розовая, с двумя еще теплыми сдобными булочками за пазухой. Не знаю, как их пекли в те времена в Пловдиве — сейчас таких нет,— но мне казалось, что вкус у них как у просвирок, небесный. Даже брат, строивший из себя невесть кого, уничтожал их с удовольствием.

И как раз во время одного из таких банных походов с бабушкой случилась беда — она сломала ногу. Поскользнулась на мокром каменном полу — и готово. Прямо из бани отец отвез ее в городскую больницу. Домой он вернулся озабоченный — бабушке предстояло лежать самое малое два месяца. На ногу пришлось наложить гипс.

Она и вправду надолго застряла в этой проклятой больнице. Дважды в неделю мы ходили ее навещать — то с отцом, то с мамой. Но у меня было чувство, что рада она только мне, на других бабушка почти не глядела. Опускала, как обычно, руку на мою твердую голову, черные, как вишни, глаза еле заметно улыбались. Потом расспрашивала меня о моих школьных делах. Дела эти шли неплохо, я очень легко научился читать, только с арифметикой не все ладилось. Я и до сих пор не очень твердо знаю, сколько будет семью восемь.

— Учись, учись,— назидательно говорила мне бабушка.— Из тебя большой человек получится.

Отец скептически усмехался, но не спорил. В те времена было не принято спорить с родителями. Тем более им противоречить. Сам он в меня ни капельки не верил. И с полным правом. Первый класс начальной школы я закончил на четверки, и это привело отца в отчаянье. Мой брат Йордан никогда не получал меньше шести. При этом он вовсе не был зубрилой, чаще вертелся перед зеркалом, чем сидел над учебниками, тут он был весь в отца. Разве я мог сравниться с ним — белолицым, красивым, как отец, и, конечно же, как дедушка Манол. Что я такое рядом с ним, ничто — самый обыкновенный растяпа, черноклювый, словно только что вылупившийся галчонок. По-настоящему именно его должны были назвать именем деда Манола, но отец в сладостном ожидании наследства предпочел назвать первенца в честь тестя. Мог ли он знать, что тот всю свою мельницу обратит в жетоны, которые за одну неделю растают в игорном доме Висбадена.

Вот тогда-то, в конце апреля, и произошло событие, о котором я никогда не забуду. Мы с отцом, как всегда, пришли в больницу и застали бабушку как-то по-особому возбужденной и беспокойной. Не дав нам переступить порог и поздороваться, она заявила:

— Делчо, немедленно забери меня отсюда... К ужину я должна быть дома.

— Почему? — удивился отец.

— Так нужно! — строго ответила она.

— Но это же не от меня зависит,— забеспокоился отец.— Нужно спросить главного врача.

И тут же вышел. На этот раз бабушка на меня почти не глядела, чувствовалось, что она сильно встревожена. До этого я думал, что сам сатана не смог бы вывести ее из равновесия. Через полчаса отец вернулся, крайне озабоченный.

— Не разрешают, мама. Врач категорически запретил. Говорит, можешь остаться хромой на всю жизнь.

Теперь я знаю, что он лгал. Просто не нашел врача, который мог бы дать разрешение на выписку. А сам он был не из тех, которые делают что-либо на свой страх и риск, не было в нем нужной силы. Бабушка словно почувствовала это.

— Как был ты всю жизнь недотепой, так и помрешь,— презрительно бросила она.

Отец побагровел, казалось, он вот-вот лопнет.

— Но почему? — почти закричал он, срываясь на визг.— Почему тебе именно сегодня понадобилось выписываться? Что за детские причуды?

Бабушка секунду поколебалась, потом тихонько сказала:

— Наклонись!.. Не заставляй меня кричать...— и торопливо оглянулась. В палате лежали еще две женщины, правда достаточно далеко.

— Завтра будет землетрясение! — прошептала бабушка.— И как раз над нами обрушится потолок.

Каким послушным сыном ни был мой отец, но тут он пришел чуть ли не в ярость.

— Да ты думаешь, что говоришь? — рявкнул он.— Кто может предсказать землетрясение? Никто, понимаешь, никто!.. Даже сам господь бог, спустись он с неба!

Я не мог не видеть, что бабушкин взгляд исполнился бесконечного презрения.

— Уходи! — сухо проговорила она.— Не дождешься, видно, от тебя толку.

Отец подпрыгнул как ужаленный и бросился вон из палаты, но тут я неожиданно для самого себя неудержимо разрыдался.

— Бабуля! Милая бабуля! Я хочу остаться с тобой!

Бабушкино лицо словно осветилось. Обеими руками она взяла мою голову и нежно поцеловала в худую щеку. В первый и последний раз. Впрочем, нет. Второй раз она поцеловала меня, когда я уходил в армию. Но это был совсем другой поцелуй, совсем, совсем другой.

— Ты мое дитятко! Один ты, ты! — почти всхлипнула она.— Бабушка никогда тебя не забудет.

Но это продолжалось одно мгновенье. Лицо ее опять стало замкнутым, строгим, как всегда.

— Слушай, Манол, слушай, мой мальчик. У вас ведь каникулы? Завтра не сиди дома. Собери ребятишек и уходите подальше в луга — щеглов половите, синиц.

— Хорошо, бабушка.

— Обещаешь?

— Обещаю,— ответил я.

Она смотрела на меня, черты ее строгого лица постепенно смягчались. Во взгляде появилась тень сдержанной нежности.

— Ну, а теперь ступай! — сказала она.— Ты не в отца. Если пообещал, сделаешь.

На следующее утро мы отправились ловить птиц. Ушли рано, еще по росе. Я совсем забыл об этом дурацком землетрясении, помнил только о данном бабушке слове. С тех пор как она у нас поселилась, я перестал разносить кофе — отец нанял мальчика. Теперь я был свободен, как большинство детей, мог ходить куда вздумается. Охота на птиц — занятие невероятно увлекательное, за ним я забывал о времени. Вот и на этот раз взяли мы свои сети и силки и, возбужденные, отправились «в экспедицию», как говорил Крумчо, наш предводитель. То чудное ясное, свежее утро останется в моей памяти на всю жизнь. Нет ничего прекраснее дней, прожитых нами в детстве. Нет прекраснее облаков, зеленее верб, спокойнее задумчиво застывших в дремоте заводей. И не может быть ничего красивее птиц под жарким летним небом, с голосами чище этого самого неба — маленьких, как орешки, тепленьких, трепещущих в наших жестоких ладонях.

Мы укрылись за небольшим пригорком, парила нагретая земля, тихонько кололи нас сухие летние травы. Крумчо держал конец веревки, мы ему только ассистировали. Щеглы беззаботно щебетали рядом с силками, распушив перья, купались в пыли, весело поклевывали что-то, но к сети не подходили. Мы знали, что они не выдержат и в конце концов попадут в ловушку. Только нужно набраться терпенья и ждать. И все вокруг ждало вместе с нами — небо, кусты терновника и боярышника, все затаилось и, может быть, веселилось вместе с нами.

Внезапно птицы на секунду затихли и вдруг с громким криком сорвались с места.

И случилось то, что должно было случиться. Земля под нами вдруг прогнулась, как живая, потом качнулась так сильно и резко, словно мы сидели на спине гигантского буйвола, стряхивающего с себя грязь и надоедливых насекомых. Воздух сгустился и, словно бы прозрачное желе, задрожал перед нашими глазами. Какой-то непонят-

ный, доселе не испытанный ужас оледенил мою душу. Я даже не решился вскочить, как другие, просто лежал и ждал, что земля меня поглотит. Помню только, как с поля, хрипло каркая, взлетела стая ворон и небо совсем почернело от них. Трудно было поверить, что столько птиц обитает в этих пустынных лугах.

Затем все стихло, воздух снова приобрел хрустальную прозрачность. Только небо было по-прежнему черно от птиц. Да еще какой-то охваченный паникой уж, как слепой, стремительно проскользнул рядом с нами. Оцепенение исчезло так же внезапно, как и налетело, я закричал:

— Бабушка!

И не дожидаясь остальных, со всех ног бросился домой. Я бежал, пока город не появился у меня перед глазами — целый и невредимый, словно ничего не случилось. Невредимый, но мертвый, как будто в нем не осталось живой души. Готовый ко всему, я бессознательно умерил шаг.

А за это время случилось вот что.

Толчок застал отца в кофейне. Повалились полки, задребезжали чашки и блюдца. Банка постного сахара, словно бомба, грохнулась об пол. Но отец даже не успел испугаться. Да и в городе, наверное, было не так страшно, как в поле. Там под ногами колебалась сама основа нашего существования — вечно неподвижная твердь. Отец бросил все и помчался в больницу, не столько пораженный, сколько испуганный — боялся за бабушку. Добежал до больницы, и тут у него подкосились ноги. Стены здания были все в трещинах, крыша кое-где провалилась, действительно провалилась. Во дворе царила паника. На брошенных прямо на землю матрацах лежали больные, между ними сновали перепуганные врачи и сестры. Все ходили растерянные, никто не знал, что еще можно сделать. Разве что приготовиться к новому толчку. Отец бросился к полуразрушенной лестнице.

Возможно, это был самый доблестный поступок в его жизни. Не знаю, что он делал на фронте,—на эту тему отец не любил распространяться. Я слышал только, что он был унтер-офицером пулеметной роты, и знал, что орденов у него нет. Но в тот раз он и в самом деле вел себя достойно. С трудом пробрался на второй этаж, там все было усыпано битым стеклом, штукатуркой, обломками кирпичей. Кое-где валялись рухнувшие стропила. Отец был словно в лихорадке — он уже почти не верил, что бабушка уцелела. С замирающим сердцем добрался он наконец до ее палаты. Дверь не поддавалась — настолько все кругом было завалено обломками. Тогда он просто опрокинул ее, выворотив петли.

Он вошел. И сразу же встретился с круглыми, мрачно-пронзительными глазами матери. Как она и предсказывала, потолок действительно рухнул. Две другие кровати были засыпаны битым кирпичом и штукатуркой. К счастью, обе женщины успели убежать.

— Мама! — радостно крикнул отец.— Ты жива?

— Жива, сынок,— кротко ответила бабушка.

Разминувшись со смертью, люди всегда становятся добрее и мягче.

— Не бойся, сейчас я тебя вынесу.

— Я не боюсь,— ответила она.— Что было, то прошло.

Но отец взял ее на руки и вынес. Человек он был крепкий, ухоженный, хорошо питался. Так что вынести бабушку ему было нетрудно. Как раз в это время я вернулся домой. Дом уцелел, только в стенах появилось несколько трещин. Мать обалделой курицей металась по двору, но в общем была не слишком напугана. В нашем квартале обошлось без серьезных разрушений — одна-две рухнувшие стены, несколько упавших труб. Пришел из кофейни брат, там ему сказали, куда побежал отец. Я хотел было броситься за ним, но тут на улице

показалась пролетка. А в ней, конечно же, отец и бабушка. Завидев меня, она как-то по-особому блеснула глазами.

— Я ж тебе говорила, дитятко! — сказала она.— На воле-то оно лучше всего...

— Там тоже было очень страшно, бабушка! — ответил я.

Вы, конечно, догадываетесь, что странное предсказание бабушки меня не удивило. Я готов был ожидать от нее и не такого. Дети живут в мире чудес, и порой их воображаемый мир гораздо сильней реального. В этом мире то и дело происходят чудеса, ребенок придумывает их каждую минуту и часто глубоко в них верит. Родители тревожатся, подозревают, что у ребенка не все в порядке с психикой, даже показывают его врачам. А эта жажда чудес так же стара, как, наверное, сама человеческая душа. У нее, одинокой, беспомощной среди могучих стихий природы, словно бы и не было другого выхода.

Бабушка жила в своей комнатке очень уединенно, так что видеть ее мне доводилось довольно редко — главным образом во время обеда. Позвать ее обычно посылали меня. Робко постучавшись, я входил в комнату и всегда заставал бабушку в той самой позе, в какой увидел впервые,— сидит на кровати, ноги еле достают до пола. Ее неподвижный и чуть отрешенный взгляд был обычно устремлен на голую стену. Окликнув ее, я всегда чувствовал, что она возвращается откуда-то издалека, очень издалека, где до нее, быть может, никогда не ступала нога человека. И должно было пройти немало лет, прежде чем я понял, что бабушка возвращается из своего прошлого. Мгновение за мгновением, день за днем она снова и снова переживала все, что случилось с ней в те давние годы. Это было ее единственной утехой и упованием. Ведь у нее и вправду не было никакой жизни, кроме той, что она провела рядом с дедом. То было время, когда люди не имели ничего, кроме самих себя. Сейчас в бессонные свои ночи я часто думаю, что, может быть, так оно и естественней. Кто выиграл от перемен, кто потерял?

И все же настал день, когда я нашел в себе силы спросить:

— Скажи, бабушка, как ты догадалась о землетрясении?

Она окинула меня долгим беспокойным взглядом.

— Словами этого не скажешь, дитятко... Будто вдруг вспоминаешь что-то... Чего еще не было.

Нет, такой ответ меня явно не устраивал. Ведь я рассчитывал, что она вот-вот откроет мне важную тайну. И эта тайна сделает меня умнее и сильней всех людей.

— Это в первый раз с тобой такое случилось? И в последний?

— Нет, нет, бывало и раньше... Будто во сне... После того, как убили твоего дедушку.

Увидев мое огорченное лицо, она добавила:

— Ни к чему тебе знать, дитятко, что может случиться. Только страху наберешься.

Да, наверное, бабушка была права. Для себя. Не для меня. Все-таки человеку невредно знать, когда случится землетрясение или какой-нибудь кирпич решит свалиться тебе на голову. Ведь так и смерть можно обойти стороной. Поколебавшись, я высказал ей все это.

— Как раз это-то и невозможно, сынок. Не может человек свою смерть увидеть! — ответила она.

Умолкла и больше не сказала ни слова.

По-прежнему тихо и безмятежно жила она в своей комнатке, словно бы ее и не было. В мою жизнь она вмешалась всего два раза. Но зато весьма активно. Когда я кончил прогимназию, отец вдруг решил, что дальше учиться мне ни к чему. Или что я этого не заслуживаю. В какой-то степени он, может, и был прав — учился я не блестяще. «Он способный,— говорили учителя маме.— Способный, а учиться

не желает. Все время витает где-то».— «Где витает? — хлопала глазами мама.— Да его на улицу не выгонишь, целыми днями читает».— «Да, мальчик читает много, но что?» Этого не знал никто, потому что любовные романы я, разумеется, читал украдкой. Как бабушка погружалась в прошлое в своей комнатке, так и я погружался в книги в нашей пропахшей луком кухне. В любовные романы — ничто другое меня не интересовало. Романы эти месяцами изо дня в день публиковались в газетах, и многие старательно вырезали их и сшивали сапожной дратвой. Я глотал их с таким наслаждением, какого потом не доставляло мне ни одно другое занятие.

Выхода не было, пришлось пожаловаться бабушке.

— Не бойся, сынок, мы это дело устроим,— коротко ответила она.

Много позже я узнал от мамы, каким тяжелым был этот разговор. Отец ни за что не хотел соглашаться, хотя бабушка обещала взять на себя все расходы. Уж не знаю, что было у него на уме, может, считал, что незачем бабушке тратить деньги на меня, когда он сам мог бы употребить их на что-нибудь более стоящее. Наконец, исчерпав все аргументы, бабушка рассердилась:

— Я только одно скажу! Попомни мое слово — состаришься, Манол тебя кормить будет. Из Йордана ничего толкового не получится. Так и знай!

Тут отец испугался всерьез. Один урок он уже получил — землетрясение. Вопрос был решен в мою пользу. И все же неужели бабушка и на этот раз угадала? Трудно сказать. Правда, последние годы жизни родители действительно были на моем иждивении. Я был рад, что могу для них что-то сделать, хотя для меня отец сделал так мало. Но судьба моего брата не вполне соответствовала бабушкиному предсказанию. Йордан блестяще закончил юридический факультет, еще студентом опубликовал ряд статей по международным проблемам, в двадцать шесть лет он занял довольно ответственный пост в министерстве иностранных дел, а в тридцать — возглавил протокольный отдел. Очень красивый внешне, брат обладал врожденным вкусом, прекрасно одевался, в совершенстве владел тремя языками. Все пророчили ему блестящую карьеру. Все, кроме бабушки. Впрочем, может быть, она имела в виду нечто совсем иное.

А Йордан действительно плохо кончил. Правда, не по политическим причинам. Сама судьба уберегла его от суда или преследований, которым он мог подвергнуться как ответственный чиновник тогдашнего прогитлеровского правительства. Брат погиб на операционном столе в тот самый день, когда американские бомбы убили бабушку. Я и до сих пор не знаю всех подробностей. Йордан лег в одну из лучших частных клиник по поводу какой-то сравнительно легкой полостной операции. Вот только неудачно, чтобы не сказать фатально, выбрал дату — 10 января 1944 года. Какая уж там операция под бомбами. Резанули человеку поджелудочную железу, и через несколько дней брат скончался в страшных мучениях. Но так или иначе уже после смерти бабушки. Возможно, этот факт тоже имеет какое-то значение.

Я постарался рассказать обо всем этом как можно объективнее, чтобы вы сами могли составить себе представление о бабушкиных способностях. Конечно, в том, что касается Йордана, предсказание ее, может быть, сбылось совсем случайно. Или она просто хотела как-то повлиять на отца. А может, и не так уж все было случайно. Несмотря на свою суровость и отстраненность от нашего грешного мира, бабушка все же была очень доброй и все понимавшей старушкой. И не стала бы зря говорить отцу чего не следует.

Я был так признателен бабушке, что в гимназии учился на круглые шестерки. За все время обучения у меня было только три пятер-

ки — по физкультуре. Я был крепким и выносливым парнем, но в отличие от брата, которого в гимназии всегда назначали знаменосцем, терпеть не мог строевых упражнений и всегда норовил идти не в ногу с другими. Преподаватель гимнастики, горластый краснорожий тупица, с удовольствием влепил бы мне даже двойку, но, похоже, директор ему не позволил. В мое время, не то что теперь, круглые отличники не росли как грибы, чтобы ими бросаться.

Может, вам покажется странным, но в гимназии у меня не было любимого предмета, не выявилось каких-либо более или менее определенных наклонностей. Только математика казалась мне довольно скучной, впрочем, и она меня не затрудняла. В классической гимназии математику изучали не слишком углубленно. Лучше всего мне давались языки, хотя и к ним я не чувствовал особой склонности. Вообще, к чему знать несколько иностранных языков, если в жизни и одного, скажем английского, хватает за глаза. Таким образом, по окончании гимназии я вдруг столкнулся с дурацкой, но неразрешимой проблемой — а что дальше? Мой аттестат открывал передо мной все двери, но я не мог выбрать ни одной. У меня просто не было честолюбия.

Приличия ради нужно было посоветоваться с бабушкой, хотя она и ничего не понимала в науках. Но деньги-то были ее, а в те годы учеба в Софийском университете обходилась недешево. Бабушка выслушала меня молча, видно было, в каком она затруднении.

— А что говорит отец? — неуверенно спросила она.

Отец! Что он мог сказать, если все его знания ограничивались умением варить чудесный кофе.

— Он говорит, что лучше всего право. Учиться на адвоката.

— Нет! — решительно заявила бабушка.— Только не это!

— Может, медицина? — спросил я с замиранием сердца.

Меньше всего я хотел быть врачом. Слишком чувствительный, я не выносил вида чужой боли и страданий, а крови и ран тем более. Конечно, я знал, что рано или поздно сумею привыкнуть ко всему, но, может быть, именно этого мне и не хотелось.

— Неплохо... А какие у вас есть еще науки?

— Ну... философия... Математика, физика, химия, биология.

— А это последнее, что оно такое?

— Биология? Это, если перевести точно, наука о жизни.

Бабушка просияла.

— Вот что тебе нужно! — воскликнула она.— Я и не знала, что есть такая наука!

Такой науки, разумеется, нет, и вряд ли она когда-нибудь возникнет. Есть наука о живых организмах — и все. Какими бы сложными, даже загадочными ни были происходящие в них процессы, это все-таки не жизнь, а лишь ее проявления. Но тогда я еще не имел представления об этих сложных проблемах.

— В этой науке ты далеко, очень далеко пойдешь! — возбужденно прибавила бабушка.— Люди из дальних земель придут тебе поклониться... Только бы нам выбрать нужную дорогу.

Сейчас мне пятьдесят семь лет, я профессор, член-корреспондент академии наук. Более узкая моя специальность — биохимия. Все считают меня светлой головой, блестящим ученым. И только я один знаю, насколько это неверно. Истина в другом. Просто у меня редкая эрудиция, и в своей области я всегда на вершине современных знаний. Без ложной скромности могу сказать, что я внес некоторый вклад в развитие науки. Но настоящих собственных открытий у меня нет. Я развивал и усовершенствовал то, что открыли другие. Мне хорошо известно, что ученые всего мира считаются с моим мнением. Но ни один из них не пришел из чужих земель, чтобы мне поклониться. Ни один. Так что в этом отношении бабушка полностью обманулась.

Но у нас ничего не получится, если я не буду с вами до конца откровенным. А это не так-то легко, потому что касается не только

меня. Все дело в том, что когда бабушка изрекла свои крылатые слова — о людях, которые придут мне поклониться,— я ей безусловно поверил. Теперь мне это кажется смешным, ведь я тогда уже не был мальчиком, зачитывающимся любовными романами. Это давно заброшенное чтиво не оставило в моей душе никаких следов. По природе я картезианец, рационалист, логик, то, что работает под моей черепной коробкой, слишком активно, чтобы я мог верить в какие-то иллюзии и химеры. Я стараюсь поменьше рассчитывать на воображение, предпочитая ему здравый рассудок. И все же кроется во мне нечто, противоречащее именно здравому рассудку. Это прежде всего моя пристрастность. Ни к людям, ни к фактам я не могу относиться объективно. Есть вещи, которые мне нравятся или не нравятся, которые я люблю или не люблю, в которые я верю или не верю. Я способен возненавидеть человека с первого взгляда и обычно не ошибаюсь. Могу категорически отвергнуть какую-нибудь гипотезу — просто так, из внутренней антипатии — только потому, что она показалась мне неупорядоченной, не укладывающейся в логическую систему. Так в свое время невзлюбил я квантовую механику — и не без основания.

Все дело в том, что я любил бабушку и верил ей. Независимо от ее предсказания. Казалось, это у меня врожденное, как бывают врожденными вкусы, предпочтения, даже любовь. Поэтому я ринулся в биологию с необычайным воодушевлением. В те годы это была весьма скромная наука, ее уровень отнюдь не обещал тех возможностей, которые открылись перед ней в наше время. К тому же мой профессор, прости меня господи, был человек довольно ограниченный. И все-таки студентом я был отличным. Как и брат, я с легкостью выучил несколько иностранных языков, много и с растущим из года в год увлечением читал. Так что в конечном счете оказалось, что я знаю все новое в биологии гораздо лучше своего профессора, который еле разбирался в одном немецком. Я таскал ему научные журналы, ежегодники, доклады и охотно без какой-либо задней мысли переводил ему все это. Бывало, мы часами с ним спорили, вернее, не спорили — он отрицал все, что не укладывалось в его ограниченные представления. Сам я не любил спорить. Для меня научной истиной являлось только то, что доказано. Несмотря на молодость, я прекрасно понимал профессора, который зубами и когтями защищал свой крохотный научный капиталец, свою тощую сберегательную книжку. А унылое профессорское чванство не позволяло ему взять то, что я предлагал ему абсолютно даром.

Второй своей специальностью я выбрал зоологию. Я всегда любил животных, а изучая их, полюбил еще больше. Меня все больше поражало их физическое, по сравнению с человеком, совершенство и законченность. Полнота, оправданность и осмысленность их существования. И больше всего — их тождественность с природой, хотя она гораздо чаще несет им не жизнь, а смерть. Но это уже другой вопрос. Говоря о животных, я только хотел коснуться наших дел. В течение нескольких лет я внимательно изучал поведение животных во время землетрясения. И саму сейсмологию, разумеется. Меня поразило, как много животных угадывает начало землетрясения. Вернее, предчувствует его. Проблема показалась мне не такой уж сложной. Землетрясения — не внезапный инцидент, а продолжительный процесс, когда накопление определенных факторов в критический момент приводит к катаклизму. У этого процесса есть свои скрытые приметы, которых, к сожалению, придуманные человеком приборы пока не научились распознавать. Но у животных есть органы, которые у человека или вообще отсутствуют, или переродились и отмерли за ненадобностью. Взять, например, удивительную способность животных к ориентированию. Почему бы им не иметь еще какого-нибудь органа, предчувствующего землетрясение, особенно тем, кому оно больше всего угрожает, как, скажем, пресмыкающимся или крысам?

И разве не могло быть, что у моей бабули тоже сохранился какой-либо подобный атавистический орган? Я был склонен поверить в это. К тому же мне не хотелось отказываться от ее предсказания.

Должен заметить, что я человек вовсе не тщеславный и отнюдь не жажду поклонов. Скорее я сам поклонюсь первым, чтобы избежать этой малоприятной церемонии. И все же можно ли назвать настоящим ученым человека, который не мечтает открыть что-либо новое и неповторимое? Пусть даже на первый взгляд скромное и незаметное, вроде открытия Менделя с его маленькими смешными горошинами.

Пока я учился, вторая мировая война как-то незаметно закончилась. Многим и в голову не приходило, что отныне нам предстоит жить совсем в ином мире, коренным образом отличающемся от прежнего. На первый взгляд на моей судьбе война тоже никак не отразилась. Как студент, я был освобожден от военной службы. Солдатскую форму мне пришлось надеть только в самом ее конце, когда меня мобилизовали на какие-то краткосрочные курсы. Наша семья тогда жила уже в Софии. Как обычно, и на сей раз колесо судьбы повернула бабушка. Ее беспокойный дух, а может, и ее одиночество решили вопрос. К тому времени отец просто изнемогал в Пловдиве. Конечно, он умел варить чудесный кофе, но что можно сварить из цикория? Война совершенно лишила нас настоящего кофе.

— Послушай меня хоть раз, сынок! — говорила отцу бабушка. — Почему бы нам не переехать в Софию к детям?

— А что я там буду делать? — мрачно спросил отец.

— А тут что ты делаешь? Что-нибудь да найдется.

Но отец долго не мог решиться. Решительностью он никогда не отличался, а с возрастом вообще стал боязлив, как ребенок. Как это обычно бывает, помог им случай. В Софии скончался один из двоюродных братьев отца, сын деда Лулчо. Вдова не могла справиться с таким чисто мужским предприятием, как парикмахерская — бабушка упорно называла ее цирюльней,— и предложила отцу войти в дело на весьма выгодных условиях: половина доходов ей, половина ему. Отец наконец согласился, хотя и не очень охотно. Это занятие казалось ему унизительным, холопским. Но бабушка была непреклонна.

Так отец стал брадобреем. В сущности, это была вершина его карьеры. К моему удивлению, он очень скоро научился стрижке и бритью. Быстро приобрел неплохую клиентуру, впервые в карманах у него завелись деньги. Все были довольны этой метаморфозой, кроме брата. Согласитесь, быть сыном мелкого цирюльника не слишком блестящая рекомендация для преуспевающего дипломата. К тому времени брат получал уже очень большое жалованье и сам вызвался содержать отца, если тот бросит свое убогое ремесло. Но отец категорически отказался. У него тоже была своя гордость, в подаяниях он не нуждался.

Но эта хорошая жизнь продолжалась меньше двух лет. Американские «летающие крепости» все чаще стали кружить над Софией, пока наконец не обрушили на город свой смертоносный груз. Это произошло 10 января 1944 года, во время так называемой «большой» бомбежки, хотя остальные тоже трудно назвать малыми. Особенно велик был страх — не страх, ужас,— вызванный этим апокалипсическим бедствием. Дневная бомбежка, как я уже говорил, застала брата на операционном столе и кончилась для него трагически. А наши даже не дали себе труда укрыться в убежище, находившемся в ста шагах от дома. Подумали, что самолеты, как всегда, направятся в Плоешти бомбить нефтеперегонные заводы. И началось то, что потом все называли адом. Впрочем, какой ад? Те, что в аду, по крайней мере не дрожат за свою жизнь. А к страданиям люди привыкают быстрее, чем к радостям.

В то время мы жили в низеньком одноэтажном домике без подвала. Даже спрятаться было некуда. Город сотрясался от разрывов бомб.

Мама стояла на коленях перед иконами, бессвязно бормотала молитвы, отец мрачно молчал. Только бабушка была как-то по-особому оживлена и с любопытством озиралась вокруг, словно человек, увидевший наяву один из самых своих нелепых снов. Во время ночной бомбежки родители заторопились в убежище. Но бабушка не пожелала сдвинуться с места. С тех пор как она сломала ногу, ей было трудно ходить, так что она нигде не бывала, кроме городской бани. Однажды она даже заблудилась, перепутав трамваи, и нашим пришлось вызволять ее из полицейского участка.

Все же отец попытался ее уговорить. Бабушка посмотрела на него «проясненным взглядом», по странному выражению отца, который в жизни не прочел ни одной книги, если не считать той страницы «Записок» Захария Стоянова, где упоминается и о нашем деде. «Пловдивцы — парижане по сравнению с софийскими шопами» [1] — это выражение накрепко засело у него в голове, так что на столичных жителей он глядел с некоторым пренебрежением, хоть и весьма старательно скоблил их могучие подбородки. Сейчас, уговаривая бабушку, он чуть не заплакал. Все было напрасно.

— Ступайте, дети, оставьте меня,— недрогнувшим голосом заявила бабушка.— И без того Манол, верно, дивится, чего это я так долго мыкаюсь на этом свете.

Итак, отец с матерью укрылись в убежище, а бабушка осталась совсем одна. Это был ее последний разговор с живыми. Обо мне она даже не упомянула — ни слова, ни завета, ни последнего напутствия. Возможно, в те минуты она уже принадлежала только себе и своим воспоминаниям. В самом деле, к чему ей было бежать? И как она могла объяснить это сыну? С другой стороны, можно ли объяснить, почему человек всегда так бессмысленно цепляется за жизнь? Инстинкт самосохранения? Во всяком случае, у бабушки его можно назвать скорее каким-то врожденным чувством пути, который должно пройти. Иначе все и до и после него полностью обессмысливается, то есть не является и не может быть жизнью.

Я в то время служил в Горна-Бане унтер-офицером санитарного взвода. Дневная бомбежка не произвела на меня особого впечатления, я просто ее не заметил, потому что у нас было много раненых, о которых приходилось заботиться. Но когда сирена завыла среди ночи, все в панике бросились к дверям. Один я не торопился. Просто не видел в этом смысла. Когда играешь в кости с судьбой, нечего высчитывать очки. Все равно, хочешь ты или нет, она бросит кубик по-своему. Как и положено судьбе, она интересуется только собой. И все же не может ничего изменить. В этом смысле — и это правда — она беспомощнее нас самих. Такова истина.

Я спустился в опустевший окоп, вооруженный одним лишь биноклем. Внизу подо мной лежал невидимый город, я чувствовал его могучее присутствие, его оцепенение. Но ни капельки не боялся, особенно за свою жизнь. Не могу объяснить это ощущение ничем, кроме полной бесчувственности. Прошло минут десять. Или, может быть, полчаса — в таком состоянии человек теряет всякое представление о времени. Привыкнув к темноте, я понемногу начал различать контуры города. Отчетливо вырисовывались глубокие морщины улиц, купол церкви Александра Невского, похожий на выгаращенный в небо глаз, даже ощетинившиеся трубы. И лишь тут я услышал низкий, тяжелый гул моторов, накатывавшийся равномерными спокойными волнами. Пока ничего такого, что заставляло бы меня задрожать от страха или ужаса. Затем самолеты-разведчики сбросили осветительные ракеты. Вероятно, они были на парашютах, потому что их мертвенно-белый свет долго и неподвижно висел в воздухе. Абсолютная

[1] Шопы — жители северо-западных районов Болгарии, отличающиеся своеобразием быта и языка.

неподвижность, недосягаемая и стеклянная сквозь линзы бинокля. Рев моторов стал громче, отчетливей. И тогда упали первые бомбы.

Мне всегда казалось, что ад невозможно и не нужно описывать. Это, наверное, понимал даже Данте. В его великой поэме описан не ад, а судьба, которую он всей душой желал врагам своей человеческой веры. Смутно припоминаю, что я больше сочувствовал его грешникам, чем жестокой морали поэта. Но сам дантовский ад не произвел на меня никакого впечатления. Бомбежка, какой она ни была страшной, тоже осталась для меня мертвым, бесчувственным воспоминанием.

Прошло целых три бесконечных дня, пока я смог выбраться в город. Просто не у кого было получить увольнение — такой хаос воцарился в нашем маленьком гарнизоне. В город я спустился пешком. По Княжевскому шоссе все еще ползла поредевшая вереница беженцев. Все они показались мне какими-то безликими, настолько глубоко каждый был погружен в себя. И каждый тянул свое добро — на санках, на кроватных сетках — так же бездушно, как обреченный на смерть тянет свои последние дни. Да и я почти не глядел на беженцев, своих забот у меня было более чем достаточно.

От нашего жалкого домика ничего не осталось. Вернее, остались какие-то ощерившиеся остатки стен. По двору были разбросаны обломки крыши и развороченной мебели. Вокруг — ни души. Но и никаких признаков смерти. Не знаю почему, но в моем оцепеневшем сознании внезапно возникла нелепая мысль: а где бабушкин сундук? Я не нашел ни кусочка от его разноцветной жестяной оковки. О самой бабушке я не решался даже подумать. Как и о матери. В те минуты единственным, кого я мог представить себе мертвым, был мой отец. Никогда не верьте себе, особенно своим чувствам. Откуда я мог знать, что глубже всего я был связан именно с отцом. Три года спустя он скончался от рака желудка. Я рыдал над ним так, как не рыдал больше никогда. Хотя раньше вообще не допускал отца в свою жизнь. Отец раздражал меня, и я делал все, чтобы не быть на него похожим. Временами я просто с трудом его выносил. И только когда его опустили в грязную глиняную яму, понял, что я всего-навсего его сын — не более того. Законы генетики, которые я, не особенно в них веря, так старательно внушал студентам, не могли дать мне на этот вопрос никакого ответа. Ведь я же всегда больше всех любил бабушку!

Тут во дворе показался один из наших соседей. Их дом уцелел, лишь фасад его стал щербатым, как лицо после оспы. Среди окружающего запустения седой хромающий сосед выглядел довольно бодро. Что-то живое мелькнуло в его глазах, когда он меня увидел.

— Не бойся, доктор,— заговорил он.— Ваши живы.

— Все?

— Э, не все, бабушки не стало. Стара была, бедняжка, отмучилась.

До сих пор не знаю, как она погибла и что от нее осталось. Может быть, ничего. Спросить я не посмел, не хватило духу. Так бабушка навсегда ушла из моей жизни. Эта пустота мучает меня до сих пор. И все же наступил наконец день, который заставил меня вспомнить о ней с необычайной силой.

Никогда я не думал, что человеческая жизнь так коротка. Не успеешь открыть глаза, как приходится закрывать их навсегда. Несколько воспоминаний, похожих на сон, порой боль, порой счастливый трепет, последний вздох — и конец. Действительно конец? Во всяком случае, конец реального для нас времени, которое мы называем жизнью. И это все. Некогда даже осознать самого себя, а уж тем более подвести итог своим человеческим свершениям.

Иногда меня охватывает легкое, но все более неотвязное уныние, возможно, первый признак надвигающейся старости. Оглядываясь назад, я не вижу ничего, что стоило бы запомнить,— ни подвигов, ни па-

дений. Ничего, кроме однообразного вращения мельничных жерновов будней, которые с каждым днем крутятся все быстрей и быстрей. И может быть, все чаще впустую. Занят, тороплюсь, никак не могу — так я обычно отвечаю на телефонные звонки. Чем ты занят, куда спешишь, человек? Как куда, на собрание, разумеется, на симпозиум, на какое-нибудь пустопорожнее заседание ученого совета, чтобы автоматически поднимать руку. Научные журналы, которые я когда-то ожидал с нетерпением хищника, сейчас неделями валяются, нетронутые, на моем столе. И даже то, что уважение ко мне растет, что день ото дня люди здороваются со мной все почтительнее, начинает казаться мне издевательством.

И все же, что самое важное из того, что случилось со мной за последние тридцать лет? Тут сомнений быть не может — конечно моя женитьба. Нет, не смейтесь, так оно и есть. Знаю — нельзя считать событием неизбежность. Но для человека, прочитавшего более трехсот любовных романов, это все-таки событие. Вследствие его я породил толстоватую и глуповатую дочку, удивительно непохожую на свою мать. Почему непохожую? Бог весть. Знаю только, что природа порой любит пошутить. Плохие шутки, даже у нее самой они не вызывают улыбки. Но злее всего природа подшутила как раз надо мной. Дело в том, что я женился на первой женщине, которая соблаговолила обратить на меня внимание. Я был о себе гораздо лучшего мнения, но это так. Она и сама, наверное, не ожидала, что я сдамся так легко.

Чем я ей понравился, этого я тоже не понимаю. Ничего привлекательного во мне не было — худой, изжелта-смуглый, одно плечо выше другого. Как это ни странно, внешне я сейчас гораздо интересней. Некоторые студентки понахальней даже позволяют себе заглядываться на меня, конечно не совсем бескорыстно. В свое время она тоже была студенткой, а я — ассистентом у моего профессора. Мне кажется, она решила наш случай словно математическое уравнение. После чего могла спокойно заявить: «Ну вот что, глупыш, пошли ко мне! Вчера я до часу ночи искала решение этой простой задачки. Ответ у нее только один».

Да, пожалуй, она действовала слишком уж напористо. Сейчас, спустя столько лет, я думаю, что она немножко схитрила. В ее части уравнения было по крайней мере одним иксом больше или одним игреком меньше — где-то в знаменателе. Нельзя сказать, что она была красавицей. Высокая, худощавая, тонкие ноги, еле заметный бюст. Но зато пламенные очи, каких не было, вероятно, даже у графини Сан-Северины. Когда мы познакомились, на ней было легкое платье цвета ноготков — оранжево-пламенное. Оно удивительно шло к ее смуглой коже и черным как смоль волосам. И очень не соответствовало ее позитивному математическому уму. А тем более ее железному характеру, с которым я потом хорошо познакомился. Сейчас — в пятьдесят три года — это стройная женщина с упругой походкой и весом, ни на грамм не отклоняющимся от идеального для ее возраста образца. На вид она кажется лет на двадцать моложе меня и на десять — себя самой. Чтобы не изображать ее совсем уж лишенной недостатков, скажу только, что в последние годы она стала выщипывать пинцетом усики. Но вряд ли это может бросить серьезную тень на ее облик. Ваши жены делают то же самое, только в косметических кабинетах.

Я упоминаю обо всех этих мелочах, потому что они все же имеют отношение к нашему рассказу.

Все началось в самый обычный будничный день. Весна запаздывала, деревья еще стояли голые. Только напротив, в квартальном скверике, на ветках декоративного кустарника появилась еле заметная зеленая дымка. Я стоял у окна и рассеянно смотрел на улицу. Две горлицы разгуливали по железной ограде балкона, унылая кошка пересекла мостовую. И вдруг во мне возникло нечто не поддающееся опи-

санию. Я вернулся в кабинет, обессиленно упал в кресло. Кружилась голова. Через полчаса, когда вернулась жена, я сказал:

— Завтра будет землетрясение.

Она еле заметно вздрогнула. Разумеется же, она была в курсе всех бабушкиных историй. Ничего не ответив, она вышла из кабинета. Но быстро вернулась — через две-три минуты.

— И когда точно?

— Что? — спросил я.

— Землетрясение,— ответила она раздраженно.— Не притворяйся, что ты уже ничего не помнишь. Я, как вошла, сразу заметила — что-то случилось.

— Вечером,— ответил я.— Или ночью, точно не знаю.

— И сильное? — неумолимо продолжала жена.

— Довольно сильное!.. Да, наверное, сильное. Я видел, как какое-то здание рухнуло у меня на глазах, словно его ударили по крыше огромным молотом. А потом над ним поднялась туча пыли.

— Что значит — видел? Глазами? Вот так, как видишь меня?

— Нет, нет,— ответил я энергично.— Я, конечно, ничего не видел. Но знаю, что это так. Уверен.

Она глядела на меня настойчиво и проницательно, просто некуда было скрыться от этого взгляда.

— Ну и что ты думаешь теперь делать?

Помню, что этот вопрос меня страшно удивил. До этого я думал только о том, что произошло со мной. Что это? Неужели такое может быть на самом деле?

— А что я должен делать? Землетрясение не остановишь.

— Твоя бабушка все-таки кое-что сделала, хотя бы ради собственного спасения.

— И что же мне, по-твоему, делать?

— Как что? — воскликнула она.— Все!.. Все, что в твоих силах. Поднять тревогу, предупредить людей. Эвакуировать город, если нужно.

Все, что она сказала, было правильным и логичным. Но осознал я это гораздо позже. А тогда я только растерянно глядел на нее, словно не верил своим ушам.

— Ты с ума сошла! Кто мне поверит? Да меня в лучшем случае просто высмеют, а то и прямо отправят в психиатричку.

— Ну и что?

Голос ее звучал вполне спокойно, но я внутренне содрогнулся.

— Как что? Зачем делать то, в чем явно нет никакого смысла?

— Есть смысл! — сказала она.— Конечно же есть! Тут важнее всего убедить людей. Но даже если это тебе не удастся, ты, по крайней мере, выполнишь свой долг.

Меня охватила полная беспомощность. И отчаянье. Я ясно сознавал, что никогда не сделаю этого, что бы ни случилось. Почему, до сих пор не знаю. Жена как будто поняла это, взгляд ее смягчился.

— В чем-то ты по-своему прав. И какие-то основания у тебя есть. Но давай рассуждать логично. То, что ты мне сказал, действительно выглядит невероятным. Чтобы не сказать глупым. Я вообще не поверила бы тебе, если б не знала историю твоей бабушки. Ведь ее-то предчувствие сбылось. Почему? Не знаю. Но если мы чего-нибудь не знаем, то вовсе не значит, что этого вообще не существует. Сейчас меня беспокоит одна-единственная мысль — не только сейчас, всегда! Ответь в последний раз, только откровенно! Правда ли то, что ты рассказывал про бабушку? Или все это одно твое воображение?

— Как так воображение?

— Как! Воображение, вымысел. Люди любят верить в чудеса, а так как чудес на свете не бывает, они их попросту выдумывают.

Ум ее, как всегда, работал безупречно, словно электронная маши-

на. Но вместо того, чтобы образумиться, я только еще больше разъярился.

— Конечно правда! — не в силах сдержаться, закричал я.— Как я мог такое придумать? Что угодно, только не это. В конце концов есть же у меня совесть ученого.

— Нет у тебя никакой совести! И ты просто-напросто врешь. Или сейчас, или тогда. Иначе как объяснить твое идиотское поведение?

— Но что ж тут удивительного! — В жизни я еще так не кричал.— И что ты скачешь на одном месте, как лягушка в банке. Говорят тебе — бессмысленно! Совершенно бессмысленно!

— Как это бессмысленно? — Она тоже повысила голос.— Но представь себе, что землетрясение и в самом деле случится. Как в Мексике или Лиссабоне. Неужели у тебя хватит духа взять все это на свою совесть?

— Ничего я не возьму на свою совесть! — Я был в полном отчаянье.— Ничего! Потому что я знаю, я уверен — как бы я сейчас ни поступил, никто меня не поймет и не послушает. Вообще все это выше моих сил и моей власти.

Наконец-то она меня поняла. Наконец. Лицо ее окончательно погасло. Сникнув, она просидела неподвижно минут пять, а может и полчаса. Я уже говорил, что для измерения времени нет никаких объективных критериев. Потом лицо ее понемногу прояснилось.

— И все же какой-то смысл в этом есть! Ладно, можно пожертвовать людьми. Может, для их же пользы. Но сходи хотя бы в сейсмический центр. Или, скажем, в академию. У тебя там столько друзей... Расскажи им откровенно обо всем, что мы с тобой знаем. Просто чтобы остался документ. Каждую гипотезу нужно доказать или отвергнуть. Неужели ты не понимаешь, что у тебя в любом случае должны быть свидетели?

Я горько вздохнул. Свидетели, какие свидетели? А если действительно погибнут тысячи, десятки тысяч людей? Тогда я сразу же из безвинного превращусь в обвиняемого. Вместе с еще несколькими людьми, у которых силы и власти ровно столько же, сколько у меня. Как и у большинства мыслящих горемык в этом мире.

— Ладно,— ответил я.— Это уже кое-что... Я подумаю.

Я провел кошмарную ночь. По законам логики жена была, конечно же, права. Она всегда была права. Ее беспощадный ум не признавал ни лжи, ни компромиссов. Ее истины были суровы, прямы и жестоки. Не истины, а волчьи капканы. Железные зубья впивались в живую плоть, не оставляя надежды на избавление.

Конечно, каждый может подумать: но если жена права, почему бы ее не послушаться? Человек, претендующий на звание ученого и умеющий логически мыслить, должен был бы без возражений принимать любую истину. И все же на этот раз я не мог с ней согласиться, все во мне сопротивлялось. Чувства, убеждения. Нет, все!

Дело в том, что она не была права. То есть для себя, может, и права, но не для меня. Я говорю это не из любви к каламбурам, а потому что так оно и есть. Бессмысленно и глупо требовать от человека то, чего он не может сделать. Словно в нем таится какая-то чуждая сила, которая тащит его назад, делает беспомощнее безруких и безногих.

Понимаю, что выражаюсь не слишком ясно. Особенно для неискушенного непосредственного ума. Вы не замечали, как часто люди бывают непоследовательны? И очень редко говорят то, что думают. А порой совершают неожиданные, я бы сказал, безумные поступки. Нет ничего труднее, чем быть последовательным. Но что значит — быть последовательным? Следовать за чем, за кем? За самим собой? В лучшем случае — за той частью себя, которая зовется разумом или сознанием. Не может человек до конца познать самого себя. Это означало

бы постичь все истины мира. А за нашу короткую жизнь это невозможно. Гораздо более невозможно, чем взлететь птицей в небеса. Что, наверное, когда-нибудь и случится, потому что это в границах человеческих возможностей. Но каким образом познать самого себя?

Несомненно, человек — самое сложное произведение природы. У него может быть хоть сотня лиц, но два из них всегда будут доминировать над остальными. Человек — это то, что он есть, и то, чем он был на протяжении миллионов лет. Но разве каждый может еще раз пройти этот бесконечный путь, чтобы полностью осознать себя?

Много лет назад жил у меня маленький общипанный попугайчик. И кошка по кличке Мери, невероятно милое и воспитанное существо. Она умела пользоваться уборной, как человек, и не прикасалась ни к какой еде, если та не лежала у нее в мисочке. Я кормил ее только хорошо проваренным мясом и рыбой, так что Мери даже не ведала вкуса крови.

У нее было любимое местечко — в одном из кресел. Оттуда ей лучше всего был виден попугай. Иногда она часами смотрела на него, не мигая, с каким-то совсем не кошачьим умилением, даже с нежностью. Жену эта дружба чрезвычайно радовала.

— Видишь, как они любят друг друга,— говорила она.— Свыклись, словно братик с сестричкой.

Я не отвечал. Я знал животных гораздо лучше, чем людей, и знал, что рано или поздно кошка съест попугая. Так оно и случилось. Представляю себе, как наша Мери была поражена тем, что натворила. Поражена и потрясена. Я ничего не сказал кошке, даже не побил. Какой смысл? Никакого, разумеется. Можно ли идти против природы? Природа сильнее и разумнее человека. То есть идти против нее можно, но из этого ничего не выйдет. Иногда ее можно перехитрить. Или, придя к разумному с ней соглашению, совершить нечто полезное. Но победить ее нельзя.

Конечно, это весьма грубый пример. Обычно дело обстоит гораздо сложнее. Так, например, я считаю, что люблю свою жену. Думать так у меня есть все основания. Это доказано всей моей жизнью. И все же я не вполне уверен в том, что где-то в самой глубине души не испытываю к ней ненависти. Почему бы и нет? Ведь она имеет надо мной власть, какой нет ни у одного другого человека на свете. Она насилует мои взгляды, мои чувства. Определяет мое поведение, как, например, в этом последнем случае. Определяет, правда, очень осторожно, но постоянно. А человек может снести все, кроме насилия.

Нет, не хочу думать так о жене! И нельзя. Пусть ее образ останется незамутненным в моей душе. И все-таки я знаю, что как человек я гораздо лучше, гораздо деликатней жены. Я стараюсь не критиковать ее даже мысленно, не насилую ее взглядов, не думаю о ее слабостях, не пытаюсь их анализировать. Я хочу, чтобы она для меня всегда оставалась такой же, какой была в первые дни. Только вряд ли это возможно... Вряд ли...

В ту ночь я больше всего думал о ней. О ней и о моем проклятом землетрясении. Мог ли я скрыть от нее такое? Нет, конечно. Такая мысль мне и в голову не могла прийти. А она скрывает от меня многое. Не хочу сказать, обманывает — просто молчит обо всем, что может меня встревожить, вызвать неприятные мысли и чувства. Она щадит меня, старается помочь, избавить от всего, что могло бы помешать моей научной работе. Возможно, я сам виноват в этом, вернее, моя мягкотелость. Так я иногда пытаюсь ее оправдать. Но мне это не слишком удается — все внутри меня сопротивляется этому.

Что же касается землетрясения, то я ни на минуту не сомневался, что оно произойдет. Странная внутренняя убежденность, которую я ничем не мог себе объяснить. И еще — глубокая уверенность в том, что я лично от него не пострадаю. Так же как бабушка в свое время знала, что она может пострадать. Теперь я уже не сомневался, что уна-

следовал от нее эту невероятную способность. Но в ту ночь меня интересовало иное. Мне важно было разрешить другую проблему. Не ради жены и не ради самой проблемы. Просто мне хотелось найти объяснение своему поведению.

Бабушка знала о землетрясении. Ощутила его, предчувствовала, видела — словно древняя пророчица. Но почему она не предупредила остальных? Отцу, правда, сказала, но я был убежден, что только ради себя, чтобы он помог ей, спас. Почему она ни слова не сказала тем несчастным женщинам, пораженным неизлечимыми болезнями? Не знаю. Честное слово, не знаю. Впрочем, может, она и предупредила их в последний момент, и те сбежали, даже не оглянувшись на спасительницу.

Одного меня она предупредила прямо и откровенно. Одного меня выделила из общей безликой массы. Наверное потому, что привыкла воспринимать меня как часть себя самой, своей сущности, своего бытия. Или как свое будущее. Уснул я лишь на рассвете, но, похоже, мне удалось кое до чего докопаться. По крайней мере я, как мне кажется, уловил частицу бабушкиной истины.

Это довольно трудно объяснить, но мне кажется, что она верила в непреложный порядок бытия. На первый взгляд это звучит весьма претенциозно, хотя, в сущности, все очень просто. Каждый носит в себе что-то вроде инстинкта у животных, не сознавая его сути. Бабушка была молодой, полной жизни, счастливой женщиной. Потом у нее убили мужа. Она осталась одна. Ничто не может нарушить естественного хода жизни.

Есть что-то очень мудрое в этой бессознательной философии простых людей. Они не различают судьбу общую и судьбу личную. И никогда не ждут милостей от жизни. Все, что ожидаешь извне, нужно заслужить. И создать самому. Никакой бог не вспашет тебе поля, не вытащит из могилы. А это значит, что люди по-настоящему не верят в этого бога, хотя время от времени и обращают к нему свои беспомощные молитвы. Книга жизни написана раз и навсегда, и ничто не может изменить того, что в ней начертано.

Там, в этой книге, было записано и бабушкино землетрясение. Легкая конвульсия, последнее содрогание — и бабушка смирилась. Хотя и была такой непримиримой, такой сильной во всех жизненных испытаниях.

Перед тем как уснуть, я наконец принял решение. Не дожидаясь вопросов, я сам скажу жене:

— Оставь меня, пожалуйста, в покое. Ничего из того, что ты от меня требуешь, я делать не буду. Не могу, и все. Неужели ты не понимаешь, как это для меня унизительно?

Наутро я проснулся лишь в девять часов. Жена ушла на работу, не разбудив меня — в первый раз за всю нашу совместную жизнь. Но завтрак, как всегда, ждал меня в кухне на столике — чашка холодного молока и немного колбасы. Я ни к чему не притронулся — единственный способ хоть как-то отомстить жене. Я больше не ждал от нее ни советов, ни доброты, ни тем более сочувствия, которое всегда меня обижало. Я только хотел, чтобы она меня поняла,— ничего больше.

Чтобы отвлечься, я просмотрел журналы, дожидавшиеся меня на письменном столе. Мои журналы по химии жизни, к которым я вот уже две недели не притрагивался. Как всегда — последние новости со всего мира. Факты, которые несколько десятилетий назад показались бы невероятными и непостижимыми. Я работал до самого обеда, но все это время разум сопротивлялся, душа была пуста. Вновь и вновь мной овладевала тревожная, невыносимая мысль — то ли это, что я ищу? И не ошибся ли я все-таки дорогой, чего в свое время так опасалась бабушка? Сейчас мне кажется, что я по крайней мере знаю

главное — никогда, пока существует мир, не будет получена искусственная жизнь в колбах и пробирках. Жизнь создается и исчезает лишь внутри вечного бытия. И не может иметь другого возраста, кроме бесконечности. Ее рождение и смерть — это то же, что рождение и смерть любой вселенной. Но в то утро в голове у меня все смешалось, ум кипел, не приходя ни к чему. Я понимал, конечно, что жизнь — это до какой-то степени и химия тоже. Но до какой? До той, где кончается также и физика? Это уже представлялось мне совершенно абсурдным.

Как всегда, жена вернулась домой около пяти. Лицо ее казалось восковым, до того оно было холодно и бесчувственно. Не сказав ни слова, она ушла на кухню и провозилась там до вечера. По некоторым доносившимся до меня звукам я понял, что она что-то готовит. Делала она это по рецептам поваренных книг, довольно посредственно, без капли вкуса и воображения. Обедал я обычно один, но ужинали мы всегда вместе.

Около восьми она показалась на пороге моего кабинета. Лицо ее, хотя и разрумянилось у плиты, оставалось все таким же бесчувственным.

— Ужинать хочешь? — спросила она.

— Нет! — ответил я кратко.

— Почему?

— Почему! Не вижу смысла.

Она прекрасно меня поняла. В ее холодных глазах что-то дрогнуло.

— Думаешь, мы погибнем?

— Не думаю,— ответил я.— Но война есть война. Никто не ходит в атаку с набитым брюхом.

Секунду поколебавшись, она вошла. Походка ее была довольно унылой, я бы даже сказал, беспомощной. Это меня в какой-то степени удовлетворило — значит, не такая уж она каменная.

— Я отвезла Донку на дачу,— проговорила она.— Конечно, вместе с Владко. Лишь ради него я пошла на этот компромисс. Больше ничего я сделать не вправе.

У нас была крохотная дачка — финский домик — где-то возле Лыкатника. В этом году мы еще там не были. По правде говоря, я не очень любил туда ездить — не хотелось оставаться наедине с моими путаными мыслями. Одиночество не приводит их в порядок, а только путает еще больше. И все же надо признать, жена нашла неплохое место, чтобы укрыть внука. Нашего внука, к которому я, надо признаться, не испытываю слишком сильных дедовских чувств. Дачка была словно специально создана для землетрясений, могла покривиться, растрескаться, но рухнуть — ни в коем случае.

— А ты почему не осталась с ними?

— Ни за что! — ответила она раздраженно.— Исключение я могу сделать только для Владко, больше ни для кого.

«Для Владко», «больше ни для кого» — все это мне было понятно. Жена не слишком любила нашу ленивую дочку. В прошлом году Донка развелась с мужем, но вернуться к нам не захотела, хотя у нас и была свободная комната. Сильно подозреваю, что тут не обошлось без жены. Пока они разводились, жена упорно молчала — явно сочувствовала зятю.

— Ты выходил сегодня? — внезапно спросила она.

— Нет,— ответил я, с трудом скрывая враждебность.

— Почему?

— Сколько раз можно повторять? Не вижу смысла!

— Но ведь мы договорились. Я всегда выполняю свои обещания. Да и ты до сих пор тоже.

Это было верно. И все же в наших временных соглашениях на компромисс шел я, а не она.

— Неужели ты не понимаешь, в каком я окажусь глупом положении? — сказал я.— Сейчас и без того развелось слишком много дурацких суеверий. Духи, спиритические сеансы, знаки зодиака, гороскопы. Те, на кого ты рассчитываешь, в ответ на мои слова только скептически усмехнутся, словно россказням о пресловутой петричской знахарке. Хотя сами в глубине души скорее всего мне поверят.

— И постараются укрыться от землетрясения? — В глазах ее что-то блеснуло.

— Нет, вряд ли. Люди ужасно непоследовательны. Уверен, что многие убежденные безбожники тайком возносят молитвы. Так же как многие верующие в глубине души ненавидят своего бога.

Нет, ее ум не мог переварить этих простых истин. Ведь они грозили разрушить упорядоченность ее внутреннего мира. Но в тот вечер она только взглянула на меня и, словно переутомившийся генерал, опустилась в кресло.

— Не могу понять! — пробормотала она уныло.— Решительно не могу! Иметь в руках такое доказательство, такой невероятный козырь — и не воспользоваться.

Я начал терять терпение. Ну как вбить в эту гранитную башку такую простую вещь?

— Какое к черту доказательство! — почти крикнул я.— Пусть даже сам Келдыш подпишет мои предварительные показания, все скажут, что один случай еще ни о чем не говорит. И что это никакое не доказательство, тем более что он противоречит основным законам.

— Каким основным законам? — спросила жена враждебно.

— Ну, скажем, физическим. Все тут же в один голос закаркают, что я занимаюсь метафизикой.

В глазах ее опять блеснуло что-то живое.

— А тебе не приходила в голову простая мысль, что метафизика — это, в сущности, неизученная часть физики. Вроде обратной стороны Луны, о которой мы совсем недавно ничего не знали.

Тем наш разговор и окончился. Словно бы испугавшись чего-то, никто из нас не решился добавить ни слова. Ужинать мы не стали. Молча уселись у телевизора в тайной надежде забыть о неприятных мыслях. Или хотя бы притупить невыносимое чувство ожидания. Но передача оказалась слишком скучной. Именно ее будничность, ее полная отчужденность от подлинных человеческих волнений навели меня на неожиданную мысль: какое там к черту землетрясение? Конечно же, ничего не случится. Чудес на свете не бывает и никогда не будет! И тут же я почувствовал какую-то сильную боль внутри, какой-то мучительный спазм. Нет, нет, оно должно произойти! Даже если похоронит нас под развалинами. Во имя истины. И во имя надежды. Человек не может вечно оставаться слепым к огромному окружающему нас миру.

Первое, что я услышал, был нежный звон. На стене висело несколько старинных овечьих колокольцев, которые я как-то купил у одного цыгана. Два десятка лет провисели они у нас в доме, лишь изредка позванивая, когда со стен смахивали пыль. И вот сейчас они впервые почуяли землетрясение и откликнулись на него тихим звоном.

— Ну вот! — воскликнул я.— Начинается!

Я был страшно поражен — казалось, словно это и не я так долго и с таким нетерпением дожидался этого момента. Быстро обернулся, взглянул на люстру. Она тоже тихонько покачивалась. И вдруг огромное окно, занимавшее чуть ли не всю южную стену, вспыхнуло, словно от взрыва, ослепительным голубым светом Меня охватил панический ужас сильнее которого я, наверное, никогда не испытывал. Я встал и словно лунатик направился к двери, не думая ни о чем и ни о ком, кроме себя Не успел я сделать двух шагов, как жена изо всех сил схватила меня за руку.

— Стой здесь! — крикнула она.— Не двигайся.

Я остановился как вкопанный. А дом все содрогался и содрогался, и мне казалось, что он вот-вот обрушится на мою несчастную голову. Пока наконец все не утихло.

Вот так же внезапно, с такими же сотрясениями порой приходит к нам великий день подведения итогов, как сказал бы иной писатель. Красивые слова, хоть и не очень точные. На самом деле речь тут идет не о дне, даже не о днях, а о неделях и месяцах — горьких, тягостных, но и мудрых, если только это слово можно отнести к жизни простых смертных.

Как ни странно, землетрясение напугало меня, но не потрясло так, как я этого ожидал. Правда, я убедился, что обладаю неким даром или способностью, какой не имеют остальные. И понял, что для меня пробил час окончательного подведения итогов. Но не спешил. Спешить было нельзя Не говоря уж о том, что первые дни меня угнетали совсем другие мысли — о жене.

Дело в том, что, вместо того чтобы разрешить все наши недоразумения, землетрясение разъединило нас еще больше. Никогда не забыть мне тех страшных мгновений. Я не только чувствовал себя угнетенным, но и весь кипел подавленной яростью. Ведь, схватив меня за руку, она же хотела меня убить! Именно убить, пусть даже причиной тому были ее высокие моральные принципы, ее чрезвычайная честность, чувство долга. Правда, не только меня — себя тоже. Но это второе обстоятельство непонятно почему я как-то не принимал в расчет. Как она могла хотеть моей смерти? — возмущенно думал я. По какому праву, на каком основании? Человек может располагать только своей жизнью и больше ничьей, несмотря ни на какие цели и поводы. Я злился и в то же время не решался взглянуть ей в глаза. Между нами словно бы возникла та отвратительная пустота, которую ученые, да и политики тоже, называют довольно неточным словечком «вакуум».

Но, может, я судил ее слишком строго? Или слишком пристрастно? Нет, нет — тут я вряд ли когда-нибудь откажусь от своего мнения. Все мы в той или иной степени пристрастны, но в главном я прав. В конце концов какое мне дело до ее принципов, какими бы честными и справедливыми они ни казались. Их тоже нельзя никому навязывать силой, да и бесполезно. К любым принципам каждый должен прийти сам, своими путями и тропами.

Так я думал в первые дни.

Пока, наконец, не понял, что она тоже страдает. Понял каким-то своим, внутренним, недоказуемым способом, так же как почувствовал землетрясение. Понял, но не было у меня сил ей простить. В конечном счете человек может простить все, кроме насилия и посягательства на его жизнь. Потому что только люди понимают, насколько она неповторима. По-настоящему неповторима, даже если принять безумную мысль, что она вечна. В отличие от всего остального время никогда не возвращается туда, где оно уже побывало.

Я видел, как она мучилась, но мое сердце оставалось холодным. Жестокая холодность, преодолеть которую я был просто не в силах. Напрасно я пытался вспомнить все, чем был ей обязан. Все ее жертвы, ее доброту, ее заботы. Самоотверженность, которую она проявляла в самые трудные периоды моей жизни, скажем, когда я потерял родителей. Иногда мое сердце смягчалось, готовое смириться, но всего на несколько минут или часов. А затем его вновь сжимали холод и отчуждение.

Я сознавал, насколько это опасно,— такой опасностью не грозила мне ни одна другая проблема. Нужно было предпринять что-то, пока еще не все рухнуло. Нужно — но где взять силы? В конце концов она первая начала войну, она и должна ее прекратить.

Но жена молчала. В довершение всех добродетелей в ней заговорила гордость. Так что мне волей-неволей снова пришлось заняться подведением итогов.

Вернуться назад, заново осмыслить всю свою жизнь! Трудная задача, намного более трудная, чем я мог себе это представить. Дни шли за днями, я становился все более мрачным и кислым, как перестоявшее, липнущее к рукам тесто. Для ученого вроде меня, привыкшего к точности логического мышления, к предельно ясным категориям и понятиям, такая работа часто оказывается невыносимой.

Что такое воспоминание? Летнее облачко, каждую минуту меняющее свои очертания — одно другого причудливей и фантастичней. Можно ли из воспоминаний выстроить логическую систему, способную выдержать любую научную проверку?

Конечно же нельзя!

И тогда мне пришла в голову эта счастливая (или несчастная) мысль — написать воспоминания. Связать их единым изложением и в живых образах поискать решение всех моих вопросов. В первую минуту я, естественно, испугался. По силам ли мне эта задача? Наверное, нет. Правда, в гимназии я был любимцем учительницы по литературе, но и она вряд ли видела во мне будущего писателя. Сейчас мне, конечно, ясно, что при всей своей любви к литературе разбиралась она в ней еще хуже меня. Так почему бы мне не попробовать? Может, хотя бы удастся избавиться от мрачных дум, которые все тяжелее нависали над моей головой. Пережитое гораздо легче собрать на бумаге, чем в редком неводе памяти. Наконец я решился взяться за перо. И за три дня, наполнив корзину скомканной бумагой, написал, наконец, первую страницу.

Не знаю, согласятся ли со мной настоящие писатели, но первая страница — самая трудная. А затем дело пошло так быстро, что я сам поразился. И в то же время огорчился. Эта профессия или призвание, которое я так уважал, показалось мне слишком уж легким. Но на десятой странице я внезапно остановился. Легко? Нет, тут я жестоко обманывался. Может, действительно не так уж трудно нанизывать красивые слова или даже яркие образы. Но в том, что я написал, отсутствовало нечто очень важное, без чего моя работа теряла всякий смысл.

Здесь мне хочется слегка открыть скобки. Пусть и не очень слегка, но что поделаешь. Как ни выставлял я себя логиком и рационалистом, вы, наверное, заметили, что я не лишен известного художественного вкуса. Хотя кто его знает. Некоторые факты доказывают противное. Так, например, я очень люблю Сомерсета Моэма, автора, который нынче считается порядком устарелым. Вместе с тем я с удовольствием читаю Чивера и Гора Видала, которые, наоборот, сейчас в моде. Иногда я и сам не могу понять, кто я, где я. Сам ученый, я в принципе терпеть не могу технократов за их близорукость и самонадеянность. И всегда был убежден, что искусство гораздо совершенней науки. Перед Эйнштейном я преклоняюсь не столько за его физику, сколько за его философию. Так вот, сам Эйнштейн часто отожествлял истину искусства с научной истиной. Сейчас я понимаю этого великана намного лучше, чем раньше, когда мне казалось, что при всей его правоте в нем есть некоторая предвзятость. В сущности, наука ищет истину, а искусство ее создает. Искусство живо, как природа, наука же — скальпель, который часто ее убивает.

Странные мысли, правда? Особенно для ученого. Должен признаться, что, когда я взялся за перо, они были мне далеко не так ясны. Точнее — они созревали вместе с моим произведением. Теперь вам, наверное, понятно, почему я остановился на десятой странице. Очень просто. Любое художественное произведение содержит какую-то истину. Или идею. А я не знал, какая у меня истина. И вряд ли скоро узнаю. Тогда какого черта я пишу?

А вот какого!

Думаю, что мало кто из писателей, берясь за перо, знает свою истину до конца. Как и у прочих смертных, в их сознании немало глупостей и предубеждений. И все они приходят к истине за работой, воссоздавая действительность по законам гармонии и красоты. Правда, если эти законы уже заложены в них — в даровании, в душевном складе.

Почему бы и мне не испробовать этот метод? Если я сумею осмыслить свой рассказ, это будет равнозначно постижению истины. Той истины о себе, которую я искал всю жизнь.

Сознаю, что становлюсь скучным. В том-то все и дело. Когда искусство соединяется с наукой, наука от этого лишь выигрывает, но когда наука забирается на территорию искусства, Пегас превращается в рабочего мула. Поэтому вы свободно можете пропустить эту страничку так же, как сам я пропустил почти два месяца, прежде чем снова взялся за перо. Правда, не по своей вине — сама судьба вмешалась в эту историю. Однако не будем торопиться, вернемся к нашему рассказу. И оставим на время в покое жену, хотя она тоже часть моей истины. Но нельзя забывать и о землетрясении — в нем узел проблемы.

Все его прекрасно помнят. Хоть мы и живем в сейсмически опасной зоне, такого сильного землетрясения в Болгарии не было уже полвека. О первом я говорил. Теперешнее скорей напугало нас, чем причинило серьезный ущерб. Первые сообщения были даже чересчур спокойными — наверное, чтобы не создавать паники среди населения. А я прозрел землетрясение именно как разрушительное. Я видел здание, рухнувшее в облаке пыли. Существует ли такое здание в действительности? И где? Может быть, нигде? Как проверить правильность моего прозрения?

Лишь через два дня я увидел это здание на снимке в газете. Обычный жилой дом в Свиштове, разрушенный до самого основания. Снимок поразил меня больше, чем само землетрясение. Когда оно действительно случилось, я только испугался, как и те, для кого оно было неожиданностью. Но снимок взволновал меня чрезвычайно. Ошеломленный, я заперся в кабинете и около получаса лежал на кушетке, стараясь прийти в себя.

Теперь уже не оставалось никаких сомнений. Я действительно увидел реальное событие до того, как оно случилось. Именно увидел, а не воспринял каким-либо другим органом чувств, как это бывает со змеями, сусликами и крысами.

Поверьте, я вовсе не стремлюсь кого-нибудь поразить. То, что со мной случилось, в самом деле неестественно. Но не противоестественно. В сущности, с чисто научной точки зрения современная физика не считает абсурдной возможность проникновения в будущее. Правда, для этого нужна колоссальная сверхэнергия, которую человечество пока не обнаружило. Но теоретически такая возможность существует, и с этим приходится считаться.

Практически же вопрос стоит совсем иначе. Как во мне, в моем слабом, неустойчивом теле, составленном из каких-то жалких аминокислот, могла возникнуть подобная сверхэнергия? В том-то и состоит абсурд, неразрешимое противоречие. Но разве в этой внутренней противоречивости явления не кроется его сила? Тут допустимо, как говорит Бор, следующее безумное предположение. Может быть, энергия должна быть не сверхмощной, а просто чрезвычайно специфической. Присущей, скажем, лишь живым тканям или человеческому сознанию.

Никогда в жизни я не был слишком уверен в своих силах и возможностях. Самонадеянность — верный признак глупости и слепоты. Я не стану ничего утверждать, прежде чем не узнаю. Но и отрицать ничего не буду, пока не проверю.

Ну вот, опять я становлюсь скучным. Короче, я забросил биохимию и занялся другой важной отраслью биологии, которая теперь

называется биофизикой. Читал по восемь-девять часов в день до полного изнеможения. Вначале — спокойно, уверенно, вел подробные конспекты. Потом стал горячиться, даже нервничать. Электрон, электричество! Смутные понятия, и не только для меня — для всех! Что такое, черт побери, поле? Даже Эйнштейну не удалось ответить на этот вопрос. А *мое* поле, обладающее способностью проникать в будущее, еще более странно и загадочно.

Иногда я ходил по улицам в полном смятении, смутно чувствуя, что вокруг меня сгущаются события, что вот-вот произойдет какое-то чудо, может быть, даже совсем простое и человечески объяснимое. И я вдруг прозрею.

Прекрасно помню этот день. Я вышел из дома часов около десяти, направляясь в университетскую библиотеку. Погода стояла отличная — один из тех осенних дней, которые можно было бы принять за весенние, если бы не блестящие каштаны на тротуарах. Я медленно шел по правой аллее Русского бульвара, там, где китайское посольство, как всегда в последние дни, погруженный в мысли. На этот раз о жене, ее странном поведении. Может, все-таки разумней самому проявить инициативу? Я никогда не страдал чрезмерным самолюбием, шаг назад или в сторону вряд ли заденет мое достоинство.

Над перекрестком горел желтый свет — это я помню твердо. Когда вспыхнул зеленый, я сошел на мостовую. И это было последнее, что я запомнил.

Очнувшись, я почувствовал, что словно бы купаюсь в море света. Наверное, солнечного, хотя вокруг и разливалось какое-то молочно-матовое сияние. Настолько сильное, что я невольно зажмурил глаза. Но сейчас мрак показался мне невыносимым, как будто я пробыл в нем миллионы лет. Я опять открыл глаза. Мучительно медленно всплыло передо мной лицо. Женское лицо. Очень тонкие чистые черты, белая косынка. И хорошо всем знакомый маленький красный крестик. Медсестра. Взглянув на меня, она вздрогнула, словно увидела просыпающегося мертвеца. Потом коснулась моего лица кончиками тонких пальцев, встала и, не сказав ни слова, вышла.

Что все это значит? И что это так стягивает лицо? Непроизвольно пощупал — бинт. Голова моя оказалась настолько туго забинтованной, что трудно было открывать рот. Я медленно повернулся туда, откуда шел свет. И перед глазами колыхнулся трепещущий в его отблесках зеленый занавес. Ветви деревьев почти касались чисто промытых окон. Какой-то дрозд, уцепившись желтыми лапками за сухую веточку, смотрел мне прямо в глаза. Что могло быть прекраснее? Я жив, солнце светит, вечная зелень планеты готова волной хлынуть на мою кровать. Между листьями сияло великолепное земное солнце. Я и не знал, что его свет так прекрасен — такой живой, такой вечный. Вот оно! Это и есть жизнь, бытие, которое мы так стараемся постичь. Свет. Дрозд, соглашаясь, кивнул мне головкой. Я улыбнулся. Большая белая комната, громадное белое окно, высокий белый штатив с системой для переливания крови, на секунду напомнивший мне наказанного гимназиста, понурившего унылую стеклянную голову. Здорово, школяр! Что стряслось?

В комнату вошел невысокий густобровый человек в халате. Похоже, врач. Присел на стоявший у кровати белый стульчик и широко, как мне показалось, неуместно широко улыбнулся. Явно хотел меня подбодрить, причем самым банальным образом.

— Что это я тут делаю? — спросил я.

— Небольшая авария, профессор. На вас налетел троллейбус. Тройка. Ну и крепкая ж у вас голова, честное слово. Троллейбус до сих пор не вышел на линию — прохожих боится.

Я тут же вспомнил — желтый свет, потом зеленый. Троллейбуса я, конечно, не видел.

— Сегодня?

— Нет, четыре дня назад.

Значит, целых четыре дня я провел в коматозном состоянии. Только тут я понял, почему вырвался из мрака, как из бездны. Позже я узнал, что мне была сделана трепанация черепа, к тому же очень сложная и тяжелая. И чрезвычайно удачная. Но тогда я спросил только:

— Где жена?

— Ушла час назад... Все это время она просидела возле вас, ни на шаг не отходила.

— Совсем измучилась,— еле слышно прошептала сестра.

Но я услышал — несмотря на плотно забинтованные уши. Сердце сжала тупая боль, ничуть не похожая на ту, что сверлила мою разбитую голову.

— Позовите ее... прошу вас... Очень прошу... И поскорей, если можно.

— Да, конечно,— кивнул врач.

Обернувшись к сестре, он произнес несколько слов, которых я не расслышал. Потом снова взглянул на меня.

— Думаю, что главная опасность миновала! — сказал он, на этот раз вполне серьезно.— Но, сами понимаете, необходимо быть очень осторожным. Не двигайтесь, не волнуйтесь, ни о чем не тревожьтесь, забудьте об этом несчастном случае. И вы уйдете отсюда возрожденным.

— Понимаю,— сказал я.— Но когда приедет жена?

— Не беспокойтесь, через полчаса будет здесь. Только бы удалось ее разбудить. За эти четыре дня она не спала и четырех часов. Где у вас стоит телефон?

— У меня в кабинете.

— Да, не очень удобно. она может и не услышать звонка. До чего же все-таки сильная женщина ваша жена, позавидуешь.

— Знаю, знаю... Не охнула, слезинки не уронила.

— Ну, насчет слез вы не совсем правы,— врач улыбнулся.— Но не думайте о ней, думайте о себе.

Однако я уже почти его не слышал. Меня вдруг охватила приятная расслабленность, жесткая больничная койка словно бы превратилась в лодку, плавно скользящую по глади озера. Счастливый, лежал я на ее дне и смотрел, как по синему небу плывут легкие облака. Погруженный в себя, в это неведомое прежде чувство, я незаметно заснул. А когда наконец открыл глаза, увидел рядом с собой ее — на том же самом стуле, где раньше сидел врач. Ее облик, такой знакомый и близкий, поразил меня.

— Это ты? — еле слышно проговорил я.

Она ответила бледной улыбкой, в которой чувствовалось огромное облегчение, готовое в любой момент прорваться слезами.

— Как это странно, что я жив. И знаешь, только теперь я понял, что все это время я думал о тебе.

— Но ты же был в беспамятстве.

Однако глаза выдавали ее. Она была все та же и все-таки совсем, совсем другая.

— Выдуманное слово,— ответил я.

— Какое?

— Беспамятство. Небытие. Где-то же я был все-таки, хоть и не помню где...

— Кажется, я тебя понимаю,— ответила она тихо.— Но как грустно, что тебя не понимают другие.

Я вдруг почувствовал странную слабость, показалось, что сейчас я вновь потеряю сознание. Но страха не было. Небытие не существует, все есть бытие. Наверное, я закрыл глаза, сейчас уже не помню, и попытался вновь заглянуть в тот странный мир, который таится глубоко в нас. И который мы так мало знаем. Нет, никогда мне больше не понять, что я там пережил. Но несомненно что-то огромное и сильное.

Через две недели она приехала за мной на машине. Я дожидался ее в фойе, нарядный, подтянутый. Даже надел тот глупый синий в белый горошек галстук, который она когда-то привезла мне из Италии. Странно, но я чувствовал себя ребенком. Вот сейчас она погладит меня по головке, возьмет за руку и отведет в какую-нибудь кондитерскую угостить пирожным. Знаете, в какую кондитерскую? Ту самую, что на углу улицы Экзарха Иосифа напротив Старых бань. В ней еще продавали такие прекрасные, такие свежие пирожные. И бани, и кондитерские давно снесены, от них не осталось и следа. И все же они существуют во мне, а это значит, что они существуют на самом деле.

— Пойдем,— сказала она.

И мы пошли — женщина и мальчик в матроске с голубой ленточкой, щекочущей его щеки. Но, увидев машину, я опомнился. Счастливое мгновение улетело навсегда. Она заботливо усадила меня рядом с собой, бросила на заднее сиденье мой скудный багаж. Впрочем, какой багаж — несколько детективных романов да две-три коробки шоколадных конфет, принесенных сослуживцами.

— Дома тебя ждет большая почта,— сказала она, когда машина покатила по выщербленному асфальту.— Я нарочно ничего не приносила, тебе нужен был отдых.

— И только?

— Ну, не только,— она еле заметно покраснела.— Пришел сигнал твоей новой книги. Хотела сделать тебе сюрприз, да уж ладно... У меня и подарка-то нет.

Моя книга об энзимах. Сейчас мне это было совершенно безразлично. Хотя в ней необыкновенная жизнь кое-где соприкасалась с обыкновеннейшей химией.

— Ты не рад? — спросила она, не отрывая взгляда от дороги.

— Ни капельки,— неохотно ответил я.— И хочу тебе сказать, пока не поздно. Отныне я никакой не профессор. Я снова становлюсь самым обычным учеником. Пока не научусь понимать э т о. Если вообще пойму когда-нибудь.

И тогда случилось то, что мне и во сне не могло присниться. Она вдруг отпустила руль, схватила мою руку и поцеловала ее. Я ясно видел, как правое колесо рванулось к высокому гранитному парапету. Но даже не вздрогнул. Ударом больше, ударом меньше — кто из нас знает, что ему нужно в этом мире? Но в последний момент она ловко повернула руль и погнала машину по прямой пустынной улице.

■

ЛИХАЧЕВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА

Советский переводчик с болгарского и греческого языков. В ее переводах издавались произведения многих болгарских писателей, в том числе Э. Станева, Д. Фучеджиева, А. Дончева, Б. Райнова, Н. Христозова, и греческих — Г. Сефериса, В. Василикоса и других.

Критика

ВЗГЛЯНУТЬ В ЛИЦО ВРЕМЕНИ

Панорама: 70-е годы в литературах социалистических стран Европы

В Союзе писателей СССР состоялось совещание под председательством В Огнева, на котором обсуждались наиболее характерные явления и тенденции последнего десятилетия в литературах европейских социалистических стран. Обсуждение показало, что книги последнего десятилетия (многие из них были опубликованы на страницах нашего журнала) свидетельствуют: 70-е годы можно рассматривать как важнейший этап в становлении каждой из национальных социалистических литератур. Попытка обобщения этого опыта советскими исследователями в дни, когда вся страна готовится к XXVI съезду КПСС, представляется необходимой и закономерной.

Редакция попросила участников совещания поделиться своими размышлениями с читателями журнала — не ограничиваясь простым обзором отдельно взятых явлений, но в контексте общего движения социалистических литератур, да и мировой культуры в целом.

В этом номере мы начинаем публикацию материалов на предложенную тему.

В. ОГНЕВ

Очень часто мы неверно употребляем слово «хронология». Греки же рассматривали хронологию как единство (хронос — время, логос — идея). Идея, пронесенная сквозь время,— вот что такое хронология. Но вовсе не простая смена часов и минут, механическая сумма наших дел и поступков. В этом смысле и обращаясь к десятилетию, 70-м годам как к одному из этапов в развитии социалистических литератур, мы, конечно же, имеем в виду их итоговое состояние, остановленное «мгновеньем» исторического пути братских наций, запечатленное в художественном слове. Мы не ожидаем найти в одном десятилетии абсолютно новые черты и воспринимаем литературный процесс именно в движении, накоплении важных элементов, смене акцентов, укреплении здоровых начал, преодолении противоречий.

Тема сегодняшнего обсуждения закономерно вписывается в круг проблем, обсуждаемых нами в преддверии очередного Всесоюзного съезда советских писателей. Напомню, четыре года назад, в канун VI съезда, мы говорили о литературе социалистических стран в свете развития нашей литературы, ее взаимодействия с другими братскими культурами. Этот аспект разговора остается насущным и плодотворным и сегодня.

Не собираясь забегать вперед, хочу все-таки предугадать такой ход обсуждения, при котором из суммы конкретных черт разных национальных произведений будет вырисовываться общая картина — тенденции социалистической культуры в ее генеральном русле, в ее специфике передового, если хотите, «разведывающего» будущее направления человеческого духа.

Обращаясь к важнейшим проблемам социалистического общества, эта культура

ОГНЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ (род. в 1923 г.). Советский критик. Автор более двадцати книг по проблемам поэзии — отечественной и зарубежной. Последние из них — «Пять тетрадей. Этюды о литературе социалистических стран» (1975), «Югославский дневник» (1975). Избранные работы выходили в Польше, Югославии, Венгрии, Болгарии. Член Международной ассоциации литературных критиков. Заслуженный деятель культуры ПНР. Руководитель постоянного «круглого стола» по проблемам литератур социалистических стран при Правлении СП СССР.

открывает новые горизонты для всего человечества. Уже вследствие этого произведение писателя социалистического мира находится в контексте мировой культуры. Рост влияния художественного слова писателей Советского Союза и Польши, Венгрии, Болгарии, Югославии, Румынии, ГДР и других стран в наши дни очевиден, неоспорим.

Однако есть тут и другая сторона вопроса. Культура мировая сегодня развивается в тесном взаимодействии прогрессивных элементов и тенденций разных национальных культур всех континентов, различных общественных структур. XX век все повелительнее заставляет художника задумываться не только над национальными и региональными, но и универсальными явлениями общечеловеческой значимости — борьбы за мир, проблемы космоса, экологии и так далее. Одна руководящая идея — в наши дни идея всеобщего мира, его сохранения, защиты от сил войны — способна объединить всех прогрессивных художников мира и может стать краеугольным камнем общей позиции современного человечества. Но защита мира от войны — только одна, пусть и главная их забота. Воспитание человека в традиции гуманизма требует множества усилий.

Очевидно, что у литературы должен быть широкий диапазон внимания: воспитание коллективизма, основы нравственности и самого ощущения мира как общежития разумных существ, а не слепого скопища живых «атомов», сохранение тех добрых заветов старины, что идут не от предрассудков и религиозных запретов, а от здорового народного этического опыта, борьба с засилием догм, упрощенчеством, идеализмом и вульгаризацией материалистического учения о человеке и истории, расширение горизонтов культуры, где история учит людей на примерах прошлого опыта, борьба с отчаянием, выработка духовной стойкости перед лицом бед, критика утешающих и отвлекающих мифов, рассказ о реальных возможностях разума и опасности отрыва его от нравственной цели, познание глубин человеческой души, ее инстинктов и подсознания.

Даже из этого, понимаю, отнюдь не стройного, не полного перечня больших и малых забот гуманистической литературы вытекает вывод о многообразии и многохарактерности ее задач. Сама неоднозначность подхода к главным проблемам века, богатство содержания, различие в масштабе исследования жизни гарантируют такому искусству многообразие форм, объемность, многокрасочность.

Это литература объективного познания, литература живой жизни, смелых решений, приближения будущего, которое видится человеку реалистически, трезво, которое он готов встретить лицом к лицу.

Это литература и самопознания, потому что познать себя и мир, который нас окружает, нельзя, отвлекаясь от целей и задач, какие мы поставили перед собой и миром.

Сложность анализа универсальных явлений в том, что порой мы сталкиваемся с процессами, которые только кажутся всеобщими. Разобраться в этом, к примеру, отделить идеи, ныне повсеместно именуемые «идеями НТР», от философии социального бездушия и бездуховности — в определенной степени означает наметить отчетливый водораздел между буржуазным и социалистическим пониманием мира. С другой стороны, нельзя не учитывать и того факта, что литература нового мира существует не в вакууме и не в условиях чистого опыта — она испытывает реальные влияния реального окружения и, в известной степени, не может не нести на себе следов такого воздействия. Мне хотелось бы подчеркнуть, что, анализируя любое десятилетие в жизни социалистических литератур, мы не должны забывать стратегической задачи: выявления главного в развитии социалистической культуры — ее всемирно-исторической функции поборницы гуманизма XX века, — ибо именно она в нашу эпоху является законнейшей наследницей великих заветов былых веков и нашей надеждой, духовной перспективой человечества.

И тут особо важно, мне кажется, не «поскальзываться» на привычных терминах, постоянно ощущать движение жизни. Недавно в одной статье своего коллеги я прочитал простую, но тем не менее свежо высказанную мысль. Мы привыкли говорить о XX веке как о последнем рубиконе в истории человечества и забываем, что уже 1981 год и мы на пороге нового, XXI века, а XX вроде как уже... в прошлом. Не впадают ли тут иные из нас и в другую психологическую ошибку, подумал я, когда постоянно привязывают «реализм» к XIX веку, «уступая» модернизму его мнимую «новизну»? Так ли уж, простите мне тавтологию, модерен модернизм? До каких же пор смотреть на него из нашего «вчера»? Не настала ли пора начать активное утверждение новизны реализма? Вечной его новизны! Но для этого надо бережно относиться к реальному опыту братских литератур, не торопиться с поспешным зачислением сложных явлений культуры по адресу «модернизма». Снова и снова сталкиваемся мы с непониманием роли национальных художников первой величины, нередко противопоставляя им — порою сложным и противоречивым талантам — средних беллетристов, внешне вполне подпадающих под мерки вчерашнего понимания «реализма» с его описательностью и поверхностными признаками жизнеподобия, злободневности и так далее. Другими словами, кого мы называем реалистами? Вот вопрос.

Второй узел противоречий современной критики, который хотелось бы попытаться развязать коллективными усилиями, это отношение к прошлому братских наций. Народы, избравшие социализм, свято хранят свое национальное лицо. Но следовало бы и тут проследить за конкретной системой аргументации некоторой части критики — нет ли в иных рассуждениях определенного крена в сторону сугубо исторического рассмотрения такого понятия, как патриотизм? Национальная гордость прошлым своего народа — естественное

слагаемое воспитания патриотического чувства, но для нас в этом прошлом ценен прежде всего опыт Революции, революционных преобразований во имя братства трудового народа. Патриотизм нового общества не просто суть благородные чувства любви к своей земле и своему народу. Он обогащен чувством интернационализма. Вряд ли сегодня надо подчеркивать международный смысл такого «теоретического» уточнения.... Думаю, что с патриотизмом, как и с реализмом, надо обращаться не только бережно, но и умело-наступательно. И патриотизм и реализм — вечно живые силы истории и культуры — обращены не только в прошлое. Они прежде всего творческие, динамические силы. Надо отчетливо различать новое содержание патриотизма социалистической литературы. Что же касается движения форм реализма, то говорить об этом надо не скороговоркой, а профессионально, это главное, что мы должны анализировать, если хотим на деле помочь укреплению престижа социалистического искусства.

Вот и кажется мне, что стоит посмотреть на век XX уже как на некоторый итог, как более широкие временные рамки, нежели вынесенные нами в повестку дня 70-е годы... А внимательное изучение именно этого десятилетия поможет, видимо, нам с фактами в руках делать более весомые выводы.

Д. МАРКОВ

Тема нашего обсуждения весьма важна: мы стремимся охарактеризовать основные тенденции развития социалистических литератур 70-х годов. Вопросы, связанные с многонациональной советской литературой этого периода, уже обсуждались и продолжают обсуждаться на разных форумах критиков, в газетных и журнальных статьях. Вопросов этих, разумеется, коснемся и сегодня. Наш же аналитический обзор охватит литературы европейских социалистических стран. И мы надеемся, что из коллективного обсуждения возникнет объективная картина современного литературного процесса в социалистических странах, для которого характерны и общие, типологические тенденции, и, разумеется, яркое многообразие художественных форм.

Европейские страны социализма отметили свои 35-летние годовщины освобождения от фашизма и победы народно-демократических и социалистических революций. Накоплен значительный опыт во всех областях социальной и духовной жизни, который, конечно, необходимо обобщать.

Говоря о литературах 70-х годов, мы имеем в виду, что период этот не замкнут в самом себе, не есть нечто изолированное, а представляет собой живой процесс литературного развития — по законам преемственности что-то идет от 60-х годов, что-то будет продолжено в 80-е, и при этом развитие социалистических литератур в 70-е годы, несомненно, отличается и качественно новыми чертами. Попробуем назвать некоторые из этих черт.

В 70-е годы произошло заметное усиление связей и сотрудничества литератур социалистических стран. Речь идет не только об организационных связях и мероприятиях писательских союзов, о взаимных поездках, о числе подписанных соглашений. Имеется в виду гораздо большее — интенсивность процессов сближения, взаимодействия, взаимообогащения национальных социалистических литератур. Наиболее значительные их представители взаимно широко известны, их произведения становятся достоянием и фактором литературного развития других стран. Происходит то, что раньше и с необычайной характерностью выявилось и продолжает развиваться в многонациональной советской литературе: в общесоветском литературном движении активно участвуют писатели разных национальностей.

Социально-политическая близость социалистических стран, общность коммунистического идеала — это та основа, на которой возникают типологические черты и исключительное многообразие национально-специфических форм изображения жизни. Творческие связи национальных социалистических литератур способствуют обогащению каждой из них и всей социалистической литературы мира. И нам представляется, что все расширяющиеся сравнительно-типологические исследования этих литератур должны вестись именно под этим углом зрения.

Что нового в современной социалистической прозе? Имея в виду советскую литературу, многие критики пишут о тяготении к эпичности, к крупномасштабным формам обобщения. Сходные процессы наблюдаются и в других социалистических литературах, и это, конечно, обусловлено задачей изображения необычайно усложнившихся связей человека и общества.

Важнейшей особенностью современного литературного процесса в социалистических странах является стремление к углубленному раскрытию внутреннего мира человека, его духовно-нравственного об-

---

МАРКОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ (род. в 1913 г.). Советский литературовед, критик, член-корреспондент АН СССР; занимается проблемами истории болгарской литературы и сравнительного изучения литератур социалистических стран. Автор многих трудов, в том числе монографий: «Болгарская поэзия первой четверти XX века» (1959), «Болгарская литература наших дней» (1969), «Из истории болгарской литературы» (1973), «Проблемы теории социалистического реализма» (2-е изд.—1978), «Генезис социалистического реализма» (1970).

лика. Эта линия идет, конечно, от 60-х годов, но в последнее время она приобрела новые черты и нюансы. Мы ясно видим в творчестве наиболее значительных писателей расширение сферы нравственно-этической проблематики: остро осознается узость замысла тех произведений, которые замкнуты только на изображении быта, интимных переживаний; нравственная проблематика несет в себе философско-общественное наполнение, передает напряженность поисков смысла жизни, места человека в борьбе за социальный и духовный прогресс (вспомним, например, роман Е. Брошкевича «Долго и счастливо», в котором герой проходит путь от первой мировой войны до наших дней, утверждая историческую правду о социалистической революции, роман Г. Канта «Остановка в пути», в центре которого — анализирующая свой жизненный опыт личность. Герою трудно дается каждый его шаг, он идет к постижению революционной правды через преодоление тяжелого груза заблуждений; в романах П. Вежинова «Ночью на белых конях», Д. Фучеджиева «Река» и «Зеленая трава пустыни» видим образ нашего современника — носителя высоких требований гуманизма, видим его отношение к научно-технической революции).

Наш современник — строитель развитого социалистического общества, человек активной жизненной позиции, обладающий широчайшими, практически безграничными возможностями познания мира; ему чужды схемы и нормативные предписания, он требует живого, многостороннего подхода. Очевидно, с этим в немалой степени связано то расширение диапазона художественного многообразия, которое очень характерно для социалистических литератур 70-х годов.

Известный критик А. Бочаров опубликовал в журнале «Литературное обозрение» (№ 1, 1980 г.) статью, посвященную советской прозе 70-х годов. Он назвал ее «Эпос, миф, притча», подчеркивая тем самым важную направленность мысли: автор говорит о богатстве и многообразии способов художественного изображения как о характерной примете времени.

Конечно, было это и раньше. Но были и трудности. В 50-х годах, как известно, еще оказывали влияние вульгаризаторские трактовки эстетики социалистического реализма. Позже и в теории, и в художественной практике шел активный процесс преодоления узких представлений о творческом методе. В современных социалистических литературах широко проявляется исключительное разнообразие путей и форм правдивого и яркого изображения жизни.

Можно говорить о различных художественных формах на разных уровнях. Назовем прежде всего различия по типу художественного обобщения. Для многих широкоизвестных писателей характерна добротная традиционная повествовательность, пластические, жизнеподобные образы. На этом пути созданы замечательные произведения, например, Ю. Бондарева, К. Симонова, А. Зегерс, Г. Караславова, Я. Ивашкевича и других. Большое место в литературах занимает также документалистика, тематически связанная и с событиями второй мировой войны, и с современностью. Вместе с тем появляются и произведения иного характера: в интересной повести П. Вежинова «Барьер» немалую роль играют романтико-фантастические картины, сочетающиеся с реалистической экспрессивно-психологической образностью; фантастика на фольклорной основе, фольклорно-мифологические мотивы и образы определяют своеобразие творчества многих крупных художников — достаточно назвать Ч. Айтматова, Л. Мештерхази, Т. Новака, Й. Радичкова.

Мы говорим о различных художественных тенденциях в социалистических литературах, о типологической близости ряда писателей, которые являются, несомненно, яркими, непохожими друг на друга творческими индивидуальностями. Дифференциация форм и стилевых особенностей проходит и по другим линиям (композиция, жанры и т. д.) — идейно-эстетические принципы этих литератур способствуют возникновению и развитию самых многообразных форм художественной выразительности. Участники нашего обсуждения, очевидно, еще коснутся этих вопросов, приведут конкретные примеры.

В прямой связи с общим литературным процессом 70-х годов в социалистических странах находится и интенсивное развитие теории социалистического реализма. Это вызвано, во-первых, необходимостью обобщения богатой художественной практики, во-вторых, требованиями эпохи зрелого социализма — необычайно возросшей ролью культуры в современной жизни, а значит, и задачами осмысления ее места в качестве действенного фактора созидания нового общества.

Социалистический реализм превосходит по своим эстетическим возможностям все другие художественные методы и направления. Он опирается на марксистский метод познания мира, на принципы социалистического гуманизма, коммунистической партийности. Эти принципы находят свое различное специфически-образное преломление, они требуют многообразия художественных форм. Мы ясно видим, таким образом, единство, системную связь общих принципов метода и его поэтики, находящейся в развитии, чуждой абсолютизации каких-либо одних форм и приемов изобразительности. Из анализа этого единства вытекает наш вывод о социалистическом реализме как исторически открытой системе правдивого изображения жизни.

Такое единство, однако, не всегда объективно воспринимается и трактуется. Вокруг проблем нашего метода идет острая идеологическая борьба. Буржуазно-реакционная эстетика подвергает принципы социалистического реализма резким нападкам, пытается объявить его сводом догм, застывших схем, стереотипов и канонов. Ревизионистская критика, например Роже

Гароди в книге «Реализм без берегов», пытается разрушить упомянутое единство другим путем: говоря о социалистическом реализме, она приписывает ему такую широту, которая означает размывание его идейно-философских основ.

Марксистская эстетика противостоит этим взглядам. В нашей работе исключительно важно видеть в социалистическом реализме определенную систему — живую связь элементов, то единство общих принципов и поэтики, о котором говорилось выше. К сожалению, это не всегда так бывает. Мы иногда сталкиваемся со взглядами, авторы которых хотя и декларируют общие принципы метода, но, в сущности, недооценивают их возможности, ибо ограничивают поэтику социалистического реализма. Отождествляя реализм только с жизнеподобием, с изображением жизни в формах самой жизни, не принимая вывод о том, что социалистический реализм является принципиально новым типом художественного сознания, упомянутые авторы говорят о нем лишь как об одном из течений в социалистическом искусстве, лишая его тем самым черт метода, определенной идейно-эстетической системы.

Я не буду здесь называть имена, совсем недавно приходилось это делать («Дружба народов» № 3 за 1980 год, «Литературная газета» за 26 марта 1980 года). Скажу только, что подобная позиция возвращает нас на много лет назад, вызывая в памяти неприятные ассоциации. И, конечно же, она чужда живой практике и теории социалистического искусства как у нас в стране, так и в других социалистических странах.

В Болгарии, Венгрии, ГДР, Чехословакии есть интересные работы, посвященные проблемам социалистического реализма — его генезису, этапам развития в мировой литературе. Социалистический реализм показан как исторически обусловленное явление, как закономерный процесс в национальных литературах, показан как новый тип художественного сознания, наследующий завоевания демократического искусства прошлого и современности, как исторически открытый всему прогрессивному.

Такое понимание широты эстетической платформы социалистического реализма составляет, на мой взгляд, важнейшую линию современной теории нашего метода. Оно характерно для многих авторов — советских и зарубежных. Назовем в качестве примера хотя бы только две публикации: «Социалистический реализм: художественный опыт и теория» («Литературная газета» от 10 января 1979 года) и статьи целого ряда критиков и литературоведов, опубликованные в «Вопросах литературы» (в № 12 за 1979 год), касающиеся указанной проблемы. И нет сомнений, что это определившееся направление теоретической мысли будет и в дальнейшем плодотворно развиваться.

С. ШЕРЛАИМОВА

В литературе Чехословакии календарный рубеж 60-х и 70-х годов действительно явился началом принципиально нового этапа ее развития. В предшествующий период в обстановке общественно-политического кризиса 1968—1969 годов контрреволюционные силы пытались подорвать социалистическую направленность чешской и словацкой литературы, навязать ей западномодернистские образцы. Поражение контрреволюции способствовало созданию нового климата литературной жизни. XIV съезд КПЧ (1971) подтвердил в своих решениях полную поддержку партией художественного творчества в духе социалистического реализма и ленинского принципа партийности. Верность идеям социализма и социалистического искусства легла в основу деятельности вновь созданного Союза чешских писателей и Союза словацких писателей, которые в декабре 1977 года по принципу федерации объединились в новый Союз чехословацких писателей.

Марксистская критика Чехословакии (Л. Штолл, Д. Окали, В. Достал, С. Шматлак, И. Тауфер, И. Гаек, Г. Грзалова, В. Рзоунек и др.) активно включилась в разоблачение ревизионистских эстетических концепций, получивших распространение в кризисные годы. Знамением времени стала широкая опора на богатые традиции чешских и словацких критиков-коммунистов прошлого, а также на опыт советской эстетической мысли.

Качественные сдвиги в области художественного творчества, его укрепление на позициях социалистической идейности раньше всего сказались в поэзии — с ее способностью оперативно реагировать на изменение общественной атмосферы. Так, уже в 1970 году вышел в свет сборник стихов В. Завады «На пороге», который своим гуманизмом, очищающей душу искренностью и высокой нравственной требовательностью в известной мере предопределил общий пафос всей чехословацкой литературы 70-х годов. Книги Завады «На пороге» и «Спасибо, жизнь!» вместе с поэмой М. Валека «Слово», с новыми стихами А. Плавки, И. Тауфера, И. Скалы, М. Лайчиака, М. Руфуса, М. Флориана относятся к лучшим достижениям чехословацкой поэзии последнего десятилетия, достойно

ШЕРЛАИМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА. Советский литературовед и критик, доктор филологических наук. Автор монографий по литературе Чехословакии: «Станислав Костка Нейман» (1959), «Иржи Волькер и новые пути чешской поэзии XX века» (1965), «Витезслав Незвал» (1968), «Чешская поэзия XX века (двадцатые и тридцатые годы)» (1973) и статей по современной литературе и критике европейских социалистических стран.

продолжающей славные традиции С. К. Неймана и В. Незвала, И. Волькера и Л. Новомеского. Наибольшее развитие получила гражданская поэзия, отстаивающая высокие идеалы социалистического гуманизма, но существенно обогатилась и поэзия философская, и лирика, отражающая мир интимных переживаний нашего современника.

И все же я хотела бы присоединиться к тем критикам, которые называют роман ведущим жанром 70-х годов. Становление нового качества в чешской и словацкой прозе шло медленнее, чем в поэзии, но с нарастающей интенсивностью. Приблизительно с середины десятилетия в центре внимания читателей и литературной общественности оказывается роман, развитие которого ознаменовалось рядом несомненных успехов.

В чешской литературе надо прежде всего сказать о романе историческом — традиционном для этой литературы жанре, который в начале 70-х годов переживает расцвет. Доказательством служат такие книги, как трилогия Б. Ржиги из эпохи чешского короля Иржи Подебрада, роман В. Неффа «У королевы не бывает ног», романы М. В. Кратохвила из эпохи первой мировой войны «Европа кружилась в вальсе» и «Европа в окопах», «Сократ» Й. Томана и многие другие. Проблемы исторического романа широко обсуждаются в литературной прессе — например, этой проблематике был посвящен в 1978 году «круглый стол» журнала «Литерарни месичник», статьи в первых номерах этого журнала за 1980 год и так далее.

В чешском и словацком романе 70-х годов вообще можно отметить усиление внимания к истории своей страны, не только далекой, но и недавней: к межвоенному периоду и годам оккупации, первым послевоенным годам; стремление проследить в исторической ретроспективе особенности формирования современного чехословацкого общества. К наиболее интересным чешским романам этого плана принадлежат «Мой мальчик и я» Я. Коларовой и «Окраина» К. Мисаржа, в которых авторы — каждый по-своему и на своем материале — предприняли попытку проследить исторические и социальные корни некоторых типичных современных характеров и этических позиций. Становлению социалистической деревни посвящены романы Я. Козака и Я. Костргуна.

Все чаще писатели обращаются и к изображению современного человека в производственной обстановке. Наряду с такими известными писателями, как М. Рафай и В. Парал, здесь надо назвать и имена молодых: И. Швейда, Й. Фрайс. Я хотела бы сказать еще об одной чешской книге, вышедшей совсем недавно. Это «Осень в краю тигров» (1979) Я. Козака, новый роман прозаика, хорошо известного читателю по переводам его прежних произведений. Действие последней книги происходит в уссурийской тайге, а главными героями являются советские геологи Иван и Нарина. Роман привлек читателей не только поэтичностью картин дальневосточной природы, но и тем, что писатель ставит здесь «нравственный эксперимент», утверждающий чистоту и искренность человеческих взаимоотношений.

В словацкой литературе новый подъем романного творчества был связан с такими традиционными для этой литературы тематическими пластами, как Словацкое национальное восстание 1944 года и коллективизация сельского хозяйства. Оживленную дискуссию в критике вызвал роман Я. Йонаша «Одиннадцатая заповедь», освещающий начало кооперирования словацкого села. Романы о периоде второй мировой войны создали известный прозаик М. Крно и молодой писатель Э. Дзвоник. Но наибольшее внимание привлекла к себе посвященная этому времени трилогия В. Шикулы «Мастера», «Герань», «Вильма» — произведение талантливое, яркое, хотя и далеко не бесспорное. Шикула дал свое видение эпохи восстания, поразному воспринимавшегося разными слоями словацкого крестьянства, воспел созидательный труд в противовес разрушительной стихии войны. Но его гуманизму, его изображению простого человека подчас недостает социальной определенности. На мой взгляд, в последнем романе трилогии, «Вильма», внимание писателя слишком сконцентрировано на болезни Имриха и безуспешных попытках преданной Вильмы вернуть его к жизни. Тем не менее романы Шикулы — явление незаурядное, а споры вокруг них, особенно вокруг «Мастеров», всколыхнули словацкую критику, заставили ее глубже задуматься над кардинальными вопросами современной прозы.

К успехам словацкой прозы относится и «Помощник» молодого писателя Л. Балека, интересно возрождающего на материале первых послевоенных лет традиции реалистического социально-психологического романа — семейной хроники. Надо полагать, что предметом дискуссии может стать недавно вышедший в свет роман П. Яроша «Тысячелетняя пчела», действие которого происходит в словацкой деревне в конце прошлого — начале нынешнего века.

Что касается художественной формы романа, то здесь особенно заметно отсутствие каких бы то ни было жестких канонов. Если в 50-е годы идеалом романа считалась эпопея — широкое эпическое полотно с множеством героев и острым социальным конфликтом, а в 60-е, наиболее «модерные»,— малые жанры, психологическая проза либо же роман сложного построения, со сдвигом временных пластов и полифонией голосов рассказчиков, то по отношению к 70-м нельзя, пожалуй, назвать тип романа, которому бы читатели и критика отдавали особое предпочтение. Сюжет может развиваться в хронологической последовательности, как у Ржиги, или Йонаша, или Козака, а может — как у Коларовой — переносить читателя из 40-х годов нашего века в конец прошлого, из межвоенного периода — в 60-е годы. В романе могут «на равных правах» изображаться многочисленные герои, представляющие различные слои общества, как у Кратохвила, а в других случаях действие

может быть организовано вокруг одного-двух главных героев, как в «Окраине» Мисаржа или «Помощнике» Баллека. Специально стоит отметить усиление в прозе субъективно-оценочного начала благодаря образу рассказчика, который или выступает в романе непосредственно («Мой мальчик и я» Коларовой), или же реализуется в особой структуре языка повествования (Мисарж, Нефф).

И еще одно замечание. В последние годы постоянно дебатируется вопрос о взаимодействии литературы и телевидения, литературы и кино. Это вопрос отнюдь не абстрактной теории, а самой жизни, современной культурной практики. Сегодня наблюдается своего рода «уход» писателей в кино. На мой взгляд, лучшими произведениями 70-х годов такого крупного чешского прозаика, как Я. Отченашек, были его киносценарии — «Возлюбленные первого года», «Тень летящей птицы» и др. Широкую популярность получили фильмы, снятые по сценариям Я. Коларовой: «Девушки из фарфора» и «Лето с ковбоем» (эти сценарии были затем изданы в виде повестей). А об авторе сценариев ряда интересных фильмов, посвященных современной молодежи, К. Шторкане, пожалуй, правильнее сказать, что это не прозаик, пишущий киносценарии, а киносценарист, пишущий хорошую прозу.

Для литературы Чехословакии 70-х годов характерно укрепление сотрудничества двух составляющих ее братских литератур: чешской и словацкой. Стал шире размах взаимных переводов, налажена систематическая взаимная информация о литературных новинках, приносит свои результаты и объединение усилий критики. Можно с полным основанием говорить о постоянном обмене плодотворными импульсами как между чешской и словацкой литературами, так и между литературой Чехословакии и других социалистических стран.

В. ХОРЕВ

В феврале 1971 года «круглым столом» в «Вопросах литературы» подводились итоги литературного развития за рубежом в 60-е годы (отчет об этом заседании был опубликован в журнале «Вопросы литературы» № 6, 1971). Говоря о польской прозе, я отмечал тогда, что ее облик определило творчество писателей старшего и среднего поколений, что в ней преобладала морально-философская проблематика, внимание к человеческой личности. Повышенный интерес писателей к вопросам этики и политики, исторической и социальной обусловленности поведения человека и возможностей личности — все это вызвало расцвет эссеистской и вырастающей из нее философско-аналитической прозы. Большой успех выпал в 60-е годы на долю литературы факта, художественно-документальных жанров. Главные темы прозы 60-х годов — вторая мировая война и гитлеровская оккупация Польши, преобразования в деревне и ломка традиционного крестьянского сознания, польская история.

Эта характеристика в целом может быть распространена и на 70-е годы, ибо отмеченные черты присущи и прозе минувшего десятилетия, хотя она и не осталась без изменений.

В последние годы в литературу пришел большой отряд молодых писателей — только в 1974—1978 годах, например, дебютировало сто восемьдесят два прозаика, а еще тридцать восемь опубликовало свои вторые книги. Несмотря на это, достижения литературы 70-х годов связаны главным образом не с новыми именами, а с новыми произведениями уже известных писателей. Именно в этих произведениях отчетливо проявилась ведущая тенденция литературного процесса, объединяющая многие проблемно-тематические и жанрово-стилевые искания. Ее можно определить как художественный анализ формирования социалистических идейных убеждений и морали, анализ «польских дорог» к социализму, путей формирования нового единства нации, поиски истоков и корней современной общественной жизни. Эти поиски связаны и с осмыслением корней собственного творчества, с подведением некоторых итогов в прозе писателей старшего и среднего поколений, с приходом поры творческой зрелости для многих писателей — и для всей литературы народной Польши.

Особо следует сказать о замечательном мастере слова Ярославе Ивашкевиче, писателе, получившем мировую известность. С именем Ивашкевича, ушедшего из жизни в марте 1980 года, связана целая эпоха в развитии польской литературы. В 70-е годы писатель опубликовал несколько прекрасных итоговых книг. В новеллистике Ивашкевича 70-х годов (сборники «Сады», «Зарудье»), по верному определению критика В. Садковского, «достигнута глубина психологического изображения, позволяющая отнести эти произведения к числу подлинных творений мировой литературы», в ней проницательно и поэтично воплощены коренные проблемы человеческого бытия — жизнь, любовь, смерть, всегда волновавшие писателя. А его путешествие

ХОРЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1932 г.). Советский литературный критик; кандидат филологических наук. Автор работ по польской литературе XX века, в частности — «О литературе народной Польши» (1965); «Владислав Броневский» (1967); «Становление социалистической литературы Польши» (1978) и др.

по дорогам Польши, Италии и вместе с тем по дорогам памяти в книгах «Путешествия в Польшу», «Путешествия в Италию» полны глубоких обобщений и ассоциаций, раздумий над жизнью Польши и ее частицы — жизнью самого писателя, над европейской культурой и искусством.

Для наиболее приметных романов 70-х годов характерен широкий тематический и хронологический масштаб. В центре большинства из них — события военных лет. Именно на примере темы второй мировой войны — главной для всей литературы народной Польши — можно проследить типичные изменения в художественном сознании. Во второй половине 40-х — начале 50-х годов литература выполняла, говоря словами известного литературоведа К. Выки, «функцию солидарной памяти», стремилась засвидетельствовать преступления гитлеровцев и мужество патриотов, рассказать о пережитом нацией в «эпоху крематориев». В 60-е годы на материале военных лет в литературе ставились нравственные проблемы сегодняшнего дня, драматическим периодом польской истории поверялись современные этические представления. В 70-е годы изображение событий периода войны все чаще становится частью более масштабного художественного исследования современной истории Польши, родословной социалистического государства. Наиболее значительные книги 70-х годов рассказывают о современности как результате исторического развития, в котором годы борьбы польского народа с немецким фашизмом (а затем и первые послевоенные годы борьбы с реакционным подпольем) явились и временем рождения нового общественного сознания.

Произведений такого рода в 70-е годы появилось немало. При этом обращает на себя внимание большое разнообразие художественных средств. Дилогия Е. Брошкевича «Десять заповедей» («Долго и счастливо», «Не прелюбодействуй, не укради») построена как воспоминания главного героя, свободно оперирующего временем, а сам образ героя условен и символичен. Роман Т. Голуя «Личность» — лишь по видимости «документальный» — смонтирован из вымышленных документов. Е. С. Ставинский в романе «Записки молодого варшавянина» использует форму дневника. Т. Новак («Черти») обращается к притче, к фольклорным преданиям и мифам. Я. Лысаковский в трилогии «Солдаты», «Партизаны», «Ковали» об участии разных поколений рабочей семьи в борьбе за свободу Польши во время войны и в строительстве социализма в Польше в послевоенные годы и Е. Гжимковский в романе «Верные шрамы» предпочитают традиционные средства: здесь мы находим «всезнающего» повествователя, подробную характеристику героев, описание их размышлений и переживаний.

Ярким примером стремления писателя к обобщающему взгляду на недавнюю историю Польши и собственное творчество являются новые романы Е. Путрамента «Бегство» и «Возвращение». Они открывают задуманный писателем многотомный цикл «Избранники». Е. Путрамент использует мотивы и сцены из своих прежних романов «Действительность», «Сентябрь», описывавших отдельные периоды польской жизни, включая их в значительно более широкое, панорамное повествование. В центре нового произведения Путрамента — судьба двух главных героев, интеллигента Анджея Издебского, еще до войны связанного с революционным движением, и довоенного офицера польской армии Маркевича. Разные пути приводят героев в народное Войско Польское, сформированное на территории Советского Союза. Им приходится преодолевать взаимное недоверие, освобождаться от груза ложных представлений о патриотизме, о жизни Советской страны. В битве под белорусской деревней Ленино, в боях за освобождение польского Люблина растет и крепнет новое, интернационалистское и социалистическое сознание героев, чувство ответственности за будущее освобождаемой родины.

Действие романа, хотя и не документального, прочно опирается на подлинные исторические события; наряду с вымышленными героями в нем — реально существовавшие личности, руководители Союза польских патриотов и Первой армии Войска Польского — В. Василевская, генерал Берлинг, Борейша, Грош. Участвует в событиях, описываемых в романе, и офицер по политико-просветительной работе дивизии имени Т. Костюшко — Ежи Путрамент.

К глубоким философским обобщениям исторического процесса, к изображению актуальных социальных и этических конфликтов, к исследованию нравственных принципов современного человека, формирования социалистической морали стремятся и писатели «деревенской» прозы 70-х годов — Ю. Кавалец «Переплывешь реку...», Э. Редлинский «Коноплинка», Я. М. Гизгес «Пронзи тень», Т. Новак «Пророк», З. Тшишка «Очереты» и другие. Подробнее о «деревенской прозе» в 70-е годы я говорил за «круглым столом» в «Иностранной литературе» [1].

В области исторического романа в 70-е годы новыми книгами подтвердили свою высокую репутацию такие известные писатели, как Т. Парницкий, А. Кусьневич, Т. Голуй. Но наибольшее внимание критики и читателей заслуженно привлекли исторические произведения В. Терлецкого. Он дебютировал в 1958 году книгой рассказов, а в 70-е годы издал романы и повести «Две головы птицы» и «Возвращение из Царского села» — обе книги о польском национально-освободительном восстании 1863 года; повесть «Отдохни после бега» переведена в 1979 году на русский язык. Терлецкого не интересует прошлое само по себе, он ставит «вечные» вопросы человеческого бытия, которые по-разному преломляются в зависимости от обстоятельств. При этом он не конструирует парабол, не проводит сомнительных аналогий с современностью, что было харак-

[1] См. «ИЛ», 1979, № 1.

терно для ряда исторических произведений конца 50-х — начала 60-х годов. Его интересует внутренняя жизнь человека в драматических и трагических ситуациях, порожденных конкретной реальностью. Дух изображаемой эпохи писатель точно воссоздает в традиционной, казалось бы, манере, требующей, однако, большого мастерства. Внимание к детали, отсутствие многословных характеристик и описаний, сдержанный, бесстрастный тон повествования, диалог характеризуют прозу Терлецкого. Главное в художественном мироощущении писателя — психологическое понимание истории, причем психология и мораль его героев исторически обусловлены.

Незаурядное явление в современной польской прозе — повесть В. Зелевского «Последний привал». В ней писатель по-своему подошел к освещению темы польского национально-освободительного восстания 1863 года — центр тяжести его повести лежит в сфере историко-философских размышлений: на материале истории поставлены морально-философские проблемы — актуальные и для последующих поколений поляков,— которые во многом могут объяснить генеалогию национального польского самосознания.

В. БРИТАНИШСКИЙ

То, что 70-е в польской поэзии ощущаются всеми как четко отграниченные от 60-х, в значительной мере связано с появлением новых молодых имен. Поначалу это был пяток — десяток имен, очередная «смена караула», как выразился один из польских критиков по тому же поводу в конце 50-х годов. Но вскоре стало ясно, что молодые 70-х годов «наступают» (если пользоваться той же, военной метафорикой) «массированно».

Два момента очевидны. Четкое членение во времени на два «эшелона», сменяющих друг друга. «Первый эшелон» — примерно 1968—1974 годы, «второй» — 1974—1975 годы (и продолжает пополняться). Расширение географии дебютов: «первый эшелон» — из Варшавы, Кракова, Вроцлава, Познани, «второй» — из тех же городов плюс Гданьск, Катовице, Люблин и так далее (список городов растет).

Расширение географии характерно не только для молодой польской поэзии. Работа многих поэтов постарше, дебютировавших двадцать, двадцать пять лет назад, но живущих на «периферии» (каковой в польской поэзии до недавнего времени числились все города, кроме Варшавы и Кракова), оказалась замечена именно в последние годы. Но в молодой поэзии города западных земель, промышленного юга страны, польского побережья Балтики особенно наглядно предстают как новые и быстро растущие литературные и культурные центры. Повсеместно появляются региональные альманахи молодой поэзии. Города и воеводства соревнуются за «первое место по молодым». И даже сложилась «гданьская школа» молодых поэтов в последние несколько лет.

Ядром «первого эшелона» молодых были поэты так называемой новой волны. Многие черты поэзии «новой волны» и всего «первого эшелона» присутствовали уже в начале пути Евы Липской, опередившей своих сверстников-юношей по дебюту (она же — единственная пока что в этом поколении — уже опубликовала свое «Избранное»). Повышенный интерес к сегодняшнему дню, а если к истории, то к ее ближайшему отрезку. Динамизм и активность позиции. Гражданственность и примат гражданской лирики. Публицистичность, поэтика прямого высказывания, поиски «речи точной и нагой». Особенно — «нагой», то есть неприязнь к украшательству, аскетизм, равняющийся на Ружевича, «врага» метафоры. Отношение к поэзии как к рупору общества, или по меньшей мере молодого поколения,— отсюда не лирическое «я», а лирическое «мы» (стихотворение-декларация Липской с этим названием, открывавшее ее первую книгу, сейчас уже стало хрестоматийным). Наконец, оптимизм поколения, «родившегося в сорок пятом», не знавшего ужасов войны, росшего в условиях народной Польши.

Молодые поэты начала 70-х охотно выступали со статьями и рецензиями, с декларациями в стихах и прозе. Подчеркивали свою причастность современности (одна из поэтических групп называлась «Тераз», то есть «Сейчас»), переориентировку с традиций «старой» поэзии (будь то барокко или романтизм) на традиции «современные». Их ориентиры — революционный футуризм Бруно Ясенского и Анатоля Стерна, гражданская лирика Маяковского и Броневского, художественно-идеологические поиски польских поэтов-новаторов 20-х годов Пшибося и Пайпера.

Нетрудно заметить прямую связь появления такой поэтической молодежи со вступлением народной Польши в период научно-технической революции, с резким ускорением процессов индустриализации и урбанизации. Лозунг Пайпера 20-х годов — «масса — машина — город» (при всех поправках, накопившихся за полвека), поэ-

---

БРИТАНИШСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ (род. в 1933 г.). Советский писатель, автор сборников стихов и книги прозы, статей и очерков о польской поэзии XVI—XVII и XX вв. Переводит английских, американских и польских поэтов.

зия Пайпера и его творчество как «предтеоретика» будущей социалистической культуры привлекают сейчас не только молодых: именно в 70-х годах издано многотомное и академическое по своей солидности собрание сочинений Пайпера.

В этом контексте симптоматичен и рост интереса к старым и новым стихам младших сподвижников Пайпера и Пшибося — Адама Важика и Ялю Курека. Оба они интенсивно и ярко работают в благоприятном для них климате 70-х годов. Три «Избранных» Важика и его новая книга стихов «События» оживленно дискутируются. Курек, именно теперь удостоенный премии министра культуры за творчество в целом, опубликовал ретроспективный сборник своих старых стихов, а «Смерть ландшафта» — одно из самых выразительных в польской поэзии отображений многих экологических проблем современной цивилизации.

Здесь, пожалуй, уместно сказать и о Мариане Гжещаке. К 70-м годам относится его лучшая книга «Август, сердцебиение» и два его «Избранных», позволивших оценить, хотя и с опозданием, его роль в польской поэзии последних двадцати лет: роль непосредственного предтечи 70-х годов. В своем поколении дебютантов конца 50-х годов он был единственным поэтом современного города и индустриального труда, космоса и кибернетики. «Я несколько выбежал в будущее и оказался один»,— жаловался он в стихотворении тех лет. Его время пришло теперь: молодые начала 70-х годов подхватили урбанизм и техницизм молодого Гжещака.

К 1975 году «новая волна» несколько спала. В поэзии молодых намечается ряд других — очень разных — явлений и тенденций. Некоторые из них, вероятно, временны и эфемерны. Более устойчивые и жизнеспособные будут развиваться и, может быть, станут содержанием молодой поэзии 80-х. Суммировать и тем более «подводить черту» рано, но можно попробовать перечислить. Возникает, как уже говорилось, поэзия малых городов, провинции. Появляется еще одна плеяда крестьянских поэтов, среди которых польская критика справедливо выделила Юзефа Барана. Дебютанты последних лет противопоставляют односторонней, как им кажется, аналитичности и рассудочности поэтов «новой волны» примат эмоциональности. У некоторых молодых наблюдается возврат к символизму (особенно к его зачинателям — Бодлеру и Рембо). Подчеркнутая камерность лирики у других оборачивается отказом от сложных задач изображения современной действительности, обнажает инфантилизм (в отдельных случаях — привлекательный, в массе — пугающий). Правда, иногда у «второго эшелона» тот же интерес к внутреннему миру личности, присущий лирике по самой ее природе, оказывается плодотворным. Таковы, например, первые книги Станислава Гостковского из Гданьска, автор которых пропускает через себя всю историю своего народа, чувствует себя участником и битвы под Грюнвальдом, и битвы под Ленино.

Дебютанты начала 70-х были — особенно в декларациях — приверженцами поворота к реализму (в этом они совпадали с общим направлением движения всей польской поэзии), у дебютантов второй половины 70-х, наоборот, усиливаются черты романтического мироощущения. Впрочем, влияние романтизма в польской поэзии никогда не прекращалось. Не обязательно это возврат к Мицкевичу или Словацкому, хотя за лирикой Гостковского тень Словацкого иногда видна. Романтическая идея личности для польской молодежи 70-х персонифицировалась в двух фигурах ближайшего прошлого: Халина Посвятовская и Кшиштоф Бачиньский. Единство (как того требовал романтизм) жизни и поэзии каждого из этих двух поэтов, самая их молодость, ранний взлет и ранняя смерть предуготовили рождение легенды. К возникновению «культа» Бачиньского и Посвятовской причастны и старики — Казимеж Выка и Ярослав Ивашкевич, но велика здесь и роль новых молодых.

Своим беспокойным присутствием молодые поддерживали атмосферу постоянного обновления, стимулирующую поиски поэтов разных поколений. В этой атмосфере рождалось самое значительное, пожалуй, среди новых явлений польской поэзии 70-х годов: книги Анны Свирщиньской «Я — баба» и «Я строила баррикаду». Личное начало и гражданственность, разговор от себя, но обо всех — словом, все постулаты молодых 70-х годов реализовались именно здесь. С той разницей, что книги этой «самой молодой» польской поэтессы не попытки, а свершения. Казимеж Выка писал, что стихи Свирщиньской о войне относятся к направлению детального реализма Ружевича и как художественное достижение ни в чем не уступают лучшим стихам Ружевича первых послевоенных лет.

Я ограничился новыми именами и новыми явлениями. Это «меняющаяся часть». Но есть в поэзии и «постоянная часть». Есть поэты, реагирующие не на короткопериодические ритмы времени, а на длиннопериодические. В 67-летнем поэтическом пути Ярослава Ивашкевича последнее десятилетие не было отдельным отрезком: «последний» (и, несомненно, высший) Ивашкевич начался книгой стихов «Завтра жатва», а следующие четыре книги 60-х и 70-х годов не разделены никакой цезурой. Подобным образом для Яна Болеслава Ожуга и 60-е годы (восемь новых книг), и 70-е (пять новых книг и «Собрание стихотворений») одинаково были временем сбора плодов: стало ясно, что этот поэт, которого по инерции долго числили «крестьянским», давно уже поэт общенациональный и общечеловеческий. А Тадеуш Новак вот уже лет пятнадцать пишет одну-единственную поэтическую книгу — «Псалмы», вновь и вновь переиздавая ее, расширяя, достраивая, перестраивая. Мощное здание этой книги растет у нас на глазах, представая как памятник тысячелетней истории духовной жизни трудового польского крестьянства от языческих времен до наших дней.

Ю. ГУСЕВ

Как и в других социалистических странах — об этом свидетельствуют выступления моих коллег,— литературный процесс в Венгрии на протяжении двух минувших десятилетий характеризуется значительным разнообразием жанрово-стилевых поисков. В том, что поиски эти не выливаются в культ самоцельной новизны, носят в основном здоровый, конструктивный характер, большую роль играет марксистская критика, а также авторитет национальной классики, авторитет таких выдающихся мастеров слова, пламенных революционеров, как Петефи, Ади, Аттила Йожеф и другие.

В чем можно видеть конструктивный характер этих поисков?

Прежде всего, конечно, в том, что они обогащают реалистическое ядро литературы. В прозе, например, «механизм» этого обогащения в общих чертах можно себе представить так: реалистическая проза, отражающая жизнь в формах самой жизни, стремится вскрыть внутренние пружины социальных процессов, причины тех или иных нарушений во взаимоотношениях личности и общества, препятствий, которые стоят или появляются на пути к гармонии этих отношений. Но порой писатель ищет другой способ проникновения в суть вещей и явлений. Здесь наметились два пути. Первый: обращение к факту, документу, очерковому описанию. На этой основе существует венгерская «социография», особая группа жанров, занимающая промежуточное положение между литературой и социологическим исследованием. И второй путь — усиление в художественном произведении условных элементов, создание своеобразных литературных моделей, с помощью которых художник дает свое решение поднятой им жизненной проблемы. Это «парабола», к которой относят всякого рода притчи, гротескно-фантастические романы и т. д. Самое существенное в параболических формах состоит в том, что использование их опытным художником оправдано и плодотворно, они обогащают арсенал приемов реалистической литературы, расширяют изобразительные и аналитические возможности реализма, усиливают его идейный и эстетический эффект.

Какие конкретные примеры можно привести в связи с этим?

ГУСЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1939 г.). Советский литературовед, переводчик; кандидат филологических наук. Специалист по истории венгерской литературы XX века. Автор статей о венгерских писателях и о новых явлениях в современной прозе Венгрии.

Один из них — судьба и роль «социографии». Этот жанр в венгерской литературе появился и громко заявил о себе еще в 30-е годы; у его колыбели стояли Дюла Ийеш, Йожеф Дарваш, Петер Вереш, Пал Сабо, Ласло Немет и другие, смело и беспристрастно показывавшие истинное положение вещей — главным образом в венгерской деревне — и своей верностью фактам разоблачавшие официальные мифы о благоденствии крестьянства при хортистском режиме. Но в тех условиях «социография» не успела в полной мере раскрыть свои возможности. Может быть, поэтому в сознании читателей, да и писателей сохранилось полулегендарное представление о ней как о едва ли не революционной силе, искательнице и носительнице правды... В 60-е годы «социография» вновь заняла заметное место в литературе; начала издаваться фундаментальная серия «Открытие Венгрии», причем огромные и чаще всего не слишком «читабельные» тома серии становились своего рода бестселлерами. Все ограничения перед «социографией» были сняты, она могла теперь продемонстрировать, на что способна. Вероятно, поэтому оказалось, что возможности ее хотя и велики, но скованы именно привязанностью к факту, отрицанием ею художественного вымысла. К подобному выводу приводит нас и некоторое падение популярности жанра, то, что о нем уже не так много говорят. Вывод этот звучит и в работах некоторых венгерских критиков.

Что же дала «социография» реалистической литературе? Прежде всего, конечно, умение и привычку не уклоняться от правды, анализировать не приукрашенное, а действительное положение дел. Но, кроме того, «социография» вместе с родственными ей жанрами, строящимися на документе, на факте, научила литературу в целом относиться к документам, к объективным деталям как к эстетической материи. В венгерской литературе в последние годы появилась большая группа произведений, которые в целом можно было бы назвать «литературой поиска прошлого». Это и не воспоминания, и не семейные романы, но и то и другое, взятое вместе и образующее некоторое новое качество. Главное в них — стремление найти свои «корни»; возможно, эта потребность появилась как реакция на слишком уж стремительный темп жизни, на быстрые изменения исторической ситуации — история Венгрии в XX веке, как и история многих других стран Восточной Европы, поистине головокружительна. Важную роль в этих произведениях играет документальный подход, кропотливое восстановление фактов, деталей, действительных событий. В этом плане едва ли не самый показательный пример — роман Магды Сабо «Старомодная история», в котором писательница, изучив старые письма, дневники, хозяйственные книги, собрав свидетельства живых очевидцев, «воскрешает» жизнь своей матери.

Во многом близки роману Магды Сабо книги, которые с документальной точностью, с предельной объективностью стремятся восстановить не столь давнее прош-

лое венгерского народа, вскрыть «корни» сегодняшнего национального сознания. Наиболее значительные из этих книг — «Без власти» Имре Добози, «Счастливое путешествие доктора Фауста в преисподнюю» Ласло Дюрко, «Необыкновенная жизнь доктора Крауса» Гезы Мольнара, романный цикл Дюлы Фекетё и другие.

Пока что речь шла об одном полюсе — полюсе факта. Приблизительно та же закономерность — в плане обогащения реалистической литературы — может быть прослежена и на материале произведений с условными, «смоделированными» ситуациями. Возьму один пример. У нас хорошо известен роман Лайоша Мештерхази «Загадка Прометея». Автор освобождает благородного титана, давшего людям огонь и ремесла, и пускает его по свету, чтобы он увидел плоды своего подвига. Мир, куда попал Прометей, далек от идеального: за миллион лет, проведенных Прометеем на скале, люди освоили не только ремесла, но и военное дело, на прометеевом огне куется оружие, которое служит дворцовым интриганам и фанатикам. Писатель ставит Прометея перед дилеммой: признать свой подвиг бесполезным, даже вредным — или верить, несмотря ни на что, что человек все же станет когда-нибудь равен богам. И тут активно сказывается характер самого Мештерхази — Прометей оказался настоящим диалектиком, сумев за явлением увидеть закономерность, понять, что на свете не бывает идеальных ситуаций и любая идея, даже самая прекрасная, пробивает себе дорогу через повседневность, через противоречия. На созданной им модели Мештерхази исследует отношение революционера к своему делу, к результатам своей борьбы — исследует как коммунист, как человек большого сердца и большой ответственности.

Надо сказать, что «парабола» не всегда оправдывает себя: порой она ведет не к истине, а к бесплодным спекуляциям, к голому релятивизму. Если по отношению к «социографии», к факту венгерская литература в последнее время преодолела «детские болезни»: некритический подход, идеализацию,— то «парабола» еще не всегда бывает функционально оправданна; особенно заметно это в творчестве молодых писателей.

Несколько слов о поэзии. Положение здесь довольно сильно отличается от положения в прозе. Венгерская поэзия находится сейчас в процессе изменения: некоторые критики говорят о совершившейся в поэзии «революции», которая дала ей новое художественное видение, выразившееся и в новой поэтике. Суть этой «революции» заключается в повороте от повествовательности, конкретности, логичности к сугубо «метафорическому» мышлению, которое само собой уже означает некий особый способ художественного познания мира, внешнего и внутреннего. Едва ли не обязательным признаком этой поэзии признается изобилующий отвлеченными понятиями, ассоциативный, часто зашифрованный язык. Когда говорят о наиболее ярких представителях этой «метафорической» поэзии, обязательно называют Ференца Юхаса, Ласло Надя, Шандора Чоори, Яноша Пилински; за ними идут многие молодые поэты... Нам кажется, утверждения о такого рода «революции» следует пока воспринимать с осторожностью. Прежде всего потому, что картина современной венгерской поэзии не выказывает какой-то несомненной определенности, единства. Например, те же критики лидером «поэтической революции» считают Дюлу Ийеша; однако как раз его лирика, и прежде и теперь, отличается ярко выраженной конкретностью и логичностью, хотя это именно поэтическая конкретность и логичность, неадекватная той, что характерна для прозы. По отношению к поэзии Дюлы Ийеша как нельзя более справедливо звучит сформулированный Аттилой Йожефом тезис: «Лирика — логика, хотя и не наука». Но Ийеш отнюдь не стоит особняком в венгерской поэзии. Так что, возможно, «поэтическая революция» приведет или к расщеплению венгерской поэзии, или к каким-то, пока еще не поддающимся предвидению, результатам.

Надо думать, и идейное, и эстетическое развитие венгерской литературы, тенденции которого более четко прослеживаются в прозе и пока что с трудом — в поэзии, в ближайшем будущем, как и прежде, будет тесно связано с тем, насколько серьезно литература отнесется к своим общественным функциям, к своему призванию на нынешнем этапе построения развитого социализма. На состоявшемся в марте 1980 года XII съезде ВСРП товарищ Янош Кадар в Отчетном докладе съезду ясно сформулировал пожелания партии писателям: «В подъеме культуры нашего народа писателям, художникам принадлежит почетная, ответственная и ничем другим не восполнимая роль. Наша партия сознает, что художественное изображение сложных явлений нашей эпохи — задача нелегкая. И все же мы надеемся, что писатели и художники не удовлетворятся поверхностным изображением, а еще более проникнут в суть явлений».

Жанрово-стилистическое разнообразие, постоянный поиск — важное, хотя, конечно, не единственное условие успешного выполнения этой задачи.

Е. МАЛЫХИНА

Литературный процесс не может быть формально рассечен на отрезки: 60-е — 70-е — 80-е... И прежде всего потому, что явления, наиболее характерные для литературы сегодня, непременно корнями уходят во вчера, а молодые, неокрепшие еще побеги расцветут, вероятно, завтра полным цветом.

Вспомним всего лишь несколько книг 60-х годов, вызвавших самые щедрые отголоски в критике, поочередно именовавшихся «книгами года»: «Марта» — роман Гезы Молнара, «Двадцать часов. Роман-репортаж» Ференца Шанты, «Холодные дни» — повесть Тибора Череша, «Кладбище ржавчины» — повесть Эндре Фейеша, «Пьяный дождь» — роман Йожефа Дарваша, «Уж лучше пусть больно» — избранные рассказы и повести Эржебет Галгоци, «Макра» — роман Акоша Кертеса. Сразу бросается в глаза большое число произведений, в которых испытующий взор художника устремляется на трагические для страны события осени — зимы 1956 года. К началу 60-х годов общество в основном уже оправляется после этих событий, оно живет и накапливает силы, но, чтобы болезнь прошла бесследно, мало загасить ее, нужно до конца понять ее причины, истоки. Отнюдь не копанием в прошлом, но заботой о нравственном здоровье общества движимы Й. Дарваш, Г. Молнар, Ф. Шанта, А. Кертес, когда мужественно и правдиво, пусть даже не во всех случаях с равной мерой объективности, прослеживают ход истории и то, как отражаются ее перипетии в душах людей.

Нельзя не вспомнить здесь большое эпическое полотно Лайоша Мештерхази — роман «Пора возмужания», повествующий о нелегкой судьбе поколения, чья юность пришлась на конец 30-х годов, когда в Европе уже полыхала война и над Венгрией грозно навис фашизм, а зрелость наступила в сложнейшие, ответственнейшие 50-е годы. Роман насыщен глубокими раздумьями писателя о нашей эпохе, о путях развития мирового коммунизма и построения нового, справедливого общества, способного отвергнуть, преодолеть всяческую фальшь, демагогию, фарисейство. Герой Мештерхази гордится тем путем, по какому прошел со своими единомышленниками — через фронты республиканской Испании, через подполье в хортистской Венгрии... Но не самолюбование, а глубокая озабоченность характерны для него — озабоченность грудой предстоящих дел, честное признание ошибок, случившихся по неопытности, незнанию, нестойкости, и страстное желание, накапливая опыт и мудрость, искать и находить верную дорогу вперед.

Появление подобных книг было актом действенной любви к своей стране.

В 70-е годы социально-этическая проблематика приобретает явно выраженный антимещанский характер, что с особой остротой чувствуется в первой половине десятилетия, что становится главенствующим в новеллах и пьесах Эндре Иллеша, Кароя Сакони, Иштвана Чурки, в повестях и рассказах Э. Галгоци, романах и новеллах Эмиля Грандьера Коложвари, Анны Йокаи. При этом заметно крепнет в литературе сатирическая струя.

Ни один из названных писателей ни в чем не похож на другого. И от этого еще более явным становится ощущение, что требовательность к нравственному потенциалу лежит в самой жизни, а литераторы чутко восприняли и подхватили то, что сегодня главное.

Творчество Э. Галгоци, знающей венгерское село как мало кто из писателей послевоенных поколений, насыщено драматическими ситуациями, выхваченными прямо из жизни. Галгоци часто называют «крестьянским писателем», но она соглашается на это лишь с оговорками: «Когда нынче кто-то произносит «крестьянский писатель», он должен непременно уточнить, о каком крестьянстве пишет этот писатель: о том ли, каким оно было, или о том, каким станет?» В нынешнем селе, например, которое гудит машинами, волнуется проблемами мира, живут крестьяне, живут их дети, которые завтра уедут в город студентами, рабочими, живут механизаторы и врачи, учителя, инженеры. Все — со своими проблемами. Они трудятся с огромной, многосторонней отдачей, но подчас проявляют и своекорыстие, отчужденность, обывательскую жажду обогащения. Все это кипит в произведениях Галгоци.

У К. Сакони — автора талантливых комедий «Телевизионные помехи» и «Парик из Гонконга», известных и русскому зрителю,— своя «площадь» наблюдений: это город, столица, причем та ее среда, которая так или иначе «достигла» предела своих желаний, чувствует себя устроенной в жизни. С каким мастерством и задорным сарказмом отдает Сакони на всеобщее обозрение самодовольное чванство и духовную пустоту обывателя, прикрывающегося разной — неважно, какой именно, важно, что демагогической,— фразеологией, как точно и смешно показывает он всю фальшь пафоса, когда сразу видно, что нет за ним ни истинного чувства, ни полезного дела!

Мастер психологического анализа Э. Иллеш избирает своим героем (пьеса «Раскрашенные небеса») «молодого человека, который — по определению самого автора — в каком-то смысле тонет от обилия возможностей проявить себя... Он просто привык, повернувшись спиной к неприят-

---

МАЛЫХИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Советский переводчик, литературовед. Автор многих статей к изданиям венгерских писателей на русском языке. Основные переводы с венгерского: Ласло Немет «Траур», Дюла Ийеш «Шандор Петефи», Тибор Дери «Ответ» и «Милый бо-пэр!», Ференц Шанта «20 часов», Дюла Фекетё «Смерть врача», Лайош Мештерхази «Загадка Прометея» и др.

ным сторонам действительности, забавляться действительностью приукрашенной». Скрупулезно и убедительно вырисовывает писатель процесс душевного опустошения человека.

Среди других произведений И. Чурки за минувшее десятилетие особенно выделяется его острая, почти гротесковая комедия «Натурные съемки» (у нас идет во МХАТ'е под названием «Кино»). Проблемы творческого мужества, опасности житейского компромисса в творческой биографии художника стоят здесь особенно остро. Но не осуждение художника, согласившегося на банальную облегченность своего же замысла,— главный вывод пьесы, хотя это разумеется само собой, а то, что основную потерю при этом несет общество, когда «оберегает» себя от беспокойной, ищущей, плодотворной мысли.

Коль скоро мы говорим о социально-этической проблематике в венгерской литературе 70-х годов, то никак нельзя не сказать, хотя бы самым кратким образом, еще о двух методах подхода к этой тематике — методах совершенно самостоятельных, но словно бы друг друга оплодотворяющих. С одной стороны, это так называемая параболическая проза, с другой — проза социографического направления, о чем, идя своим ходом мысли, говорил и Юрий Гусев. Хорошо, что они сосуществуют и отвлеченно-обобщающая мысль первой не затеняет конкретного поиска в реальных условиях жизни второй. То, что произведения такого рода, как «Загадка Прометея» Л. Мештерхази, «Храни тебя бог, Ланселот!» Э. Герейеша, «Судья» Т. Бараня, «Изабелла Испанская» Э. Иллеша, к середине 70-х годов стали появляться одно за другим, свидетельствовало о несомненной потребности в некотором отстранении от конкретики жизни ради более углубленного, философского ее осмысления. Материал истории, даже мифов, как всегда в таких ситуациях, дает мысли желанную раскованность и притом сосредоточенность на главной идее.

А рядом с этим потоком шел другой, устремленный в самую гущу жизни сегодняшней, реальной, со всеми ее свершениями, но и острейшими нуждами, заботами, бедами. И не вообще, а вполне конкретно — в данной области, районе, селе, комбинате. Регулярно стал выходить альманах «Глазами писателя» — известные всей стране писатели, как Магда Сабо, Дёрдь Молдова, Дюла Чак и многие другие, выступали то в альманахе, то с целыми книгами — плодами серьезного исследовательского труда, когда изучение той или иной области сопрягалось со вдумчивыми беседами с местным населением. Одним из самых интересных опытов, вызвавшим огромный резонанс, был опыт журналиста и писателя Ласло Бенчика, несколько лет трудившегося плечом к плечу с теми, кто стал впоследствии героями его большого труда «История: взгляд снизу» (сценический вариант ее вот уже несколько лет идет в венгерских театрах). И в этой социографической литературе — по видимости целиком строящейся на максимально бесстрастном изложении фактов — главным была и есть жизнь людей.

На этом можно было бы кончить мой невольно краткий обзор характерных явлений в венгерской литературе, в прозе 70-х годов, если бы под самый, как говорится, занавес — в 1979 году — не появились два серьезных романа, по описываемому в них времени как бы продолжающих один другой. Речь идет о войне, участии Венгрии в ней и выходе из нее, начале нового пути. Это большая и сложная тема для венгерского народа, чьи правители сорок лет назад ввергли страну в войну на стороне фашизма, сделали ее сателлитом гитлеровской Германии.

По-разному приближались венгерские писатели за минувшие годы к этой необходимой и мучительной теме, очень долго достойное воплощение в художественной литературе находили лишь крайние, полюсные позиции — сопротивленцы, количество которых и не могло быть особенно велико в той обстановке, либо ярые нацисты, которые, разумеется, тоже не могли составлять большинство даже в хортистской армии. Между тем рассмотреть и понять объективно, подлинно реалистически весь тот сложный конгломерат людей, вовлеченных в войну, чуждую, ненужную народу,— конгломерат, многие элементы которого даже помимо воли своей, а просто ходом истории конструктивно влились в новое общество, заново созидавшее страну,— задача важнейшая.

В этой связи особо значительным событием можно назвать появление в печати нового большого произведения Т. Череша «Похотливые статуи». Собственно говоря, это «двойной роман» (или «романы-близнецы», как называет свое детище автор) — произведение чрезвычайно сложное и по построению своему, и по заключенному в нем материалу. Действие этого «двойного романа» идет сразу в нескольких временных ракурсах, на нескольких уровнях сознания, если можно так выразиться,— создавая некую полифоническую картину, на которой личность одновременно — и песчинка и творец Истории.

Герои его мучительно бьются в сетях, наброшенных на них историей, ищут выход, дорогу в завтра, а между тем главные-то нити этой «сети Истории» им даже и не видны либо становятся видны годы спустя, когда события войны давно отгремели.

Интересно, что едва ли не в тот же месяц, что и роман Череша, вышел в свет роман И. Добози — «Без власти». Интересно, собственно, потому, что его герои как бы вышли из того самого кипящего котла, в котором увидел и, мучаясь сам, запечатлел их муки Череш. У Добози они-то и есть те самые люди, которые каждый по-своему — кто сразу, со страстью, а кто через сомнения, даже протест — вживаются во вновь зачинающуюся в стране жизнь.

(Окончание в следующем номере)

Критика

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ЛИТЕРАТУРА

А. БЕЛЯЕВ

МИФЫ ДЕМИНГА БРАУНА

Американский советолог Деминг Браун числится профессором русской литературы в Мичиганском университете. Недавно он выпустил в свет очередную книгу под названием «Советская русская литература после Сталина». Книга вышла в Лондоне, Нью-Йорке и Мельбурне. В обычных для американских изданий рекламных отзывах, помещаемых на обложке, книга преподносится как «долгожданная», «единственная по глубине и охвату исследуемой темы» и настоятельно рекомендуется прежде всего для использования в качестве вузовского учебника, а также и для всех прочих «западных читателей».

Свою деятельность на ниве советологии Д. Браун начинал в Америке в мрачные годы маккартизма. Вышедшие в 1952 и в 1954 годах книги Д. Брауна «Американские авторы в Советской России, 1917—1941 гг.» и «Указатель к переводам американской литературы на русский язык в советское время» (совместно с Гленорой Браун) носят явный отпечаток пережитого автором испуга от маккартистской идеологической агрессивности, перед которой он сразу и, похоже, навсегда капитулировал. В сочинениях Д. Брауна нельзя не заметить подчеркнутого антикоммунизма и открытого антисоветизма автора.

В дальнейшем Д. Браун продолжал расширять и, так сказать, развивать свою первоначальную тему о переводах американской литературы на русский язык. На одном из международных конгрессов он уже выступал с докладом от лица американских «славистов», докладом настолько тенденциозным и предвзятым, что был по заслугам раскритикован в советском литературоведении за откровенную политическую предубежденность и научную недобросовестность.

В 1962 году Д. Браун выпустил книгу «Советское отношение к американской литературе», которая в сущности мало в чем отличалась от предыдущих двух его книг. Вот разве только суждения, выводы и оценки автора приобрели более пропагандистский, пронизанный злобой к советской культуре и советскому человеку характер. Стало очевидным, что антикоммунизм и антисоветизм превратились в норму мышления автора и он потерял способность судить объективно и здраво о советской культуре и культурной политике КПСС. Советские литературоведы-американисты дали достойную отповедь клеветнической книжке Д. Брауна.

И вот перед нами новое сочинение советолога. На этот раз он дерзнул (судя по оглавлению) отойти от заезженной им темы и дать обзор и оценку советской литературы за последние двадцать пять лет.

Что ж, опыт советской литературы последней четверти века действительно представляет большой интерес для объективного исследователя. Восстановление ленинских норм в жизни советского общества после XX съезда КПСС, последовательная работа партии по развитию социалистического демократизма в нашей жизни позволили советским писателям добиться выдающихся творческих успехов.

Очень многие произведения советской художественной литературы, созданные за эти годы, получили широкое признание не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами. Престиж и авторитет советской литературы, несущей миру правду о реальном социализме, советском человеке и советском образе жизни, правду, воплощенную в ярких художественных образах, заметно окрепли и возросли.

Ныне общепризнаны не только художественные достоинства советской литературы,

---

БЕЛЯЕВ АЛЬБЕРТ АНДРЕЕВИЧ (род. в 1928 г.).

Советский писатель, доктор филологических наук. Автор многих работ по американской литературе и советологии, в частности, книги «Идеологическая борьба и литература. Критический анализ американской советологии» (1975, 1977).

но и исключительный ее гуманизм, высота ее нравственных критериев.

Разумеется, как и все живое, советская литература развивалась, преодолевая противоречия. Одни из них порождались движением времени, несоответствием уровня художественной мысли стремительному развитию мысли общественной, другие коренились в самой природе художественного творчества. Разобраться во всем этом — задача, право же, хотя и не простая, но заслуживающая серьезного внимания и поддержки.

Однако уже первая страница сочинения Д. Брауна вызывает недоумение. В самом деле, как согласовать заголовок книги «Советская (подчеркнуто мной.— *А. Б.*) русская литература...» со следующим безапелляционным утверждением: «В последние годы термин «советская литература» становится все более непригодным». Для кого «непригодным»? От чьего имени изрекает подобное советолог? Д. Браун, принимая позу строгого судьи, выносит словно бы приговор: «...термин «советская литература» стал, в сущности, бессмысленным» [1].

Вот так-то. Ни больше и ни меньше. Нет ее, оказывается, для Д. Брауна, этой советской литературы, и советолог желает, чтобы не было ее ни для кого. И выдает, как видим, лично им желаемое за якобы общепризнанное и свершившееся.

Аргументация этого «закрытия» советской литературы у Д. Брауна носит сугубо спекулятивный и политический характер. Разыгрывая наивного простачка, советолог вопрошает: а что, мол, разве не являются сочинения Солженицына или, скажем, некоего Амальрика «советской литературой»? Подхлестывая себя, советолог возбужденно спрашивает: «Правильно ли считать, что произведения перестают считаться принадлежащими советской литературе, как только их авторы покинули пределы СССР»? [2]

Нет, отвечает сам себе Д. Браун, считать так было бы, по его просвещенному мнению, неправильным. Тогда, мол, от современной художественной литературы, скорбно вещает советолог, в СССР ничего не останется.

И «подтверждает» это свое ни на чем не основанное мнение ошеломляющим заявлением о том, что все публикуемое в Советском Союзе в журналах и в виде книг представляет собой, дескать, лишь «претензию на литературу». Он далее обвиняет советских писателей в «бесчестности» и «поверхности», а их творчество объявляет «скучным, заданным и лишенным художественного воображения» [3] Мало того, войдя в обличительный раж, Д. Браун утверждает, что советским писателям якобы присущ «недостаток образования и эрудиции» (!), и клеймит советскую власть, которая, дескать, «не разрешает им (т. е. советским писателям.— *А. Б.*) быть просвещенными» [4].

Заявляя о том, что издающаяся в СССР советская литература якобы находится в критическом положении, что ей не хватает «символичности, впечатляющей образности (density of imagery) и богатства метафор» [5], Д. Браун всячески выпячивает и восхваляет сочинительство потерявших Родину отщепенцев. Он назойливо старается сохранить за этим сочинительством право гражданства, внушая мысль, что это, мол, тоже есть советская литература. Вот почему советолог объявляет: «Независимо от того, изданы ли произведения в СССР или только за его пределами... в этой моей книге термин «советская литература» будет применяться и к тем, и к другим» [6].

Демагогический характер подобных заявлений ясен и понятен. Он продиктован тщетным стремлением сохранить «на плаву» фигуры, полностью себя дискредитировавшие в политическом и художественном отношениях

Ныне никому уже не надо доказывать, что, скажем, в сочинительстве Солженицына нет ничего советского. Было и есть только злобное, доходящее до исступленной графомании изрыгание безудержной хулы на социализм и на советский народ. И давно уже не является секретом, что деятельность этого литературного власовца осуществлялась по заказу антикоммунистических центров империализма, прежде всего американского.

Навязчивость попыток советолога «пристегнуть» к великой советской литературе жалкую кучку отщепенцев убедительно говорит о том, что само по себе сочинительство этих личностей не представляет ровно никакого интереса. Ни политического, ни тем более художественного. Вот почему антикоммунистам выгодно числить подотчетные им продажные перья по разряду «советской литературы».

Утверждая, что советской литературы как таковой не существует, Д. Браун в то же время пишет, что она за последние двадцать пять лет все же в какой-то степени, дескать, развивалась, правда, по мнению советолога, вопреки желанию «властей».

Роль «власти» в развитии художественной литературы в СССР Д. Браун видит прежде всего в навязывании неких ограничительных и запретительных предписаний писателям, которые, мол, только и должны, что «...просвещать и убеждать читателя работать во имя программы партии» [7]. Браун, похоже, всерьез считает, что «...власти требуют, чтобы литература выполняла узкую просветительскую и направляющую роль инструктора, в деталях втолковывая читателям идеологические ценности и образцы общественного поведения» [8].

Какими же путями и средствами проводит в жизнь эти свои «требования» советская власть? А очень простыми и даже примитивными. «Руководители партии,— пи-

[1] Deming Brown. Soviet Russian literature since Stalin. Cambridge University Press, 1979, p. 1.
[2] Ibid., p. 1.
[3] Ibid., p. 374.
[4] Ibid., p. 376.
[5] Ibid., p. 376.
[6] Ibid., p. 2.
[7] Ibid., p. 14.
[8] Ibid., p. 2.

шет автор,— отбирали главные темы и сюжеты литературы и тщательно следили за их идеологическим наполнением, суть которого составляют шовинизм... ненависть ко всему иностранному... восхваление «нового советского человека»...» [9].

Подобных нелепых утверждений и домыслов в книге Д. Брауна немало. К их числу относятся и отличающиеся крайней тенденциозной нетерпимостью суждения советолога о Союзе писателей СССР, который является, как пишет Браун, «важным и мощным инструментом контроля», осуществляющим «монопольную власть над всей официальной литературной деятельностью» [10].

Разумеется, даже Д. Браун не рискует отрицать, что политика Союза писателей вырабатывается на его съездах «демократично», как демократично избирается на съездах и его руководство — правление Союза. Но это, мол, «номинально». Правление руководит деятельностью Союза, избирая из своей среды секретариат, «который осуществляет повседневное руководство жизнью Союза». Но и это, мол, только «в строго формальном смысле слова». А по существу, таинственно намекает советолог, внутри секретариата существует «не уставной узкий круг людей», большинство которых — «если не все» — являются представителями... КГБ (!). Они-то, видите ли, ежедневно и вершат все писательские дела в СССР, и «принимают ключевые решения» [11].

Причем интересно проследить за методологией фабрикации лжи Д. Брауном, которой он следует на протяжении всей своей книги. Д. Браун оперирует порой действительно имеющими место фактами, однако со свойственной ему изобретательностью он препарирует их лишь в одном-единственном негативном смысле.

Вот, к примеру, как он пишет о том, что входит составной частью в деятельность Союза писателей. Будучи организацией творческой, профессиональной, Союз писателей, как известно, и в самом деле время от времени обсуждает и творческие отчеты писателей, и их новые, еще не напечатанные произведения, так же как и уже вышедшие в свет книги, и труд переводчиков, и деятельность издательств, органов печати, подведомственных этой общественной организации, и публикует отчеты об этих обсуждениях. А Деминг Браун вещает:

«Главное внимание Союза поглощает надзор за издательской политикой и руководство сетью периодических изданий... значительное время у руководителей Союза уходит на чтение и обсуждение рукописей... чтобы определить, каким образом следует доработать то или иное произведение... процесс простой: писатель вызывается на ковер, и ему говорится, как и что он должен изменить в своей книге, если хочет увидеть ее напечатанной» [12].

Итак, схема руководства литературным процессом в СССР, по Д. Брауну, до примитивности проста: руководители партии «отбирают темы и сюжеты» для писателей. Ну, а раз «отбирают сюжеты», следовательно, кто-то и как-то их распределяет по персоналиям. Может, Д. Браун полагает, что в Москве существует некий закрытый «распределитель» тем и сюжетов? Право, недоговоренность советолога приводит в недоумение, тем более что он, судя по всему, в избытке обладает способностью к выдумке самых фантастических и бредовых предположений, выдаваемых за сущее.

Абсурдная схема руководства литературным движением в СССР, нарисованная в книге Д. Брауна, могла возникнуть только в воспаленном воображении советолога, отравленного неизлечимым недугом антикоммунизма. Она предназначена для внедрения антисоветских взглядов и настроений и служит своего рода «теоретическим обоснованием» злобных выпадов американских советологов в адрес Союза писателей СССР.

В докладе на Шестом съезде советских писателей Г. Марков метко высмеял подобную линию в писаниях советологов, утверждающих, что советские писатели создают якобы свои произведения чуть ли не под диктовку комиссаров. Под аплодисменты делегатов съезда он заявил: «Товарищи, утешим господ, скажем им правду: действительно, в Союзе писателей много комиссаров. Их восемь тысяч! Все мы, советские писатели, по убеждению, по духу, по складу жизни неукротимые комиссары, для которых нет ничего дороже ленинской правды на земле, великого дела нашего героического народа и родной Коммунистической партии!» [13]

Авторитет Союза писателей СССР в советском обществе действительно высок. Союз писателей проявил себя компетентным и высокопрофессиональным организатором литературного процесса. А принцип его жизни и деятельности сформулирован еще М. Горьким на Первом съезде советских писателей: «Союз создается не для того, чтобы объединить только физически художников слова, но чтобы профессиональное объединение позволило им понять свою коллективную силу, определить с возможной ясностью разнообразие направлений ее творчества, ее целевые установки и гармонически соединить все цели в том единстве, которое руководит всею трудотворческой энергией страны. Речь идет, конечно, не о том, чтобы ограничить индивидуальность творчества, но чтобы предоставить для него широчайшие возможности дальнейшего мощного развития» [14].

Союз писателей СССР действительно располагает «широчайшими возможностями» для создания благоприятной и деловой творческой атмосферы, в том числе большой сетью домов творчества, писательских клубов, возможностью оплачивать творческие поездки писателей по стране и за ее пределами. Союз заботится о жилищных условиях писателей, строит поликлиники, помогает при необходимости и материально. Благо Литфонд СССР, «чьи

[9] Ibid. p. 2.
[10] Ibid. p. 8.
[11] Ibid.
[12] Ibid., p. 9.

[13] «Шестой съезд писателей СССР. Стенографический отчет». М., «Советский писатель», 1978, с. 19.
[14] «Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет». М., Госиздат, 1934, с. 17.

огромные доходы составляются из членских взносов» [15] (так пишет Д. Браун), в состоянии эффективно позаботиться о нуждах каждого члена Союза писателей СССР.

Но именно эти благодатные возможности Д. Браун комментирует осуждающе. Ему очень не по душе, что труд писателя высоко престижен в советском обществе, что советский писатель видит в своей профессиональной творческой организации надежную опору и защитника его интересов. Д. Браун лицемерно сетует, что подобные благоприятные условия, дескать, лишают советских писателей «независимости мышления» (!), порождают «самодовольство, приятно обволакивающий конформизм» [16].

Пропагандистская цель подобных рассуждений Брауна не нуждается в особой расшифровке. Его бесит и выводит из себя органическая слитность общества развитого социализма со своими художниками, щедрая поддержка творческих поисков и постоянная забота о совершенствовании мастерства художников, создание для этого необходимых условий. Советский художник — равноправный член общества, а не отверженный парий, он такой же хозяин своей судьбы и судьбы народной, как рабочий и крестьянин. «Радуюсь я — это мой труд вливается в труд моей Республики!» — гордо заявлял Маяковский.

Антикоммунисты жаждут разорвать эту кровную связь советского художника с жизнью своего народа, превратить художника в стороннего наблюдателя, в злорадного обличителя, противопоставить художника своему обществу, идеям социализма. Именно в этом суть спекулятивной демагогии о «зависимом» и «независимом» мышлении художника. Браун хотел бы — и это с неумолимой логикой следует из его сентенций — добиться «независимости» художника от социализма и советского образа жизни с его принципами коллективизма, равенства и братства всех людей. Для чего? Для того, чтобы художник перешел — и это тоже следует с неумолимой логикой — на позиции зависимости от капитализма и антисоветских пропагандистских центров Запада.

В этом и только в этом классовый смысл критических пассажей Д. Брауна по поводу благоприятных условий творческого труда советских писателей.

Усиление злобных нападок американских советологов на Союз писателей СССР в последние годы как нельзя лучше подтверждает, что Союз писателей СССР, его секретариат и правление эффективно, компетентно и умело строят свою работу по руководству литературным процессом и проведению в жизнь рекомендаций и решений партии в сфере художественной мысли. Эта работа находит полную поддержку и признание советских писателей, ибо она помогает им лучше осознать свою кровную связь с коммунистическим строительством, пробуждает высокие чувства советского патриотизма, верности Советской Родине и идеалам коммунизма, преданности делу ленинской партии и советскому народу.

Д. Браун старается внушить читателю клеветническую мысль о том, что «...революция и возникшая в результате ее политическая система не достигли успеха в создании особого советского человека...» [17].

Поэтому, неумолимо диктует советолог, советским писателям следует вернуться к обычной «человечности в литературе, независимой от политических и социальных систем» [18], как будто бы это было в 20-е годы. А достичь этого «заманчивого уровня» сегодня советские писатели, по Д. Брауну, могут лишь тогда, когда они (внимание!) сумеют... «приблизиться к той манере творчества, которая характерна для писателей современного Запада...» [19].

Заметим: «независимой от политической и социальной систем». Ранее, в книге «Советское отношение к американской литературе», Д. Браун вел речь о том, что советским писателям необходимо, дескать, «освободиться» от марксистско-ленинской идеологии, которая, утверждал советолог, якобы «сужает» горизонт художнического видения советских писателей. Он утверждал, что идеологическое единство лишает советскую литературу «множества идей и влияний, которые могли бы освежить и обогатить ее» [20].

Теперь Браун конкретизировал свою мысль и уже впрямую призывает советских писателей «приблизиться к той манере творчества, которая характерна для писателей современного Запада...».

Формализм, нигилизм, мистицизм, проповедь расизма, насилия и эротики — не к этим ли «идеям» призывает «приблизиться» Д. Браун? Политическая цель культивирования всех этих идей, переполняющих современное буржуазное искусство и литературу, в частности американскую, заключается в одном: увести художественную мысль подальше от коренных проблем жизни общества, от активного участия художника в решении социальных вопросов, иными словами, увести художника от политики, связанной с борьбой трудящихся за справедливость, за социализм и мир на земле.

Как и предшествующие поколения американских советологов, главную помеху в осуществлении этих своих вожделений Д. Браун видит в творческом методе советских писателей, выросшем из практики художественного осмысления революционного движения пролетариата в России, методе, связавшем воедино художественную мысль с борьбой за победу идеалов социализма и коммунизма. Имя этому методу — социалистический реализм. Он дал миру Максима Горького, Владимира Маяковского, Михаила Шолохова... Этими именами лишь начинается советская литература, обогатив-

[15] D. Brown, p. 9.
[16] Ibid., p. 10.
[17] Ibid., p. 375.
[18] Ibid., p. 374.
[19] Ibid., p. 20.
[20] D. Brown. Soviet Attitudes toward American Writing. Princeton, 1962, p. 103.

шая за истекшие шесть десятилетий мировую литературу выдающимися новаторскими произведениями, в которых впервые в истории главным героем выступил освобожденный от капиталистического угнетения человек новой формации — советский человек.

По меткому замечанию Сергея Наровчатова, советский народ дал миру много талантливых и ярких писателей, творчество которых «напоено живыми соками ленинизма» [21], укрепляющего веру людей в справедливое жизнеустройство.

Даже и не стараясь вникнуть в суть художественной практики советских писателей, Д. Браун с унылой монотонностью повторяет свои давние обличения социалистического реализма, обвиняя его во всех смертных грехах. В книге «Советское отношение к американской литературе» Д. Браун изображал метод социалистического реализма в виде некоего подобия социологической науки типа футурологии («...главной функцией социалистического реализма является указание путей к обществу будущего» [22]).

Через 17 лет Д. Браун вновь утверждает, что социалистический реализм якобы требует от советских писателей изображать жизнь «частично, как она есть, но главным образом, какой она должна стать» [23].

Д. Браун стремится запугать американского читателя, создать у него превратное представление о художественном методе советских писателей. Советолог многократно повторяет, что социалистический реализм — это, мол, «узкие и удушающие ограничения» [24], это, мол, «запреты» и «заранее предопределенные искажения истины» [25] и т. д. и т. п.

Ну, а раз «удушающие ограничения», раз сплошные «запреты» и «предопределенные искажения истины», то, заявляет Д. Браун, нечего и ожидать чего-либо выдающегося от советских писателей. И незачем, дескать, требовать переводов их произведений на доступный американскому читателю язык. Все, что следует знать об этой литературе американскому читателю, сказано в книгах советологов. Альтернативы практически нет: американские буржуазные издатели наглухо блокировали дорогу произведениям современной советской литературы к американскому читателю. Они не переводят и не издают почти ничего под различными надуманными предлогами.

А теоретическое обоснование позиция издателей находит в трудах советологов, упрямо старающихся «закрыть» великую художественную литературу общества развитого социализма.

Создается впечатление, что в изучении советской литературной теории советологи остановились на периоде РАППа и все экстремизмы рапповских «теоретиков», давно уже развенчанные нашей критикой, произвольно переносят в день сегодняшний и выдают за самоновейшее толкование социалистического реализма.

Вот уж действительный парадокс истории: советологи в роли воскресителей рапповских взглядов, давно похороненных и изгнанных из советской литературной практики.

Социалистический реализм отнюдь не система запретов и ограничений, а метод постоянно развивающийся, стимулирующий художественную мысль, ее раскрепощение, требующий от художника высокого уровня исполнения и классового подхода к понятию «художественная правда».

Надо сказать, что отдельных советских писателей Д. Браун вроде бы и готов признать, но с большими оговорками, а порой даже и с рекомендациями. Вот, скажем, как будто ценит он Юрия Трифонова за его «городские повести». Но... все бы вроде ничего, да жаль, вздыхает Д. Браун, в повестях Трифонова не нашел он темы «гомосексуализма»... Так, эдакий намек, легкое недовольство вроде бы, но вывод напрашивается неумолимый: будешь о гомосексуализме писать — признаем за европейскую по крайней мере величину. Не хватает Ю. Трифонову, дескать, только этого...

Очень бы хотелось Д. Брауну, чтобы «влияние современной западной литературы» на творчество советских писателей стало бы «значительно большим». Да вот беда — мешает этому «официальный контроль» [26].

Советолог жаждет разрушить, ликвидировать этот «контроль», мешающий подчинить советскую литературу западным стандартам.

Жажда его останется неутоленной. Ибо творчество советских писателей, самобытное, оригинальное, новаторское, развивается по своим собственным законам и отнюдь не собирается подчиняться чьему-то влиянию и подстраиваться под западные «стандарты», хотя бы и стократно разрекламированные американскими советологами. Менее всего они нуждаются в поучениях господина Брауна.

К измышлениям Д. Брауна по поводу социалистического реализма близко примыкают и его насквозь лицемерные сетования по поводу переводов в Советском Союзе зарубежной литературы. Он словно бы и признает, что в последние двадцать лет западную литературу в СССР стали издавать шире и что «соответственно», как рассчитывает советолог, советские писатели становятся «более восприимчивы к западным влияниям» [27].

Но... угодить Д. Брауну положительно невозможно. Признавая, что в СССР издают в переводах многие зарубежные произведения, автор капризно морщится: «...некоторые советские писатели все еще не очень хорошо знакомы с творчеством своих западных современников» [28].

Ах, какая незадача! Не проследили до

[21] «Коммунист», 1974, № 1, с. 95.
[22] D. Brown. Soviet Attitudes toward American Writing, p. 12.
[23] D. Brown. Soviet Russian literature since Stalin, p. 17.
[24] Ibid., p. 20.
[25] Ibid., p. 377.
[26] Ibid., p. 376.
[27] Ibid., p. 215.
[28] Ibid., p. 13.

конца, проморгали — и вот, извольте, неудовольствие. Да кто же этому виновник? Подать его сюда!

Д. Браун сердито выговаривает: «Контроль за переводами и импортом литературы из-за границы продолжает ограничивать возможности знакомства с иностранной литературой» [29]. (Обратите внимание: вновь пример той же методологии лжи — жесткое слово «контроль» намеренно употребляется вместо того, чтобы конкретно рассказать о наших принципах отбора произведений для перевода,— пусть Д. Браун с ними и не согласится.)

А мы-то, как говорится, старались! Тираж журнала «Иностранная литература» вырос до полумиллиона экземпляров; издали около семи тысяч названий книг американских авторов миллионными тиражами... И кого только не издавали: и Стейнбека, и Хемингуэя, и Олби, и Паррингтона, и Маламуда, и Сэлинджера, и О'Хару, и Фолкнера, и Драйзера, и Чивера, и Хейли, и Ван Вик Брукса, и Апдайка, Доктороу, Миллера, Воннегута... Издали даже трехтомную «Литературную историю США» (под редакцией Спиллера)...

Не потрафили тем не менее... Приходится опустить очи долу. Ведь ежели такой нагоняй господин Браун учиняет нашим организациям за слабую работу по переводам, то вполне закономерно предположить, что уж у них-то там, в США, переводческое дело и издание советской литературы поставлено на широчайшую ногу и в отличие от «некоторых советских писателей» американские писатели... «очень хорошо знакомы с творчеством своих советских современников...»

Иначе какое же моральное право имел бы Д. Браун укорять советских издателей?

Однако достаточно посмотреть на статистику переводов и изданий советской художественной литературы в США, чтобы обнаружить, прямо скажем, картину незавидную. Ну совершенно неконкурентоспособную. Как говорится, слезы наворачиваются. Судите сами: против семи тысяч изданных в СССР американских авторов в США за все годы советской власти издали всего лишь около 500 книг советских авторов, то есть в 14 раз меньше! О тиражах не приходится и говорить — тут разрыв достигает астрономических размеров и не в пользу Америки... Ежегодно советские люди могут видеть на экранах 20—25 американских художественных кинофильмов, в то время как в США советские фильмы в широком прокате отсутствуют вовсе. На сценах советских театров ежегодно идет около сорока пьес американских драматургов, а что может противопоставить этому Америка?

Д. Браун печалится о том, что «некоторые советские писатели все еще не очень хорошо знакомы с творчеством своих западных современников».

Что же сказать нам о м а с с е писателей американских, которые не имеют, в сущности, н и к а к о й возможности знакомиться с советской литературой, ибо ее просто не переводят и не издают в США, ссылаясь на некие «коммерческие невыгоды» или демагогически прикрываясь абстрактными эстетическими критериями, параметры которых, конечно же, безразмерны.

К слову сказать, не так давно другой советолог, М. Фридберг, подготовил наукообразный доклад, в котором пытался объяснить необъяснимое и доказать «правоту» американских издателей, не торопящихся выполнять Хельсинкские соглашения об обмене идеями и не публикующих книг советских писателей.

В «докладе» М. Фридберга утверждается, что произведения советской художественной литературы не издаются в США исключительно по причинам эстетическим. «Нет ни одного советского писателя, чьи произведения были бы запрещены в Соединенных Штатах» [30],— патетически восклицает советолог. Американские издатели, продолжает М. Фридберг, публикуют то, что им нравится, то, что им хочется публиковать, а чего не хочется — то и не публикуют. А вот, мол, в СССР издатели выпускают в свет лишь те произведения иностранной художественной литературы, которые прошли некий придирчивый правительственный (!) контроль.

Итак, наличие «придирчивого правительственного контроля» позволило выпустить в СССР свыше семи тысяч названий произведений американских авторов. А «полная свобода» американских издателей едва-едва обеспечила выпуск пятисот названий советских авторов за все годы существования советской литературы...

Любому непредвзятому человеку ясна суть политической демагогии М. Фридберга, тщетно старающегося прикрыть фиговым листком словесной эквилибристики постыдную ситуацию с изданием советской художественной литературы в США.

Патетическое заявление о том, что «нет ни одного советского писателя, чьи произведения были бы запрещены в Соединенных Штатах», есть пустая фраза, не более того. Цифры говорят, что на каждое изданное в СССР произведение американского писателя в США «подвергаются запрету» тринадцать советских. Рассуждения Фридберга о том, что эти произведения являются якобы «назидательными, ханжескими и, как это ни парадоксально, в общем, старомодными», абсолютно голословны и не выдерживают никакой критики.

И, пожалуй, напрасно М. Фридберг уподобляет всех американских издателей той знаменитой гоголевской Хивре (или Хавронье Никифоровне, как вежливо именовал ее дружок сердца попович Афанасий Иванович), которая, распаляясь, вопила на честного парубка в белой свитке: «Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь! И отец дрянь! И тетка дрянь!» [31]

Чтобы судить о советской литературе, надо ее знать из первых, как говорится, рук, а не в предвзятом пересказе советологов.

[29] Ibid., p. 374.

[30] Цит. по «New York Times», 15.IV.80.

[31] Н. В. Г о г о л ь. Собр. соч. в 7-ми томах, том 1. М., «Художественная литература», 1976, с. 17.

Как известно, Хельсинкские соглашения предполагают среди других договоренностей, направленных на закрепление добрососедских отношений между странами и народами, также и постоянный обмен культурными ценностями.

Наиболее показательным в этом плане является перевод и издания зарубежной литературы в каждой стране, подписавшей соглашения. И когда мы сравниваем цифры переводов, то видим, *кто на самом деле обеспечивает* своим народам возможность приобщения к мировой литературе, а *кто только пустословит* об этом и занимается выдумыванием демагогических доводов в оправдание своего нежелания дать народам возможность читать литературу социалистических стран и прежде всего советскую литературу.

«В целом народы социалистических стран значительно лучше осведомлены о жизни на Западе, чем трудящиеся массы капиталистических стран о социалистической действительности. В чем причина этого явления? Самая глубокая состоит в том, что правящий класс в буржуазных странах явно не заинтересован в том, чтобы трудящиеся этих стран из первоисточников узнавали правду о странах социализма, их общественном и культурном развитии, о политических и нравственных устоях граждан социалистического общества» [32],— отмечал товарищ Л. И. Брежнев в речи на Конференции коммунистических и рабочих партий Европы летом 1976 года в Берлине.

Именно в этих словах и заключена вся правда о причинах, заставляющих буржуазных издателей злонамеренно игнорировать великую литературу современности — литературу советскую.

Сугубо политические рассуждения Д. Брауна, которыми он начиняет свою книгу, выполняют четкую психологическую задачу: возбудить в умах читателей книги априорно негативное восприятие предмета исследования, т. е. советской литературы. Советолог не стесняется в выборе средств для формирования предвзятого отношения читателей к литературе Страны Советов. В ход идет все: фальсификации, подтасовки, подмена одних понятий другими, наконец, клевета. И все это затуманивается этаким легким флером сочувственной грусти по поводу судьбы советских писателей... Д. Браун в роли заботливого «друга» советской литературы — более лицемерную позицию представить трудно.

После того как Д. Браун объяснил американскому читателю, что советской литературы как таковой нет, а писатели в СССР пишут по указаниям и чуть ли не под диктовку партии, что вообще писатели в Советской России, мягко говоря, малообразованны и «не эрудированы», что они лишены возможностей для знакомства с современной западной литературой и т. д. и т. п.,— после всего этого автор начинает подробно рассматривать жанры и направления той самой советской литературы за последнюю четверть века, которую он объявил несуществующей!

Надо отметить, что Д. Браун попытался расширить стандартную для американских советологов обойму имен советских писателей и поэтов и ввел в свои рассуждения более широкий круг советских авторов и произведений последних двадцати пяти лет.

Скажем, ведя речь о литературе, посвященной военной теме, Д. Браун называет не только «Василия Тёркина» А. Твардовского, «Взятие Великошумска» Л. Леонова, «Волоколамское шоссе» А. Бека, «Дни и ночи» К. Симонова, но и В. Панову, и Э. Казакевича (хотя самого яркого произведения — повести «Звезда» — советолог даже не упоминает), и Г. Бакланова, и В. Быкова, и Ю. Бондарева, и В. Богомолова, и некоторых других. Однако почему-то не привлекли внимания советолога такие выдающиеся произведения военной поры, как «Они сражались за Родину» М. Шолохова, «Морская душа» А. Соболева, военные пьесы и стихи К. Симонова, «Русский характер» А. Толстого, публицистика И. Эренбурга...

Бросается в глаза неадекватное внимание Д. Брауна к определенным авторам. Скажем, разговор о промелькнувшей в ряду многих подобных произведений повести Б. Балтера «До свиданья, мальчики» занимает в книге целых полторы страницы, а, скажем, о романе В. Богомолова «В августе сорок четвертого...», вызвавшем острый интерес читателей и изданном во многих странах, нет ни строчки. А «Поднятой целине» М. Шолохова советолог «уделил» всего три (!) строки.

Специальную главу посвящает Д. Браун мемуарной литературе, появившейся после XX съезда КПСС. Рассматривая ее под весьма специфическим углом зрения, советолог старается отыскать в мемуарах советских писателей подтверждение сработанным в пропагандистских мастерских антикоммунизма концепциям о бесполезности социальных революций, тем более революций социалистических. Ничего, мол, кроме зла, эти революции людям не приносили и положительных перемен в жизни народов за собой не влекли.

Именно подобный предвзятый подход обнаруживается, например, при оценке Д. Брауном «Повести о жизни» К. Паустовского.

Известно, что в этом произведении с большой художественной выразительностью автор явил всю силу своей любви к Родине, к ее природе, ее героической истории. Но с особой гордостью пишет автор о тех колоссальных позитивных переменах, которые произошли в жизни трудовой России после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Столетиями трудовой народ России прозябал в нищете, неграмотности. Он был забит и угнетен. Народная власть под руководством ленинской партии большевиков в исторически короткий срок вывела советский народ в число самых просвещенных в мире, совершив промышленную революцию в городе и деревне, совершив культурную революцию. Ликвидировав всякие формы национального угнетения, советская власть создала невиданное в истории добровольное объединение братских наций и народностей, где все равны, а дух интернационализма не мешает национальному своеобразию.

[32] «За мир, безопасность, сотрудничество и социальный прогресс в Европе. К итогам Конференции коммунистических и рабочих партий Европы». М., Политиздат, 1976, с. 12.

Подчеркивая необходимость самого бережного отношения к культурным и нравственным ценностям, накопленным за тысячелетнюю историю народа, К. Паустовский воспевает нового советского человека и советский образ жизни. Не случайно именно это произведение стало одним из любимых у нашего читателя.

Но Д. Браун ничего подобного, разумеется, у Паустовского «не обнаружил». Советологу нужно было подогнать Паустовского под свою схему, и потому Д. Браун пишет, что Паустовский-де «тонко передал ощущение того, что течение русского образа жизни в основном не зависит от исторических событий»... [33] То есть, иными словами, Октябрьская социалистическая революция ничего, дескать, не изменила в «течении русского образа жизни».

Эта навязчивая идея вновь появляется у Д. Брауна в главе о так называемой «деревенской литературе». Автор утверждает, что в советской деревне писатели обнаружили «упрямое постоянство крестьянской психологии и культуры, а сам русский характер оказался почти не затронутым революцией» [34].

Да, лучшие черты русского характера, формировавшиеся веками: свободолюбие, беззаветность в борьбе за народное дело, храбрость, умение переносить трудности, взаимопомощь, честность, доброта и порядочность, классовая солидарность и глубокий интернационализм — помогли русским рабочим и крестьянам свергнуть под руководством ленинской партии самодержавие и власть буржуазии, совершить величайшую в истории человечества революцию и стать подлинными хозяевами своей страны, своей жизни. В ходе революционной борьбы за социализм эти черты русского характера закалились, обрели новые краски, благодаря марксистско-ленинской идеологии обогатились новыми свойствами, что и позволило создать мощное Советское государство, осуществить индустриализацию, коллективизацию, разгромить наголову немецкий фашизм и вот уже четвертый десяток лет обеспечивать мирную жизнь.

Зубоскальство Брауна по поводу «незатронутости» русского характера революцией по меньшей мере неуместно. Русский характер и цели Октябрьской социалистической революции удивительно гармонично совпали и не противоречат друг другу.

Что же касается утверждения о том, что «течение русского образа жизни» не изменилось и якобы «не зависит от исторических событий», то научная несостоятельность его очевидна. Еще как зависит! Разве не претерпел радикальных изменений образ жизни, к примеру, бывших русских помещиков и капиталистов? Где он теперь, этот прежний их «образ жизни»? И где они сами, господин советолог?

Возврата к дореволюционному укладу жизни угнетателей русского трудового народа, как ясно каждому, быть не может. Следовательно, зависит «от исторических событий» образ жизни? Безусловно, зависит, и спорить здесь не о чем.

А «образ жизни» русских рабочих и крестьян разве остался неизменным после Октябрьской революции? Исчезли угнетение и эксплуатация народа; народ стал хозяином своей судьбы и создал советский образ жизни. Классовое единство, советский патриотизм и глубокий интернационализм — характерные признаки современного советского общества, целиком возникшие под воздействием, под влиянием Октябрьской социалистической революции.

Воздействие идей Октября и победоносной социалистической революции сказалось не только на перестройке образа жизни советского народа. Оно сказалось и на коренной перестройке отношений в мире, вызвав крах колониальной системы империализма и неостановимое освобождение от гнета капитализма почти на всех континентах земли.

Пропагандистские потуги советологов приуменьшить влияние социальных революций на образ жизни того или иного народа продиктованы классовыми целями империализма — увековечить свое владычество над миром труда. Цели эти ныне пришли в полное противоречие с ходом человеческой истории. Народы мира рвут цепи капитала то в одной стране, то в другой. Вчера это случилось на Кубе, во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Эфиопии, Анголе, сегодня — в Никарагуа, в Афганистане...

Это объективный процесс, и никакие заклинания советологов остановить ход истории не способны.

Разговор о жанрах советской литературы Д. Браун начинает с поэзии, которой посвящены целых четыре главы: «Старейшие поэты», «Первое поколение советских поэтов», «Поэты военной поры» и «Младшее поколение поэтов».

В основной политической посылке при рассмотрении творчества советских поэтов различных поколений советолог верен себе: он назойливо повторяет одну-единственную мысль о том, что советская поэзия «под влиянием партийных указаний о воспитательной функции искусства выродилась в пустую риторику», при этом, как кажется Д. Брауну, «основной жертвой» стала лирика, ибо «требование, чтобы поэзия поддерживала официальные взгляды и популяризировала партийные догмы, подразумевало лишь такую поэзию, которой были чужды размышления или раздумья, а выражения личных эмоций поэта и вовсе были не нужны. » [35].

Браун утверждает, что в советской поэзии все было под запретом, на все смотрели с подозрением: будь то «выражение личной скорби любви, меланхолии, даже восхищение ландшафтом как таковым...» [36].

---

[33] D. Brown. Soviet Russian literature since Stalin, p. 255.

[34] Ibid., p. 220.

[35] Ibid., p. 23.

[36] Ibid.

Поэтов старшего поколения, кроме Ахматовой и Пастернака, Д. Браун не жалует и при этом в выражениях не стесняется. Он не анализирует их творчества, не пытается аргументировать или доказывать свое отрицательное мнение о произведениях того или иного советского поэта. Советолог просто изрекает конечные оценки, как якобы общепринятые и аксиоматичные. Так, он пишет: «...одаренный... поэт... Николай Тихонов... большую часть последних 40 лет посвятил пропагандистскому сочинительству...» [37].

Николай Асеев? Ну, кривит губы Браун, это, мол, поэт, «который, пожалуй, растратил свой талант, служа государству...» [38].

Семен Кирсанов? — «...сумасбродный экспериментатор в стихах, который... трудолюбиво строчил огромное количество пропагандистских стихов, впрямую полезных советскому правительству» [39].

Самуил Маршак? «Подобно Асееву и Кирсанову, он исполнял государственную службу — писал политическую сатиру на заданные международные темы, а во время второй мировой войны сочинял тексты для пропагандистских плакатов» [40].

Право, когда читаешь подобные развязные суждения о советской поэзии и о конкретных всемирно известных советских поэтах, то становится предельно ясной цель советологов: любой ценой скомпрометировать творчество советских поэтов, преданных Родине, советской власти, идеалам коммунизма.

Глава «Первое поколение советских поэтов» завершается большим разделом, посвященным поэзии Александра Твардовского. Не вдаваясь в характеристику художественных особенностей творчества выдающегося советского поэта-коммуниста, автор скупо роняет: «Как поэт, он (то есть А. Твардовский.— *А. Б.*) дал Советскому Союзу любимого литературного героя второй мировой войны — солдата Василия Тёркина...» [41].

Информация, казалось бы, справедливая. Однако целью Д. Брауна вовсе не является объективная констатация художественной истины. Он ищет способов извратить ясное политическое звучание любимой народом поэмы, извратить образ Тёркина, в котором А. Твардовскому с непревзойденной талантливостью удалось выразить лучшие черты простого советского человека, одетого в солдатскую шинель, этого героя из народа, выросшего при социализме и осознанно защищающего не только свой советский образ жизни, но и саму идею социализма. Д. Браун пишет, что, с симпатией и любовью описывая Тёркина, показывая его беззаветную храбрость в бою, Твардовский якобы «ухитряется намекнуть (фразеология-то какая: «ухитряется намекнуть»! — *А Б.*), что война была выиграна не благодаря государственному устройству страны и политическому руководству, она выиграна простым народом» [42].

Под пером советолога Василий Тёркин превращается чуть ли не в скрытого оппонента советской власти! Он, дескать, воевал сам по себе, а политический строй был ни при чем. Народ, Советская Армия существовали, дескать, сами по себе, воевали неизвестно за что и почему, а политическая организация общества не имела, оказывается, к этой борьбе никакого отношения.

Железные догмы антикоммунизма неумолимо направляют мысль Д. Брауна на путь подтасовок, фальсификации, а то и прямой клеветы. Неуклюжая его попытка отъединить, отчленить Василия Тёркина от советской власти — весьма наглядный тому пример.

«Однако,— раздраженно пишет Д. Браун,— Твардовский остался преданным коммунистом» [43]. Ну, а раз так, раз не «оправдал» надежд советологов, то советологи найдут тысячи мнимых поводов, чтобы попытаться принизить все творчество поэта. Д. Браун заявляет: «Ясность выражения, фактическая точность поэтического воображения казались ему (А. Твардовскому.— *А. Б.*) более важным, чем соображения формальной виртуозности. В результате его стихи предстают старомодными, неоригинальными...» [44].

Так «разделался» Д. Браун с А. Твардовским. И жаль, что у читателей книги Брауна практически нет возможности хоть как-то проверить подобные клеветнические суждения — поэзию Твардовского они прочитать на своем языке не смогут, она в Америке не переведена. Оспорить мнение демингов браунов и фридбергов в США, увы, практически некому.

Среди перечисляемых поэтов военного поколения Д. Браун называет Е. Винокурова, Б. Слуцкого, К. Ваншенкина, Д. Самойлова, О. Берггольц, М. Алигер, Ю. Друнину, Б. Окуджаву. По прихоти советолога мы не встречаем в этой главе имен К. Симонова, С. Орлова, М. Дудина, М. Луконина, С. Наровчатова, Н. Старшинова, А. Межирова, А. Недогонова, С. Гудзенко, М. Львова и многих других талантливых советских поэтов, чье творческое становление пришлось как раз на годы войны и которые создали немало прекрасных произведений, ярко и самобытно запечатлевших и опоэтизировавших великий подвиг народа, разгромившего фашизм. Зато с удивлением можно встретить пространные рассуждения Д. Брауна кое о ком из тех, кто давно уже утратил право называться советским поэтом, утратил Родину и, обретаясь ныне в зарубежных идеологических захолустьях антикоммунизма, злобно шипит в одинаково бездарных стихах и прозе на свое бывшее отечество.

Глава «Младшее поколение поэтов» начинается заявлением о том, что из сотен поэтов, которых можно было бы отнести к «младшему поколению», советолог «выбрал только восемь для анализа» [45]. Это означает, признает Д. Браун, что он «исключил из обзора» целый ряд поэтов, которые в другом контексте вполне, мол, заслуживают серьезного рассмотрения.

---

[37] Ibid., p. 31.
[38] Ibid., p. 34.
[39] Ibid., p. 34—35.
[40] Ibid., p. 37.
[41] Ibid., p. 74.
[42] Ibid.
[43] Ibid., p. 74.
[44] Ibid., p. 75.
[45] Ibid., p. 106.

Д. Браун пишет, что в 60-х годах некоторые из названных им поэтов стали «эстрадными поэтами, выступающими с чтением своих стихов перед тысячными аудиториями» [46]. Поощряемые властями, пишет далее советолог, «поэты стали широко путешествовать по отдаленным районам страны, описывая прелести тайги и тундры и романтически возвышая трудную жизнь пионеров в нехоженых местах» [47].

Однако, ухмыляется Д. Браун, поездки по стране «не смогли заменить более широкого знакомства с миром. Имелась настоятельная потребность увидеть мир, особенно Запад» [48].

И поэтому, мол, многие советские поэты, торжествующе заявляет советолог, «обскакали» чуть ли не весь мир «в поисках новаций в форме стиха, обуреваемые жаждой развить новый современный стиль» [49]. Как явствует из текста, под «новациями» подразумеваются только формалистические изыски и выкрутасы.

Браун утверждает, что молодые русские советские поэты в 60-е годы чуть ли не все поголовно ринулись в эти «новации» [50], напрочь якобы отвергая классический русский стих.

Подобное утверждение не выдерживает критики. Разные были и есть в Советской России поэты, среди них есть и те, кто действительно «тяготеет к новациям» в форме. Но есть и большой отряд русских советских поэтов, которые, опираясь на традиции классического русского стиха, создали новаторские по своей сути произведения. Достаточно назвать лауреата Ленинской премии Егора Исаева, или Василия Федорова, или Владимира Солоухина, или Анатолия Жигулина — если говорить лишь о некоторых из поколения, заявившего о себе именно в последнюю четверть века. Их последовательная верность русскому классическому стиху опровергает пропагандистские заверения советолога о поголовной якобы жажде западных «новаций в форме», свойственной «младшему поколению» советских поэтов?

Разнообразие творческих поэтических стилей, художественных пристрастий всегда отличали русскую советскую поэзию. И в этом ее сила — в богатом многообразии манер, направлений, поисков. Главным же при всем при том всегда оставались самобытность и незаемность русской советской поэзии. Ей незачем идти на поклон к Западу, как того страстно ни желал бы Д. Браун.

Нелестно в целом оценив советскую поэзию, лишив ее к тому же каких-либо перспектив и надежд, Д. Браун переходит к жанру рассказа и поясняет, почему он выделяет именно этот жанр. Дело в том, что, по просвещенному мнению Д. Брауна, «русский роман сегодня находится в упадке», а лучшие писатели предпочитают «короткий рассказ или повесть» [51].

Известно, что в последние годы в советской критике прошло несколько дискуссий, в ходе которых констатировалась очевидная ситуация в современной советской литературе: необычайное развитие за последние 25 лет получил именно жанр советского романа. Именно в эти годы увидели свет вторая книга «Поднятой целины», «Русский лес», «Костер», «Битва в пути», «Иду на грозу», «Живые и мертвые», «Истоки», «Тишина», «Горячий снег», «Берег», «Дипломаты», «Первая Всероссийская», «Вечный зов», «Судьба», «Сибирь», «Блокада», «В августе сорок четвертого...», «Война», «Ивушка неплакучая», «Последний поклон», «Пряслины», «Дом», «Тяжелый песок» — это только малая толика романов, появившихся в русской советской литературе и получивших широкое признание и в нашей стране, и далеко за ее пределами.

В то же время критика отметила некоторое замедленное развитие как раз жанра рассказа, условно говоря, «отставание» от романа. Однако Д. Браун имеет на сей счет собственное суждение Он утверждает: «Почти все написанные большие романы за последние 20 лет были скучными, заранее заданными и тяжеловесными. А те, кто писал как объемистые романы, так и более короткие произведения... наиболее преуспевали в последнем» [52].

Чем же аргументирует свое безапелляционное суждение советолог? Может, он ссылается на авторитетные анализы конкретных произведений? Может, оспаривает мнение советских критиков?

Ничего подобного в книге Д. Брауна нет. Есть лишь высокомерное изрекание не подлежащих сомнению суровых приговоров. Причем «подсудимому» даже не объясняют, за что так строго-то?

Реальные произведения советской литературы, созданные за последние четверть века, говорят сами за себя. Их высокие идейно-художественные достоинства, гуманизм, широта видения мира, высокие нравственные и эстетические идеалы со всей очевидностью обнажают демагогическую декларативность суждений Д. Брауна.

Расправившись столь несложным образом с советским романом, советолог переходит собственно к рассказу. В чем же он видит «взлет» этого жанра, что повлияло на его расцвет? Все, оказывается, очень просто. Развитие диалога и монолога в советских рассказах последней четверти века «обязано... влиянию Запада» [53]. Это — раз.

Далее: «О писателях, склонных к документализму в творчестве, часто говорят, что они подражали Дос Пассосу» [54]. Это — два.

Но и этого мало: «Тяга к компактности, сжатости, динамизму, использованию коротких фраз.. все это свидетельствует о влиянии Запада» [55].

---

[46] Ibid., p. 107.
[47] Ibid., p. 108.
[48] Ibid.
[49] Ibid.
[50] Ibid., p. 109.
[51] Ibid., p. 145.
[52] Ibid., p. 145.
[53] Ibid., p. 152
[54] Ibid.
[55] Ibid.

Таким образом, по Брауну, развитие жанра советского рассказа по всем параметрам обязано: а) Западу, б) Западу и в) еще раз Западу.

Советским писателям, выходит, кроме как у Запада не у кого было и поучиться писать свои рассказы. Словно не было в истории русской и советской литературы Льва Толстого, не было Чехова, не было Бунина и Куприна, не было Горького, Шолохова, Алексея Толстого и других литераторов мирового значения, традиции и опыт которых остаются неиссякаемым источником новых и новых творческих дерзаний для современных советских писателей, тяготеющих к жанру рассказа. Конечно же, не остается без внимания и опыт лучших зарубежных мастеров этого жанра. Но не видеть в советском рассказе самобытности и оригинальности можно только по причине безнадежной слепоты.

Не так давно Соединенные Штаты посетил известный советский писатель, особенно преуспевший именно в жанре рассказа,— Юрий Нагибин. О своих впечатлениях он рассказал в очерке «Летающие тарелочки». В частности, он пишет, что там, в США, ему попался в руки «толстый том» Д. Брауна, «несомненно претендующий на чин курса советской литературы. Я просмотрел этот «курс», а большой раздел, посвященный рассказу, прочел целиком. Впечатление такое, что Д. Браун перестал следить за советской литературой где-то в начале шестидесятых годов. Выдающейся рассказчицей он считает писательницу, лишь прикоснувшуюся — очень талантливо — к этому жанру и перешедшую в тяжелый вес романа. А Виктора Астафьева и Георгия Семенова, без которых невозможно представить себе советскую новеллистику, он даже не упоминает. Студенты, изучающие русский язык, знакомятся с нашей литературой только по рассказам, повести и романы им не по силам. В качестве пособий они пользуются сборниками, выходившими в милые Д. Брауну годы: конец пятидесятых — начало шестидесятых, с тех пор подобные сборники почти не появлялись. Представление студентов о нашей рассказовой литературе вполне адекватно брауновскому И если они заглянут в толстый труд ученого, то сочтут, что знают советскую малую прозу в лучших образцах.

Браун не наталкивает студентов на новое, более современное и зачастую более талантливое...

То, что мне показывали на кафедрах под видом «курса советской литературы», вызывало порой глубокое недоумение. Однажды, не выдержав, я прямо сказал: «По-моему, это курс не советской, а антисоветской литературы». Старый профессор-славист посмотрел на меня с видом крайнего изумления, огорчения и растерянности: «А что бы вы посоветовали?» Я стал называть авторов, он старательно записывал, но свет узнавания не вспыхивал в его темных опечаленных глазах. Он не был злоумышленником, лишь жертвой крайней и труднообъяснимой неосведомленности» [56].

Возможно, старый профессор-славист, с кем довелось беседовать Ю. Нагибину, действительно был «лишь жертвой крайней и труднообъяснимой неосведомленности».

Но Д. Браун под эту категорию не подходит. Он пишет ложь и делает это сознательно, ибо нанят своими работодателями для того, чтобы писать именно ложь о советской литературе и внедрять эту ложь в сознание американских студентов.

Пространная глава в книге Д. Брауна посвящена так называемой «деревенской литературе». Компетентность суждений автора в этой области творчества советских писателей видна хотя бы из следующей фразы: «Литература о крестьянской жизни всегда была заметной в Советском Союзе. А некоторые из наиболее интересных писателей: Борис Пильняк, Леонид Леонов, Михаил Шолохов, Андрей Платонов и Александр Твардовский — целиком посвятили свое творчество деревенской теме» [57].

Эта фраза обнаруживает по меньшей мере крайне приблизительное знакомство Д. Брауна с творчеством названных писателей. Ни один из них, конечно, не посвящал «целиком» свое творчество деревенской теме. Да, у каждого из них есть отдельные произведения, в которых действие происходит в деревне. Но ограничивать творческий диапазон. ограничивать художественное мышление Шолохова, Леонова, Платонова, Твардовского рамками одной-единственной, пусть весьма интересной и важной темы — значит намеренно стремиться сузить масштабы их творчества.

Можно ли «уложить», к примеру, «Поднятую целину» Шолохова в рамки «деревенской темы»? Разве в этом произведении не звучит коренная проблема XX века — проблема освобождения человечества от вековой частнособственнической психологии и перехода на коллективистские, социалистические начала? Иными словами: в «Поднятой целине» главной темой является не деревенская жизнь как таковая, но осуществление социалистических преобразований в деревне.

Тема эта не может быть только «деревенской» она имеет более широкое значение. Влияние этого произведения на умы людей огромно в силу необычайно талантливого художественного воплощения народной жизни в период ее революционного переустройства. Это-то влияние и страшит советологов. Вот почему они стремятся любыми путями локализовать, сузить, принизить значение подобных произведений в истории мировой литературы и навязывают читателям фальсифицированное представление о выдающихся книгах советской литературы.

Продолжая рассматривать «деревенскую тему» в советской литературе хронологически, советолог обнаружил вдруг, что «после XX съезда КПСС» внимание советских писателей вновь, дескать, обратилось к деревне.

Почему? Для чего? А вот для чего: «В большой степени растущий серьезный интерес к деревне как теме литературного исследования объяснялся поиском устойчи-

[56] «Наш современник», 1980, № 2, с. 140.

[57] D. Brown. Soviet Russian literature since Stalin, p. 218.

вых национальных ценностей, поворотом к крестьянству как к источнику морального обновления. Писатели... подчеркивали незыблемость крестьянской психологии и культуры и показывали, что революция мало в чем повлияла на русский характер». Писатели якобы старались показать крестьянина в качестве чуть ли не «последнего прибежища дорогих черт национального характера: индивидуализма и надежды на самого себя» [58].

Как видим, Д. Браун вновь игнорирует конкретные сложности развития советской литературы, которые есть в ней, как и во всякой иной, и спекулятивно обобщает отдельные факты, выдавая их за основную тенденцию развития.

Таким образом, Д. Браун пытается доказать, что разговоры о коллективизме новой жизни, о новом советском человеке представляют собой выдумку большевистской пропаганды. Каким был русский мужик сермяжным индивидуалистом, таким он и остался. Этим, мол, и привлек к себе внимание писателей.

И вот уже Д. Браун готов писателей-«деревенщиков» чуть ли не противопоставить советской власти. Он пишет: «Если и не отчетливое неприятие (repudiation) Октябрьской революции, то, по меньшей мере, отрицательная реакция на многие изменения, привнесенные революцией: урбанизацию, развитие техники, а также современное промышленное бюрократическое общество» [59],— в этом якобы и состоит вся суть творчества советских писателей-«деревенщиков».

Стремление выдавать желаемое за реально существующее всегда отличало советологов. Нет нужды доказывать, сколь далеко творчество писателей, близких к теме развития советской колхозно-совхозной деревни, от мифических предположений советологов.

Советская литература, в том числе и «деревенская», связана неразрывными узами с проблемами развития советского общества. Естественно, что, живописуя процессы, характеризующие промышленную революцию в деревне, писатели не обходят вниманием трудности и недостатки, тормозящие прогрессивные процессы развития. Слов нет, наша литература о деревне остро социальна и порой критична. Но критика эта носит конструктивный характер, она направлена на укрепление социалистического метода хозяйствования на земле, а вовсе не наоборот, как то силятся доказать советологи.

И когда Д. Браун заявляет, что нынешние советские писатели якобы обнаружили «не столько перемены, которые принес с собой социализм, сколько продолжающуюся неизменность крестьянской жизни» [60],—то это его заявление может служить очень убедительной и наглядной иллюстрацией лживости его концепции.

Ибо «продолжающаяся неизменность крестьянской жизни» есть ложь, ложь откровенная и очевидная: давно уже советский крестьянин перешел от единоличной сохи и лоскутного частного земельного надела на коллективное ведение хозяйства; давно уже на коллективных бескрайних полях трудятся мощные армады тракторов, комбайнов, сеялок, копалок, жаток; давно уже возникли и развиваются животноводческие комплексы, межколхозные специализированные объединения,— словом, все то, что характеризует собой переход коллективного земледелия на промышленные основы. Кстати, заметим, что давно уже на селе возник и с каждым годом ширится и крепнет рабочий класс: механизаторы, операторы, техники и инженеры.

Старая деревня стремительно уступает место деревне новой — с современной технологией ведения сельского хозяйства, обеспечивающей высокие результаты труда крестьянина и высокий его жизненный уровень, с новыми поселками и домами с городскими удобствами, с гарантированной стабильной зарплатой. На наших глазах происходит реальное стирание существенных различий между городом и деревней. И эти процессы нашли художественно адекватное отражение в произведениях Ф. Абрамова, В. Белова, Г. Троепольского, М. Алексеева, Г. Радова, И. Винниченко, Л. Иванова, И. Васильева, В. Тендрякова и многих других советских писателей.

Между тем советологи продолжают бубнить о «неизменности крестьянской жизни» в СССР, о мифическом противостоянии советских писателей благотворным переменам в жизни современной деревни.

И хотя Д. Браун признает в конце концов: «Невозможно и, пожалуй, немыслимо, чтобы советский писатель в роли адвоката выступал за возврат к частному владению землей» [61], он тем не менее делает архиспекулятивный вывод с далеко идущими политическими расчетами.

Обращение советских писателей к жизни деревни объясняется, по Брауну, не больше и не меньше как «...поисками ценностей, которые могли бы заменить марксистско-ленинскую идеологию, которая совершенно очевидно (!) не удовлетворяет (!) многие основные духовные потребности» [62]. (Хочется спросить: Чьи потребности? Д. Брауна?)

В этом-то и заключена изощренная суть пропагандистских установок и целей неприкрытой демагогии Д. Брауна: объявить марксистско-ленинскую идеологию «устаревшей», подвести американских читателей к выводу о том, что «основные духовные потребности» они должны удовлетворять строго в рамках буржуазного общества. Ибо если уж советские писатели заняты «поисками ценностей, которые могли бы заменить марксистско-ленинскую идеологию», то американцам и вовсе незачем обращать свое внимание на идеологию марксизма-ленинизма.

Таким нехитрым образом Д. Браун торопится, так сказать, «закрыть» идеологию марксизма-ленинизма.

[58] Ibid., p. 219—220.
[59] Ibid., p. 221.
[60] Ibid., p. 222.
[61] Ibid., p. 230.
[62] Ibid., p. 252.

А. БЕЛЯЕВ
МИФЫ ДЕМИНГА БРАУНА

Вот уж действительно мартышкин труд.

Иезуитские приемы при истолковании литературы СССР не исключение в истории американской советологии, а скорее норма. Вспомним хотя бы бесплодную словесную эквилибристику, которой занимался в 1962 году М. Фридберг в попытках преподнести читателю в антикоммунистическом духе издательскую практику в СССР. Именно М. Фридберг заявил, что массовое издание произведений классиков русской и мировой литературы сразу после победоносной Октябрьской революции было вызвано якобы тем, что в «сфере литературы образовался огромный вакуум», а своих писателей у молодой советской власти еще не было.

М. Фридберг писал тогда с потугами на иронию: «Считалось, что пяти лет будет достаточно для того, чтобы довести до масс лучшие образцы литературы прошлого, а тем временем первая в мире республика рабочих и крестьян создаст новую, собственную литературу, которая постепенно будет дополнять, а позже даже и заменит классику» [63].

Подобное «объяснение» вряд ли было способно удовлетворить сколько-нибудь взыскательного читателя, ибо за годы советской власти и великая литература социалистического реализма создана; многообразная, многонациональная, глубоко гуманистическая, она по праву заняла ведущее положение в мировой литературе, а классику тем не менее издают все чаще и все большими тиражами, вовсе не пытаясь «заменить» ее современной советской литературой.

М. Фридберг придумал новое объяснение: интерес к классике у советских писателей вызывается якобы тягой «... к несоветской жизни и ценностям». А классику следует, мол, считать «соединительным звеном» [64] с сегодняшним капиталистическим миром.

Итак, один советолог сочинял в 1962 году мифы о том, как советская власть пыталась якобы «заменить» классику, поскольку классика являлась «соединительным звеном» с капиталистическим миром, по которому, судя по рассуждениям Фридберга, все еще тоскуют советские люди.

Другой советолог уже в 1979 году сочиняет новые мифы о советских писателях, занятых «поисками» в советской деревне «ценностей, которые могли бы заменить марксистско-ленинскую идеологию».

Методологическая нищета и склонность к фальсифицированному и крайне тенденциозному истолкованию современной советской литературы, столь обнаженно проявившиеся в сочинениях Д. Брауна, как видим, характерны в целом для американских советологов, с младых ногтей вымуштрованных в духе слепой, нерассуждающей ненависти как к идеям коммунизма, так и к художественной культуре реального социализма.

Мысли о «замене» марксистско-ленинской идеологии Д. Браун развивает и в главе, посвященной теме современности в советской литературе. Д. Браун повторяет свои избитые измышления о методе социалистического реализма. Советолог верен себе и стремится представить развитие советской литературы, усиление в ней аналитического начала, словом, всю художественную практику социалистического реализма таким образом, будто после 1953 года «новая литература критического реализма серьезно потеснила каноническую литературу социалистического реализма» [65].

Он поясняет: «Концепция социалистического реализма требует, чтобы интересы личности тесно сочетались — впрямую или косвенно — с интересами государства. Однако литература все больше и больше писала о частной жизни индивидуумов, и потому это сочетание становилось менее обязательным, а часто и вовсе исчезало. В творчестве лучших писателей, например, исчезла из романов коммунистическая партия» [66].

Более того, Браун утверждает, что к «середине 60-х годов» в советской литературе валом пошли «герои», которые, конечно же, были «абсолютно индифферентны к идеологии» [67], именно к марксистско-ленинской.

Однако остановимся и переведем дух.

Во-первых, концепция социалистического реализма вовсе не отрицает права литератора писать «о частной жизни индивидуумов». Напротив, эта концепция требует от писателя глубокого проникновения в психологию личности (или, по терминологии Брауна, «индивидуума»), что только и может убедительно раскрыть мотивы его «частной жизни».

Что же касается нарочито неуклюжей формулы Брауна о «тесном сочетании» интересов личности с интересами общества, государства, вытекающих якобы из тех же «требований» социалистического реализма, то советолог совершает привычную для него подтасовку, подменяя и сводя проблему творческого метода к философским мировоззренческим вопросам.

Да, мировоззрение советского писателя, основанное на марксистско-ленинской философии, дает возможность воспринимать и оценивать реальный мир живого человека во всех его взаимосвязях — исторических, общественных, географических и т. п. И «связь» личности отдельного человека с обществом, государством понимается советским писателем как раз в свете известного ленинского положения о том, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.

И чем активнее личность или, говоря словами Л. И. Брежнева, «чем более активную жизненную позицию занимает человек», тем гармоничнее сливаются интересы индивидуума и социалистического общества.

Таким образом, «описание частной жизни индивидуумов» никогда, ни до 1953 года, ни после, не было запретным в советской литературе. Это обычные измышления советологов, пытающихся внушить своим читателям представление о литературе социалистического реализма как якобы целиком состоящей из казенных, бездушных

---

[63] M. Friedberg. Russian Classics in Soviet Jackets. N.Y., 1962, p. 81.

[64] Ibid., p. 174, 175.

[65] D. Brown. Soviet Russian literature since Stalin, p. 285.

[66] Ibid.

[67] Ibid., p. 291.

роботов, одномерных и однообразных, по командам свыше отправляющих свои жизненные функции и не имеющих собственного лица, собственных мнений, убеждений.

Во-вторых, информация Брауна о том, какой была советская литература к «середине 60-х годов», не выдерживает никакой критики. Попытки советолога свести все необычайно широкое многообразие героев советской литературы тех лет к одному-единственному, «абсолютно индифферентному к идеологии», лишь подчеркивают его глубокий субъективизм, продиктованный политической предвзятостью.

И дело вовсе не в том, появлялись или нет в некоторых произведениях подобные «герои», ведь мы знаем, что они могут быть и в жизни. Советская критика не проходила мимо отдельных произведений, в которых тот или иной персонаж проявлял в большей или меньшей степени «индифферентность к идеологии», и давала им своевременную принципиальную оценку, рассматривая вопрос конкретно и по существу. Она поддерживала обличение мещанских представлений о жизни в социалистическом обществе и выступала против буржуазных взглядов на «безгеройную» литературу, оборачивающуюся нередко проповедью безыдейности литературы.

Дело в намеренной фальсификации Брауном реального литературного процесса тех лет.

Вспомним, какие книги в 60-е годы были в центре внимания общественности, какие литературные герои вызывали симпатию читателей? Назвать их не сложно, они еще у всех на памяти: это Андрей Соколов из рассказа М. Шолохова «Судьба человека», это генерал Серпилин и журналист Синцов из романа К. Симонова «Живые и мертвые», это ученый Крылов из романа Д. Гранина «Иду на грозу», это В. И. Ленин в повестях В. Катаева «Маленькая железная дверь в стене» и Э. Казакевича «Синяя тетрадь», это руководитель крупной стройки Балуев из романа В. Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев!», это Вохминцев из романа Ю. Бондарева «Тишина», это реальные люди из документальной книги С. Смирнова «Брестская крепость» и т. д.

Но разве герои названных произведений были «индифферентны к идеологии»? Как раз наоборот. Они жили, боролись, гибли и побеждали, вдохновляемые марксистско-ленинской идеологией и во имя ее, они самоотверженно трудились, и целью их осознанного труда как раз и являлось личное участие в строительстве общества будущего — коммунизма. Именно такие герои и владели умами читателей в 60-е годы.

Не обходит вниманием Д. Браун и так называемый «производственный роман» в советской литературе. Отношение его к этой теме также весьма скептическое. Скажем, о романе Д. Гранина «Искатели», вызвавшем в свое время большую дискуссию в советской критике, советолог отзывается кисло и даже выговаривает писателю за то, что роман «не подвергает сомнению устоявшиеся социальные цели и методы их достижения» [68]. «Рабочая тема остается важной темой в советской литературе...— с иронией вещает советолог,— все еще считается, что труд имеет особую важность в человеческой жизни...» [69].

Неуместная ирония. Труд в обществе действительно «имеет особую важность в человеческой жизни», а в социалистическом обществе место человека определяется по его труду на благо общества. «По труду и честь» — гласит народная поговорка.

Объективный подход к раскрытию темы труда в творчестве советских писателей неизбежно предполагает элементарную обязанность исследователя разъяснить принципы отношения к труду в социалистическом обществе. И тогда все станет ясно. Почему тема труда занимает такое важное место в советской литературе и почему общество гордится и поощряет за доблесть в труде? Именно такой объективный подход позволил бы раскрыть новаторский характер литературы социалистического реализма, в центре которой стоит образ создателя всех материальных ценностей на земле, образ трудящегося человека.

Но объективность в методологической картотеке американских советологов не значится. И это понятно: если целью ставится не изучение, а обличение советской литературы, то объективность может лишь мешать. И потому — вон ее из арсенала советологов.

Об этом же свидетельствуют и смехотворные уверения Д. Брауна о том, что современные советские писатели пишут, мол, одно, а современные советские читатели понимают написанное ими якобы совсем по-другому. Вроде как бы договор такой негласный заключили читатели с писателями Если, значит, роман имеет счастливую концовку, то читатель вместо радости испытывает, по Брауну, меланхолию и грусть, потому как «жизнеутверждающие концовки опровергаются всем содержанием романов», более того, Браун уверяет, что содержание советских романов «отрицает возможность счастливых концов» [70].

Д. Браун словно бы и не замечает, что тем самым противоречит себе же: значит, советская литература и критична, и отнюдь не поверхностно оптимистична, а действительно показывает жизненные проблемы во всей их сложности. И надо ли здесь говорить, что пресловутые «счастливые концы» вовсе не норма советской литературы. Просто Д. Брауну совсем не по душе вера советских людей в поступательное развитие истории.

Кстати, предвзятость толкования Д. Брауном принципов советской литературы демонстрирует хотя бы его оценка повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Как известно, повесть была высоко оценена читателями, критикой, ее автору присуждена Государственная премия СССР. Но советолог заявляет, что повесть эта, дескать, направлена на... развенчание советской действительности (!).

[68] Ibid., p. 298.

[69] Ibid., p. 296.

[70] Ibid., p. 309.

Более того, Д. Браун уверяет, что «Белый пароход» не имеет якобы «ничего общего с социалистическим реализмом по множеству причин, главная из которых состоит в том, что повесть «мрачна» и «пессимистична». И добавляет: «То же можно сказать... о произведениях Пановой... Семина... Дубова» [71].

Итак, по Д. Брауну, литература социалистического реализма не имеет права на произведения трагедийные, остродраматичные, просто печальные. Не положено по изобретенному самим советологом «уставу»...

Советолог представляет американскому читателю советских писателей эдакими бездумными бодрячками, под барабанный маршевый бой лихо перекладывающими на литературный язык политические лозунги, а из всей гаммы человеческих чувств оставляющих своим героям лишь одну радость.

Как говорится, просто до примитивности. И лживо до откровенной очевидности.

Подобные утверждения Д. Брауна лишний раз доказывают вполне осознанный характер извращенного толкования советологами принципов социалистического реализма, который, конечно же, никогда не требовал от писателя подмены живой многообразной действительности во всей сложности человеческих отношений однолинейным изображением ее в своих сочинениях, а именно, изображением мажорно-радостным и беспечальным. Утверждения Д. Брауна лишний раз доказывают пропагандистский характер писаний советологов, ничего общего не имеющих с подлинной научностью.

Три последних, не малых по объему, главы книги Д. Брауна отведены соответственно: одна — лично Солженицыну, другая — лично Абраму Терцу и третья — вообще некой «подпольной» литературе.

Глава о Солженицыне содержит весь стандартный набор рекламных приемов советологов, долженствующих во что бы то ни стало возвеличивать эту давно уже скомпрометировавшую себя в политическом и литературном плане одиозную фигуру.

Продукт и порождение «холодной войны», Солженицын нужен антикоммунистам в качестве инструмента для разжигания антисоветизма. Д. Браун уныло констатирует, что, хотя этот литературный власовец «энергично работал, чтобы возбудить мировое общественное мнение против СССР» [72], ничего из этих стараний не вышло.

Как показало время, истерическое кликушество матерого антисоветчика, вышвырнутого за пределы Советского государства, не получило того резонанса, на который делали ставку пропагандистские центры антикоммунизма. И он исчез с политического горизонта, не говоря уже о литературном.

Столь же пространно и горячо пропагандирует Д. Браун и Абрама Терца-Синявского, который, как пишет советолог, стремится «подорвать всю концепцию социалистического реализма, доведя ее до абсурда» [73].

Словом, сидит этот Терц где-то во Франции, играет в оловянные солдатики и воображает, что он ловко и умело сокрушает бастионы социалистического реализма. Пусть себе играется дядя. Социалистическому реализму от этого ни жарко, ни холодно.

Плохи, видно, дела у советологов, если они вынуждены возлагать столь непомерные надежды на эфемерную «борьбу» отщепенцев, подобных Терцу. А возмутительные высказывания Синявского о русском народе, способном якобы «продать любую красоту .. за бутылку чистого спирта» [74], старательно приводимые в книге Д. Брауна, свидетельствуют лишь о дурном вкусе советолога, вынужденного, как видно, подбирать даже дурно пахнущие отбросы из помойной политической ямы истории.

Когда читаешь главу «Подпольная литература», то поражаешься: сколько, оказывается, у нас непризнанных «толстых» и «достоевских»! Д. Браун трудолюбиво перечисляет фамилии никому не известных личностей. Без зазрения совести советолог относит их сочинительство «к лучшим образцам советской литературы» [75]. Хотя тут же эдак осторожненько допускает, что «сочинения» приводимых в его книге подпольных «толстых» и «достоевских» не печатают в СССР скорее всего из-за «отсутствия каких-либо литературных достоинств» [76].

Д. Браун горько сетует, что литературная общественность СССР дала своевременную и принципиальную оценку различного рода отщепенцам. «События последнего десятилетия оказались... разочаровывающими» [77],— плачется советолог. Все эти подпольные «литераторы» своевременно разоблачались, получали должную оценку общественности, и многие из них по истечении времени один за другим оказывались за пределами нашего государства, там, где и находятся их подлинные хозяева.

Книга Деминга Брауна, насыщенная злобной и агрессивной клеветой по адресу советской культуры, сеет вражду и ненависть к литературе Страны Советов, к идеям социализма, к советскому образу жизни. Всем своим содержанием она противоречит положениям Хельсинкских соглашений, под которыми стоит подпись и президента США. Широкая и активная пропаганда книги Д. Брауна в странах западного мира свидетельствует о страхе идеологов империализма перед всепобеждающей правдой о стране реального социализма, заключенной в каждой талантливой книге советского писателя.

[71] Ibid., p. 308.
[72] Ibid., p. 329.
[73] Ibid., p. 332.
[74] Ibid., p. 348.
[75] Ibid., p. 357.
[76] Ibid., p. 352.
[77] Ibid., p. 373.

Заметки на полях

НА ЗЕМЛЕ МАРСЕЛЯ

По страницам литературного журнала «Сюд»

Кажется привычным, что культурная жизнь Франции — это Париж, литературные кафе и клубы, ажиотаж вокруг премий, шумные художественные выставки, язвительные диалоги, которые ведут между собой литературные журналы. Здесь измеряется температура пристрастий и антипатий, определяются бестселлеры, вычисляются прогнозы ближайшей литературной моды. Тем не менее уже в 20—30-е годы среди изданий, заметно влиявших на творческую атмосферу, занял одно из первых мест марсельский журнал «Кайе дю Сюд» — «Тетради Юга»: само название напоминало, что за границами Парижа культурная жизнь не кончается. В течение полувека «Кайе дю Сюд» вел многообразную просветительскую деятельность, печатая неопубликованные тексты известных писателей, открывая новые имена, обстоятельно анализируя литературный процесс. Журнал нашел свой стиль, предпочитая основательность суждений сенсациям, научную углубленность — эссеистской легкости. И если профессиональную взыскательность считать приметой критики столичной, то «Кайе дю Сюд» был журналом вполне «парижским», далеким от снисходительного, наивного провинциализма.

Эту серьезность переняли его младшие марсельские братья. В 1959 году родился журнал «Аксьон поэтик». Потом этот журнал перебрался в Париж и до сей поры выдерживает в столице нелегкую конкуренцию, из-за которой погибли за последние годы, к сожалению, многие литературные издания. Да и в Марселе «Кайе дю Сюд» в 1966 году выпустил свой последний, прощальный номер. Но литературный Марсель сдаваться не хотел: 1970 годом датируется рождение журнала «Сюд», который устами своих редакторов — Жана Малрье, Ива Бруссара, Макса Ало — заявил, что собирается принять эстафету и продолжить дело своего знаменитого предшественника, «поддерживать литературные традиции нашего города, который в каждую эпоху давал талантливых поэтов, писателей». В 1976 году главным редактором «Сюд» стал Ив Бруссар.

В том же 1976 году на встречу делегации советских писателей с марсельскими журналистами, организованную местной газетой «Марсейез» («Марсельеза») по инициативе писателя Андре Ремакля, тоже марсельца, Ив Бруссар пришел вместе со своими коллегами, и именно их группа задала тон беседе; начался разговор о политике и литературе, общественном служении и тайне творчества, о традициях и новаторстве советского романа, об уроках второй мировой войны. Героическая жизнь Марселя тех лет воссоздана в переведенной на русский язык книге Андре Ремакля «Улица Трех Солнц» [1].

Советская «сторона» — Максим Танк, Леонид Теракопян, Владимир Борщуков и автор этих заметок — без устали отвечала на новые и новые вопросы. С той поры завязалась эта дружба: Ив Бруссар приезжал в Советский Союз на международный симпозиум переводчиков, побывал в редакции журнала «Советская литература», беседовал с нашими поэтами, критиками, переводчиками. Домой он увез внушительных объемов рукопись — подстрочные переводы стихов советских поэтов: идея издать специальный номер «Сюд», посвященный советской поэзии, родившаяся во время марсельской встречи 1976 года, обретала реальные контуры.

Летом 1980 года «Сюд» отметил десятилетний юбилей. Что же сделано за десять лет? Чем оправдан нелегкий труд редакции по сохранению журналу жизни? Причудливые волны, набегающие — с обманчивой пеной — на берега литературного Парижа, этого издания не коснулись. «Сюд», как хорошо оснащенный корабль, спокойно движется по капризному морю, не меняя курса. Главный тематический ориентир — поэзия. Ей выпадает обычно меньше внимания, чем роману, ей труднее установить контакт с читателем, она требует более серьезной «работы» — искусиой пропаганды ее достижений, вдумчивой интерпретации ее образ-

[1] Андре Ремакль. Улица Трех Солнц. Летайте «Каравеллой». М., «Прогресс», 1978. Перевод Л. Завьяловой. Предисловие О. Тимашевой.

ного строя (в современной французской поэзии достаточно сложного), осмысления традиций и перспектив движения. «Сюд» взялся за эту тему почти с научной основательностью, выделив наиболее спорные, мало проясненные вопросы; предметом исследования в специальных номерах журнала стало творчество Сен-Жон Перса, Поля Валери, Франсиса Понжа, Блэза Сандрара, Габриэля Одизио, Жака Одиберти.

Поэзия с самого начала была представлена журналом как явление интернациональное: среди имен, вокруг которых давно идут споры, были рассмотрены итальянец Эудженио Монтале, американец Эдвард Эстлин Каммингс, швейцарец Филипп Жакотте. В первых номерах «Сюд» появились очерки, знакомящие с современной поэзией Бельгии и Египта. К самым современным — и тоже сложным — поэтическим явлениям подводит специальное приложение к журналу «Поэты Юга», где прозвучали голоса известного у нас по роману «Человек среди песков»[1] поэта и романиста Жана Жубера, Пьера Дено, самого Ива Бруссара, который заставляет человека верить в свою духовную силу, не бояться ответственности, помнить о своем долге гражданина:

Подставь плечо — и горизонт просторен
Любовь и дружба
Вновь делят хлеб
В них наша кровь
Я день могу измерить
поверхностью ладони
и бросить горстку специй
весне навстречу
. . . . . .
Я длинный путь прошел
От детства к зрелости
без передышки
Чтоб меньше крови пролилось
Она рвалась наружу
я рану затыкал
кровь черная иль красная
в различные часы и дни
упорной нашей борьбы
Я кровь
как тайный глоток рома
хочу без слов отдать
тому кто умирает
. . . . . .
Все двери распахнуть сумеем
Когда поделим хлеб
протянем другу руку[2].

Среди жанров, не избалованных во Франции вниманием критики, не только поэзия, но и новелла. «Сюд» решил исправить и эту несправедливость: один из номеров так и назван «Новелла»; он познакомил с новыми произведениями Андре Ремакля, Мишеля Турнье, Кристианы Барош, Жака Шессекса, Пьера Буржада, Макса Ало и других писателей. Журнал не проявляет ни малейшего ригоризма в выборе имен. На его страницах естественно располагаются рядом авторы, которые в других изданиях едва ли бы встретились — убежденные сторонники традиций и поклонники самых яростных новаций, литературоведы академического профиля и критики структуралистской ориентации. В оглавлении имена Эжена Гильвика и Жана Марсенака, Жана Карьера и Жана Рикарду, Армана Лану и Мишеля Турнье, Робера Сабатье и Жана Старобинского, Жана Руссело и Пиэйра де Мандиарга.

В приветствии президента региональной секции министерства культуры Франции по случаю юбилея журнала прозвучали такие слова:

«Журнал Сюд» обязан своим успехом требовательности, широте горизонтов, умению внимательно относиться к различным направлениям современной мысли — французской и зарубежной; азарту в поисках новых имен, таланту сохранять трудное равновесие между уважением к великой литературной традиции и интересом к предложениям авангарда».

Чтобы увидеть, как старается «Сюд» сохранить это — не всегда благодарное, не всегда возможное! — равновесие, интересно сопоставить две работы, опубликованные им в 1979 году: «Неообскурантизм» Бенито Пелегрена (она издана отдельной брошюрой, так как «Сюд» уже имеет свое небольшое издательство, выпускающее и книги) и интервью с лингвистом Жоржем Муненом. Бенито Пелегрен защищает позиции «новой критики» и авангардистского искусства от ярых консерваторов. Он считает чрезвычайно опасными акции защитников буржуазного статус-кво, посланцев, как он пишет, «интеллектуального Кобленца, явившихся если не со щипцами и прочими орудиями пыток, то по крайней мере с ножницами, ластиками, системой финансовых ограничений». Что такое реакционное давление на культуру в капиталистическом мире оказывается — это бесспорно, и Пелегрен не так уж сгущает краски. «Сгущает» он скорее свои требования заниматься в основном формой произведения, отвлекаясь от авторской идеи, содержательного замысла. Он отвергает критику «крика или нутра», славит холодный «рацио», умеющий рассматривать «искусство как technè (по-гречески — искусство), определенную методику — искусства не существует без вопроса о том, каков его механизм».

Жорж Мунен, напротив, ведет бой против «технократов» от искусства, напоминая, что «эстетические эмоции» совершенно необходимы критику, который должен быть в достаточной степени читателем, чтобы уметь полюбить или невзлюбить ту или иную книгу.

«Совсем недостаточно констатировать, что произведение совершенно с формальной точки зрения... что произведение строго соответствует правилам определенной поэтики... Не всякое формальное совершенство значимо... оно отнюдь не все объясняет в произведении: иначе эпигоны писали бы лучше тех, кого они копируют».

Кажется, что может быть более контрастного, чем позиции Бенито Пелегрена и Жоржа Мунена? Почему «Сюд» проявил интерес и к той, и к другой точкам зрения? Легче всего было бы ответить, схватившись за ярлычок эклектизма. Но объяснение лежит глубже.

Оба автора, яростно отстаивая право на свое понимание художественного произведения и роль критики, предостерегают от крайностей. Так, Бенито Пелегрен вступает в спор с Жаном Рикарду, автором ряда книг о «новом романе» и изобретателем методики «анаграмматических генераторов», которая предполагает, что последователь-

[1] См. «ИЛ» № 8 за 1978 г.
[2] Перевод автора статьи.

ность глав и частей романа зависит от звуковой переклички слов или встречи омонимов. Пелегрен отвергает панегирик «новому роману» и методику «анаграмматических генераторов», предложенную Рикарду, видя, что «современный роман полиморфен и, хотя сломал рамки «традиционного» романа, вовсе не ограничивает себя теми техническими приемами, которые предписаны Жаном Рикарду».

Атакуя консерваторов, Бенито Пелегрен вменяет им в вину не верность традиции, а «глуповатый регионализм, перерастающий в национализм... и культ дурно понятого Руссо: природа всегда хороша, общество всегда плохо». Ему неприемлемы аполитизм и равнодушие к острым общественным проблемам, лозунги вроде следующих: «Новая цель — это отсутствие цели», «художнику надо полностью дезангажироваться», спасение в «отказе от выбора, от ответственности, в индифферентности».

Жорж Мунен, автор ряда серьезных исследований по теории языка, критик, активно пропагандирующий достижения современной поэзии, тоже избегает полемических гипербол. Отстаивая право критика на эмоциональную реакцию, он признает и необходимость строго аналитического подхода к произведению. Эти два уровня для него вполне совместимы.

«Да, я действительно защищаю литературную критику, имеющую в основе эмоцию, я противопоставляю ее критике *чисто* (курсив Ж. М.) церебральной... Но эта оппозиция не является метафизически непреложной, неподвижной, односторонней. Я всегда утверждал, что первична эмоциональная реакция, которая дает стимул эстетическому восприятию. (Без такого стимула нет эстетики, есть только риторика). Но я не менее определенно утверждал, что важен и момент интеллектуального анализа, размышлений об истоках и причинах эстетического удовольствия. Каждое чтение заключено между этими двумя моментами. Большая ошибка — с ней мы встречаемся часто — отдавать предпочтение одному моменту, абсолютизируя его, отрицая второй. Такова подлинная диалектика — в марксистском смысле слова — функционирования произведения и процесса анализа этого функционирования».

Если искать причину, по которой редакция заинтересовалась обоими, полемическими по отношению друг к другу, выступлениями, то скорее всего ее привлекла именно определенная сбалансированность аргументации в каждом из них, возможность увидеть нечто общее, что принято обоими оппонентами: увидеть и оценить перспективность подобного диалога, когда отбрасываются экстремальные решения и в споре отыскивается если не истина, то хотя бы некая точка, к ней более близкая, чем мог предложить поначалу каждый оппонент. Общим для обоих выступлений можно считать, например, признание за искусством права на общественную ангажированность. Журнал, разделяя эту позицию, подходит иногда непосредственно к рубежам идеологических споров вокруг проблем политики и искусства. Так, в 1977 году сложился специальный номер «Андре Мальро», предложивший несколько интересных, неожиданных по своему повороту статей. Так возник замысел номера под названием «Поэтическая революция и революционная поэзия. Куба в стихах поэтов Революции. 1956—1977». Подводя итоги своей десятилетней деятельности, редакция назвала этот номер «самым богатым, самым важным в нашей работе».

Взгляды редакции «Сюд» на соотношение политики и искусства выражены в обширной вводной статье к этому номеру. Рассказав о трудовых буднях кубинцев, о борьбе с безграмотностью, о традициях и обычаях, экономических планах и программах культурного сотрудничества, редакция проводит одну основную мысль: дело Революции — естественная жизненная потребность кубинцев, которым не приходится решать трагическую дилемму, чему отдать предпочтение — «личному» или «общественному».

«Куба — чудесный остров, и ее вполне серьезная революция — это революция улыбающаяся. Нет, речь идет не о той улыбке, которую вспоминал со слезами горечи Николас Гильен, улыбке аборигена, обязанного обеспечить моральный и физический комфорт туристу, повторяя «да, господин», «хорошо, господин». Гавана — радостный город, но речь идет не о той показной радости, которой должен был обогревать чужаков народ, доставляя удовольствие другим и скрывая свое собственное горе под маской хорошего настроения, а свою нищету — под карнавальным костюмом.

Кубинцы производят впечатление народа, счастливого вопреки истории (сколько было разочарований, неудачных восстаний, побед, использованных в чужих интересах!), вернее, благодаря Истории... Куба стала по-настоящему Кубой, только свершив *свою* (курсив журнала) Революцию».

Один из разделов статьи так и назван — «Народ в счастливом союзе с Историей». Каждый гражданин чувствует себя не объектом, а субъектом свершающихся перемен. Удивление и восхищение вызывает доброжелательное, заинтересованное отношение кубинцев к иностранной культуре, к другим народам вообще.

«Вопреки обстоятельствам за революцией не последовал антиамериканский вандализм. Культурное наследие США не было отброшено; здесь умеют видеть различие между государственной политикой США — агрессивной, единодушно осуждаемой — и американским народом, многие черты характера которого вызывают уважение, а культура которого пользуется на Острове заслуженным вниманием».

В последнее же время, отмечает критик, «открыв для себя русский роман», советскую литературу, кубинцы расширили круг своего чтения, стали жадно вслушиваться в голоса других народов, свершивших революцию.

Вопрос о взаимоотношениях революции и культуры рассмотрен в данном номере на примере Кубы, но характер его рассмотре-

ния имеет значение принципиальное. Редакция журнала «Сюд» — в отличие от иных «левых» групп, приемлющих обычно идею революции до той поры, пока революция не победила,— благожелательно и объективно оценивает опыт реального социализма в его отношениях с культурой. «Культура победившего социализма» — эта формула отличает позицию журнала от многих и многих псевдозащитников культуры, считающих, что она неизбежно чахнет, если исчезает необходимость воевать с государством. Само название номера — «Поэтическая революция и революционная поэзия» — родилось, наверное, из стремления показать, как прочно связана культура с политикой, общественной борьбой.

«Латинская Америка — континент поэтический. С берегов нашей старой Европы, где поэзия заперта в лабораториях алхимиков, трудно даже вообразить, какую роль может играть, каким уважением может пользоваться поэт... Разве не симптоматично, что у истоков борьбы за независимость Кубы, у колыбели Революции находился поэт, олицетворяющий сегодня и Поэзию, и Революцию,— Хосе Марти».

Писатели Кубы с радостью приняли участие в созидании социализма.

«Писатели здесь не обязаны писать, чтобы жить, зато они имеют возможность жить, чтобы писать, жить без страха за завтрашний день, зная, что их книги найдут читателя.

...Они поистине обрели вторую молодость, радостные признаки которой мы наблюдаем по сей день».

Как складывается литературная ситуация, какие творческие пути избирают писатели, каким художественным формам отдают они предпочтение? Журнал демонстрирует — поэтической подборкой на двух языках — несхожесть стилей, многообразие исканий. Но редакция концентрирует внимание на важной закономерности: при всем многообразии художественных решений в них есть общая доминанта — отказ от искусственных, вычурных образов. Объяснена подобная ситуация с помощью скорее метафоры, чем научных аргументов, но впечатляюще и убедительно:

«Когда воображают, будто любят, отыскивают слова редкостные, образы ошеломляющие, ходы головокружительные; описывая неистовство страсти, забывают, что только бледная любовь нуждается в румянах. Редкостные слова ищет лишь тот, кто рассказывает о любви, которой он не испытывает... Подобное можно наблюдать и в отношениях с Революцией. Тот, кто смотрит на нее со стороны, гиперболизирует знаки, так как не ощущает, не понимает значения: он предпочитает крикливые одежды, как и положено парвеню от истории».

Поэты, принявшие Революцию как свою, поистине живут этой любовью; им ничего не надо приукрашивать или гиперболизировать.

Вторым специальным номером (причем тоже двуязычным), который редакция «Сюд» собирается посвятить искусству победившего социализма, должна стать февральская книжка журнала за 1981 год — «Советская поэзия». Переписка по подготовке этого двустороннего издания, результата творческого сотрудничества «Сюд» с Союзом писателей СССР и журналом «Советская литература», говорит о дружеском взаимопонимании, искренности взаимного интереса, общем желании дать по-настоящему услышать французам пульс поэтической мысли, не столько испытывающей, сколько оказывающей влияние на ход развития социализма. Пятнадцать национальностей, семьдесят шесть имен — Маргарита Алигер и Михаил Дудин, Андрей Вознесенский и Эдуардас Межелайтис, Арсений Тарковский и Григол Абашидзе, Кайсын Кулиев и Расул Рза, Анна Каландадзе и Евгений Евтушенко, Григорий Внеру и Сергей Наровчатов, Дебора Вааранди и Лина Костенко, Юрий Кузнецов и Мустай Карим... Разнообразие стилей и поэтических манер, национального колорита и поэтических темпераментов. Какие связи и переклички возникнут между этой поэтической антологией и теми антологическими подборками из современных французских поэтов, которые обычно публикует журнал «Сюд»? Ведь так непохожи пути поэзии советской и французской... Вступительная статья к специальному номеру «Советская поэзия» касается важных моментов, имеющих в какой-то мере общее значение. Автор ее Юрий Суровцев пишет:

«...Для процессов, происходящих в советской поэзии, сегодня характерно стирание крайностей, поиски — и в ряде случаев нахождение — гармонии, синтеза — рационального и эмоционального, напряженности и крайней сосредоточенности, «осердеченного» переживания мировых проблем и фактов бытовой повседневности».

Пожалуй, и современная французская поэзия — в своих лучших образцах — стремится именно к такому синтезу. Писал же французский поэт Клод Аделен, что такую поэзию хочется назвать политической, ангажированной, ввязавшейся в реальность. Но только здесь скорее «реальность, политика ввязались в поэзию, просочились даже в игру слов».

Автор вступительной статьи продолжает:

«...У нас немало поэтов, использующих чрезвычайно сложные стилистические формы... Но сложность никогда не понималась у нас серьезными поэтами как самоцель, как стена, которая должна отъединить пишущего от читающего. Такой трагической самоизоляции не хотят и не могли бы вынести наши поэты».

Французские поэты, вышедшие на литературную арену в 60—70-е годы, тоже активно хотят преодолеть трагическую изоляцию, яростно протестуя против сложности как самоцели, против сознательной установки на элитарность. Это уже достаточные основания, чтобы голос советской поэзии, который прозвучит со страниц журнала «Сюд», был услышан и воспринят. Хочется верить, что французского читателя увлечет эта поэзия, открытая всем ветрам эпохи, тревожная, мятежная, настроенная по камертону нравственного максимализма.

Т. БАЛАШОВА

◆

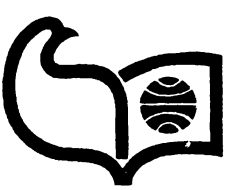
Публицистика

ОТ ИМЕНИ ПЛАНЕТЫ...

В этом номере мы завершаем публикацию высказываний участников высокого форума Третьей Международной писательской встречи в Софии,— без малого сорок речей удалось представить в журнальной подборке.

Оглядываясь на уроки прошлого, комментируя настоящее, всматриваясь в будущее — с самых разных сторон атаковали войну в своих взволнованных выступлениях писатели мира.

Курсу на разрядку, на мирное развитие и добрососедство всех народов земли — альтернативы нет! Безоговорочное утверждение этой истины прозвучало во всех без исключения речах с трибуны встречи с тем большей силой, что разноречие в отдельных положениях и позициях выступавших не могло не иметь места — прибывшие со всех континентов участники ее представляли разные социальные системы, придерживались разных идеологических убеждений и воззрений.



Во взглядах на самое главное разноречия не оказалось. Те, кого называют «совестью человечества», еще раз подтвердили, сколь жизненно важно сегодня солидарное участие в борьбе против гонки вооружений, за мир, за достойный человека облик цивилизации и социального устройства.

И еще на один важный момент следует указать особо: подчеркнутый большинством ораторов высокий авторитет достижений социализма в общественном мнении современного мира, признание решающего вклада в борьбу за разрядку и мир стран социалистического содружества и прежде всего его авангарда — Советского Союза.

Рубен Мелик

ФРАНЦИЯ

Есть во Франции книга — не сборник стихов, не роман, не литературное или философское эссе, не богословский трактат,— которая, однако, является одновременно и стихами, и романом, и философским эссе, и религиозным трактатом. Это книга жизни, любви и смерти. В трудные минуты, какие случается мне, как и каждому, переживать, в минуты сомнения или тоски, я беру ее в руки, перелистываю, останавливаясь на некоторых страницах, читаю их и размышляю, ибо эта книга — источник мужества и надежды. Ее название «Письма приговоренных к расстрелу». Лишь несколько десятков писем собрано в ней, а сколько еще осталось неизвестными во Франции и в других странах! Письма коммунистов и голлистов, интеллигентов и рабочих, атеистов и верующих, тех, кто запечатлел свои последние думы на заре того дня, когда пули нацистов оборвали их жизнь.

Зачем тридцать лет спустя воскрешать лица, мысли, память этих мужчин и женщин? Затем, что еще и сегодня во многих странах мира гибнут под пулями диктаторов, фашистов, авторитарных правителей люди, воплощающие человеческое достоинство, те, кто сопротивляется угнетению, кто стоит в авангарде борьбы за счастье у себя на родине и за мир на всей земле.

Каков же долг современных писателей перед лицом мучеников и героев, оставивших нам эти последние письма? Мне кажется, что мы должны стремиться быть достойными их, сражаясь могучим оружием слова за установление подлинного мира на нашей планете. Наш долг — обличать поджигателей войны, плодящих во всех концах планеты свои военные базы, готовых любыми средствами удушить надежду, которую вселяет в души слово «социализм». Этой цели может послужить все разнообразие наших талантов, вся многоликость индивидуальностей и направлений, иными словами, всякая деятельность на благо культуры, осуществляемая с той полной свободой мысли, которая делает каждого из нас человеком во всей его сложности и могуществе.

Нынешняя встреча, созванная по инициативе Болгарии, страны Вапцарова, собрата в поэзии и в страданиях моего соотечественника Робера Десноса, является важным вкладом в движение за мир, сплотившее все человечество. Я хотел бы выразить пожелание, чтобы после окончания конгресса наша борьба не прекратилась, чтобы, вернувшись в свои страны, мы создали в содружестве с другими деятелями культуры — независимо от их политических убеждений, философских или религиозных взглядов — единое национальное движение, способное вдохнуть в слово «мир» реальную жизнь; чтобы оправдалась мысль Гёте, вложенная им в уста Фауста, мысль, которую любил цитировать Морис Торез, человек мысли и действия, друг и соратник Димитрова: «Вначале было слово — нет, вначале было дело».

Так сделаем же все, чтобы слово претворилось в дело!

[1] Окончание. Начало см. в № 1, 1980 г. Тексты речей печатаются в сокращении.

Николай Федоренко

СССР

За последние годы София становится одним из крупных центров международных начинаний и инициатив, превращается в наш общий писательский очаг, надежное пристанище литераторов стран Востока и Запада.

Здесь в этом зале в 1977 году состоялась встреча писателей мира под девизом «Мир — надежда планеты». Ее заседания можно назвать своего рода созидательной работой каменщиков, возводящих здание международного духовного общения и солидарности.

Эти форумы, которые теперь стали традиционными, коллективными усилиями писателей, прокладывают пути к мирному сосуществованию, взаимопониманию и сотрудничеству, ведь корни этих идей не только в политике и экономике, но и в сфере культуры, искусства и литературы.

Мы верим, что каждая встреча писателей, как и любая встреча людей вообще, может надолго оставить духовный след, установить незримую связь между ними. Велика здесь заслуга Софии, обратившей волю и разум в стремление к возвышенной, благородной цели.

Сегодня, проводя нашу третью встречу, разве не вправе мы спросить себя: что удалось нам, ее участникам, сделать за минувшие годы для утверждения духа литературного Хельсинки, как по достоинству был назван международный форум писателей в столице Болгарии?

Разве не вправе мы спросить себя: достаточно ли настойчивы и продуктивны были наши усилия, что́ надлежит нам предпринять в будущем в интересах дальнейшего продвижения к намеченным целям?

Именно эту задачу — обозреть опыт участников софийских встреч — мы и ставим перед собой. Смею поэтому привлечь ваше внимание к некоторым аспектам практической деятельности советских литераторов.

В кратком слове невозможно охватить весь комплекс международных связей Союза писателей СССР, который, хотелось бы напомнить, поддерживает творческие контакты и сотрудничество с более чем ста писательскими организациями зарубежных стран Запада и Востока и ведет с ними интенсивный обмен: более тысячи литераторов ежегодно участвуют в этом обмене.

Уместным полагаю остановиться, в частности, лишь на наших контактах с американскими писателями.

Три двусторонних диалога за «круглым столом» между видными советскими и американскими писателями явились плодотворным результатом первой софийской встречи.

Именно в 1977 году, непосредственно после этой встречи, в Москве была прове-

дена первая дискуссия за «круглым столом» советских и американских писателей, которая практически реализовала самый дух и решения литературного Хельсинки. Темой нашей встречи была проблема взаимосвязей советской и американской литературы. Среди ее участников были Валентин Катаев, Чингиз Айтматов, Юрий Бондарев, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Сергей Залыгин и многие другие. В состав американской делегации входили такие крупные писатели, как ныне покойный Роберт Лоуэлл, Эдвард Олби, Уильям Стайрон и другие.

Московский «круглый стол» продемонстрировал плодотворность творческого диалога между писателями СССР и США, направленного на выяснение путей к достижению взаимопонимания.

Распространение и расширение литературных контактов оказало воздействие на утверждение духа разрядки международной напряженности. За первой в 1978 году последовала вторая двусторонняя встреча писателей США и СССР, которая состоялась в Нью-Йорке. На этот раз в центр обсуждения были поставлены проблемы современного советского и американского романа и поиска новых форм литературных связей. Так же, как и на первой встрече, обе страны были представлены известными писателями: с советской стороны мы увидели Валентина Катаева, Сергея Залыгина, Григория Бакланова, Миколаса Слуцкиса, Феликса Кузнецова и других. Американскую делегацию представляли Джон Апдайк, Уильям Стайрон, Норман Казинс, Эдвард Олби, Курт Воннегут, Артур Миллер и многие другие.

В ходе дискуссий был затронут широкий круг вопросов, касающихся романа двадцатого века, условий творческого труда писателя в современном мире. Немало было высказано глубоких мыслей о жанре романа, его содержании и стиле. При сопоставлении масштабов распространения современного американского романа в Советском Союзе и соответственно — советского романа в Соединенных Штатах обнаружилось, что в СССР переводится и издается несравненно большее количество произведений американских писателей, чем в США — советских авторов. К сожалению, здесь образовался и продолжает существовать явный перекос, несмотря на всяческие разговоры о свободе печати, творчества и прочем. Попытки американской стороны объяснить нам существующее несоответствие спецификой законов свободного американского рынка не показались убедительными советским участникам «круглого стола».

Темой третьей — батумской — встречи стала проблема творчества писателей в эпоху социального и научно-технического прогресса.

Эта встреча вновь подтвердила значение и важность живых творческих контактов писателей СССР и США. Участники пришли к выводу о целесообразности продолжения творческого диалога, дающего, как выразился возглавлявший американскую делегацию во время всех встреч Норман Казинс, уникальную возможность взаимного обмена мнениями и воззрениями. «Такие конференции,— подчеркнул он,— должны иметь продолжение и в будущем».

Четвертая встреча состоится в городе Лос-Анджелес. Тема — «Человеческие ценности и современная литература».

Состоявшиеся встречи доказали плодотворность обмена мнениями, способствовали утверждению духа разрядки напряженности и принципов мирного сосуществования — единственной альтернативы термоядерной войне. В обострившейся международной обстановке встречи такого рода вносят заметный вклад в дело сохранения многовековой цивилизации человечества, мира на земле: мы верим, что слово писателя — оружие особой, не знающей себе равных силы.

Не символично ли, что в те самые дни, когда президент США словно топором обрубил ветви культурных и научных связей с Советским Союзом и опустил свой «арахисовый занавес», начатый диалог между советскими и американскими литераторами продолжается? Не по всем вопросам мы достигли положительных результатов, не во всем были согласны. Но потому мы и собираемся за «круглым столом», чтобы лучше понять друг друга, приложить особые обоюдные усилия там, где не совпадают наши взгляды, одновременно продолжая настойчиво искать решения остальных проблем, устраняя предубежденность и опасные предрассудки, которые так часто отравляют климат нашего общего существования. Мы, разумеется, отдаем себе полный отчет в трудности предстоящих задач, и потому тем более необходим диалог, необходимы самые энергичные усилия для преодоления барьеров, которые десятилетиями искусственно возводились на нашем пути к согласию в том главном, без чего немыслимо продолжение жизни на нашей планете. Да, нам нужен диалог, а не самоизоляция и отстранение. Не молчание нам нужно и не затворничество, особенно теперь, когда, по слову обратившегося к нам Тодора Живкова, главы болгарского государства, «дыхание ядерной катастрофы уже чувствуется в стратегии, в политике, в делах противников мира и всеобщей безопасности». Именно сегодня угроза ядерного истребления нависла над самим человечеством, над самим существованием планеты. Никогда еще мир не стоял перед столь зловещей перспективой.

В этой связи глубокую озабоченность вызывает провозглашенная недавно американской администрацией так называемая «новая ядерная стратегия». Главный замысел ее состоит в том, чтобы самую идею о ядерной войне сделать как бы приемлемой для общественного мнения, приучить к ней. Этой цели служат рассуждения об «ограниченном», «частичном», «нацеленном на военные объекты» применении ядерного оружия. Все это, конечно, не имеет ничего общего с действительным положением дел и лишь вводит в заблуждение людей.

Чрезвычайно опасна эта политика, и кажется невероятным, что она исходит от

правительства государства, подписавшего соглашение с Советским Союзом о предотвращении ядерной войны. Концепция эта никаким образом не сообразуется с изменившимся политическим ландшафтом в мире.

Смею напомнить, что министр обороны Соединенных Штатов Браун, выступив в военно-морском колледже в Ньюпорте штата Род-Айленд, открыто объявил об этой новой ядерной стратегии, разработанной администрацией Картера и сформулированной в президентской Директиве № 59. Браун отметил, что впервые Картер отдал распоряжение о пересмотре политики выбора объектов ядерных ударов по Советскому Союзу еще летом 1977 года, в тот самый момент, когда мы здесь в Софии встречались с вами, обсуждая пути достижения согласия и мира.

Указанная президентская директива предусматривает возможность нанесения превентивного ядерного удара, с помощью которого Вашингтон надеется выиграть ядерную войну.

В связи с этим распоряжением, сказал Браун, министерство обороны с 1977 года работает над тем, чтобы более гибко ориентировать свои планы на цели оптимального использования военного потенциала США, в том числе, я цитирую его слова, «в крайне неопределенных и хаотичных условиях ядерной войны». Браун подчеркнул, что детали этих планов должны остаться тщательно охраняемым секретом.

В сущности Браун признал несостоятельность тезиса о том, что подобная ядерная война якобы будет носить ограниченный характер. «Мы знаем,— сказал он,— что контролируемый ограниченный удар вполне может, и по моему мнению это весьма вероятно, перерасти в полномасштабную войну».

Комментируя выступление министра обороны в редакционной статье, газета «Нью-Йорк таймс» отмечала, что из его высказываний следует, что даже в случае конфликта с использованием обычных вооружений Соединенные Штаты Америки могут первыми применить ядерное оружие.

Новая доктрина Белого дома, указывается в опубликованном в Нью-Йорке заявлении «Организации врачей в борьбе за социальную ответственность», вызывает серьезную тревогу, поскольку исходит из того, что ядерную войну можно выиграть и что в ней можно уцелеть. Подобные утверждения абсурдны. Американские врачи подчеркивают, что при обмене ядерными ударами может погибнуть 80% населения Соединенных Штатов, немногие же оставшиеся в живых будут обречены на медленную смерть. «Весь земной шар будет заражен радиацией, которая сохранится в течение тысячелетий»,— говорится в заявлении медицинских работников.

Директива № 59 — это продолжение прежней политики вашингтонской администрации, направленной на обострение международной обстановки и на возвращение ко временам «холодной войны».

Вот почему новая стратегия Соединенных Штатов, угрожающая миру во всем мире, вызвала гневные протесты на всех континентах земного шара.

В наше время повсеместно все более утверждается мысль о том, что ни одна из существующих ныне в мире серьезных проблем не поддается решению с позиции силы, с помощью бряцания оружием, и если кто-либо этого не понимает, то сама обстановка в конце концов заставит его прийти к такому выводу.

Одно из подтверждений этому — и только что закончившаяся в Амстердаме Тридцатая Пагуошская конференция, в которой мне вместе с известными учеными многих стран мира довелось участвовать.

Под вопли о «советской угрозе» корпорации военно-промышленного комплекса соперничают в том, кто способен произвести больше ядерных ракет в качестве так называемой основы международной безопасности. На их образ мышления и опирается большая часть вашингтонских военно-стратегических доктрин — смеси махинаций и клеветы, о которой еще в декабре 1953 года говорил великий Эйнштейн. Я привожу его слова: «До каких же пор мы будем терпеть этих властолюбивых политиканов, которые для получения политических выгод сеют страх против коммунизма?»

— Услышан ли гневный голос Эйнштейна? — раздавались вопросы ученых на Пагуошской конференции.

Изменилось ли что-либо с тех пор? Если что-либо изменилось, так это сами условия, в которых клеветать, провоцировать, стравливать между собой народы становится все труднее. Нельзя при этом не увидеть прямой взаимосвязи того, о чем идет речь, с заключительным актом конференции в Хельсинки.

«Должно быть обеспечено, надежно обеспечено первейшее право человека, право на жизнь, на мир»,— говорил в июле этого года Леонид Ильич Брежнев, отвечая на вопросы редакции «Правды».

Позвольте мне закончить мыслью, с которой я начал,— перед писателем, как и перед каждым человеком и перед всем человечеством, стоит чрезвычайной важности цель и сверхзадача: пока не поздно, обуздать зловещие силы термоядерной войны, отстоять жизнь, великие и духовные ценности на земле. Мир — вот наша единственная альтернатива войне, главная надежда нашей планеты.

«Мир — бесценное достояние»,— говорил Леонид Ильич Брежнев, выступая на международном конгрессе миролюбивых сил в Москве. В реальном вкладе в дело борьбы за утверждение идей мира и разума мы видим глубокий смысл нашей софийской встречи.

Разрешите мне, теперь уже ветерану софийских встреч, обратиться со словом признательности к нашим дорогим братьям, болгарским писателям, народу и правительству за душевную щедрость и гостеприимство, неизменную готовность сделать все для успеха нашей работы, во имя справедливости и международного сотрудничества.

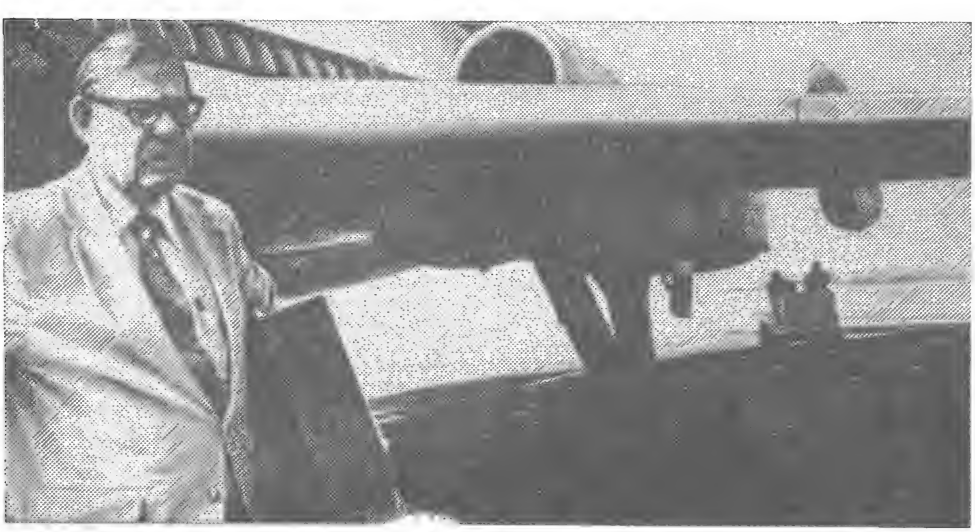
Хвала великому труженику—болгарскому народу и низкий поклон древней славянской земле — социалистической Болгарии!

Рубен Мелик

Фаиз Ахмад Фаиз

Элтон Фэкс

Джеймс Олдридж



Филлип Боноски

Франц Шторх

РУМЫНИЯ

Великий англичанин Уильям Шекспир в «Макбете» говорит, что «жизнь — только тень минутная; фигляр, свой краткий час шумящий на помосте». Другой Уильям — американец Фолкнер — знакомит нас в одном из своих романов с миром шума и ярости, каким он представляется чудаку. Неужели и наш век станет мигом вечности, насквозь пропитанным шумом и безумием? Судя по тому, что мир вновь и вновь хватается за спички, судя по морям крови, напитавшим землю,— у нас еще свежи в памяти две мировые войны с их массовым убийством, многочисленные территориальные, религиозные и экономические конфликты,— судя по всему этому, порой и в самом деле кажется, будто мы находимся на бойне человечества, где главная мысль — отсутствие всякой мысли. Мы словно попали в лабиринт, где пасть минотавра беспрерывно заглатывает людей, и невольно возникает вопрос: неужели это ненасытное чудовище действительно неуязвимо и неодолимо? Однажды его уже довелось сокрушить, причем не только благодаря силе стремящегося к свету, почти одержимого светом героя, а и благодаря любви героини, которая вложила в руку мужа спасительную нить. Таким образом минотавр, можно сказать, был умерщвлен, сломлен подвигом, любовью, мыслью. Свет и надежду принес разум, или, иными словами, тьму развеяла сила разума. Мы же, собравшиеся сегодня в Софии — городе мудрости — писатели, обладающие ключом к словам,— что делаем мы? Разве не пора нам сделать слово деянием?

Здесь опять-таки возникают новые вопросы: могут ли слова одолеть всесильных молохов? Суть ли слова то же, что понятия, которые ими выражаются? Не скрывается ли под их блеском зачастую совсем иная реальность? Не прячется ли в них иной раз полная противоположность их исконному смыслу? Быть может, стоило бы сперва очистить человеческий язык от фальшивых плевел, чтоб затем возродить его на основе правды. Слишком уж много поэтишек вышли из неронова плаща, они идиллически вздыхают на луну, а при этом готовы перерезать глотку всякому, кто случайно окажется в темноте рядом с ними.

В свое время и Наполеон был теоретиком литературных жанров и идей, ведь это он как будто сказал однажды, что в трагедию ныне пора привнести политику. Выходит, дотоле этот жанр, который гениальные греки довели до совершенства, был абсолютно лишен политических мотивов? Выходит, Антигона, победившая тирана, защищала исключительно права брата на погребение? И больше ничего? Нет, слова наших греческих коллег Эсхила, Софокла и Еврипида точны и ясны, и все-таки вот уже которую сотню лет их многозначность заставляет самые светлые головы из нас мучиться над разгадкой. Во всяком случае, иной раз, пожалуй, куда полезнее, чтоб человечество вдумалось в поставленные древними проблемы и попыталось их разгадать, чем погружаться в душераздирающие потоки лживых слов иных оракулов.

Обязанность писателей как раз в том и состоит, чтобы раскрывать истинный смысл велеречивых рассуждений (письменных или устных) тех, кто на самом деле выступает против человечества, кто на самом деле копит силы для того, чтоб разорвать на куски нашу планету.

Что будет завтра — вот в чем вопрос. Что станется с завтрашней жизнью? На протяжении многих веков поэты пытались расшифровать тайны небытия, но никогда прежде смерть не оказывалась столь явной угрозой, как сейчас в нашей повседневной жизни, когда она хранится на складах ядерного оружия, поджидает своего часа в ракетных шахтах, когда — более того — ее старательно лелеют человеческие руки, точно это нежный цветок. Неужели стремление к мировому господству сдвинуло что-то в людских умах? Едва ли. А раз так, то можно утверждать, что сила сознания людей, сила сознания писателей приобретает ныне, как никогда, огромную важность.

Согласен, писатели, конечно, не самые лучшие полководцы — быть может, тут есть исключения, но они подтверждают другое правило. Правда, легенда гласит, что Софокл — наш древний современник — в награду за свою «Антигону» получил право командовать военным отрядом. Но есть и прямо противоположные примеры: кое-кто поставил крест на военной карьере или по крайней мере лишился эполет.

Но к чему, собственно, мне понадобились все эти исторические экскурсы? К чему я вспомнил безумных тиранов и подлинных титанов слова? Потому, что мир неделим и человечность человека неделима, и потому, что люди не хотят, чтобы миру постоянно грозил раскол и уничтожение. Наши слова должны преодолеть политические, социальные и культурные барьеры, стоящие на пути величайшей мечты человечества — мечты о счастье.

Болезненные, хворые слова мы, как сказал один поэт, положим на терку, чтобы глаголы и существительные восстановили свою изначальную структуру и стать, чтобы и сознание человека обрело силу, способную противостоять любой катастрофической перспективе.

Тупицы могут сказать, что без войны не было бы «Илиады» и Агамемнона, блистательного победителя, которого дома по возвращении караулил убийственный топор. И не было бы изумительной битвы с ветряными мельницами. Какой оказалась бы мировая литература без копий и танков? Неужто без реализма алебард и бомбочек мы бы задохнулись в идиллии? Что ж, слепой грек, наверное, и здесь нашел бы решение и показал нам, что взлелеянная в отрочестве и затем утерянная любовь способна довести мир до безумия. Наверное, и создатель Агамемнона тоже нашел бы решение, показав нам, что женщина не прощает тем, кто — как опять-таки сказал один поэт — разрушает «покрывало

чудес этого мира», даже собственному мужу. А что касается святого мальтийского рыцаря, то его литературный отец тоже наверняка бы нашел подходящий прием, чтобы показать нам, что бесконечная цепь приключений (извольте: не боев) может стать посвящением в величие; или взять такие личности, которые терпят крах с каждой новой попыткой (извольте: попытка, а не бой), как Сизиф, который изо дня в день отдает дань злу, или как герой сказок, но тем не менее побеждают, а благодаря благородству их душ побеждает и благородство в других людях.

Разумеется, нет никакой гарантии в том, что с сегодняшнего дня все оружие будет выброшено в мусорную кучу истории. Но все-таки и несмотря ни на что мы можем внести свой вклад в дело победы идей мира, символы которых должны быть начертаны на гербе всех наций.

Ахмед Абу Саад

ЛИВАН

Мы прибыли сюда из страны, где правит свою тризну смерть, где разрушения приняли фантастические масштабы, где во имя общинных и классовых привилегий монополий уничтожены тысячи людей.

Мужественно сражаются наши герои с теми, кто несет смерть, кто разжег этот пожар. Бейрут объят пламенем. Но огонь сопротивления задержал прибытие «американского экспресса», который пересек пески Синайской пустыни. Этот огонь защитил палестинскую революцию.

Из знаменитого туристского рая наша страна превратилась в отчизну героев. Кончился для ее граждан период абстрактно-романтической любви к родине, к ее живописным горам и заливам. Мы вступили в эпоху, когда на первое место выдвигается проблема человека, его места в обществе, осмысленного с социально-классовой точки зрения.

Создать условия, в которых человек сможет преодолеть рабство, отсталость, раскрыть свою личность, повысить уровень своего сознания,— такова наша цель. Иначе говоря, наша цель — мир. Мы не видим противоречия между миром на земле и национально-освободительным движением.

Наш Союз писателей эффективно выступает против террора, против подрыва безопасности республики, против раскола страны. Мы добиваемся упрочения единства, независимости и демократического развития для Ливана. Мы хотим, чтобы писатели действовали солидарно, добиваемся для писателей почетного положения в обществе, соответствующего их роли и призванию.

В своей деятельности мы не чувствуем себя одинокими. У нас есть друзья во всех странах мира. Они поддерживают нас в борьбе — прежде всего я имею в виду наших друзей из социалистического лагеря.

От имени Союза ливанских писателей я приветствую вас и этот конгресс.

Да здравствует сотрудничество и дружба между всеми миролюбивыми силами! Слава честным писателям! Наш привет Болгарии и ее свободным литераторам!

Абдулла Назими

АФГАНИСТАН

Писатели — это подлинная армия борцов за мир, свободу и социальный прогресс; вспомним хотя бы их роль во время и после второй мировой войны — можно ли забыть их вклад в разгром фашизма, в увековечение подвигов, испытаний, героизма народов, ему сопротивлявшихся, в дело борьбы за созидание послевоенного мира?

Особенно возрастает их роль в наши дни, когда остервенение империализма достигло, можно сказать, апогея. Писатели и поэты своими произведениями должны раскрывать людям истинный смысл его грязной пропаганды. Назначение литературы — пробуждать людей к борьбе за прогресс и мир, нести народу правду — в ее силах многое сделать, чтобы помочь людям отстаивать свою свободу, бороться за лучшее устройство жизни на земле.

В моей стране, революционном Афганистане, империалисты пытаются любой ценой подорвать наши созидательные усилия, через своих наемников они организуют постоянные провокации. Они убивают стариков и детей, взрывают мосты, сжигают мечети, убивают и грабят людей на дорогах. Но никакие их действия не ввергнут Афганистан в обстановку хаоса, не столкнут его с революционного пути — пути мира, свободы, равенства и братства.

Задача писателей состоит в том, чтобы просвещать людей, искать путь к их сердцам, искренне и правдиво знакомить их с действительностью, способствуя таким путем усовершенствованию общества — недаром во всех революциях писатели играли важную роль в просвещении народных масс.

Я уверен, что встреча писателей в Софии будет способствовать сближению писателей, укреплению дружественных отношений между народами всех стран.

Суан Зиеу

ВЬЕТНАМ

Последние 35 лет, с апреля 1945 года, писатели Вьетнама вели неутомимую борьбу за независимость родины. Наш народ победил французских колонизаторов, американских интервентов, а в феврале 1978 года отразил нашествие сотен тысяч пекинских захватчиков. Призыв нынешней встречи звучит для нас как голос собственного сознания. В течение 35 лет непрерывной войны за независимость вьетнамский народ неизменно стоял рядом с теми, кто больше всего ценит мир.

Наш народ любит жизнь: он обороняется, но душа его рвется к миру, миру до-

стойному и справедливому. Наш великий национальный поэт Нгуен Чай, шестисотлетие которого празднуется в этом году во всем мире, был мудрым стратегом, он помог царю Ле Лою освободить страну от власти феодалов династии Мин и позднее написал трактат о том, что мир — истинный корень древа музыки и если народ сыт и душа его весела, то и музыка его будет полна гармонии!

Прозаики и поэты Вьетнама испытали вместе с народом все его лишения. Мы стремимся к миру, чтобы приобщиться к сокровищам духовного наследия человечества, мы хотим с помощью полноценных переводов помочь нашему народу вкусить от этого бесценного плода. Я сам перевел поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин», стихи Виктора Гюго, Пушкина, Тагора, Петефи, Пабло Неруды, Николаса Гильена. Я перевел также целую книгу болгарской поэзии, где собраны произведения Ботева, Вапцарова, Смирненского и рядом с ними — стихи Елисаветы Багряны, Благи Димитровой, Любомира Левчева...

В моей стране меня знают как поэта, воспевающего любовь. Увы! Тысячам наших влюбленных пришлось два десятилетия ждать друг друга: ей — на оккупированном американцами Юге, ему — на Севере; найдется ли на всем свете столько Тристанов и Изольд, столько Ромео и Джульетт, разлученных на десятилетия, как во Вьетнаме? Между тем поджигатели войны несут нашей сегодняшней молодежи новые страдания. Сегодня нам грозит атомная война, которая не оставит и ростков жизни.

Над нашими нынешними мирными днями нависла тяжелая опасность; пекинские экспансионисты открыто грозят нам новым нападением. Их поддерживают американский империализм и международная реакция, и этот черный союз готовится обрушить на человечество третью мировую войну.

Народы Вьетнама, Лаоса и Кампучии объединяют свои силы, чтобы оградить свою независимость и содействовать сохранению мира на Индокитайском полуострове и в Юго-Восточной Азии.

Азиз Несин

ТУРЦИЯ

Слава богу, третий раз мы собираемся вместе. Болгария превратила эти совещания в прекрасную традицию. Мы, турецкие писатели, вдвойне этой традиции рады, ибо она является успехом как нашего соседа, так и социализма вообще.

Чтобы нагляднее представить роль писателя в борьбе за взаимопонимание наций, за принципы взаимного общения, я расскажу о том, что приключилось со мной.

Несколько месяцев назад, находясь в Греции по приглашению Комитета защиты мира Салоник, я поехал в Афины. Однажды, гуляя по Афинам, потерял дорогу, ведущую к отелю. Спросил у одного грека, как пройти к гостинице. Грек не знал ни турецкого, ни английского, но он понял, какой отель я ищу. Взял меня под руку, куда-то повел и посадил в машину, которая стояла в переулке. В своей машине довез до самого отеля. Так турок и грек, не зная языка друг друга, поняли друг друга...

В 1965 году в Москве я возвращался ночью в близлежащий отель после обильного ужина. Ко мне подошел русский, что-то сказал. Я понял, что он попросил сигарету, и угостил его. Мы пошли рядом. Долго-долго русский мне что-то рассказывал. Я не понимал его языка, но догадывался, что он делится какой-то проблемой, какой-то заботой, похожей на мою. И я слушал рассказ об этой заботе на непонятном мне языке. И сам тоже в ту ночь испытывал потребность кому-то поведать о том, что меня тревожило. Как только он закончил, я приступил к своей исповеди на турецком. Он с интересом слушал. Замолчал я, вновь заговорил он. Мы миновали отель, где я жил, посидели на скамейке, продолжая свои исповеди. Довольно много курили. Светало, того и гляди настанет утро. Продолжая говорить, он довел меня до отеля. Мы обнялись и разошлись. Когда я входил в гостиницу, он издали махал мне рукой. Вот так турок и русский, не владея общим языком, поняли друг друга.

Два года назад один турецкий кинематографист поехал в Москву. Он ни единого слова не знал по-русски и полюбил русскую девушку, которая не знала ни единого слова по-турецки. Девушка тоже его полюбила, и они поженились. Сейчас у них есть дети: так турок и русский, не имея общего языка, поняли друг друга.

Сюда, в Софию, я приехал из Марселя. Это была моя первая поездка в Марсель: сошел с поезда, в руках у меня было два тяжелых чемодана. Я не знал, откуда и каким транспортом добираться до нужной улицы. Изрядно прошагав со своими двумя чемоданами, показал написанный на листочке адрес одному пожилому французу. Он сделал знак следовать за ним. Мы шли рядом, он попытался взять у меня один чемодан, после препирательств мы понесли его вместе. Оказалось, путь предстоял не близкий. Он показал мне, где купить билет, довел до кафе, где можно было дождаться автобуса. Я очень просил его выпить со мной вместе пива или кофе. Он не захотел, только спросил меня, грек ли я. Турок — ответил я. Он сказал, что он армянин. Три раза пожал мне руку и пожелал счастливого пути. Расставаясь, словами и знаками дал понять мне, чтобы я был внимательным, дабы не лишиться моих чемоданов. Так поняли друг друга французский армянин и турок.

И еще немало случаев, похожих на эти, мог бы я вспомнить, как, полагаю, могли бы вспомнить и все вы.

А сейчас хочу предложить несколько других примеров из будничной жизни, тоже всем хорошо известных. Допустим, школа, фабрика, рабочее место, официальное учреждение. Встречаются те, кто любит друг друга, и те, кто испытывает друг к другу мало приязни. И каждое утро приветствуют друг друга: добрый день. И получают в ответ: добрый день. Действительно ли, искренне ли они желают друг другу доброго дня или в душе желают плохого дня? Вот вам пример того, что

можно говорить на общем языке и не понимать друг друга.

Увидев знакомых, мы спрашиваем: «Как вы поживаете?» В самом ли деле мы хотим узнать, как поживают те, которых мы встречаем? Нет. И они, зная это, отвечают неизменным вопросом: «Спасибо, а вы как?»

Продавец в магазине одежды: «Вам очень к лицу это платье». Муж и жена, клянущиеся в верности до самой смерти, политические деятели, обращающиеся к своим избирателям «дорогие сограждане», иные дипломаты — протягивая руку, другую, сжатую в кулак, прячущие за спину...

Если мы хотим при помощи наших стихов, рассказов, романов, пьес и всего того, что нами написано, способствовать взаимопониманию и общению между народами, прежде всего мы должны выражать их общие чувства, потребности, проблемы. Все классики поступали так. Наши современники Горький, Маяковский, Хикмет, Гарсиа Лорка, Костас Варналис и еще очень многие мастера следовали их примеру. У каждого века, у каждого периода есть общие мировые проблемы, чувства и потребности, которые свойственны только этому веку, этому периоду. Главный вопрос современного мира — раздувание и подготовка империализмом войн. Поэтому борьба против войн — это самая актуальная проблема для каждого честного и мыслящего человека. В последние годы даже само постепенное увеличение количества конференций в защиту мира указывает на то, что опасность все более приближается.

С окончания второй мировой войны прошло 35 лет. Но за эти 35 лет в нашем мире война вовсе не окончилась. То ли вторая мировая война все еще продолжается вот уже 40 лет, как хроническая болезнь, и еще будет продолжаться? Количество убитых в региональных и гражданских войнах не намного меньше убитых во второй мировой войне. Или же третья мировая война, которой мы так опасаемся, уже началась, только мы не знаем об этом?

Моя страна Турция, где вот уже три-четыре года ежедневно убивают десять—пятнадцать граждан, находится в самом центре района социального землетрясения мира. Лишь за последние два года разгула терроризма было убито четыре турецких писателя, четыре блестящих писателя. Марка оружия, которым они были убиты, принадлежит оружейным заводам стран, где нет войны.

Дорогие товарищи, на первом заседании этой конференции мы почтили память наших скончавшихся друзей, которые участвовали в предыдущих встречах. Для того чтобы терроризм не добавил к списку жертв новые имена, проблема, о которой я говорю, должна стать нашей общей проблемой.

В Турции — этих воротах Среднего Востока и перекрестке нефтяных регионов — вот уже долгие годы хозяйничает и господствует империализм. Империализм толкает нас к гонке вооружений. Для империалистов помогать Турции — значит предоставлять ей оружие и заставлять ее влезать в новые долги. Мы — писатели этой страны — до последней клеточки ощущаем, что обеспечение мира — наша кровная проблема.

Дорогие мои товарищи, только обсуждая сообща наши проблемы, мы можем обеспечить взаимопонимание и укрепление контактов наших народов.

Мои друзья-писатели, с которыми мы здесь встречаемся, вежливо спрашивают меня:

— Как вы поживаете? — Спасибо, а как вы поживаете? — спрашиваю я у них в ответ. И это не какой-то штамп, принятое клише. На самом деле мы испытываем искреннюю потребность узнать, как поживает каждый из нас...

Робер Андре

Президент Международной ассоциации литературных критиков

ФРАНЦИЯ

Мое выступление будет очень кратким и коснется лишь ограниченного аспекта проблемы. Мы прослушали здесь много речей, и все они свидетельствуют о том, что нет недостатка в доброй воле. В то же время, как мне кажется, мало сказано в плане практическом. Каким способом можем мы оказывать влияние на ход истории? На мой взгляд, тут речь должна идти о долгом отрезке времени, о воздействии на сознание, а такое воздействие должно осуществляться в процессе образования, воспитания. Во время нашего последнего конгресса в Хельсинки мы, литературные критики, поделились своей тревогой по поводу сокращения курсов литературы в учебных программах некоторых стран, мы указывали на опасность, которой чревато постепенное снижение общего культурного уровня. Легко показать, что такая опасность выходит за пределы проблем собственно культуры, ибо воцарение общества холодных и прагматичных обладателей технических дипломов грозит нам гибелью не в меньшей степени, чем невежество.

Недавно мне довелось познакомиться с отчетом об одной из анкет, в ходе которой задавались вопросы: — Знаете ли вы Флобера? — Да.— А Бальзака? — Да.— А Томпсона? — Молчание. Затем шел длинный список имен, встреченных тем же молчанием. В заключение автор анкеты объяснил ее цель. Встреченный молчанием перечень содержал не имена писателей, а марки пулеметов. Так вот, господа, я должен сказать, что в нескольких — их не так мало — странах четыре пятых взрослых и детей, наоборот, назвали марки пулеметов и продемонстрировали своим молчанием полное невежество во всем остальном.

Полагаю, что констатация столь ужасающего пробела в знаниях не нуждается в комментариях. Когда-то во Франции утверждали, что учителя начальных классов выпестовали победу 1914 года на опыте поражения 1870-го. Думается, что литераторы могли бы оказать помощь педагогам в деле перестройки сознания грядущего

мира. И тут важнее изучать тексты, чем произносить слова. Я склонен думать, что эстетическое воспитание уже само по себе является воспитанием гуманистическим.

Ян Пиларж

ЧССР

Несколько лет тому назад я плыл на пароходе вверх по Дунаю — тем самым историческим путем, которым двадцатисемилетний болгарский поэт Христо Ботев двигался с вооруженным отрядом на свою порабощенную тогда родину, чтобы не только словом, но и мечом сражаться за ее освобождение. Я стоял на вершине той самой горы, где пал поэт. «Кто за свободу погибнет в бою, тот не умрет» — этот его стих оказался пророческим. Ботев — пример того, как удивительно могут совпадать поэтическое слово и патриотический поступок.

В городке Банско я посетил старую мать болгарского поэта Николы Йонкова Вапцарова. Из ее уст я слышал о казни ее тридцатитрехлетнего сына, поэта-коммуниста. Верный заветам Ботева, он бился с фашистами и был расстрелян в угрюмой тюрьме в центре Софии. Поэзия Ботева, Вапцарова, подобно творчеству нашего Юлиуса Фучика, присутствует в этом зале. Их слова и поступки могут служить эталоном для всех честных писателей.

Поэзия, которую мы создаем, является миролюбивой, жизнеутверждающей, гуманистической. Она сама по себе защищает идею жизни. Такова была чешская поэзия в ее истории, такой мы ее видим сегодня. Она открыта для мира, хотя порой кажется, что голос ее теряется в грохоте канонад. Стихотворение может спасти человека от одиночества, приблизить народы к миру. Мне часто вспоминается монолог африканской матери, который я однажды прочитал. В нем были следующие слова:

Нам дали нож, чтобы он резал яблоки,
а он служит, чтобы вонзиться в горло.
Мы получили ночь, чтобы отдохнуть,
а она служит для бессонницы.
Остались у меня только глаза,
чтобы увидеть своего убитого сына...

Горечь и отчаяние африканской матери вершит призыв:

Поэт, ты, который меня услышишь,
возопи!
Растревожь моей судьбой людскую
совесть,
чтобы другим не надо было страдать,
как мне,
и чтобы они попали в свой рай не после
смерти,
а уже здесь, на земле.

Этот призыв обращен ко всем нам. Поэт, хотя он и творит в тишине, не может молчать, если где-то терзают человека или целый народ. Он по-своему ответствен за то, будет ли наша планета жить в условиях взаимопонимания и мира, или же очередное тысячелетие потечет по сожженной, безлюдной земле. Наше оружие — единство, способность найти общий язык и продемонстрировать миру свою общую мысль и волю. Наше оружие — наши слова, наши стихи. Нужно сделать так, чтобы их знало как можно больше людей в мире, чтобы смысл их был воплощен как можно точнее. Я смотрю на художественный перевод как на незаменимый инструмент взаимопонимания.

Наша социалистическая Чехословакия знакомит своих читателей со всеми выдающимися произведениями мира, возводя духовные мосты дружбы между народами, позволяющие вести их мирное собеседование.

Фаиз Ахмад Фаиз

ПАКИСТАН

Если начать с самого начала: литература родилась, когда человек только-только стал человеком и обрел искусство речи. Можно сказать вслед за христианской Библией, что вначале было Слово. Но далее мы можем отступить от текста и добавить, что слово было не у бога, но у творцов слова, предков нынешних писателей — племенного певца, или жреца, или колдуна, или пророка древних времен.

Нам всем известна роль, которую он играл, его назначение в жизни общества. Он облекал в слова коллективный опыт своих соплеменников, запечатлевал их историю и формулировал их нравственные понятия. Таким образом, его слово было связующим элементом, которое давало отдельным частям первых человеческих группировок ощущение общности, самосознание, основу для сотрудничества и взаимопонимания. Он дарил им трудовые песнопения для совместной работы, военные песнопения для битв с общим врагом, охотничьи песни и песни урожая, помогавшие делать их труд плодотворнее. Но его мир был очень тесен, и его слово достигало только пределов обитания его клана, племени или этнической группы: в этих пределах он стремился укреплять единство цели и нравственных ценностей, идеалов и стремлений, чтобы помочь своему племени в борьбе за общее благо и против общих опасностей.

С тех незапамятных времен до нынешнего 1980 года человечество прошло долгий путь. На протяжении этого долгого периода кланы слились в племена, а племена в нации. На смену фольклору, устным сказаниям пришла письменная литература со всем богатством ее возможностей. Расстояния становились все короче по мере того, как человек создавал новые средства связи и сообщения,— если бы этот процесс мог развиваться без помех, он мог бы связать все человечество узами родства и дружбы. Но этого не произошло. Появились новые силы, воплотившиеся в различные формы колониализма и в форму колониально-капиталистической эксплуатации. Былая изоляция и разделение первобытных общин, объяснявшиеся есте-

ственными географическими факторами, теперь сменились новыми барьерами, которые создавались этими новыми силами. Пока соперничающие империалистические державы грабили и истощали колонизируемые земли, происходило массовое выхолащивание целых языков и литератур, калечились национальные культуры, уничтожались традиционные нравственные ценности. Все это сопровождалось войнами и кровопролитиями, смертью, разрушением. Неудивительно, что под воздействием новых философий, порожденных этой системой, многие писатели утратили корни, отказались от изначальной роли и миссии своих пращуров. Вместо того чтобы постигать и раскрывать реальную окружающую их действительность, такой писатель нередко пассивно погружался в самые мрачные глубины подсознания. Тот, кто избирал этот путь, из благородного борца за истину, духовность, любовь и сострадание превращался в прислужника насилия, преступления и разврата. Муза спускалась с пьедестала олимпийской богини и становилась подручной мамоны.

Но это — не односторонний процесс. Диалектика человеческой истории породила и контрсилы, воплотившиеся в массовые движения за политическое освобождение и социальную эмансипацию, за мир и дружбу, за сотрудничество и взаимопонимание между всеми народами. Ответственный писатель отдает свое перо на службу именно этим силам.

Писатель наших дней, завершающих месяцев 1980 года, присутствует при кульминации этого гигантского конфликта. Это зрелище внушает и страх и великую надежду.

С одной стороны, человечество все более превращается поистине в единое племя: прежде независимые части целого становятся взаимозависимыми частями единого организма; с другой — призрак ядерной гибели угрожает сегодня не одной какой-то стране, не одному какому-то народу, но всей планете. И наконец, единственным источником надежды отвести эту угрозу становится взаимопонимание и сотрудничество всех народов мира. А потому ответственность, лежащая на современном писателе, не исчерпывается только его художественными задачами. Во многих областях мира на него возлагается долг помогать восстановлению самосознания его народа — помогать, связуя воедино разорванные звенья его культурного и исторического прошлого. Долг содействовать уничтожению барьеров отчужденности, воздвигнутых между его народом и другими народами в долгой ночи империалистического господства. Сегодня он — сторож братьям своим, а в число этих братьев входит и замученный, обездоленный палестинский народ, и жители оккупированных арабских земель, и угнетенные, порабощенные народы Намибии и Южной Африки, и все униженные и оскорбленные во всех областях мира. А главное, на него возложена задача объединять голоса всего человечества в выборе между войной и миром, разрядкой и конфронтацией, жизнью и смертью, существованием и гибелью.

Да будет мир с вами!

Мариам Уоддингтон

КАНАДА

Дорогие коллеги, я рада приветствовать вас по случаю обсуждения темы взаимного понимания и хотела бы сразу перейти к ней без всяких вступительных банальных операций со словами «мир», «любовь» и «красота». Мы чересчур часто употребляем эти слова в сегодняшнем мире, и порой они утрачивают свой первоначальный смысл. Нам нужно стремиться искать свежие и ясные слова.

Нам нужно научиться понимать различия и дорожить ими, хотя мы все предпочитаем сходство и привычность. Однако, если земле и дальше назначено существовать, необходимо научиться узнавать, ценить и принимать различия такими, какие они есть. Я имею в виду и совершенно очевидные различия в цвете кожи, строении тела и возрасте, и менее бросающиеся в глаза различия в верованиях, взглядах и отношении к жизни.

Человеческие культуры всех веков вырабатывали, как правило, отрицательное отношение к различиям; любую социальную систему можно в большей или меньшей степени обвинить в стремлении подавить, объявить вне закона то, что отличалось от принятого ею.

В интересах продолжения жизни на нашей планете давайте перестанем рассматривать различия между нами в негативном духе. Давайте, напротив, приложим все силы нашего разума и способности к сочувственному рассмотрению и изучению различий между нами. И прежде всего мы должны отказаться от мысли, что можно наказывать, заключать в тюрьму или лишать людей жизни просто в силу того, что они непохожи на нас.

Кроме того, на свете существует многое, чего мы пока не понимаем. Так давайте же оберегать, а не разрушать те стороны нашей жизни и нашего окружения, которые пока еще остаются непонятными для нас.

Я родом из Канады, я родилась в прерии, где стоят безмолвные и скорбные индейские тотемы, где лежат древние ледниковые валуны, испещренные иероглифическими надписями. Я так и не научилась читать эти надписи, так и не поняла молчание тотемов, но пусть я их не понимаю, я знаю, что в этих знаках был заложен некий смысл. Я знаю: наступит день, придут другие и, может быть, отыщут ключ к прочтению былого. Во имя тех, других, которые придут потом, когда уже не будет нас, мы, художники, обязаны отыскивать и сберегать все знаки человеческой культуры.

Дорогие коллеги-писатели, нам нужно научиться бережному отношению не только к тому, что нам привычно, что мы в силах воспринять; но и бороться за понимание отличного, трудного, еще не понятого.

Фридрих Хитцер

ФРГ

Выступая здесь во время Первой софийской встречи писателей, я цитировал газеты моей страны. В то время как мы говорили о необходимости еще больше сконцентрировать сознание людей на борьбе за мир, эти газеты, словно голливудский фильм ужаса, разыгрывали сценарий третьей мировой войны.

А когда я перед отъездом на Третью софийскую встречу записывал свои мысли о новых опасностях, угрожающих миру, на Терезиенском лугу близ Мюнхена во время традиционного октябрьского фестиваля взорвалась бомба — прямо среди многотысячной толпы. От четырнадцати человек — детей, женщин, мужчин,— можно сказать, ничего не осталось. Свыше 140 тяжелораненых, искалеченных, изуродованных оказались в больницах.

Тем временем стало известно, кто подложил и взорвал бомбу: молодые члены неофашистской организации, так называемой военно-спортивной группы Гофмана.

Перед нами чудовищное проявление агрессивности, ненависти, культа насилия, охвативших за последние годы многие страны.

Это — война, это та война, которая, мне кажется, грозит шаг за шагом ввергнуть нас во внутренний хаос, а затем обратить насилие вовне. Откуда это приходит? Как люди становятся убийцами?

Экономика, общество, государство — все области нашей жизни оказываются пронизанными новым милитаризмом. Он маскируется в цивильные одежды. Милитаризм — это давно уже не прусская муштра, не марши, не хриплые команды и не солдатские грубоватые шутки. Это исполненный презрения к людям технократический культ насилия в науке и технике, в политике средств массовой информации. Общественность приучают к зрелищу того, как будут уничтожаться города и деревни, целые страны и области,— апокалипсис как сенсация, конец света с помощью электронных систем управления. Извращенность нового милитаризма — это нейтронное оружие и растущее невежество наших политиков и военных, которые, словно в покере, хотят переиграть социалистические страны.

О нет, такие игроки не желают войны, им бы только выиграть игру. В действительности же их действия порождают ситуацию, которая может выйти из-под контроля и привести к войне.

Более чем когда-либо прежде нам грозит то, против чего около ста лет назад предупреждал некий консервативный государственный деятель — прусский канцлер Бисмарк. Заручившись благодаря новой телеграфной технике возможностью сознательно пустить в свет фальшивку, так называемую Эмскую депешу, чтобы скрыть от общественности свою подготовку к войне против Франции и получить таким образом преимущество, Бисмарк, видимо, сам испугался последствий подобных манипуляций. Можно сказать, он предвидел будущее, где с помощью лживых публикаций и обманных маневров можно будет выдать любое преступление за необходимые меры защиты, а в крайнем случае — и за подвиг.

Народам не пришлось слишком долго ждать подобного будущего. К сожалению, они пробудились, лишь когда катастрофа уже произошла.

К концу первой мировой войны миллионы людей, поначалу ослепленных шовинизмом, поняли, что угар, в который они оказались ввергнуты, стал возможен благодаря средствам массовой информации, в течение многих лет обманывавших и сбивавших их с толку. И в 1945 году многие немцы тоже знали, что агрессия и массовые убийства, совершенные германским фашизмом, были бы невозможны без тотальной дезинформации. Сам Гитлер с циничной откровенностью высказался об этом так: эта война, говорил он, возможна лишь при наличии двух типов людей — людей, которые всему верят, и людей, которые не верят ничему и ни во что. Ни те, ни другие не рождаются сами по себе, их такими воспитывают.

Чтобы быть конкретным, я хочу процитировать отрывок из воззвания «Защищайтесь! Ко всем гражданам Европы!». Автор этого воззвания от 18 августа 1980 года — физик-атомщик профессор Карл Бехерт, бывший директор Института теоретической физики в Майнце, а с 1962 по 1965 год — председатель комиссии бундестага по атомной энергии.

«Бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе по вопросам ядерного оружия генерал Пасти откровенно заявил: уничтожение Европы — это цена за защиту Соединенных Штатов. Я говорю: защищайтесь! Хотите ли вы гибели в третьей мировой войне? Верите ли вы до сих пор, что НАТО вас защищает? Или вы все еще не поняли, что вам уготована честь умереть ради защиты Соединенных Штатов Америки?.. Добиваться нужно не предельного уровня ядерных вооружений, а полного исчезновения таких вооружений в Европе, чтобы в конце концов навсегда ликвидировать опасность этого очага войны».

Профессор Бехерт — видный ученый и политический деятель. Он член СДПГ. Для правых то, что он говорит,— предательство. Буржуазная пресса у нас в стране замолчала его воззвание, члены его собственной партии ничего не знают о нем, руководство не считает нужным распространять это обращение.

Для каждого, кто способен слышать, однако, этого достаточно, чтобы забить тревогу.

Действительно ли мы всерьез относимся к нависшей над нами угрозе?

Безучастность — вот против чего надо бороться. Ее крайняя степень — смерть. Это сказал Брехт в 1952 году. И вместе с ним мы можем и сегодня сказать:

Будем неустанно повторять слова предостережения, пусть кажется, что они и навязли в зубах. Ибо человечеству грозят невообразимые беды и разрушения, если

общественное мнение народов не осудит тех, кто занят подготовкой войны.

Отто Штайгер

ШВЕЙЦАРИЯ

Около двухсот писателей — прозаиков, драматургов, поэтов со всего света собрались здесь, чтобы продемонстрировать свою волю к миру. Редко бывало прежде, чтобы так много деятелей культуры встречались между собой. Мы должны поблагодарить за это Болгарский союз писателей.

Можно было бы собрать такое же количество людей в любом городе, в любом месте земли и перевезти их в этот зал — все они, точно так же как и мы, были бы за мир. Нет человека, который не хотел бы мира. Или вы встречали такого, кто бы сказал, что он желает войны? Я — нет. И можно было бы из этого заключить, что это всеобщее желание сохранить мир автоматически должно породить в мире мирную атмосферу. К сожалению, это не так. Мир снова в опасности.

Почему так получается? Почему мир находится под угрозой, хотя к нему, казалось бы, стремится не только всякий ответственный государственный деятель, но вообще каждый человек? Даже военная промышленность в капиталистических странах могла бы утверждать, что она за мир, и акционеры этой промышленности — тоже за мир: ведь они заинтересованы в международной разрядке, она оживляет деловую активность. Напротив, от войны можно ожидать чего угодно, война может все разрушить.

Конечно, существует много причин, породивших такое взрывчатое, противоречивое состояние. Позвольте мне подробнее остановиться на двух. Это, во-первых, тот факт, что не все люди, говоря слово «мир», имеют в виду одно и то же. И во-вторых, что гораздо более важно и опасно: страх.

Немного упрощая, попробую выразиться так: социалистические страны понимают под миром состояние, когда молчит оружие. В западных странах понимают под этим нечто иное. Там любят говорить, что мир без свободы — не настоящий мир. Нельзя не признать — звучит красиво и заманчиво. Может быть, даже, пожалуй, слишком красиво. Когда же спрашиваешь, что понимается под «свободой», отвечают: свобода информации и личная свобода. И добавляют, что эти фундаментальные свободы в западных странах гарантированы, в социалистических же — нет.

Трогательно видеть настолько серьезную заботу о свободе других, что она отвлекает от заботы о собственной свободе... Ведь в западных странах со свободой информации все выглядит далеко не так безоблачно, как это любят изображать. Газеты, например, принадлежат политическим партиям или частным владельцам. В обоих случаях владельцы не допустят, чтобы их газета предоставляла место для политических взглядов, которые противоречат их интересам. Кроме того, газеты зависят от рекламодателей, а они не станут смотреть безучастно, если редакция позволит себе слишком много свободы. Как раз такой случай имел недавно место в Цюрихе, где один универсальный магазин пригрозил газете, поместившей информацию о молодежных волнениях, лишить ее объявлений, если характер информации не будет изменен. В данном случае не важно, объективно ли сообщила газета о происшедшем или наоборот. Важен сам факт такого требования.

Итак, если на Западе со свободой информации обстоит не так уж блестяще, то, может быть, там лучше с личной свободой? Даже те, кто утверждает, будто в некоторых западноевропейских странах ее больше, чем во многих социалистических государствах, признают, что так называемый «свободный мир» состоит не только из дюжины высокоразвитых западноевропейских государств. К нему относятся и страны, где правят фашистские диктаторы или жесткие семейные кланы. Никто всерьез не станет говорить о наличии в этих странах личной свободы для рядовых граждан. Наконец, во всем мире есть голодающие. Они хотят лишь одной свободы: свободы от голода. Да и нищие пуэрториканцы или негры в американских трущобах не так уж наслаждаются хваленными великими свободами. Им, например, не хватает средств, чтобы позволить себе провести отпуск в роскошном тихоокеанском отеле. Свобода, которой так гордятся на Западе, это, если говорить всерьез,— свобода для богатых...

Более основательна, чем утверждение, будто недостаток личной свободы угрожает миру, опасность страха, который испытывает Запад перед Востоком, а Восток перед Западом. Я должен сказать своим коллегам и друзьям из социалистических стран: этот страх у нас действительно существует. Страх перед внезапным нападением стран Варшавского договора. Конечно, можно ответить что этот страх необоснован, он раздувается теми, кто заинтересован в напряженности. Согласен, но чем бы ни порождался этот страх, он существует и ощущается постоянно в Западной Европе и в США.

Если мы действительно хотим обеспечить мир, если мы хотим сделать этот мир более пригодным для жилья, мы непременно должны покончить со взаимным страхом и недоверием. Каждый из нас должен внести в это свой вклад. Правда, возможности наши весьма ограничены. Конечно, мы можем говорить и писать о мире — но не глас ли это вопиющего в пустыне? Разве редко нас не принимают всерьез, приписывают нам всяческие неблаговидные намерения? Существуют ведь страны, где слово «пацифист» звучит чуть ли не как ругательство.

Не так давно американский министр обороны заявил, что в войне между государствами Варшавского договора и НАТО не может быть победителя — в итоге ее человечество будет уничтожено. Не получается

ли — как ни абсурдно это звучит,— что за сохранение нынешнего, каков уж он есть, мира мы должны быть благодарны атомной бомбе? Не следует ли в таком случае присудить атомной бомбе Нобелевскую премию мира?

Хотя я не являюсь военным экспертом, но, думаю, можно считать аксиомой, что оба блока обладают достаточным количеством оружия, чтобы десять раз уничтожить все население нашей планеты. На это его, кажется, должно хватить. С меня во всяком случае будет достаточно, если я буду уничтожен один раз. Зачем же непременно нужно уничтожать меня десять раз?..

Страх и недоверие завели нас в тупик...

Иоахим Новотный

ГДР

Среди немногих привилегий поэта и писателя — право обычные и расхожие формулы применять к необычным понятиям, «отчуждать» их и таким образом проверять их пригодность. Позвольте мне перед лицом нынешнего международного положения поразмышлять о слове «нормальность».

Что считать нормальным и ненормальным, зависит зачастую от точки зрения, от жизненного опыта или от приверженности той или иной идеологии. Но мне представляется, что в эти дни и недели мы меньше чем когда-либо прежде должны терпеть различие мнений в том, что касается нормальности мира и ненормальности войны.

Тридцать пять лет мира в Европе, обнадеживающее начало разрядки, неоспоримые успехи в решении сложных международных вопросов политическими, а не военными средствами укрепили то, на что издавна надеялась и к чему стремилась лучшая часть человечества, но чему позволили претвориться в реальности лишь энергичные действия народов и государств, поставивших мир в центр своей политики: я говорю об уверенности, что мирные отношения человека с другими людьми — это и есть нормальные отношения.

Нам знакомы теории, утверждающие противоположное или же высказывающие скептические сомнения относительно истинности этого положения. Они ссылаются на тысячелетнюю историю войн. Мы противопоставляем им наше понятие о нормальности совместной жизни людей — с тем большей надеждой, что оно впервые подтверждено практикой минувших трех мирных десятилетий.

Это были нелегкие годы. Сколько сложных, казалось бы безнадежных, проблем надо было разрешить, и сколько было в конце концов разрешено! Мы с удовлетворением можем сослаться на это. Совсем недавно возможность нормального общения вопреки глубоким различиям во взглядах была доказана участниками 67-й конференции Межпарламентского союза, состоявшейся в сердце Европы, в государстве, которое можно назвать среди самых стойких защитников политики разрядки, в столице Германской Демократической Республики — Берлине. Это могло произойти потому, что, несмотря на обычные расхождения в позициях, существовало единство относительно центральной проблемы нашего времени — необходимости сохранения мира как нормального для человечества состояния.

Наш министр иностранных дел Оскар Фишер на недавнем заседании Генеральной ассамблеи ООН нашел для этой формы нормальности другие и, может быть, более выразительные слова. Он назвал мир первым и основным из всех прав человека. Могу сказать, что это произнесено как будто от моего имени — еще один пример, показывающий, что мы без малейших оговорок (я могу с уверенностью говорить здесь от имени всех моих коллег из ГДР) готовы солидаризироваться с высказываниями наших ответственных политиков в важнейших вопросах, касающихся будущего всего человечества.

Почему я все же возвращаюсь к понятию «нормальность»? Чтобы обратить внимание на то, что́ с течением лет пыталось прокрасться в наши представления о нормальности и что́ должно быть разоблачено как в высшей степени ненормальное.

Возможно, вы помните сообщение, обошедшее совсем недавно страницы прессы. В США погибло несколько человек, когда на своей пусковой установке взорвалась ракета «Титан-2». Дело в том, что она, подобно другим ракетам этого типа, состарилась более чем за десять лет, из-за коррозии началась утечка горючего, которое случайно или по недосмотру людей взорвалось. Случай прискорбный, однако, если угодно, вполне объяснимый. Известные причины повлекли за собой последствия, которые, в сущности, можно было предвидеть. Не правда ли, есть даже что-то утешительное в том, что и такие адские машины в конечном счете могут проржаветь? Впрочем, Пентагон давно обращал внимание политических руководителей на то, как устарел этот тип ракет и насколько необходимо заменить его более современным. Хотя и это уязвимое устройство сможет при надобности доставить груз, разрушительная сила которого в несколько сотен раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Вот к чему, дорогие коллеги, нам предлагают привыкнуть, вот что мы должны считать нормальным: явления коррозии, недосмотр людей и постоянное наличие разрушительной силы, способной не один раз разнести в куски всю нашу планету. В такой безупречной последовательности. И выглядит это так, как будто ничего с этим нельзя поделать, как будто надо с этим жить.

Я уверен, что среди нас не найдется человека, который бы разделял подобное представление о нормальности нашего бытия, который не был бы готов вместе со мной обратить внимание на кричащую, донельзя опасную ненормальность, порождаемую привычкой к заколдованному состоянию. И когда Советский Союз неуклон-

но стремится к прогрессу в крайне сложных, не свободных от предубеждения и недоверия переговорах об ограничении вооружений как предпосылке разоружения в области сначала ядерного оружия, я без оговорок готов воздать должное этим усилиям, направленным на поддержание священной нормальности жизни. Я не могу сказать про себя, что меня успокаивает равновесие сил. Сейчас это, без сомнения, фактор сохранения мира. Однако, покуда существуют силы, считающие нормальным решать различия во мнениях с помощью войны в свою пользу, существует и опасность, что острие, на котором удерживаются в этом колеблющемся равновесии чаши весов, вдруг соскользнет, и это будет означать начало неудержимого мирового пожара.

Так что позвольте мне еще раз выступить за нормальность мирного сосуществования. Пусть человек так устроит свои отношения, чтобы наконец совершенно расстаться с эпохой варварства и осознать себя как Zoon politikon [1], а это среди прочего также означает, что народы и государства должны быть готовы и способны разрешать возникающие между ними конфликты политическими средствами.

Дорогие болгарские друзья! Вы предоставили мне возможность высказать перед этим форумом свои размышления о мире. То, что писатели всего мира в третий раз получают такую возможность, показывает, что вы считаете нормальным: в деле защиты мира важен голос каждого.

Благодарю вас за эту неизменную веру.

Филлип Боноски

США

Есть в Пекине человек, теперь официально умерший и упокоенный на площади Тянь Аньмынь, который при жизни заявил миру, что человечество только выиграет, если две трети его погибнут. Он не ужасался, представляя себе всемирную бойню, в которой ядерный огонь сжигает две трети человечества.

Размышляя о немыслимом, он, как и многие другие, бесстрастно рассуждающие о чужой смерти, спокойно почил в собственной постели.

По другую сторону океана — в Вашингтоне — еще один крупный мастер мыслить о немыслимом известил мир, что если 25% человечества погибнет в огне и дыму, то ничего особенно плохого не будет, так как оставшихся в живых достанет для нормальной жизнедеятельности торгашей, бэббитов и порнографов.

Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и им никогда не встретиться, говорил Киплинг.

Но когда дело доходит до немыслимых мыслей, то Восток «встречается» с Западом — и вот уже объявляется первый ученик, некий Пол Пот, который, пока они размышляли, взял и воплотил в действие их немыслимые мысли.

Размышления о немыслимом стали теперь обыкновеннейшим послеобеденным препровождением времени на Западе — как и на Дальнем Востоке. Люди, вздрагивающие от неосторожного прикосновения парикмахера к их чувствительной коже, сосредоточенно и спокойно прикидывают перспективы гибели миллионов. На тех, кого приводит в ужас мысль о геноциде, они глядят со снисхождением, даже жалостью — эдакое мягкосердечие, уместно ли оно в современном мире, где люди становятся помехой? Конструкторы безумия — они играют в зловещую игру цифр. Перед нами — проблема ученого мужа, который открыл всеразъедающее вещество и никак не может изобрести контейнер, чтобы упрятать его.

Народы упрячут его! Недаром же изобретатели немыслимого, чья рука с чайной чашкой или бокалом не дрогнет при мысли о гибели миллионов, бледнеют от ужаса, думая о том, что для них немыслимо и к чему все нормальное, разумное человечество стремится столь же естественно, как цветок к солнцу: Мир. Просто обыкновенный, спокойный, нормальный мир!

Именно такова расстановка сил сегодня — человечество против убийц. Правда, эти убийцы по крайней мере откровенно раскрыли нам свои намерения. С полной откровенностью. Они нам говорят: мы собираемся убить вас, так не кажется ли вам, что мы прекрасные люди — честные и прямые? Мы — властители ваших душ, раз сумели внушить вам, что, потеряй вы Кампучию, вы не получите яичницу к завтраку и что выход находится за нагромождением мертвых тел.

Сегодня все человечество — не просто политические партии, группировки или личности, а человечество целиком — уже поняло, кто его главный враг.

Его нетрудно опознать. Нетрудно отыскать. Где бы ни плакал голодный ребенок ночью — там и он с пулеметом, нацеленным на всякого, кто принесет ребенку поесть. Где ни потянется к книге мужчина, женщина, девочка, мальчик, только посмотрит на доску, на которой написаны буквы алфавита, пытаясь, с опозданием на века, избавиться от давящего мрака невежества,— там он, отравляет их воду, забрасывает газовыми бомбами их школы, отрубает им головы, чтобы сфотографировать.

Всякий раз, когда в нашем XX веке мужчина, женщина или ребенок заявляет, что хочет жить, хочет есть, хочет читать и писать,— там окажется и враг, вооруженный новейшими достижениями науки; бедная, бедная наука на службе уничтожения — готовый проломить череп, изрезать в куски, стереть в порошок мгновенным взрывом!

И непременно рядом с воякой шагает изощренный современный проповедник, способный, изнасиловав словарь, до такой степени испакостить язык, что сам язык станет ненавистен за то, что его так мерзко и подло извратили.

Кто смеет употреблять слово «социализм» в применении к Пол Поту и его наставникам? Кто смеет употреблять слово

[1] Животное общественное *(греч.)*.

«демократия», когда идет речь об убийстве вьетнамских детей? Кто посмеет произнести слово «выборы» после того, как оно побывало в окровавленных руках Пиночета? Кто может не расхохотаться над политическими маскарадами, где претенденты на главный приз объявляют Чарльза Дарвина самым могущественным своим противником?

Когда безумие рядится в разум, иные невольно начинают сомневаться в своих умственных способностях. Когда можно объявить человечеству, что гибель миллионов — всего лишь шаг на пути прогресса человечества, иные, не в силах перестать думать вообще, готовы сложить руки и ждать смерти. Им кажется, будто безумие стало значительнее и сильнее разума, что в наше время безумие правдоподобней правды. Когда тюремщикам самим место в камерах, когда дети делаются жертвами врачей, когда учителя готовят учеников к возвращению в первобытность, когда мертвые тела становятся игрушками, когда люди рассуждают о нестабильности «траекторий», а нестабильны у них мозги, и это очевидно,— неудивительно, что среди этого разнузданного безумия появляются люди, уверенные, будто апокалипсический Зверь вырвался на свободу.

Мы всегда знали, что клетка Зверя ненадежна, и пробирались мимо нее на цыпочках. В кошмарных снах нам снилась злобная рука, выпускающая Зверя на волю — так, как это произошло сейчас,— неизбежная, неоспоримая истина, которую невозможно рационально опровергнуть. Понимающие люди уверяют, что Зверь — это дьявол, живущий в нас самих. Мы сами отнимаем хлеб у голодных, мы радуемся засухе, выжигающей поля, мы счастливы, когда рвут друг друга в клочья люди. Поэтому давайте утихомиримся — в конечном счете разрушение есть тоже выход, ведь потом наверняка наступит мир.

Любой писатель, не утерявший права называть себя писателем, может дать только один ответ на все это. Кто хвастается тем, что замышляет немыслимое, кто утверждает, что Зверь, вырвавшись на свободу, забросает бомбами человечество, кто уверяет, что видит лучшее, более светлое будущее за горой дымящихся трупов,— всем им говорим мы не просто НЕТ! Не только НИКОГДА! Мы заявляем: вашему извращенному разуму, вашей растленной душе мы противопоставляем то, что любому должно прийти в голову,— всеобщую борьбу всего человечества за спасение себя, плодов человеческого труда, цивилизации, Римов, Парижей и Лондонов, Пекинов, Токио и Вашингтонов, не заваленных трупами, а полных живыми людьми. Людьми, которые запомнили уроки Гитлера и детоубийц Соуэто, Мао Цзэдуна и Пол Пота, Пиночета и Садата, Трумэна и Джонсона; которые твердо знают, что в конечном счете победит человечество и, более того, Зверь будет водворен обратно в клетку, безумцы окажутся там, где им положено быть, преступники — в тюрьмах, а те, кого радуют голод и нищета миллионов,— в музее восковых фигур истории.

Человечество не только выносливо. Оно все время учится. Человечество не только пассивно. Оно умеет действовать. Человечество не только страдает. Оно еще и борется. Человечество не только отступает. Оно побеждает.

Джеймс Олдридж

АНГЛИЯ

За несколько дней до отъезда в Софию я сидел в Лондоне перед телевизором, внимая спокойнейшим английским голосам — интеллигентнейшим, мягчайшим голосам, серьезнейшим, раздумчивым голосам, которые пытались убедить меня, что новая война теперь возможна и даже вероятна и что скорее всего это будет ограниченная ядерная война, не слишком отличающаяся от предыдущей. Эти спокойные, интеллигентные голоса старались убедить меня, что англичане выстоят в ограниченной ядерной войне с тем типичным великолепным английским мужеством, с той стойкостью, которую они столь ярко проявили во время германских бомбардировок Лондона в 1940 году. Во всем этом даже звучала некая ностальгия — в этих воспоминаниях о добрых старых днях германского блица, когда Англия вышла из всех трудностей и невзгод с развернутыми знаменами.

Джентльмены, сообщавшие мне все это, принадлежали к самым образованным людям Англии, они обращались не к низшим уровням моего интеллекта, но к самым высоким. Они говорили со мной не как с дураком. Они говорили со мной с высот английской культуры голосами людей, принадлежащих к привилегированному классу, спокойными, полными здравого смысла и интеллектуальной неподкупности.

Но за этими спокойными, интеллигентными голосами скрывалась идея нанесения первого удара в ядерной войне против социалистического сообщества. Такова теперь основная предпосылка американской стратегии, получившая весьма лояльную поддержку со стороны британского правительства, хотя и не столь лояльную со стороны других западноевропейских стран. Как бы то ни было, в 1980 году всему миру пришлось столкнуться с этой новой концепцией западной военной стратегии. Способность к нанесению первого удара является предлогом и оправданием для создания ракеты «Круиз». Ведь ракета «Круиз» не годится ни для чего другого. Способность к нанесению первого удара — это та предпосылка, исходя из которой президент Картер недавно издал Директиву 59, по самой своей природе опаснейший военный документ со времен войны.

И вот для того, чтобы уверить нас, что Западу необходимы условия, позволяющие нанести первый удар, нас необходимо прежде убедить, что ядерная война будет не так уж страшна, что, если война и начнется, она будет «локальной», что если нам придется использовать эти ракеты «Круиз» с ядерными боеголовками, то война будет ограниченной. Идеи ограниченной ядерной войны и способности нанести

первый удар неотделимы друг от друга, а потому нас теперь необходимо убедить, что война неизбежна. И более того — мы даем самим себе право начать ее.

И все это произносят образованные, культурные люди. Не буйные идиоты. Нет, умные люди, в чьем распоряжении — все средства коммуникации, просвещения, печать, информация. У них есть все это. Противникам войны для выражения своего мнения не осталось почти ничего. У нас нет настоящей прессы, нет телевизионных сетей, нет издательств, нет всевозможных других средств коммуникации. А голос здравого рассудка, голос мира вновь объявляется в этой вакханалии голосом предательства и измены. Призывать к миру в современной Англии становится опасным. В Англии уже до того скверно, что, когда принадлежащий к левому крылу член парламента, как сообщалось, сказал в Москве, что Советский Союз «не представляет угрозы миру», по возвращении в Лондон ему пришлось отрицать, будто он утверждал нечто подобное.

Что нам, писателям, делать в подобной ситуации? Можно, конечно, заявить, что мы должны писать, осуждая происходящее, что мы должны посвятить свой талант, свой опыт, свое искусство разоблачению опасностей всей этой лжи и угроз. Но что делать нам в Англии, если никто не будет публиковать, распространять или передавать по радио и телевидению сказанное нами? С кем нам говорить, для кого писать? Как нам проломить эту глухую стену контроля над разумом, над мыслью?

Ответить на это трудно, потому что ситуация не совсем знакома, она нова. Даже во время «холодной войны» для нас были открыты какие-то каналы, даже в самые худшие дни «холодной войны» мы могли каким-то способом заставить услышать себя. Нет, тогда это было вовсе не легко, и на того, кто тогда говорил о мире, обрушивались, пожалуй, даже еще сильнее, чем сейчас. Но тем не менее можно было что-то напечатать, что-то издать или предпринять. Теперь же в Англии образовался всеобщий интеллектуальный вакуум, словно специально предусмотренный для современной ситуации. Издать книгу, отмеченную литературным талантом, нашим молодым писателям невероятно трудно: недавно лондонская газета «Гардиан» поместила письмо известных писателей, которые жалуются, что напечатать книгу, если она не отвечает рецептам коммерческих бестселлеров и не изготовлена из материи насилия и секса, стало практически невозможным. Так каковы же в этой ситуации шансы тех, кто пишет о мире?

Будущее представлялось бы очень мрачным, если бы не один спасительный — во всяком случае в Англии — фактор. Большинство англичан, несмотря на настойчивую пропаганду, не хотят войны и не принимают этой новой концепции ограниченной ядерной войны и стратегии первого удара. Правда, не все еще понимают, что кроется за философией первого удара: нужна изрядная политическая проницательность и подготовка, чтобы распознать истинный смысл этих новых планов. Но тем не менее наш народ начинает в этом разбираться, несмотря на дымовую завесу рассуждений о безопасной войне.

Вновь и вновь мы видим признаки того, что люди отказываются следовать этим идеям, те, кто способен распознать суть происходящего, можно сказать, стихийно объединяются в группы борцов за мир. Во время недавнего опроса почти половина принявших в нем участие высказалась против установки в Англии новых ракет. Даже маленькие селения, в окрестностях которых планируется установка ракет «Круиз», организуются для выступлений против этих планов. Наша молодежь и студенты только что создали новую организацию защиты мира. Вновь возродился и активно работает старый Комитет за ядерное разоружение. Почти треть резолюций, уже посланных на готовящуюся конференцию лейбористской партии, утверждает необходимость отвергнуть ядерную стратегию первого удара. Итак, мы начинаем слышать другие голоса, не те спокойные, коварные и лицемерные, но гневные голоса людей, которые хотят, чтобы их услышали повсюду.

Было бы ошибкой назвать это массовым движением. Оно еще не массовое. Пока еще не массовое. Пока мы можем полагаться только на разум и человечность простых людей. Пока у нас есть только их способность каким-то образом разглядеть истину за фальшивыми доводами и изощренным обманом. На нее и должны опираться мы, английские писатели. Но как это осуществлять, пока еще остается загадкой. Как нам не оказаться позади «человека с улицы» — вот наша проблема. Пока еще он впереди нас, не в смысле уровня сознания, но в смысле природного отвращения к войне и глубокого недоверия к тем, кто ее воспевает вкрадчиво-сладкими голосами — джентльменам, которые веками правили нами.

Итак, если народ способен сопротивляться, значит, должны сопротивляться и писатели. Наша обязанность — прояснить исходные позиции, добиться, чтобы естественное стремление к миру сочеталось с верным представлением о том, что такое мир, кто в самом деле за мир, а кто против, какова истинная политическая подоплека этих концепций и на чем строится обман. Это нелегкая задача, решать ее будет трудно и сложно. Но если не мы возьмемся за это, то кто же еще? История, традиции сделали писателей солдатами мира. Наш долг — противостоять современной деморализации нашей культуры и наших нравственных понятий, никогда не участвовать в профанации наших творческих устремлений, попытках извратить, огрубить, вульгаризировать форму и смысл нашего мастерства, нашего искусства, никогда не внести своей лепты в доходную спекуляцию идеями насилия, человеческим страданием и горем.

И превыше всего — долг разоблачать истинную опасность культурных джентльменов, чьи вкрадчивые голоса, чье ядерное безумие угрожают самому существованию человечества

Джуда Уотен

АВСТРАЛИЯ

Передаю вам привет от всех прогрессивных писателей Австралии, а также от ряда писателей, не связанных ни с какой определенной политической партией,— я встречался с ними перед поездкой в Софию. Все они заявляли, что считают мою поездку важной, потому что писательская встреча может помочь делу защиты мира.

Могу также сказать: писатели-аборигены из Западной Австралии, озабоченные событиями в районе Индийского океана, решительно поддерживают идею создания зоны мира в Индийском океане, так же как писатели Новой Гвинеи поддерживают идею создания зоны мира в Тихом океане. Писатели-аборигены Австралии и Новой Гвинеи являются представителями новых литератур, хотя и те и другие обладают развитой устной традицией.

Я поддерживаю контакты с ними, поскольку тридцать с лишним лет серьезно занимался организацией литературного дела, четверть века — в качестве члена Исполнительного комитета Содружества австралийских писателей, а с 1975 по 1979 год — в качестве президента ПЕН-клуба.

Наша международная встреча писателей — самая важная из всех, в которых мне пришлось участвовать. Она происходит в то время, когда над миром клубятся тучи войны, угрожающие самой страшной бурей в истории. С трибуны этой встречи мы обязаны сказать писателям мира, что, если им дорого существование цивилизации и литературы, они должны выступить в защиту мира, за мирное сосуществование стран с различными политическими системами, за здравомыслие и терпимость по отношению друг к другу.

Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь затушить костры войны, не дать им полыхнуть степными пожарами, все пожирающими на своем пути. Настало время размышлять, не только чувствовать.

Я не хотел бы преувеличивать возможности писательского воздействия, но не хочу и принижать их. Писатель безусловно в состоянии противодействовать зловещей пропаганде войны, которая на Западе становится непременной принадлежностью повседневной жизни.

Не могу не подчеркнуть, что прежде всего эта военная пропаганда направлена против Советского Союза. Я не собираюсь рассуждать о военной пропаганде вообще, но хочу коснуться одного ее аспекта — пропаганда войны в художественной литературе.

Как писателя и литературного критика, меня очень тревожит то, что происходит с современной художественной литературой в западном мире и особенно в Англии, этой родине квазилитературы.

В Англии сейчас работает лишь несколько крупных, серьезных писателей, литературный же рынок буквально заполонили поставщики сенсационного чтива. На авансцене подвизаются писатели вроде Ле Карре, Форсайта, Дика Фрэнсиса и многие другие авторы шпионских мелодрам. Их книги выходят миллионными тиражами, их новые произведения печатаются газетами и журналами из номера в номер, интервью с ними включаются в телевизионные программы, в газетах помещают совершенно серьезные рецензии на их очередные опусы — короче говоря, с ними во всех отношениях обходятся так, словно они вносят подлинный вклад в литературу, как настоящие писатели. Непочтительный австралийский критик назвал этих авторов «тэтчеровской литературной школой».

Само по себе подобное явление могло бы и не вызывать большой тревоги, несмотря на то, что оно служит печальным симптомом продолжающегося упадка английской литературы со времен Шоу, Уэллса, Беннета и Голсуорси.

Если бы современные хваленые творцы такого чтива работали в традициях Эдгара По и Конан Дойла, Хэммета, Чэндлера или даже Агаты Кристи, говорить о них было бы незачем. Но беда в том, что эти нынешние авторы специализируются на отвратительных и нелепых шпионских фантазиях, почти исключительно антисоветских.

Это основная тема современного сенсационного романа на Западе. Все они, в частности недавний роман Форсайта, бурно рекламировавшийся австралийской прессой (под эту рекламу нередко отводились целые страницы), носят злобно-антисоветский характер. Главной фигурой этих рекламных объявлений был разъяренный медведь, сильно напоминающий медведей, которые рычали на страницах западных газет во время Октябрьской революции и перед войной. Этот нынешний медведь щеголял в форменной советской фуражке. Использование подобного символа может иметь только одно толкование. Однако я особенно хочу подчеркнуть, что этот шпионский роман, как и все ему подобные, предназначен для того, чтобы приучить читателей шпионской литературы — а их миллионы — к мысли о войне с Советским Союзом, для того, чтобы сделать эту идею привычной и приемлемой. Такова новая черта этой шпионской литературы, входящей составной частью в современную западную военную пропаганду.

Несмотря на то, что в этих шпионских романах есть свои различия (одни адресованы читателям попроще, а другие — читателям с претензией на интеллектуальность), идея в них заложена общая: война неизбежна. Вот такой синдром всеобщей гибели навязывается читателям западного мира. К несчастью, некоторые ему поддаются. «Таймс» 22 сентября опубликовала результаты анкеты, показавшей, что 48% опрошенных не сомневаются в неизбежности войны.

Многие сенсационные романы, включая недавний бестселлер двух писателей, англичанина и американца, облекают в беллетристическую форму тему нелепейшей книги о третьей мировой войне, сочиненной сэром Джоном Хэкеттом, английским генералом в отставке, который, должен, к сожалению, сказать, родился в Австралии.

Идея, будто бы возможно вести ядерную войну, нанося удары только по армиям, а гражданское население почти от нее не страдает, заведомо абсурдна и своей трагичной гротесковостью далеко превосходит все придуманное великими сатириками прошлого — Рабле, Свифтом, Гоголем и Гашеком.

Серьезные писатели всего мира обязаны заклеймить макулатуру такого рода, раскрыв ее истинную сущность — пропаганду войны. Третья мировая война превратит в пепел десятки миллионов людей, уничтожит культуру, развивавшуюся тысячи лет. Литература всех веков перестанет существовать.

Настоящие писатели, которых заботит истина — а какого настоящего писателя она не заботит? — должны сплотиться для защиты мира, для защиты культуры и цивилизации.

Поток шпионско-детективной литературы, откровенно пропагандирующей войну, крайне вредоносен для литературы серьезной, которая оказывается буквально загнанной в угол. В Австралии, как, по-моему, и в Англии, книжные магазины почти целиком забиты макулатурой того типа, о котором я упоминал, а также порнографическими поделками, тоже часто приправленными антисоветским гарниром. К сожалению, по роду моей деятельности я вынужден читать множество таких книг — я активно работаю в области литературной критики. Издательства заваливают книжный рынок сенсационной шелухой.

Можно доказать, и, по-моему, вполне убедительно, что подобного рода литература является отражением основной идеи, заключенной в пресловутой Директиве 59 президента Картера, согласно которой предполагается нанесение удара по военным объектам, исключительно с целью сократить число возможных жертв среди гражданского населения. Лицемерие этой доктрины просто не поддается осмыслению: чудовищность этой лжи не имеет параллели в прошлой истории человечества. Сравнить ее можно разве что с гитлеровскими концепциями и софизмами. Картеровская доктрина есть действительно подновленная теория нацистов, которой они объясняли необходимость вторжения на чужие территории.

Доктрина Картера не для того предназначена, чтобы свести к минимуму число жертв войны, а для того, чтобы приучить людей к мысли о возможности войны, сделать превентивный ядерный удар нормальным поступком в глазах миллионов, понемногу приучить их к мысли, что не все погибнут и вообще пострадает только противник.

Шпионские романы, о которых я говорил, играют зловещую роль в пропаганде войны, потому что их авторы готовят людей к войне не спеша, косвенно, совсем не так, как пресса или телевидение. Авторы этих романов не только приучают читателей к мысли о войне, они фиксируют в умах образ противника. Противник — Советский Союз. Потоком идут романы, многие из которых потом становятся многосерийными телефильмами.

Бесспорно, существуют и другого типа книги, романы и даже исследования по советской литературе (чаще всего за претензией на научность — все та же антисоветская дешевка). Существуют книги, авторы которых размышляют о будущем — соглашаются с обреченностью человечества на грядущую войну, поскольку уж раз рождается человек порочным, то, значит, заслуживает он такую гибель. Романы такого толка читает более серьезный, более подготовленный читатель, но силой их воздействия не нужно пренебрегать, даже если число их читателей невелико.

Неизбежно напрашивается вывод, что в тех особых условиях, которые складываются на сегодняшний день, антисоветизм в литературе равносилен пропаганде войны, пусть даже авторы этих книг такой задачи перед собой не ставили.

Есть люди, которые утверждают, будто всему виной события в Афганистане, но ведь дело в том, что антисоветскую истерию стали нагнетать задолго до Афганистана. В моей стране, которая готова поддерживать Пол Пота в ООН, критикуют Советский Союз за поддержку Вьетнама; в других странах Советскому Союзу инкриминировали помощь Анголе. Все дело сводится к тому, что кому-то не нравится поддержка, оказываемая Советским Союзом независимым, прогрессивным правительствам,— мы предпочли бы видеть Афганистан под властью крупных феодалов, Анголу — в руках правителей Южной Африки, Вьетнам — под контролем США и Китая. Короче говоря, разоблачать ядовитую ложь по адресу Советского Союза в наши дни — значит бороться против пропаганды войны. Повторяю, особенно важно разоблачение лжи в области литературы, ибо значительная часть антисоветской пропаганды сосредоточена именно в этой области.

Мне кажется, что нам следует приложить больше усилий к развитию писательских контактов, контактов с советскими писателями, которые оказались сейчас прерванными во многих странах — как, например, с начала этого года в моей стране.

Между тем наш опыт контактов с Советским Союзом был весьма плодотворен. Многие австралийские писатели сами смогли познакомиться с литературной жизнью Советского Союза. Я уверен, что австралийские писатели хотели бы восстановить практику взаимных визитов; ведь большая часть австралийских писателей относится к демократическому, прогрессивному лагерю. Патрик Уайт, наш единственный Нобелевский лауреат, боролся за избрание лейбористского правительства после того, как оно было низложено генерал-губернатором в так называемом «бескровном перевороте».

Выступая в защиту мира, мы защищаем и литературу. Международная встреча писателей уже потому должна считаться нашим успехом, что она прокладывает путь еще более широким международным форумам.

Шубхаш Мукхопаддхай

ИНДИЯ

День моего прибытия в Софию совпал с днем рождения моей внучки Миу, ей исполнилось два года. Мне пришлось ограничиться поздравительной телеграммой и порадоваться тому, что послал я ее из города исторической встречи, проходящей под девизом «Мир — надежда планеты». Я надеюсь, что эта телеграмма будет лучшим подарком в ее день рождения и, когда она вырастет и будет жить в мире, свободном от войн, в атмосфере дружбы и взаимопонимания, она вспомнит о ней.

Более четверти века назад я сочинил для ее матери колыбельную песенку. Вот ее текст:

О крошка моя,
Что попросишь меня
Подарить тебе в Новый год?..

Если можешь,
Давай каждый день молока,
А потом разрисуй небосклон,
Чтоб все краски на нем
Засверкали огнем.
А еще землю вымой от зла,
Застели ее мягким ковром,
Чтобы спать я могла
Здесь спокойным и мирным сном.

Эту песенку поет теперь моя жена, когда укладывает спать нашу внучку, а та, в свою очередь, лепечет ее своим куклам.

Всем известно, что добрые пожелания — это еще не все. На днях я услышал пословицу: «Даже океан иногда засыпает, но враг — никогда». Мы не должны почивать на лаврах, хотя до сих пор нам удавалось сдерживать главных врагов мира — милитаризм и агрессию, лихорадочно стремящихся толкнуть человечество на скользкий путь «новой атомной стратегии». Наглое присутствие военных сил США в Индийском океане, его флота и атомных баз, наращивание военного потенциала стратегического треугольника, контролирующего два континента — Азию и Африку,— разве это не прямая угроза суверенитету и прогрессу народов, населяющих этот регион?

Народы, не так давно завоевавшие свободу после длительной борьбы с силами колониализма, прилагают сейчас все усилия для построения нового, лучшего мира. Говоря словами Джавахарлала Неру мы, наконец, «встретились со своей судьбой». Нам не хватает больниц, школ, машин, электростанций. Но мы не нуждаемся в оружии, с помощью которого можно попирать права других народов. Мы хотим жить в мире, в атмосфере сотрудничества и дружбы даже с теми народами, у которых иное государственное устройство. Каждый народ будет волен выбирать тот образ жизни, который захочет, без нажима со стороны иностранных держав.

Однако все, чего мы хотим, идет в разрез с интересами империализма. Империализм признает только силу. И с помощью военной силы хочет добиться своего. Свою несостоятельность империализм, как социальная система, может скрыть лишь под маской насилия, обмана и лжи. Он притесняет не только другие, но и свой собственный народ.

Идеи подлинного гуманизма, мирного сосуществования и всемирного братства заложены в природе социализма. Вот почему мир социализма и прежде всего Советский Союз идут в авангарде всеобщего движения за мир, остановить которое не в силах никакие границы, убеждения и социальные системы.

Друзья, я приехал сюда, чтобы от имени афро-азиатского движения писателей приветствовать собравшихся здесь со всех концов земли борцов за мир и заверить вас, что писатели Азии и Африки, народы которых связаны крепкими узами, хорошо осознают свой высокий долг перед делом мира и сделают все возможное, чтобы защитить его в своих произведениях. Как бы ни была сложна сегодняшняя ситуация в мире, мы уверены, что дело мира победит, оно должно победить ради жизни грядущих поколений.

Войтех Мигалик

ЧССР

Тридцать лет назад я написал стихотворение, посвященное своему будущему ребенку. Я писал его в убеждении, что он уже не узнает ужасов голода, горя, безработицы, что он будет жить в мире без военных конфликтов, без концентрационных лагерей, без Лидице, Орадуров и Хиросим. По окончании второй мировой войны у многих из нас возникали такие наивные представления.

Сейчас у меня четверо внучат — и ни одному из них я бы не отважился написать стихотворение в котором бы обещал ему жизнь без всякой угрозы войны. Наоборот, мне в гораздо большей степени хотелось бы напомнить новым поколениям, чтобы они не забывали никаких преступлений против человечества и чтобы им не казалось, что Хиросима является всего лишь историческим эпизодом.

Я являюсь представителем маленького народа, который стал известен Европе, когда в 1944 году он восстал с оружием в руках против гитлеровского фашизма и героически вступил в борьбу с ним во время Словацкого национального восстания и партизанских боев.

Так он вступил в пору своей зрелости. Этот народ никогда не решал и не будет решать судьбы мира. Но он, однако, имеет свою историческую память, имеет свои могилы, разбросанные по всей стране,— и потому знает цену мира.

Сейчас уже известно, что войны не являются выражением греховной человеческой сути, чем-то вроде извержения зла в человеке. Они имеют прозаические и даже постыдно-прозаические причины. Мы знали и знаем политиков, которые живут в соответствии с принципами личной морали и являются образцовыми отцами семейства и в то же время подписывают бюджетные ассигнования на разработку новых видов оружия уничтожения. Президент, который вступил в мировую политику как проповедник и моралист, быстро превратился в опасного авантюриста. Не потому,

что ему лично этого хотелось, но интересы тех, кого представляла его власть, рост инфляции и энергетический кризис заставили молчать всякую мораль.

Поэтому борьба за сохранение мира является неотделимой от борьбы за социальную справедливость, за свободу народов. Лишь достижение этих целей сделает возможным окончательно ликвидировать войны, потому что устранит их экономические причины. Не случайно основной, дающей самые обильные и зрелые плоды темой литературы XX века в любой из стран мира является тема социальной справедливости. Литература в своих высших достижениях способна угадать и ощутить направление общественных движений, и поскольку она верна правде, она становится союзником по борьбе всех тех, кто защищает совесть человечества, призывая его решительно ополчиться против угрозы войны.

Мир — надежда планеты; и это точная мысль. Эта мысль выражает веру в силу человеческих масс, в силу солидарности. Общественная воля способна превратить надежду в уверенность — чтобы своим детям и внукам мы смогли уверенно пообещать лучшую, более счастливую жизнь.

Дожоогийн Цэдэв

МОНГОЛИЯ

Я вспоминаю одну монгольскую притчу, которая в разных вариантах существует и у других народов. Однажды мать позвала своих детей, дала им по прутику и предложила сломать каждый из них. Они без труда выполнили ее просьбу. Тогда она сложила прутики в пучок и снова велела сломать. Как ни старались, дети не смогли справиться с этим заданием; тогда мать сказала: недружных, разобщенных — вас, как эти прутики, легко сломают; если же будете вместе, никто не сумеет вас победить...

Чтобы победить в нашем правом деле борьбы за счастье людей на земле, мы должны еще больше сплотить наши ряды, добиваться глубокого взаимного понимания, находить более совершенные формы совместной деятельности, которая послужила бы воплощению давней мечты человечества о мире и братстве между народами, об утверждении навеки принципа: человек человеку — друг, а не враг.

Суть нашего служения — в распространении идей гуманизма. С древнейших времен они были факелом, зажженным творцами духовных богатств народа, радугой, соединяющей сердца людей. Мы придерживаемся программы активного социального гуманизма, борьбы против всего реакционного, несправедливого, прокладывающей пути ко всему доброму и прекрасному, разумному. Важная роль в утверждении этих идей принадлежит первой в мире литературе социалистического реализма — многонациональной советской литературе. Мы учились и учимся у советских и мировых мастеров художественного слова.

Основоположник современной национальной литературы, наш писатель Даждоржийн Нацагдорж призывал: «Совершим великий подвиг во имя грядущего мира!» И мы, собравшиеся сегодня в этом зале, думаем о будущем нашей планеты. Во многом и от нас зависит, каким будет завтрашний день человечества.

Арвид Рундберг

ШВЕЦИЯ

Я буду говорить об антисоветизме. Не берусь утверждать, что мое выступление способно сокрушить антисоветизм, но, быть может, удастся внести посильную лепту в дело борьбы с ним. Предубеждение, которому больше шестидесяти лет, убить не так просто. А в такой стране, как моя, где люди, контролирующие средства массовой информации, стремятся разжигать антисоветизм, это и вообще почти безнадежное дело. Они культивируют его с помощью сознательного или бессознательного извращения фактов или с помощью явных фальшивок. Антисоветизм — это религия массовой информации Запада.

При свободе высказываний, подчиненной коммерческим интересам, подлинную свободу слова преследуют, заключают в тюрьмы, подобно тому как христианскую мысль преследовали другие религии.

Антисоветизм строится на страхе и недоверии. В этом смысле он ничем не отличается от всех остальных вымыслов, порожденных и раздуваемых нашей массовой информацией. Но недостаточно просто лишить его трибуны.

С рациональной точки зрения антисоветизм, как и всякий любой «культизм», нелеп. Именно поэтому с ним трудно бороться. Конечно, на эту нелепость можно было бы ответить разумными, деловыми аргументами, но большинство прогрессивных писателей имеют для этого слишком ограниченный доступ к средствам массовой информации. Писаки, защищающие «свободу» от «советской опасности», стоят на стороне владельцев газет, владельцев издательств и всевозможных других владельцев.

Антисоветизм, распространяемый ежедневно средствами массовой информации, просто глуп; исполнявшийся этим летом шлягер на тему Олимпиады-80 очень напоминает старую песенку «Советский Союз грозит войной». Однако эта глупая пропаганда помогает владельцам средств информации в так называемом свободном мире пытаться внушать сорока миллионам американцев, не имеющих прожиточного минимума, сотням миллионам азиатов и латиноамериканцев и десяткам миллионов европейцев, что их может осчастливить только капиталистическая свобода. К разочарованию всех этих владельцев, все больше и больше миллионов людей понимают, что все это лишь пустые фразы и тупой цинизм.

Массовая информация на Западе питается ложью. И самая главная и расхожая ложь — будто мы находимся с «пра-

вильной» стороны ветхого и потертого «железного занавеса».

Ложь, однако, не может сама себя разоблачить, беда в том, что она повторяется ежедневно. Печальной памяти Геббельс прекрасно понимал это. Свою науку он оставил в наследство новым жрецам, всю, вплоть до готовых фраз. И не надо думать, будто сегодняшние ревностные ученики забыли или не знают, что основоположника этих норм звали Йозеф Геббельс.

Человек, который анализирует международное положение, исходя из реальных фактов, должен понимать, что антисоветизм — это нечто большее, чем просто грязный или суеверный культ, он должен понимать, что антисоветизм является весьма значительным фактором весьма опасной стратегии империализма. Совершенно очевидно, что сегодня антисоветизмом пользуются как алиби все международные фабриканты оружия, ведущие подготовку к новой войне. Сегодня — точно так же, как шестьдесят лет назад.

Серьезной борьбе против антисоциализма и антисоветизма в нашей «свободной» массовой информации предоставляется все меньше и меньше места, тогда как антисоциализм и антисоветизм занимают все больше и больше места на страницах наших газет, в эфире, в литературе и фильмах.

Я уверен, что большинство шведских писателей, принимающих участие в этом антисоветском обряде, делают это без каких-либо особых убеждений. Полагаю также, что и большинство из малочисленной, несмотря ни на что, группы, выступающей в ежедневных проамериканских цирковых трюках нашей массовой информации, тоже делают это без особого энтузиазма. Если на то пошло, кто может с открытыми глазами воспевать и выставлять напоказ идеологию, которая считает, будто содержание жизни зависит от того, чтобы найти подходящий вид дезодоранта?

Хотя, конечно, есть у нас несколько писателей-«дезодораторов», которые пишут, надеясь и веруя, что империализм имеет будущее в нашей стране. Но как бы они ни старались, от их писанины дурно пахнет.

Я не вижу никаких реальных путей найти способ и подходящие аргументы, чтобы переубедить этих новых жрецов старой веры. Они говорят на другом языке и не понимают наш. Они называют капитализм демократией. Их задача — распинать прогрессивных писателей, распинать всех инакомыслящих.

Я знаю одно: то, что они называют демократией, может существовать в наше время только до тех пор, пока каждый человек еще сохраняет способность забывать, пока каждый человек не научится читать между строк то, что пишет наша «свободная» пресса.

Антисоветизм — это часть глобальной, призывающей к забывчивости операции, которая ведется в защиту империализма, и несомненно важнейшая часть этой операции, ее сердцевина.

Дорогие коллеги, я занял ваше время, изливая свою желчь по поводу явлений, с которыми вы и так прекрасно знакомы. Всем нам, собравшимся здесь в Софии, должна быть ясна наша задача. Мы должны обсудить вопрос, как нам в литературе и с помощью литературы бороться с угрозой новой «холодной войны». Идти в атаку против антисоветизма — вовсе не значит бездумно поклоняться решительно всему, что исходит от Советского Союза.

Но это значит — ни при каких обстоятельствах не изменить делу мира и прогресса.

Сигбьёрн Хёльмебакк

НОРВЕГИЯ

Европейских писателей особенно беспокоит гонка вооружения, которая за последний год вступила в новую, очень серьезную фазу. Совершенно очевидно, что новая военная стратегия, выдвинутая США, основана на том, чтобы сделать Европу плацдармом будущей атомной войны.

Писателей Латинской Америки тоже волнует эта проблема. Но, кроме того, их волнует исход борьбы против угнетателей, которая ведется в их странах. Они вынуждены бороться не на жизнь, а на смерть за свое существование, за свое человеческое достоинство. Для них мир невозможен, пока они подвергаются угнетению и насилию.

Между этими двумя проблемами нет никакого противоречия. Борясь за свои человеческие права, наши товарищи в Сан-Сальвадоре и Боливии вносят тем самым свой вклад в дело мира. И мы должны выразить им свою солидарность.

Я имею счастье жить в независимой мирной стране, избавленной от страданий, ставших уделом многих других стран. Норвегия — самая северная страна Европы. Мы счастливы, что добились независимости, за которую норвежский народ вел многовековую борьбу.

Однако я с горечью должен признаться, что и на моей стране лежит часть ответственности за то оружие, которое сегодня угрожает нашему существованию. Сегодня Норвегия является важной фигурой в военной стратегии НАТО и США. Вот в чем наша проблема.

Каким образом мы попали в это трудное положение?

Наши политики и средства массовой информации говорят, что это оружие — гарантия нашей свободы.

Но кто угрожает нашей свободе?

Болгария, Польша, ГДР, Венгрия? На этом могут настаивать только безумцы.

Быть может, нам угрожает Советский Союз? Мы имеем общие границы с Советским Союзом. Мы были соседями тысячу лет. Мы жили мирно, как и положено добрым соседям, без войн, без вражды и конфликтов. Единственный раз, в 1944 году, русские солдаты находились на норвежской земле, тысячи русских солдат отдали тогда свои жизни, чтобы освободить нашу страну от гитлеровских оккупантов.

США хотят, чтобы в случае новой войны наша страна оказалась бы местом во-

енных действий. Положительно то, что все больше и больше норвежцев понимают и осуждают эту политику.

За последний год в норвежском общественном мнении произошли важные изменения. В прошлом году встал вопрос о размещении в Европе нового ядерного оружия. Это вызвало сильное сопротивление со стороны норвежского народа, в том числе и в среде социал-демократической партии, которая является правительственной партией.

Но правительство упрямо осуществляет свою волю.

Сегодня решается вопрос о размещении американского оружия в Норвегии. Правительство хотело решить его втайне, но это дело стало достоянием общественности и вызвало бурю горечи и протеста. Этот протест отличается от всех прежних тем, что исходит не только от участников левосоциалистического движения, протестуют и люди, стоящие в стороне от рабочего движения. Сегодня газеты пестрят выступлениями против участия Норвегии в гонке вооружений. Очень давно ни один политический вопрос не волновал людей так, как этот. Оказавшись перед этими трудными проблемами, множество людей обрело новое политическое сознание.

Такой поворот сознания — радостное явление, обещающее в будущем много хорошего.

Страх перед войной — одна из реальностей сегодняшней Норвегии, особенно он силен среди молодых. Это естественная и необходимая реакция. Но один только страх не может спасти нас от уничтожения. Страх — это троянский конь разрушения, поселившийся в наших душах, он лишает нас мужества и подавляет нашу способность к сопротивлению. Поэтому мы должны бороться со страхом, сегодня это наша главная задача. Наше будущее должно быть неразрывно связано с надеждой и верой в то, что наша борьба увенчается успехом.

Сегодня здесь, в Софии, будет установлен колокол в память о том, за что мы боремся: «Мир — надежда планеты». Это гордые слова, и я уверен, что звон этого колокола будет звучать над Европой и надо всем миром.

Когда я вернусь в Норвегию, я посоветуюсь с моими товарищами — может быть, и мы в Норвегии установим такой колокол мира. Может, и другие страны последуют этому примеру и повесят такие же колокола мира — Исландия и Боливия, США и ФРГ, страны Азии, Африки — все.

Слово — наше главное оружие в борьбе за мир.

Но нам нужны также и символы, которые напоминали бы о том, за что мы боремся.

Элтон Фэкс

США

Мое присутствие здесь, среди вас, заставляет вспомнить июньский день 1977 года. Тогда в этом самом зале я имел честь обратиться к нашей Первой Международной встрече писателей, посвященной вопросам мира. Я рассказывал о своем личном, несколько необычном, соприкосновении с темой войны, с которой я столкнулся в моей родной Америке. Некоторые из вас, присутствующих в этом зале, были здесь и тогда.

Не могу не выразить сегодня своего восхищения тем, что́ многие из вас сделали для достижений цели, ради которой мы вновь собрались здесь в 1980 году: благородные деяния, следующие за благородными словами, не могут не вдохновлять. Сам я могу поделиться с вами новым своим личным опытом — рассказать коротко о собственном вкладе в нашу коллективную борьбу за истину, за справедливое братство народов, за мир на планете.

Через несколько недель после возвращения из Софии я получил в Вашингтоне письмо от московского издательства «Прогресс». Не хочу ли я написать для них книгу о своих впечатлениях от поездки по среднеазиатским республикам? Я тут же с восторгом ответил: «Да!» За несколько лет до этого я побывал в Узбекистане и в Казахстане, теперь передо мной открылась возможность не только вновь посетить эти места, но познакомиться также с Туркменией, Таджикистаном и Киргизией. А главное, поделиться моими наблюдениями с теми, кто не мог сам увидеть все это собственными глазами.

Несколько недель я путешествовал по советской Средней Азии. Я посещал детские сады, школы, университеты, колхозы, стройки электростанций, больницы, заводы, фабрики, музеи, мастерские художников, театры. В Туркмении нас с женой даже пригласили на свадьбу. Мы видели десятки мужчин, женщин и детей, представлявших различные национальные и культурные группы. Мы видели их на работе, во время отдыха, за учебой и дома. Все они без исключения принимали нас с щедрым гостеприимством.

Я внимательно слушал рассказы людей о себе и о том, насколько лучше стала их жизнь за последние шестьдесят лет. Могу ли я забыть народного поэта Киргизии, которому в дни нашей встречи как раз исполнилось семьдесят лет? Мы ведь почти ровесники.

— Я родился,— сказал он мне,— у неграмотных родителей, которые даже не слышали о существовании книг. Мне было девять лет, когда мой отец умер, а мою мать, по обычаю, продали другому мужу. Меня отдали в пастухи богатым овцеводам. После революции меня взяли в детский дом и научили читать и писать. Затем я окончил курсы и педагогическое училище и работал учителем, прежде чем посвятил себя литературе.

Я вспоминаю почтенную туркменскую поэтессу и драматурга. Вот кое-что из того, что она мне рассказала:

— Моя мать и бабушка вели жизнь затворниц в особом помещении семейной

юрты, а когда мне исполнилось тринадцать лет, в газете напечатали мои первые стихи. Десять лет спустя я написала пьесу «Дочь миллионера» — о жизни девушки-колхозницы. Эта пьеса шла в театрах по всему Советскому Союзу. Но я не только занимаюсь литературной деятельностью, я еще умею управлять самолетом. А моя дочь преподает английский язык в Ашхабадском университете.

В Оше, в школе имени Уркуи Салимовой, киргизские девочки с гордостью рассказывали, что их школа носит имя первой киргизской женщины в их краях, которая стала председателем колхоза и трагически погибла от рук мракобесов.

Я с большим интересом размышлял над тем, что рассказывал мне министр сельского хозяйства Туркмении о проблемах орошения земель в Средней Азии.

— Дожди здесь выпадают очень редко, и получать урожаи с нашей плодородной земли можно, только искусственно ее орошая. Долгие годы наши люди в своей темноте молили бога помочь им провести воду. Но и бог и цари были глухи. И только после революции стало возможно конструктивное разрешение этой сложной проблемы.

Эти и еще многие другие высказывания людей, которые я слышал сам, легли в основу моей книги — это не труд статистика, я воплотил в ней свой личный опыт и собственные чувства, вызванные тем, что я видел и слышал: никакой художник не нуждается в извинениях за то, что он вплетает в свою тему личные ощущения и свое отношение к ней.

Мог ли я, лишь тремя поколениями отделенный от рабства и отдающий все силы борьбе за освобождение моей страны от расизма, не понять и не разделить стремления, трудности и победы тех, кто был прежде столь же угнетен? Это всеобщее стремление человечества к миру, справедливости и достоинству многому меня научило.

Я узнал, что тирания обесчеловечивает и угнетателя и угнетенных. Более того, она обесчеловечивает и повергает в смятение тех, кто оказывается между ними, кто хотя и не испытывает прямых мук притеснения, но тем не менее порабощен и унижен угнетателями, чьим интересам он служит. Как трудно им поверить в правильность методов и систем, непохожих на их собственные! Некоторые из них часто расспрашивают меня о моих путешествиях по социалистическим странам, в своем тупом упрямстве постоянно прибегая к риторическим вопросам вроде следующего: «Неужели вам не приходило в голову, что вас ловко морочат? Неужели вы действительно верите, что они вам показывали настоящее положение вещей?»

Я улыбаюсь, ибо прекрасно знаю, что все страны, включая и мою собственную, стараются предстать перед критическими взглядами гостей в самом лучшем своем виде. Это свойственно человеку, и я готов с полным пониманием принять такое положение. Тем не менее я живо помню удивительно интересное посещение школы в Средней Азии. Там я просматривал тетради старшеклассников, готовившихся либо учиться дальше, либо избрать себе какую-нибудь профессию. Эти аккуратные тетради были полны фотографий и заметок, описывающих университеты, техникумы, колхозы и промышленные предприятия, которые они посещали, решая, куда им пойти учиться или работать. Я смотрел очень внимательно. Передо мной были фотографии и описания мест, где я побывал сам. И это был ответ на скептические вопросы, которые любят задавать многие мои сомневающиеся соотечественники.

Я не допущу, чтобы угнетение настолько меня обесчеловечило, что я оказался бы способным поверить, будто народ, недавно сбросивший иго своего гнета, унизится до обмана собственных детей. Не могу я поверить и тому, что те, кто мужественно отстоял свою родину от фашистских захватчиков в войне, унесшей столько молодых жизней, теперь готовится развязать агрессивную войну против меня и моих соотечественников. Нет! Простая, честная логика убеждает меня, что этого не может быть. Люди, которых я видел, которые разговаривали со мной, когда я преломлял с ними хлеб, заняты тем, что строят будущее, полное света и мира.

Таково краткое содержание моей последней книги, которую мне выпала честь написать. Могу только надеяться, что она окажется достойной лептой, внесенной в наши общие усилия, направленные на утверждение конструктивного взаимопонимания и мира на нашей планете.

◆

МАРТИН НАГ

НУРДАЛЬ ГРИГ В МОСКВЕ

Письма, которые Нурдаль Григ (1902—1943) — великий норвежский поэт-коммунист — писал из Москвы в 1933—1934 годах, должны, мне кажется, привлечь интерес советских читателей.

Я изучал корреспонденцию Грига, которую он адресовал из Москвы своим родственникам и друзьям (большая часть материала никогда не публиковалась). Отношение Грига к жизни и литературе Советского Союза — тема моей статьи, которую я предпослал ее публикации в норвежском журнале,— с этой публикацией «Иностранная литература» в извлечениях знакомит сейчас читателей.

Нурдаль Григ был большим другом Советского Союза. Сегодня в некоторых кругах Норвегии пытаются утверждать, будто он превратился бы во врага Советского Союза, если бы прожил дольше. В течение нескольких лет у нас существовал маоистский клуб, который злоупотреблял именем Грига и извращал его высказывания. Поэтому особенно важно, чтобы Нурдаль Григ, выражаясь словами Маяковского, «вс весь голос» заговорил сам.

«Вейен фрем» («Путь вперед») — журнал Единого фронта борьбы против фашизма, который Нурдаль Григ начал выпускать в 1936 году вскоре по возвращении из Советского Союза, он первоначально хотел назвать «Октябрем»: «Не знаю, как мы назовем наш журнал, но его подразумеваемый подзаголовок будет «Октябрь» (20.X. 1933).

Это ясная декларация. Еще яснее она звучит в словах, написанных 18.I 1934 года: «И опять же надо учиться у революции — это бесклассовое общество, не подходит ли оно и для норвежцев?» Вот недвусмысленный ответ всем тем современным литературоведам, кто фальсифицирует наследие Нурдаля Грига,— членам уже покойного «Клуба Нурдаля Грига» и всем остальным...

Нурдаль Григ принимал участие в I Всесоюзном съезде советских писателей в августе—сентябре 1934 года и назвал его «великолепным конгрессом писателей». «И все это происходит здесь, сегодня большой мир — это Москва».

Я вспомнил эти слова, находясь в Софии в сентябре 1980 года в качестве участника Третьей Международной встречи писателей.

Сегодня для нас «большой мир» — уже не только Москва, но и София...

Как норвежский писатель, я считаю своим долгом следовать по стопам Нурдаля Грига, продолжать его дело и его традиции. В 1934 году он писал в одном письме: «Все, что я читаю в наших норвежских газетах против Советской России,— ложь». Этими словами Григ начал борьбу против антикоммунизма...

Нурдаль Григ ясно увидел это в годы, когда вспыхнула эпидемия антикоммунизма, так же ясно необходимо видеть это сегодня и нам, чтобы бороться и остановить вспышку этой эпидемии, распространившейся в последнее время с особо вредоносным «акцентом». Правда, противостоящие ей силы тоже изрядно выросли. Третья встреча писателей в Софии свидетельствовала именно об этом, что в немалой степени обусловливает, на мой взгляд, ее мировое значение.

Моя цель — и у себя на родине участвовать в борьбе с антисоветизмом, хочу внести свой вклад в разоблачение его истинной сути; в этом главный смысл работы, о которой я веду речь.

Сегодня я с особой радостью приветствую предстоящий XXVI съезд КПСС, который — я убежден в этом — подтвердит и упрочит авторитет Советского Союза как революционного авангарда борьбы за мир, социальный прогресс и коммунизм.

МАРТИН НАГ — MARTIN NAG (род. в 1927 г.).

Норвежский поэт, критик, литературовед, переводчик. В последние годы выпустил сборники стихов «Красная суббота» («Nød lørdag», 1976), «Блюзы Ставангера» («Stavanger blues», 1976), «Верность» («Troskap», 1978). Перу М. Нага принадлежит несколько книг и статей о советской литературе, очерков о мастерах советского театра и переводы стихов славянских, в том числе русских, поэтов.

Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

В последнее время Нурдаль Григ все более отчетливо предстает перед нами как центральная фигура всей норвежской литературы первой половины XX века, фигура, обращенная в будущее, своеобразный антипод Кнуту Гамсуну, чье творчество, и в плохом и в хорошем, было обращено к прошлому, уходило корнями в XIX век.

Нурдаль Григ был нашим первым последовательным социалистическим реалистом в лирике, драматургии, прозе и публицистике. Он оставил духовное наследие, актуальное и теперь, в последней трети XX века.

В этой связи важно знать, как складывалась его творческая биография в решающий, поворотный период его жизни — за время почти двухгодичного пребывания в Советском Союзе. Вернувшись домой, он написал три пьесы и роман — выдающиеся произведения новейшей норвежской, а отчасти и мировой литературы. Кроме того, он выступал в жанрах боевой публицистики, печатавшейся в журнале «Вейен фрем» и в коммунистической прессе Норвегии. Даже его гражданскую лирику военных лет мы должны рассматривать в связи с тем богатым опытом, который он получил во время своего пребывания в Советском Союзе.

Нурдаль Григ прибыл в Москву 8.III. 1933 года, он поселился у Эйнара Кране, норвежца по происхождению, и прожил у него до поздней осени. Потом переехал в гостиницу «Ново-Московская» (ныне «Бухарест»), расположенную на берегу Москвы-реки напротив Кремля. Целый год эта гостиница была русским домом Нурдаля Грига, лишь летом 1934 года он жил в доме своего друга — писателя Бориса Пильняка на тогдашней окраине Москвы (2-я улица Ямского Поля), сам Пильняк в то время был за границей, в том числе и в Норвегии.

Июль и август 1933 года Григ провел на берегу Балтийского моря в буржуазных республиках Латвии и Эстонии, после этого прожил месяц на севере, в Мурманске и Архангельске.

В начале октября 1934 года, после I Всесоюзного съезда советских писателей, в котором он принимал участие, Григ уехал на Черное море в Гагры в Дом творчества писателей. С 10 по 20 ноября того же года он посетил Тбилиси, где знакомился со спектаклями грузинских театров. После этого 20 декабря 1934 года через Москву возвратился в Осло.

Таковы в общих чертах вехи двухлетнего пребывания Грига в Советском Союзе.

Я хочу показать, как впечатления, полученные Григом в Советском Союзе, отражались в его письмах, сгруппировав их по темам: «Жизнь» и «Искусство».

ЖИЗНЬ

«Здесь сейчас великое время, великая эпоха. Вся страна словно содрогается от тяжелых, болезненных усилий. Нужно время, чтобы понять самое главное. И дальше всех от этого самого главного находятся поверхностные иностранные туристы, приезжающие в Москву. Они восхищаются тем, что трамваи ходят, что люди живут нормально, что многие стороны жизни обстоят лучше, чем у них дома. Меряя ее своей меркой, они принижают революцию. Ведь именно кажущееся неодолимым ощущение незаконченности, лесов стройки и составляет величие этого времени. Лишь почувствовав за бесконечной, как будто безнадежной серостью московской зимы истинный образ всей страны, можно понять скрывающиеся за ней силы и жизнь. И это чрезвычайно важно».

(Из письма писателю Сигурду Хёлю 30. I. 1934)

Через две недели после приезда в Москву Григ пишет своей тетке Огот Воллан 21.III. 1933 года:

«Здесь так хорошо. Я много вижусь с артистами и писателями, у них есть чему поучиться. Большинство из них, хотя и не состоят в партии, относятся к происходящему с большой симпатией. Завтра, например, я еду к Борису Пильняку, чья книга «Голый год» переведена на норвежский. Мне все помогают, я могу посещать репетиции и спектакли сколько хочу. Почти каждый вечер бываю в театре».

В конце письма он констатирует:

«Жизнь здесь очень трудна. Но это неправда, будто люди тут больше не смеются. Ни в одном театре я не слышал такого заразительного смеха, как в Москве, зрители буквально угадывают каждую реплику и каждый жест, тут же отвечая на них смехом».

В Москве Нурдаль Григ переводил на норвежский романы Джека Лондона для издательства «Гюльдендаль», возглавляемое его братом Харальдом Григом, это издательство финансировало поездку Грига в Советский Союз. В письме к матери (30.III. 1933) он пишет:

«Все прекрасно, так будет и впредь. Сегодня я начинаю заниматься русским. Теперь мое время будет распределяться следующим образом:

6 часов — Джек Лондон,
3 часа — русский,
3 часа — театр.
Каждый день».

После этого следует поэтическая зарисовка:

«Сегодня в трамвае я видел девушку с подснежниками и мужчину с мимозами, мы стояли в страшной тесноте, характерной для московских трамваев, было невозможно даже вздохнуть, но тут — цветы, тут — жизнь, тут — весна».

Об этом же он пишет матери месяц спустя (29.IV. 1933):

«Все здесь такие милые, добрые, гостеприимные. Я не помню страны, жители которой мне нравились бы так же, как русские. Только время идет слишком быстро. Но думаю, что я задержусь здесь подольше».

В письме тетке, отправленном 3.VII. 1933 из «маленького латышского пансионата, расположенного на заросшем соснами берегу», Григ рассматривает те четыре месяца, которые он провел в Советском Союзе, уже в более крупном масштабе.

«Я влюблен в Советскую Россию, она ни на что не похожа. Здесь есть и нужда, и голод, но люди здесь живут всерьез — когда выезжаешь за пределы России и встречаешь других людей, кажется, что они мельтешат по жизни, как бы без цели,— в России у людей есть цель».

Эта же мысль в письме к брату Харальду и его жене Сигрид (13.VII. 1933):

«Мне очень нравится в России, у меня появились друзья, которые отечески заботятся обо мне и которых я глубоко уважаю. Мне хочется прожить здесь как можно дольше, я вернусь домой лучше, чем был».

В письме к матери из Пярну, Эстония (5.VIII. 1933), Григ пишет, что в Советском Союзе «общение — это главное, человек никогда не бывает одинок».

Из письма к матери (25.X. 1933):

«Я сейчас в таком возрасте, когда десятилетия проходят для человека незаметно; к счастью, теперь я более оптимистично смотрю на жизнь, чем несколько лет назад. Я нашел то, что мне нужно, все обернулось к лучшему, и думаю, что впредь от моей жизни будет больше пользы».

Это было написано за неделю до того, как Григу исполнился тридцать один год.

Когда Григ поселился в гостинице «Ново-Московская», он писал матери (16.XII. 1933):

«Теперь я живу в гостинице на берегу Москвы-реки, на другом берегу — Кремль. Вчера был такой туман, что я с трудом различал красные огни, мерцавшие за рекой, а вообще вид отсюда изумительный».

Об этом же он пишет на другой день брату:

«Кремль с его башнями, соборами и дворцами расположен как раз напротив, на самой высокой башне развевается красный флаг. Я уже писал, что мне здесь очень нравится. Русские замечательные люди, сердечные и добрые, в их обществе человек чувствует себя счастливым. У меня прекрасные друзья».

В рождественском письме к матери как бы подводится итог:

«Не могу выразить, как я счастлив, что живу в Москве. Здесь все вселяет надежду, хотя я вижу и много страданий... Новый год буду встречать с Борисом Пильняком и другими русскими друзьями. Все они очень хорошо ко мне относятся».

И вновь продолжает свою мысль в письме к ней же, написанном за день до Нового года:

«Уже давно-давно я не встречал Новый год с такой радостью!»

А в новогодний вечер пишет о жизни в Советском Союзе в письме к тетке:

«Мне все больше и больше нравится здешняя жизнь. Представь себе страну, где все люди необходимы, где каждый мужчина и каждая женщина сами строят свою жизнь, где никто не зависит от других в узком смысле. Люди чувствуют, что строят нечто новое, это героическая эпоха в истории человечества, она полна лишений и страданий, но также и счастья, которое человек испытывает, созидая нечто новое, неизведанное. Однако самое лучшее то, что здесь все необходимы. Здесь все имеют работу, здесь нет неудовлетворенных дамочек, придумывающих себе идиотские занятия, здесь нет ни уныния, ни разложения, здесь все имеет свой смысл. Я страшно рад, что приехал сюда!»

Из письма к сестре Ингеборг две недели спустя (12.I. 1934):

«А главное, мне здесь изумительно. Я думаю, что эта система — единственно способная по-настоящему соответствовать достоинству человека. Конечно, до главной цели — бесклассового общества — еще страшно далеко. Но курс взят верный. А сколько здесь воли, огня, веры! Все, что я читаю в наших норвежских газетах против Советской России,— ложь. Так же, впрочем, как и многое, написанное в ее защиту, но написанное со спокойным самодовольством. Истина в том, что здесь есть и страдания, и лишения, и изнурительный и тяжелый труд. Но люди терпят это ради всего человечества».

Из письма к матери (18.I. 1934):

«Здесь в России... я встретил любовь к родине более глубокую, чем у всех других народов. И это не только потому, что русские любят свою страну и свой народ, но потому, что они чувствуют, что прокладывают новый путь на все времена, это-то и дает им такую веру в свою родину».

И дальше там же:

«Мое пребывание в России дало мне очень много — новую веру и новую радость. На твоем месте я прислушался бы к моим рассказам и поверил им. Можешь не сомневаться: то, что ты читаешь о России в норвежских газетах,— почти всегда ложь, иногда — враждебная, иногда, в лучшем случае,— от незнания. Когда мне было лет четырнадцать или пятнадцать, в те годы я был настроен особенно оппозиционно, я получил на рождество от отца книгу с надписью из Гёте: «Любовь к правде — это способность находить добро». Я вспомнил эти слова, когда поехал в Россию».

В письме к матери 1.II 1934 Григ снова пишет:

«Мне никогда не жилось лучше. Я работаю и счастлив, как никогда».

И в следующем письме (11.II.1934):

«В Москве я наблюдаю одну удивительную вещь: люди здесь лишены тщеславия в социальном смысле, никто не думает ни о деньгах, ни об одежде, это самая подходящая для меня атмосфера. Приехав сюда, я словно родился заново».

1.IV.1934 (к матери):

«Будущее больше не пугает меня, я не собираюсь обогащаться, буду зарабатывать лишь тот минимум, который необходим, чтобы я мог заниматься тем, что меня интересует. А заработать его я смогу всегда. Так что со мной все обстоит благополучно».

В другом письме к матери Григ пишет о том главном, что дала ему встреча с Советским Союзом:

«Мне здесь великолепно. Я только жалею, что не приехал сюда раньше. Здесь я нашел такое верное в основе отношение к жизни, такую простую закономерность которые очень помогают жить. Мы часто сердимся или раздражаемся и по слепоте своей считаем, что наше справедливое или несправедливое недовольство носит чисто личный характер. Но вдруг оказывается, что это вовсе не наше личное дело, что мы верно нащупали определенный жизненный закон. Здесь же люди уже давно следуют этим законам».

Нурдаль Григ внутренне готовил себя к борьбе, ожидавшей его на родине. В начале октября 1934 года он уехал на Черноморское побережье Кавказа и через две недели писал оттуда своему другу Нильсу Ли (20.X.1934):

«Любая форма буржуазности оборачивается тем, с чем необходимо бороться: реакцией и фашизмом.

Норвежского радикализма сегодня вообще не существует. Мы находимся вне мира, мы нейтральны до мозга костей, а тем временем в Испании уже сражаются. Норвежский радикализм сегодня — это психоанализ и тому подобное. Ведь мы понимаем, что это бегство от действительности, что мы надеемся найти исцеление, тогда как никакое исцеление вообще невозможно, одним словом, это реакция».

Григ обсуждает свой будущий журнал с Нильсом Ли и подчеркивает:

«Я еще не знаю, как мы назовем наш журнал, но его тайный подзаголовок будет — «Октябрь». Сегодня в мире есть только одна граница, и нужно верно выбрать, с какой стороны границы твое место».

Два дня спустя (20.X.1934) он снова пишет Нильсу Ли о своем будущем журнале:

«Разумеется, мы примкнем к международному движению против войны и фашизма, примкнем не организационно, но мировоззренчески».

29.X.1934 Григ в письме к Нильсу Ли развивает свои идеи, относящиеся к идеологической концепции этого журнала:

«Прогрессивная мысль, которая до сих пор имела прибежище и в Германии, изгнана оттуда Гитлером. Пришло время Северу включиться в борьбу перед нами стоит двойная задача: вырасти настолько, чтобы стать мировым форумом. Это честолюбивые планы, и нас ждет страшно много работы».

ИСКУССТВО

Находясь в Москве, Нурдаль Григ зарабатывал на жизнь, не только переводя Джека Лондона, но и рецензируя советские книги для издательства «Гюльдендаль». Плохо зная русский язык, он читал эти произведения в переводах на немецкий или английский. Вот несколько отрывков из писем Грига к брату и к писателю Сигурду Хёлю, который был главным консультантом издательства.

22.V.1933 (Харальду Григу):

«Я надеюсь, тебе понравится Пильняк («Волга впадает в Каспийское море»)».

30.I.1934 (Сигурду Хёлю):

«Я послал домой две русские книги: Пильняка «Волгу» и Шолохова «Поднятую целину». Это лучшие книги, вышедшие за последние годы. Напиши, как они тебе понравились».

7.II.1934 (Харальду Григу):

«Сегодня снова посылаю Шолохова. Первый экземпляр, очевидно, потерялся. Это считается лучшим описанием деревни, сделанным после Революции, коллективизация деревни — сейчас главная проблема в Советском Союзе».

21.III.1934 (Харальду Григу):

«Я сейчас читаю Эренбурга «День двенадцатый». Он слишком далек от России, книга написана как будто туристом. Но во многом она, конечно, прекрасна».

О I Всесоюзном съезде советских писателей Нурдаль Григ сказал в интервью, данном газете «Правда»:

«Норвежские писатели, получившие стипендию, вместо Парижа и Рима должны приезжать сюда. Новое происходит здесь, это неоспоримо, здесь — настоящая жизнь».

Перевод с норвежского Л. ГОРЛИНОЙ

К нашим иллюстрациям

ВАЛЬТЕР ВОМАКА

Вальтер Вомака (род. в 1925 г.), лауреат Национальной премии ГДР, ректор Высшей школы изобразительного и прикладного искусства в Берлине, вице-президент Союза художников ГДР, достойно представляет искусство своей страны — искусство молодое, однако уже обладающее определенными традициями, собственным самобытным характером и ясно выраженным направлением.

Сущность творчества Вомаки хорошо определил известный искусствовед ГДР Зигфрид Веге, сказавший: «Человек освобожденного труда, живущий при социализме, классовые битвы за социализм, свободу и мир во всем мире — таковы темы важнейших произведений художника, выполненных в разных жанрах».

Жизнеутверждающее начало присуще всему творчеству Вомаки. Это проявилось еще в ранних его картинах, таких как «В конце войны», удостоенной серебряной медали VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году, «Отдых во время жатвы» (1959), за которую художник получил премию ГДР «За выдающиеся произведения искусства».

Глядя на литографию «Девочка с голубем» (1961), зритель вспоминает слова самого художника: «Я не отступлю ни на миг от желания написать что-то красивое, излучающее радость жизни». Это произведение «открыто» миру и надежде, подобно тому как широко открыты глаза девочки, как раскрывается цветок.

Эту тему продолжает картина «Пара голубей», написанная в 1969 году. Художник создает символический образ мирной жизни, обращаясь к сочному, декоративному цвету, использует широкую, обобщенную манеру письма, сложные сочетания теплых и холодных тонов, где теплые постепенно заполняют всю плоскость холста.

Вальтер Вомака не ограничивается станковыми работами. Он широко обращается к монументально-декоративному искусству. Так, им оформлены комплекс Александерплац в Берлине, центр города Магдебурга, витражи в Бад-Эльстере.

В монументальных работах Вомаки декоративное начало и символика являются средствами эстетического освоения окружающей среды, выражая в то же время его идейную программу. Таков квадриптих «За свободу и человеческое достоинство» (1974), настенная роспись «Человек сам создает свой мир» (1967), металлические рельефы «Человек и пространство» (1971) и многие другие. Во всех этих работах проявляется жизненная программа художника, которую он формулирует так: «Лишь в том случае, если нам удастся внести в наше повседневное окружение элемент эстетического, сделав его достойным социалистического общества, мы получим право говорить о высоком уровне культуры».

Вомака стремится к созданию убедительного синтеза архитектуры и изобразительного искусства, стремится достигнуть такого художественно-эстетического уровня, который бы отвечал условиям общественной и личной жизни.

«Работа Вомаки над обликом и образом человека наших дней,— отмечает профессор Ульрих Кухирт,— над художественным отображением его жизни в общественном коллективе была и остается основой его искусства. В этом выразился прогрессивный характер его творчества, который ярче всего проявился в углублении реалистического содержания; своими произведениями он чрезвычайно обогатил искусство социалистического реализма ГДР».

Л. Д.

Яннис Рицос

ГРЕЦИЯ

В 30-е годы фашисты демонстративно сжигали его книги на афинских площадях. Вместе с произведениями Маркса и Ленина... В 50-е его привлекали к судебной ответственности за перевод поэмы Блока «Двенадцать». 40-е и 60-е — годы страданий в тюрьмах на «островах смерти» в Эгейском море. Но даже в самые тяжелые для греческого народа дни оккупации и фашистских диктатур стихи Янниса Рицоса неизменно призывали к сопротивлению, вселяли веру в победу, в неизбежное обновление национальной жизни. В мрачные годы правления «черных полковников» поэтическое слово Рицоса пламенело на баррикадах студентов Афинского политехнического, помогало переносить пытки в тюрьмах, бороться в подполье.

Книги греческого поэта — это сгустки философско-поэтического осмысления человеческой жизни, исторического пути своего народа, нашей сложной эпохи с ее противоречиями и борьбой. Продолжая и углубляя лучшие традиции новогреческой литературы, Рицос открывает для греческой поэзии XX века животворную струю положительного начала, которое утверждается не только импрессионистским потоком масштабных образов, не только «ритмом молота, рифмой вселенной» в раннем творчестве поэта, но и целомудренным, ненавязчивым проникновением в глубины человеческой души, в тайны жизни и мироздания в годы творческой зрелости. В стихах и поэмах 60—70-х годов поэт ведет с читателем задушевный разговор, вызывая его на откровенность, предоставляя широкие возможности для размышлéний.

Поэзия Рицоса, в которой доверительная исповедь органично сочетается с многомерным видением мира и эпическим размахом, стала достоянием огромной читательской аудитории. Поэтические сборники Янниса Рицоса выходят большими тиражами не только в Греции. Стихи поэта переведены на 47 языков, в том числе на 14 языков народов СССР. Во многих странах по мотивам произведений греческого поэта ставят спектакли, снимают кинофильмы, пишут музыку. Рицос — лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», других государственных и литературных премий. В ряде университетов мира он избран почетным доктором философии и филологии.

«Наш Яннис», «товарищ Яннис» — так зовут поэта в Греции. Многие его стихи стали любимыми песнями народа. Их поют в шумном Пирее, на Фессалийской равнине, в горных деревнях Пелопоннеса...

Сегодня президент Общества дружбы «Греция — СССР» Яннис Рицос у нас в гостях. Простой, очень скромный человек, даже немного застенчивый. Уже с первых минут общения кажется, что знаешь его давнó.

— Хотя я впервые у вас в редакции, но мы старые знакомые. Ведь «Иностранная литература» неоднократно печатала мои стихи и поэмы, не раз писала о моем творчестве. Мне известно также, что ваш журнал много делает для знакомства советских читателей с современной греческой поэзией, поэзией других стран мира.

— Как вы определяете смысл и задачи поэзии?

— Ничего нового я не скажу. Поэзия — очень сложное явление. Сложное потому, что определяется воздействием многих факторов — общественных, исторических, этических, биологических... Я убежден, что полностью передать то, что содержит то или иное стихотворение, не могут ни тысячи страниц пояснительного текста, ни тысячи речей. Скажу больше: ценность стихотворения заключена не только и не столько в том, о чем оно рассказывает, а преимущественно в том, что делает стихотворение произведением искусства. Иначе говоря, стихотворение — это законченный эстетический акт.

Впрочем, давать ту или иную трактовку стихотворения весьма опасно, так же опасно, как определять, что такое поэзия,— ведь она не поддается полному объяснению. И

не кажется ли вам, что именно то, что ее нельзя до конца объяснить, и составляет особую прелесть, неповторимое очарование поэзии? Разве она не отражает тончайшие движения души и мысли поэта? Разве она не зовет читателя, стремящегося разгадать тайну поэзии, к сопереживанию, к сотворчеству?

— Следовательно, вы подвергаете сомнению не только возможности, но и саму целесообразность критики поэзии?

— Вовсе нет, но, видите ли, задача критики — расчленить синтетическую картину, в которой заключена сама суть поэзии, на отдельные идеи, чувства, образы, ритмы, обнажить их связи, вскрыть механизм их взаимодействия. В качестве критерия анализа берется то чисто идейная заданность, то определенная эмоциональная позиция автора по отношению к социальной реальности, то некий, весьма расплывчатый принцип ассоциативного сопоставления лексико-семантических единиц — символов, намеков, умозаключений. Однако таким образом критика предъявляет произведению довольно произвольные требования и условия. Ведь она начинается после исследуемого произведения, отталкиваясь от него. И поэтому нередко стихотворение, поэма оцениваются без необходимого учета определенных временно-пространственных и других факторов, вызвавших их к жизни. В результате перед нами вместо стихотворения, произведения искусства — произвольный набор его препарированных элементов, а порой (и это хуже всего) — лишь ничем не обоснованные мнения, заключения и претензии критика.

Критик уже по роду своей деятельности занимает по отношению к поэту позицию наблюдателя, исследователя и, что страшнее всего, учителя. Такая перестановка — ученик в роли учителя — нечто худшее, чем нарушение этики. Это несправедливость к поэту, и что парадоксально — несправедливость необходимая, продиктованная самим историческим процессом, постоянно меняющейся социальной реальностью, осознанию которой способствует поэзия. Во всяком случае, я считаю, что, как бы там ни было, критика призвана искать присущие произведению закономерности, рассматривая их в единстве и целостности. По этим же законам должна рассматриваться и сама критика. Ей следовало бы отказаться от менторского тона судьи и цензора и позаимствовать этику искусства, его тон простой исповеди. Возможно, это укажет критикам (да и читателям) путь ко многим открытиям и выводам. Короче говоря, критика должна приближать поэзию к читателю.

Ведь поэзия — это источник эстетического очищения души. Она учит человека чувствовать тонко и глубоко, обогащая и возвышая его, расширяя и углубляя его духовный мир. Поэзия воспитывает в человеке эстетическое начало, которое по сути своей является безусловно социальным в самом широком смысле слова.

— Как вы расцениваете общественную задачу поэзии?

— Социальная подоплека поэзии, конечно же, не является первым критерием ее ценности, но, безусловно, является последним и определяющим. Ведь когда поэзия выходит за рамки личной исповеди поэта, она неизбежно становится выражением потребности всех людей в справедливости, свободе, счастье, потребности в преодолении гнетущего одиночества, разложения, смерти. На этом уровне эстетическое соприкасается с социальным, порой сливаясь и отождествляясь с ним. К этому неизбежно приходит подлинное искусство, подлинная поэзия.

Другое дело, что иногда в поэзии мы становимся слишком социологичными. Порой во имя политики мы делаем плохую политику в искусстве. Социальное и эстетическое в поэзии должны составлять единое, неразрывное целое. Никто, конечно, не вправе навязывать художнику социализацию его искусства. Это должно быть его внутренней потребностью. А запросы и потребности настоящего поэта, подлинного художника всегда неизбежно совпадают с потребностями и запросами народа. Именно их поэт раскрывает и оформляет эстетически в своих произведениях.

Таким образом он принимает самое непосредственное участие в общем процессе изменения мира. Всю жизнь художник борется против несправедливости, угнетения, эксплуатации — всех разновидностей социальной смерти. И даже если на первый взгляд эта борьба кажется порой обособленной, на самом же деле — это борьба всеобщая, массовая. Ведь она отвечает столь важной для художника потребности самовыражения, потребности в признании, в свободе, уничтожающей тесные рамки отчуждения личности. Эта борьба тяготеет к утверждению и укреплению всемирного братства. А в нем — значение и ценность человеческой жизни.

И если есть какая-то ценность в нашей работе, работе поэтов, то она в том, что мы осмелились проникнуть до самой глубины человеческого горя и унижения, сумели вынести надежду из всей человеческой боли и поддержать свет среди мрака. Это искусство, безусловно, не сверхчеловеческое, а сочеловеческое.

Что добавить еще? К сегодняшнему дню издано 83 моих книги. Готовы к публикации еще несколько поэтических сборников: «Эвдиометр», «Они ушли», «Вдохи», «Тени птиц», «Маленькая сюита в красном миноре», «Мир один», «Статуя под дождем» — и книга моих переводов Есенина. Открывается она вступительной статьей, где я размышляю над семантикой поэтического образа в творчестве этого замечательного поэта. Следует, видимо, сказать, что уже увидело свет 11 книг моих переводов. Среди них переводы стихов Маяковского, которого я очень люблю, стихов Шевченко, Франко, Блока, Эренбурга... А еще я с подлинным наслаждением переводил русские народные песни. Некоторые из них певица Маргарита Зорбала записала в 1977 году на пластинку «Двенадцать русских песен», пользующуюся у нас в стране большой популярностью.

— Как у вас возник интерес к русской песне?

— Лет двадцать назад у нас гастролировала ваша непревзойденная «Березка». Успех был потрясающим. Каждый номер программы зрители требовали повторять дважды, а то и трижды. Больше всего мне понравился хоровод, когда девушки в ярких костюмах пели исполненную какой-то светлой нежности и грусти песню «Ой, цветет калина» на слова Исаковского. Песня настолько запала мне в душу, что мне немедленно захотелось перевести ее на греческий язык. Перевод я сделал, как говорится, на одном дыхании. И вот однажды, на очередном концерте, русские девушки вышли, как всегда, на сцену и запели эту песню... по-гречески. В зале разразился ураган восторга. Некоторое время спустя эта песня в исполнении девушек из «Березки» была записана на пластинку и в считанные дни разошлась по всей Греции.

— Как вы относитесь к переводам своей поэзии на другие языки?

— Во-первых, в переводе я всегда хочу оставаться греком, и, конечно же, Рицосом. Поэтому я охотно работаю с переводчиками моей поэзии, которые обращаются ко мне с самыми неожиданными вопросами. Чаще всего я сотрудничаю с французскими и итальянскими переводчиками. Ведь во Франции уже издан 31 мой сборник, а в Италии — 23. Нередко они приезжают ко мне в Афины, и мы много часов подряд «разбираем» тот или иной цикл, ту или иную поэму. Порой я редактирую французские переводы и даже сам принимаю участие в переводе. Так, французский перевод поэмы «Три песни ловцов губок» перерабатывался шесть раз с моим участием.

Я счастлив, что мои стихи неоднократно издавались в вашей стране, и высоко ценю труд советских эллинистов и переводчиков, хотя иногда сказывается, видимо, то, что поэты-переводчики работают не с оригиналом, а с подстрочником — порой весьма приблизительным отражением подлинника.

— В переводах ваших стихотворных миниатюр последних лет читатель часто встречается с причудливым сочетанием реального и фантастического, с не поддающимися прямой расшифровке поворотами мысли, с усложненностью поэтической структуры...

— Да, моя поэзия сложна, хотя непосредственна и конкретна. Но также конкретны и сложны отношения между мужчиной и женщиной, между жизнью и смертью, любовью и ненавистью, светом и тьмой... Согласен, некоторые мои стихотворения последних лет порой вызывают удивление. Но ведь отображенные в них необычные ситуации взяты мною из жизни. Самое лучшее их объяснение — ничего не объяснять. Ведь объяснение иногда еще больше затемняет смысл происходящего.

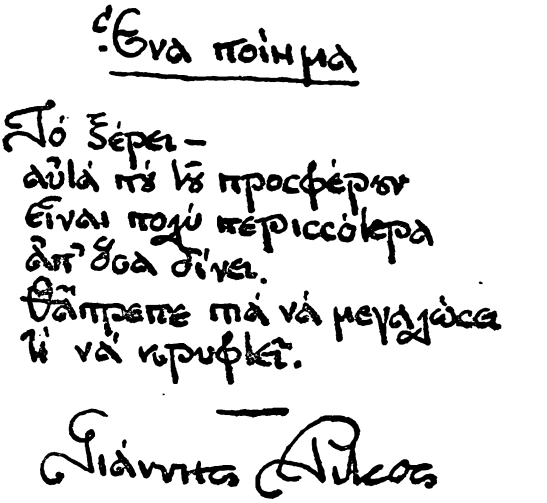
Короче говоря, мне думается, что конкретность поэтического видения ведет к более сложному анализу вещи, в противоположность видению абстрактному. Я бы даже сказал, что раньше поэзия шла от конкретного к абстрактному, в то время как теперь — от абстрактного к конкретному.

— А какие у вас взаимоотношения с греческими читателями?

— Греки любят поэзию. Так уж сложилось со времен Древней Эллады. Византийские традиции тоже сыграли свою положительную роль. В период турецкого владычества широкое распространение получила устная народная поэзия. Все это определило главенствующее место поэзии в новогреческой литературе. Всего за какие-то 160 лет, начиная с национально-освободительной революции 1821 года, Греция дала целую плеяду великих поэтов — Дионисиос Соломос, Костис Паламас, Константинос Кавафис, Йоргас Сеферис, Ангелос Сикелянос, Костас Варналис, Одиссеас Элитис... Как видите, тяга к поэзии в нашей стране явление не случайное, а скорее закономерное.

Как принимает мою поэзию греческий читатель? Я вижу, чувствую, что ее любят, причем глубоко и искренне. Видимо, эта поэзия созвучна мыслям и чувствам грека. Видимо, в ней он находит то, что пережил сам, что пережила страна... А потом не следует забывать, что читатель часто отождествляет жизнь писателя и его творчество. Так рождается легенда. Много лет своей жизни я провел в тюрьмах, в ссылке... Очевидно, это тоже как-то волнует читателя моих стихов, настраивает его на определенный лад... Так что я не знаю, где кончаются любовь и понимание моей поэзии и где начинается легенда, в которой на первом плане — факты из моей биографии. В последние годы в Греции и за рубежом мне оказывались самые разнообразные почести. Если говорить откровенно, то меня иногда охватывает какое-то чувство вины... Я уверен, что эти почести, эта любовь, это признание намного превышают мою отдачу, мои скромные возможности. Несколько лет назад я отразил это свое состояние в одном из стихотворений.

Рицос читает маленькое стихотворение и затем по нашей просьбе записывает его на листе бумаги.



Он знает:
то, что ему воздают,—
много больше того,
что он сделал.
И он должен либо стать выше,
либо скрыться совсем.

— Кроме поэзии вы еще занимаетесь живописью...

— Да, я действительно рисую. Один из моих друзей как-то шутя сказал, что если бы я не стал поэтом, то непременно бы стал художником. Так уж получилось, что большинство своих живописных работ я создал в ссылке на островах Эгейского моря. Нам, ссыльным, там не разрешалось ни писать, ни рисовать. Но мы писали и рисовали. На клочках бумаги... Свои стихи и рисунки я вынужден был прятать в бутылки и закапывать их в землю. Когда же не находилось ничего, что можно было бы использовать для рисования, я обращался к камню. На обычной гальке я рисовал, а точнее, выделял, подчеркивал то, что говорил сам камень. Вот так, на клочках бумаги, на камне я тайком продолжал работать...

В течение всех прожитых лет (а мне скоро семьдесят два) я ни на минуту не позволил себе сидеть сложа руки. И если можно говорить о какой-то форме каждодневного сопротивления несправедливости, угнетению, смерти, то это не что иное, как труд Только работая, мы учимся работать. Только работая, мы открываем себя. И только открывая себя, мы открываем мир во всей его глубине и красоте.

Единственное, чем я могу гордиться в своей жизни, так это тем, что был и остаюсь суровым рабочим слова. Просто рабочим. Я не позволял себе ни минуты покоя. Ни единого дня без работы. Я брал от жизни все, что мог, но не для себя, а для того, чтобы в меру своих сил отдавать все взятое людям, миру. Не сочтите эти мои слова за хвастовство. Повторяю: перед вами рабочий. Суровый рабочий пера...

Знаете, с трудом верится, что тебе уже больше семидесяти. Я ведь чувствую себя молодым, юношей двадцати — двадцати пяти лет. Не более...

Когда я действительно был молодым, когда мне было года двадцать два, я написал:

По утрам, открывая окно,
я вижу, как пламя рассвета отражается
в море.
И чувствую себя вечным и более юным,
чем прежде.

А в одной из последних поэм, в «Чудовищном шедевре», есть такие слова: «Я возвращаюсь из бесконечной молодости, которая не собирается стареть». И может быть, в значительной степени этой молодостью, которая «не собирается стареть», я обязан вам, мои дорогие советские друзья. Вы всегда поддерживали меня своей глубокой любовью к нашему народу, такой же глубокой, как наша любовь к вам.

Мне вот вспомнились слова, которые я написал в 1956 году, впервые ступив на советскую землю. Они обращены к простому железнодорожнику пограничной станции Чоп, к первому советскому человеку, которого я тогда встретил:

«Товарищ, товарищ, знаешь ли ты, что ты дал человечеству? Знаешь ли ты, брат мой в своей честной замасленной робе, какую мечту, какую надежду, какую веру ты подарил людям всего мира? Какую окрыленную юность вселил ты в этот дряхлый ворчливый мир? Здравствуй, товарищ! Дай мне свою руку. Твои друзья в Греции просили тебя расцеловать».

Для меня, как и для большинства прогрессивных людей, Советский Союз всегда был не только страной, выразившей и осуществившей великий идеал справедливости. Для меня СССР — предтеча будущего всего человечества.

ВИКТОР СОКОЛЮК

◆

Среди книг

РУССКАЯ И СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ

ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ЖИЗНИ ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛОПУХОВА

«Чернышевский... умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей».

В. И. Ленин

Загадок, оставленных Чернышевским, хватит еще не на одно поколение исследователей. Американская тема в его творчестве, особенно в романе «Что делать?» — одна из них.

Напомним — сначала в Америке оказался Лопухов. Вслед за ним туда же отправляется Рахметов. Зовет отца поехать в Америку и Катя Полозова. Двадцатая глава предпоследней, пятой главы романа целиком посвящена рассказу Лопухова-Бьюмонта о его жизни за океаном.

Как комментируют эти факты романа американские исследователи?

Три десятилетия назад в США почти одновременно вышли две книги с очень похожими названиями: «Русские радикалы следят за Америкой. 1825—1894» Дэвида Хекта (переиздана в 1968 г.) [1] и «Американское влияние на Россию. 1784—1917» Макса Лазерсона (переиздана в 1962 г.) [2]. Треть книги Хекта и самая большая глава у Лазерсона посвящены Чернышевскому. И выводы у них совпадают дословно. «Земля обетованная» — назвал свой раздел о Чернышевском Хект. «Соединенные Штаты для Чернышевского — земля обетованная...» — вторит, как эхо, Лазерсон.

Есть у авторов и еще одно поразительное единодушие — в отношении к главке 20-й романа «Что делать?». Они ее попросту игнорируют. При том, что Хект, подобно крыловскому Любопытному, скрупулезно рассматривает все другие упоминания Америки в романе. А вот целой главки «не приметил...». Не укладывалась она, видимо, в заданную схему, противоречила итоговому «выводу», который, с невнятной оговоркой и даже вроде бы тревогой за репутацию Чернышевского, делает американский исследователь: Лопухов, дескать, появляется в конце книги только как выразитель взглядов самого Чернышевского на Америку; а взгляды эти «опасно близки» к защите американского «культа практичности — лихорадочной предприимчивости как таковой, отвергающей какие-либо общественные цели...».

Неужели для этого отправляет Чернышевский за океан любимых своих героев?.. Вспомним фон событий. В России зрела крестьянская революция. В Америке новая революция — Гражданская война Севера и Юга — уже начиналась. Можно отметить даже одно любопытное совпадение — спасительная для царизма реформа 1861 года была обнародована 5 марта — в первый день президентства Линкольна... «По моему мнению,— писал Маркс в январе 1860 года Энгельсу,— величайшие события в мире в настоящее время — это, с одной стороны, американское движение рабов, начавшееся со смерти Брауна, и, с другой стороны,— движение рабов в России...» [1].

Взаимосвязь событий в Америке и России неоднократно отмечал на страницах «Современника» Чернышевский. Он полагал, например, что «от развязки нынешнего северо-американского кризиса» зависит «будущее движение политических идей, которым станут определяться события целого нашего и, быть может, следующего за нами поколения». Восхищался Чернышевский и подвигом Джона Брауна. Рассказывая читателям «Современника» о личности этого «предводителя первых мучеников за дело негров в Соединенных Штатах», он особое внимание обращал на революционные методы его борьбы против рабства.

За океаном Лопухов и Рахметов, как известно, не встречались. Но прежде, в Рос-

---

[1] Daid Hecht. Russian Radicals Look to America. Cambridge, Harvard University Press, 1968.

[2] Macs Laserson. The American Impact on Russia. 1784—1917. New York, 1962.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 30, стр. 4.

сии, виделись довольно часто — ведь они входили в общий «кружок», то есть одну политическую группу. Заметим — среди вопросов, занимавших группу, была опять-таки связь событий в Америке и России и, в частности, возглавляемая Джоном Брауном вооруженная борьба фермеров против превращения Канзаса в рабовладельческий штат — «междоусобная война в Канзасе, предвестница нынешней великой войны Севера с Югом, предвестница еще более великих событий не в одной Америке...».

«Не в одной Америке...» Характерная фраза. Всякий раз, говоря об Америке, Чернышевский открыто или намеками переводит мысль читателя на события в России. Американскую проблематику он использует для пропаганды революционного пути уничтожения крепостничества. Здесь истоки его обостренного интереса к событиям в Америке, его частого обращения к американской проблематике. В этом, наконец, смысл поездок его героев за океан — ведь они едут туда бороться «за дело негров».

В советских комментариях к роману высказывалось предположение, что Лопухов участвовал в канзасской войне. А Рахметов сам заявляет, что ему «нужно» быть в Северо-Американских штатах, что для него есть там «дело», но потом, года через три-четыре (именно к тому сроку, когда в романе происходит «перемена декораций»), он вернется в Россию, где будет «полезнее», «нужнее», чем в Америке. Рахметовской фразой отвечает и Лопухов-Бьюмонт (уже вернувшийся из-за океана) на предложение Кати поехать — в поисках настоящего дела — в Америку: «Можно найти дело и в Петербурге...» Разве не ясно, о каком «деле» идет здесь речь? И очевидно же, что подоплека поездок — революционно-интернационалистская... Впрочем, и тут Чернышевский верен себе. Ведь слово «негр» воспринималось в то время по-особому. Подтекст появился у него еще во времена Радищева и Новикова. В 1801 году Василий Попугаев прочитал в «Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств» свой дерзкий антикрепостнический памфлет «Негр», опубликованный затем как «перевод с испанского». В 50-х годах «негр» стал едва ли не синонимом «крепостного»... «Америка — страна хорошая,— говорится в одном из писем Герцена той поры,— только что крепостные люди черные; у нас черный народ — белый . все от снега. должно быть». Или вот Некрасов сообщает Тургеневу об издании в 1858 году приложением к «Современнику» романа Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»: «. Открылась возможность перевесть «Дядю Тома». Я решился еще на чрезвычайный расход — выдаю этот роман даром при 1-м № Как скоро было это объявлено, подписка поднялась. Надо заметить, что это пришлось очень кстати: вопрос этот у нас теперь в сильном ходу, относительно наших домашних негров». Чернышевский — на страницах «Современника» — из номера в номер и в высшей степени «кстати» вел разговор о борьбе «за дело негров», об историческом анахронизме «невольничества»...

В армии северян действительно были русские добровольцы. Но влекло их туда «дело» в том самом смысле, который вкладывал в это слово Чернышевский и как воспринималось оно всей передовой Россией 60-х годов. Вспомним Ивана и Надежду Турчиных (Турчаниновых) — убежденных революционеров-демократов, ставших подлинными героями Гражданской войны в США. Их письма к Герцену, недавно опубликованный у нас «Дневник» Надежды Турчиной свидетельствуют, что и в Америке «самым ненавистным типом» для них оставался предприниматель-ловкач, движимый собственническим, своекорыстным эгоизмом.

Нынешние американские исследователи творчества Чернышевского откровенных нелепостей, подобных «выводу» Хекта, себе не позволяют, но в целом продолжают развивать схему, заданную Хектом и Лазерсоном,— а именно, мысль о заимствованности, западных истоках идей Чернышевского. Словно неведомо им, что революционная ситуация в России в середине прошлого века давно именуется емкой ленинской фразой: «эпоха Чернышевского».

Таковы последние по времени американские работы о Чернышевском — монография профессора истории Уильяма Уорлина «Чернышевский. Человек и журналист» (1971) [1] и первая книга Н. Г. О. Перейры «Мысль и учение Н. Г. Чернышевского» (1975) [2], выросшая из диссертации, подготовленной в Калифорнийском университете. Оба автора сохранили преемственность и в отношении к 20-й главке романа «Что делать?», лишь вскользь упоминая об американской поездке Лопухова: «После временного пребывания в Америке...» (Уорлин); «...вернувшись из своей американской поездки...» (Перейра). Словом, подобно Хекту и Лазерсону, они эту главку игнорируют.

Сам Чернышевский относился к двадцатой главке иначе. Поначалу, в черновой редакции романа, об американской жизни Лопухова дважды упоминалось в заключительной главе, но оба раза как-то мимоходом, скороговоркой: «Пристроился к какой-то американской газете...» Назывались темы выступлений — «о России и вообще о Восточной Европе и о Западной Азии», однако ничего серьезного тут не мыслилось — вся работа окрещена довольно-таки уничижительным словечком «статейки». Еще лаконичнее Бьюмонт сообщал об этом при встрече с Кирсановыми: «По приезде занялся газетною работою...» И всё. Но потом Чернышевский решает использовать эту тему иначе.

Перерабатывая окончание романа, он сводит рассказ о журналистской деятельности Бьюмонта воедино и придает ей иной характер «Написал несколько статей...» — это уже не «пристроился к какой-то американской газете писать статейки». Появ-

[1] William Woehrlin. Chernyshevski The Man and the Journalist. Cambridge, Harvard University Press, 1971.

[2] N. G. O. Pereira. The Thought and Teachings of N. G. Černyševskij. The Hague—Paris, Mouton, 1975.

ляется название газеты, в которой сотрудничал Бьюмонт,— «Tribune». И точное определение темы его статей: «о влиянии крепостного права на общественное устройство России». Наконец, небольшой этот фрагмент — всего пять предложений — Чернышевский делает особой главкой. (Самая маленькая в романе!) Стало быть, дорожит ею, хочет обратить на нее внимание читателей. А главное — продолжает ее дорабатывать...

Вот как выглядит рассказ Бьюмонта в опубликованном тексте романа. «Как только я приехал,— говорил он,— я стал заботиться о том, чтобы поскорее получить натурализацию. Для этого надобно было сойтись с кем-нибудь,— с кем же? — конечно с аболиционистами. Я написал несколько статей в «Tribune» о влиянии крепостного права на все общественное устройство России. Это был недурной новый аргумент аболиционистам против невольничества в южных штатах, и я сделался гражданином Массачусетса...»

В советских изданиях романа объясняется обычно лишь термин «натурализация», реже — слово «аболиционист». Издание романа в серии «Литературные памятники» (Л., 1975) сопровождается краткой справкой о газете «Tribune»: «Эта газета выходила в Нью-Йорке с 1841 до 1924 г., когда она слилась с газетой «Herald».

Три отмеченные слова, бесспорно, ключевые в главке. Но они требуют большего внимания.

Взять хотя бы первое из них — «натурализация». Достаточно ли сказать о нем, как это обычно делается, что оно означает здесь принятие гражданства страны? В контексте двадцатой главки такое объяснение вызывает сразу несколько вопросов. И прежде всего — почему Бьюмонт заботится о получении натурализации «поскорее», «как только приехал»? Ведь одним из основных условий получения гражданства США по натурализации было (и остается) п я т и л е т н е е проживание на территории страны. И вовсе не требовалось «для этого» с кем-либо «сходиться». Скорее наоборот. Кстати, нынешние американские издатели романа «Что делать?» (N. Y., 1961) не преминули отметить это несоответствие: «Описываемый Чернышевским способ получения иностранцами американского гражданства неверен»,— говорится в их комментарии к 20-й главке. Но это единственное, что их здесь заинтересовало.

Может, порядок натурализации не был знаком Чернышевскому? И слово это у него — своего рода случайность? Не думается. В другом его романе — «Отблески сияния» — один из персонажей тоже натурализуется в США, а вслед за этим гибнет в первом сражении Гражданской войны...

Феноменальная эрудиция Чернышевского общеизвестна. Его политические обзоры в «Современнике» свидетельствуют, например, что он блестяще знал не только федеральное законодательство США, но и правовые нормы к а ж д о г о из американских штатов. Множество раз обращался он в своих работах непосредственно к проблемам американской иммиграции, да и сам по себе вопрос правового положения иностранца интересовал его — рецензировал же он в «Современнике» книгу И. Андреевского «О правах иностранцев в России». Упоминалась Чернышевским и американская партия «но-нотингов» («незнаек») — антииммигрантская шовинистическая организация, активно действовавшая в 50-х гг. прошлого века. В своей антифашистской публицистике периода второй мировой войны Карл Сэндберг называл «но-нотингов» предшественниками и ку-клукс-клана, и германских нацистов. А занимала «но-нотингов» в основном именно проблема натурализации — они требовали увеличения необходимого для нее срока проживания в стране с пяти лет до 21 года, что, по сути, лишало иммигрантов гражданских прав. Достичь своего полностью «но-нотингам» не удалось. Но вот в Массачусетсе (где обретает гражданство Бьюмонт) их последователи добились в 1859 году (примерно в это время и получает натурализацию герой Чернышевского) «двухгодичной поправки», согласно которой иммигранты и после натурализации еще два года не допускались на общественные должности и не могли голосовать.

Как же в таком случае понимать это алогичное, дважды подчеркнутое автором желание его героя «поскорее», «как только приехал», получить натурализацию? Видимо, лишь как отношение Чернышевского к проблеме по существу, е г о точку зрения на вопрос о сроках натурализации. Тут уместно вспомнить, как тщательно подсчитывал он в своих статьях кануна Гражданской войны число избирателей в северных, свободных штатах Америки и южных, рабовладельческих; как выводил, учитывая динамику роста населения страны (а именно в 50-е годы иммиграция в наибольшей степени за всю историю США влияла на этот процесс), возможную перспективу перераспределения партийных сил в высших законодательных органах республики...

Характер доработки 20-й главки — перед отправлением рукописи в журнал — говорит еще и о том, что отнюдь не натурализация занимала в тот момент автора. Эта строка — единственная в главке! — осталась нетронутой. Все же последующие — в той или иной степени дополнены. Значит, и мы должны с особым вниманием отнестись к тому, что сказано автором дальше.

А дальше идет: «Для этого надобно было сойтись с кем-нибудь,— с кем же? — конечно с аболиционистами».

Сравним эту фразу с ранним ее вариантом: «Для этого я постарался сойтись с аболиционистами». Ясно, что все добавления сделаны тут с единственной целью — подчеркнуть слово «аболиционисты»...

В 1847 году в Петербурге вышел первый том Справочного энциклопедического словаря, издаваемого Карлом Краем. «Аболиционист» уже числилось в нем как слово, вошедшее в русский обиход «для означе-

ния противника торговли неграми». Термин был актуальным, к тому же русского синонима у него не имелось.

Значение слова, однако, быстро расширяется — по аналогии с «неграми». «Аболиционистами» стали называть и российских противников крепостного права. Так, Лесков в «Захудалом роде» именует «искреннейшим аболиционистом» киевского политико-экономa Дмитрия Петровича Журавского (1810—1856), который разработал и сам же пытался осуществить проект освобождения крестьян от крепостной зависимости. Чернышевский очень высоко ценил работы Журавского, считал его «благородным, неутомимым, даровитым ученым» и в статье «О новых условиях сельского быта», ссылаясь на данные Журавского, тоже уподоблял невольнический труд в Америке крепостной системе в России. А вот заметка в «Дневнике» Надежды Турчиной: «Джентльмен-республиканец, собственник негров, удивительно схож с дворянином империи, владеющим рабами, и общественное устройство, созданное обоими этими представителями господствующих классов, совершенно схоже». Затем в «Дневнике» следует лирический пассаж, посвященный аболиционистам: «Имя это мне очень по сердцу: мне кажется, что это имя дано, как при крещении, всем неофитам войны, и оно способно сплотить разнородную массу и расплавить, как в тигле, противоположные мнения. Из этих мнений возникает лишь одно-единственное: всеобщая ненависть и негодование — чувство, испытываемое свободным человеком, живущим трудами рук своих или мозга,— к деспоту, эксплуатирующему человека-раба, к паразиту, чья совесть и моральное чувство позволяют, чтобы ему служили другие».

Термином «аболиционисты» Чернышевский пользовался, пожалуй, чаще всех. Делал он это, судя по всему, намеренно, полемизируя с реакционной русской печатью, считавшей — как и печать американских южан — действия аболиционистов неправомерными, а восстание Джона Брауна «противозаконным». Свой предпоследний (мартовский за 1862 год) политический обзор в «Современнике» Чернышевский посвятил в основном именно вопросу з а к о н н о с т и вооруженного выступления аболиционистов. В 20-й главке вновь полемически подчеркнут выбор Лопухова — «конечно с аболиционистами». И такое место находил иногда Чернышевский этому слову, что относилось оно одновременно и к Америке, и к России. Тот же Лопухов-Бьюмонт назван — чуть ранее — «яростным аболиционистом».

В декабрьском политическом обзоре 1860 года Чернышевский рассказал читателям «Современника» об истории аболиционистского движения в Северной Америке; в следующем номере — о составе аболиционистов и тактике их борьбы против невольничества.

Февральский политический обзор 1861 года — один из шедевров публицистики Чернышевского. Это вдохновенный памфлет на американском, «аболиционистском» материале, памфлет антирабовладельческий и одновременно антикрепостнический. Он исполнен революционного пафоса, он дышит предощущением возможной вооруженной борьбы, хотя и предупреждает об опасности компромисса. Чернышевский оказался прав дважды: за океаном началась вооруженная борьба, в России дело кончилось компромиссом. И любимых героев своего первого романа он отправит вскоре за океан...

Приложением к мартовской книжке «Современника» шла первая часть «Извлечения из постановлений» об отмене крепостного права. А тут же, в журнале, печатались «Песни о неграх» Лонгфелло в переводе Михаила Михайлова. О «переводе» здесь можно говорить лишь как о приеме конспирации. Это была революционная поэзия, непосредственный отклик на царский «Манифест», призыв к борьбе, к восстанию против самодержавия:

Придет пора — все будут вольны!
По всей земле — по всей —
Как звон раздастся колокольный
Звук порванных цепей!..

Вслед за стихами публиковалась статья Владимира Обручева «Невольничество в Северной Америке» — аболиционистская и по духу, и по терминологии. В февральском обзоре Чернышевский еще слегка маскировал Россию: «Газеты наполнены предсказаниями, что к весне готовятся в Западной Европе очень значительные события...» Обручев уже писал без обиняков: «В обстоятельствах, в которых теперь находится Россия, конечно, едва ли какой-нибудь разряд сочинений может быть для нее интересней, чем книги, определяющие относительное достоинство принужденного и свободного труда».

Январский и февральский обзоры Чернышевский целиком посвятил событиям в Северной Америке. В марте же он лишь сослался на статью Обручева: «В нынешней книжке уже и без того есть большая статья о Северной Америке...». Словом, рекомендовал ее читателям.

А Обручев писал: «Мы не преклоняемся перед общественными началами Америки; они не составляют для нас идеала; мы не находим его и в личности американца...».

Не только от своего имени выступает тут Обручев, сподвижник Чернышевского и Михайлова. И вопрос об идеале — общественном и человеческом — в той революционной ситуации занимал не одного автора статьи. Иван Турчанинов писал Герцену из Америки: «Мои заокеанские грезы были гораздо выше и чище пошлой действительности... Разочарование мое полное... Эта республика — рай для богатых... Везде, где хотите, даже в России скорей может осуществиться что-нибудь похожее на социальную республику, только не в Америке». И Бьюмонт у Чернышевского, говоря об Америке, заметит: «У нас далеко не то, чему следует быть...».

Ревнители концепции «земли обетованной» таких вещей, естественно, стараются не замечать.

Воплощением идеала русской революционной демократии стали «рассказы о новых людях» — роман «Что делать?», его герои, хоть и едут они бороться за свою мечту на американскую землю и характе-

ризуются американским же словом «аболиционисты»...

Все так. Но отношение Чернышевского к аболиционизму было общеизвестно. И новой информации его фраза в двадцатой главке не содержит. Значит, она — переходная.

Остается сотрудничество Лопухова в «Трибуне», оказавшее, как мы помним, существенную помощь американским борцам против рабства. Понятно, что в американских исследованиях, взявших за основу тезис об американском либо вообще западном влиянии на Россию и на автора «Что делать?», не могло быть и речи об этом эпизоде в романе Чернышевского.

Полное название газеты, в которой сотрудничает Бьюмонт,— «Нью-Йорк дейли трибюн» («New York Daily Tribune»)—«Нью-йоркская ежедневная трибуна». Это была одна из пяти-шести крупнейших американских газет 50-х гг. Чернышевский знал все эти газеты, писал о них, иногда цитировал. Почему же, перерабатывая окончание романа, он делает Бьюмонта сотрудником именно «Трибуны»? Случайна ли тема его статей? И та оценка, которая дается им в романе?

Легче всего ответить на первый вопрос. Выбор Чернышевского закономерен, поскольку «Трибуна» была лучшей, наиболее прогрессивной американской газетой 50-х гг. Она занимала твердую аболиционистскую позицию (отмеченную Чернышевским еще в 1856 г.), а ее основатель и редактор Горас Грили выступал к тому же одним из самых решительных критиков «но-нотингов». Поиск ответов на второй и третий вопрос может привести к самым неожиданным результатам...

Славу, авторитет и уникальность в истории американской журналистики принесло «Трибуне» продолжительное — с 1851 по 1862 год — сотрудничество в ней Маркса и Энгельса. Около полутысячи материалов прислали они в газету. Но в то время и самой редакции не все было известно: материалы приходили с одной подписью — Маркса. Читатели же не могли знать и этого. И поначалу имя автора статей давалось газетой не всегда, а уже в январе 1855 г. ни одна из четырех опубликованных корреспонденций не была подписана. В феврале с подписью шла лишь одна из пяти работ; в марте — ни одной; в апреле — опять лишь одна (из девяти!) публикаций. С мая 1855 г. вообще все получаемое от Маркса стало печататься в газете без подписи, к тому же большей частью в виде передовиц, то есть как материалы редакционные...

А популярность газеты, ее авторитет — в значительной степени благодаря «безымянным» работам Маркса и Энгельса — тем временем росли. К «Трибуне» прислушивались, ее читали, она формировала передовое общественное мнение страны. Газетой все больше интересовались и в странах Европы, в том числе и в России.

В июльском номере «Современника» за 1856 г. «Трибуну» отметил Чернышевский — в своем обзоре американской прессы. Ровно через год в «Современнике» же близкий Чернышевскому Сигизмунд Сераковский пишет о «Трибуне» как об «органе социальных учений». Обручев — в статье «Невольничество в Северной Америке» — сопоставлением данных о количестве подписчиков «Трибуны» на Севере и Юге США иллюстрирует реакционность плантаторского режима, его общественную и духовную деградацию.

И в дальнейшем «Трибуна» привлекала внимание русской общественности. Те, кто побывал в Америке, неизменно писали о ней. Так, не однажды упоминается она в книге Михаила Владимирова «Русский среди американцев» (1877), в американских очерках Григория Мачтета, в книге Петра Тверского «Очерки Северо-Американских штатов» (1895). Весомую роль играет «Трибуна» в сюжете повести Короленко «Без языка». Помянул газету и Горький — в 1906 г., в письме Красину из Нью-Йорка...

Но самым интересным русским откликом на публикации «Трибуны» в марксовский ее период остается 20-я главка романа «Что делать?».

Лопухов-Бьюмонт, приехав в Америку, пишет для «Трибуны» несколько статей «о влиянии крепостного права на все общественное устройство России». Когда, по действию романа, происходит это сотрудничество? Подсчитать нетрудно. 11 июля 1856 года — «дурацкое дело» на Литейном мосту. В том же июле — первое письмо «отставного медицинского студента» из Берлина. Три-четыре месяца длится переписка. «Студент» сообщает о своих планах «побродить» по Германии, Италии, Англии. «Быть может», побывает он и в Праге... Словом, в Соединенные Штаты он приехал, видимо, к концу 1857 г. Или в начале следующего. Может, немного раньше, может, чуть позже. В любом случае сотрудничество в «Трибуне» следует отнести к 1858 году. Тут-то и начинается самое любопытное.

Дело в том, что как раз в 1858 и начале 1859 г. в «Трибуне» действительно печатались статьи о крепостном праве, о его влиянии на все общественное устройство России, о проблеме освобождения крестьян. Всего статей было четыре. Первая из них, опубликованная в газете 19 октября, начиналась словами: «Вопрос о крепостном праве, по-видимому, принимает в настоящее время в России серьезный оборот...». Ни заглавия, ни подписи автора у статьи не было. Но печаталась она на самом видном месте — в качестве передовой. Аналогичным образом 23 декабря шла вторая статья. Это был обзор европейских общественно-политических движений в 1858 г. Основное внимание в статье уделялось России, которая «из всех наций Европы... первая пробудилась от этой политической летаргии». Третья и четвертая статьи имели общий заголовок — «Об освобождении крестьян в России». Они и печатались вместе, в одном номере газеты — 17 января 1859 г. Без подписи, конечно. В третьей излагался проект предполагаемого освобождения крепостных; четвертая статья заканчивалась предсказанием возможной крестьянской

революции в России, которая «на место мнимой цивилизации, введенной Петром Великим, поставит подлинную и всеобщую цивилизацию».

Если именно эти статьи имелись в виду Чернышевским при доработке 20-й главки (а он мог летом 1859 г. ознакомиться с ними в одной из лондонских читален), то это и вправду был «недурной новый аргумент аболиционистам против невольничества в южных штатах». Жаль, конечно, что Чернышевский, подобно всем остальным читателям газеты, не мог знать авторов статей. Не мог знать, что первую, третью и четвертую статьи написал Карл Маркс, а вторую — Фридрих Энгельс...

Лишь в 1913 г. в печати впервые появилась сорокалетняя переписка Маркса и Энгельса, пролившая свет на многие неизвестные ранее факты их сотрудничества в «Трибуне» Переписка вышла в 4-х томах. Тотчас же эту переписку начинает изучать и конспектировать В И. Ленин. Причем начинает он с тома второго, с того места в письме Маркса от 3 мая 1854 г., где речь идет как раз о «Трибуне».

В трудах Ленина упоминается около тридцати американских газет и журналов. Номера еще двенадцати изданий сохранились в его Кремлевской библиотеке. Итак, не менее сорока названий американской периодики находилось в его рабочем обиходе. И все они — современные Ленину. За одним исключением. Это исключение — «Трибуна» 50-х годов. И вот что еще примечательно. Все названия американской периодики приводятся в работах Ленина полностью. Исключением стала опять-таки «Трибуна».

Так называли газету «Нью-Йорк дейли трибюн» любимейшие авторы Ленина — Маркс, Энгельс и Чернышевский — в двадцатой главке романа «Что делать?».

И. ПОПОВ

ГОРЬКИЙ: ОТ ГОРЕЧИ К РЕВОЛЮЦИИ

Какие ветры дули в тот мартовский день 1868 года над древним Нижним Новгородом? Какие дожди барабанили по крышам торговых складов, мастерских, каменных и деревянных домов? И что это был за свет, пробивавшийся сквозь тучи в тот далекий день, когда весна возвестила о своем приходе на поля и в сады русской земли?

Сизое небо, порывы ветра.. Кто мог знать, что в тот день 1868 года в Нижнем Новгороде в семье бедного столяра краснодеревщика Пешкова родился человек, который изберет себе позднее имя Горький и прославится на весь мир?

Алексей Максимович Пешков. Максим Горький.. Кто мог предвидеть, что имя этого писателя, порожденное горечью, станет дорогим для миллионов читателей которые благодаря его творчеству узнают, что извечная человеческая горечь не в состоянии убить веру в счастье и весну?

Если мы попытаемся представить себе, как выглядел более ста лет назад этот старинный город, то неизбежно задумаемся о положении страны — и всей Европы — в тот период. Мы вспомним, что это был поворотный момент в истории: во мраке начали вспыхивать первые искры, предвещавшие утреннюю зарю и приход новых времен.

В 1861 году было отменено крепостное право. Рабы получили вольную. Важная дата, хотя это освобождение было скорее формальным: земля оставалась во владении дворян.

В 1868 году, когда родился Горький, Чехову было восемь лет, Толстой публикует «Войну и мир» Два года спустя в Симбирске родится Ленин. Одновременно с развитием индустриализации в России станут возникать и первые революционные (народнические) кружки, а затем и первые рабочие организации.

В эту сложную, трудную пору юный Пешков познает жизнь во всех ее жестоких проявлениях: голод, трущобы, нищету, тяжесть, но и достоинство человеческого труда. Для него это будут в прямом и переносном смысле годы учения. Кем только не довелось ему работать: мальчиком на побегушках, посудником на пароходе, учеником в иконописной мастерской, столяром, грузчиком, садовником, пекарем и даже хористом... Этот красочный и неполный перечень дает представление о том, с какими видами материи он имел дело: с деревом, железом, кожей, мукой, а главное — с людьми, которые своими руками обрабатывали эти природные богатства, создавая художественные творения и товары для продажи...

Существование, полное невзгод. Дорого доставшийся жизненный опыт принесет молодому человеку моральные и физические страдания. Заболевание туберкулезом. Попытка покончить с собой в момент разочарования

Но не только в хлебе нуждался в те годы Горький. Его мучает ненасытная жажда знаний, культуры. Справедливости. Он запоем читает все, что попадает ему в руки Он сам исписывает страницу за страницей. Он вступает в нелегальные кружки.

В двадцать лет, перепробовав уже с двадцать профессий, он пускается в длительное скитальчество, которое приведет его к берегам Каспия. Вот он уже под надзором полиции. Арест, освобождение, и снова в путь. Ему предстоит встретиться со множеством людей, перепробовать себя и в других профессиях, познать безграничность, разнообразие и богатство своей родины... В 1892 году тифлисская газета «Кавказ» публикует первый рассказ некоего Горького под названием «Макар Чудра»

С этого момента начинается новая глава его жизни, столь богатой приключениями: литературное творчество, которое, достигнув расцвета, приобретет мировое значение Его мощное влияние испытываем не только мы — его будут испытывать на себе и поколения, которые придут нам на смену...

Совершенно очевидно, что процесс созидания неотделим от всей горьковской жизни, которая и питала творчество, во-

бравшее в себя его собственные слезы и кровь, боль и надежду, скорбь и уверенность. Именно в этом — залог неисчерпаемой силы его произведений, которые и сегодня продолжают потрясать нас и многому учить.

Говоря о горьковских творениях, выделяя основные вехи в этом обширном и многообразном творчестве, нужно помнить и о людях, встречи и дружба с которыми явились для писателя решающими. Это встреча с Толстым. С Чеховым. С Маяковским С Лениным, который сумеет понять и мощь этого созидательного ума, и его смятение, неуверенность и тревогу. Встреча с Ромэном Ролланом..

Нужно помнить и о той роли, практической и организаторской, которую играл Горький с первых же лет советской власти — не только в издательской области, но и в деле воспитания. Он всегда проявлял большой интерес к молодым писателям, откликался на их письма и присланные ими рукописи, помогал критическими замечаниями и советами И до конца дней своих он с высокой ответственностью относился к своему писательскому долгу. Особенно подчеркнем его деятельность, направленную на развитие литературы для детей и юношества. Революция откроет перед ним возможности для выполнения самых смелых и плодотворных задач. Своим сегодняшним богатством и разнообразием советская литература для подрастающих поколений во многом обязана Горькому.

Во Франции с Горьким познакомились в начале века В 1907 году в переводе, сделанном по рукописи, впервые вышел на французском языке его роман «Мать». Впоследствии роман этот не раз переиздавали, появлялись и другие произведения Горького, и наше знакомство с этим замечательным писателем все более расширялось. В 1973 году с большим интересом была встречена переписка Горького и Чехова в переводе Жана Перюса, выпущенная издательством «Эдитер франсе реюни».

Сколько трудящихся признавалось мне, что их существование, мировоззрение полностью менялись после прочтения «Матери» Горького. Этот горьковский роман заставляет человека по-новому взглянуть на окружающих его людей и саму жизнь,— читая (и перечитывая) Горького, мы становимся другими Величие романа «Мать» понимаешь особенно отчетливо, если размышлять о нем в контексте жизни самого автора и мировой истории. Эта книга отражает переломный момент в истории Позади остаются ночной мрак, крепостное право, угнетение и эксплуатация. Впереди — свет надежды на всеобщие перемены, справедливую оплату труда, неограниченные возможности для осуществления самых благородных человеческих устремлений. Все это возвещает роман «Мать» Кроме того, он подчеркивает: для достижения победы требуются единство и организованность трудящихся. 1917 год подтвердит это писательское предвидение и понимание исторической ситуации.

Когда 18 июня 1936 года Горький умирает, многие проблемы оставались нерешенными — как в самом Советском Союзе, так и во всем мире. И тем не менее творческое наследие Горького и особенно роман «Мать» продолжают нас вдохновлять и направлять. Никакие сомнения, ошибки и заблуждения не заслонят гуманистической сущности и освободительного смысла этой книги.

Это оказывается возможным, потому что основой горьковского искусства является его глубочайшее благородство, которое я назвал бы добротой Горького. Добротой по отношению ко всем обездоленным, детям, угнетенным и эксплуатируемым. Не наивной и идеалистической добротой, а добротой, которая сочетается с ясностью видения, способностью романиста задаваться множеством вопросов и ставить их перед нами.

Ясность видения... Эти слова приходят на память каждый раз, когда заходит речь о Горьком и его искусстве. Он умел разглядеть и ребенка, и униженного человека, и пробующего свои силы писателя, и начинающего строителя. Чувством братства и благородства преисполнено все его творчество. Неизжитые последствия былой нищеты не мешали Горькому радоваться каждому знаку нового, и он неустанно призывал творцов будущего среди обломков прошлого создавать новую жизнь.

Этот человек, этот писатель земли русской принадлежит всем странам, всем сердцам, всем людям доброй воли. Это наш Горький.

ПЬЕР ГАМАРРА

г. ПАРИЖ

ЗА ОДНО ТОЛЬКО СЛОВО

Слово не рождается по волшебству и не существует только благодаря заключенной в нем магии. Жизнь слова зависит от того, достигнет оно читателя или нет. И рожденное миру, слово остается зависимым. Эта зависимость проистекает из индивидуальных особенностей творчества и его автора.

Можно сказать, что более всего подвластна творцу лирическая поэзия. Эпическая же поэзия, в противоположность лирической, состоится в той степени, в какой ей удается отделиться, освободиться от ее создателя. То есть слово вступает в самостоятельную жизнь и находит сообщника в лице читателя. Можно сказать, что лирика без читателя возможна, а эпическая поэзия без сообщничества — нет. Эпическое нуждается в широком резонансе. Лирическое же стремится к интимности звучания. Устремляясь на зов внешнего света туда, где ее ждет читатель, лирика продолжает жить жизнью скрытой, задушевной. Эпическая же поэзия обретает плоть в своем внешнем звучании, в громком крике боли или восхищения. Эпическая поэзия также может затрагивать тему любви, но эта любовь — не молчаливая страсть поэта, а боль, что стремится вырваться наружу.

Я говорил о творце, о поэзии и о молчании. Назовем их своими именами.

Творец — Владимир Маяковский.
Его поэзия — эпическая.
Молчание — живой голос поэта.

Этот «красивый двадцатидвухлетний» человек в желтой рубашке, громогласно возвещавший эстетику футуризма, видел в грядущих годах новой, социалистической республики будущее подлинного расцвета искусства, когда искусство, перефразируя библейское речение, превратится в любовь. Искусство есть Любовь. Человек проникается искусством в той мере, в какой он способен ощутить влюбленность, преисполненность этим нежным чувством. Вот почему новое искусство и новая поэзия должны стать всеобщим достоянием. И человек, создатель нового искусства, станет равным самой Любви. В этом и есть смысл гуманизма — в любви к человеку.

Маяковский был, пожалуй, самым гуманным из всех поэтов нашего века. Не случайно многие выдающиеся поэты последнего столетия видели в нем своего учителя и наставника, даже не скрывая его непосредственного влияния на их творчество. Самыми яркими примерами могут быть Неруда и Брехт. И все же ни один из этих больших поэтов нашего века не был столь нежен в эпическом и столь эпичен в лирике, как Маяковский.

Вспомним ставшие уже хрестоматийными строки из поэмы «Облако в штанах»:

И чувствую —
«я»
для меня мало.
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле,—
ему уже некуда деться.

Вот так и было: не знал поэт, куда деть столько любви; его огромное тело не могло вынести столько килограммов нежности. И тогда сугубо личные переживания вылились в эпическую страсть. Маяковский не только пел и воспел свою личную любовь, он воспел свою любовь к Революции. Мощная, могучая, она потребует от поэта всей силы и страсти его любви. Отдавая «звонкую силу» поэзии пролетариату, Маяковский признавался в своей любви к Революции:

Я
всю свою
звонкую силу поэта
тебе отдаю, атакующий класс.
. . . . . .
Для нас
это слово —
могучая музыка,
могущая
мертвых
сражаться поднять.

(«Владимир Ильич Ленин»)

В «Воспоминаниях о встречах с Маяковским» его друг Е. А. Лавинская рассказывает впечатляющий эпизод. Незадолго до смерти поэт произносит следующие слова: «Я самый счастливый человек в СССР, поэтому я должен умереть». И если Маяковский чувствовал себя счастливым, то это потому, что он нашел, «куда деться»,— его сила и его талант навсегда слились с Революцией.

Много говорилось о так называемом эгоцентризме Маяковского. Это неоднократно ставилось ему в упрек. Но дело в том, что «я» Маяковского — это не «я» поэта-лирика. «Я» Маяковского означает «все». Это его свободный голос, это наш с вами товарищ, это чувство причастности к общему делу, это мы с вами, кому он завещал «сад фруктовый его великой души».

Неоднократно подчеркивал поэт мысль о тождестве человека и мира. Его поэзия, глубоко человечная, нашла отклик в сердцах читателей, наполнила их любовью. Он обратил читателя в свою Любовь. Ну а мы, наследники высокого гуманизма, что сделали мы для продолжения дела великого прорицателя нашего века?

Поэт русской революции отдал нам все лучшее, что было в его душе, и он ждет (ждет с вековых высот бессмертия), чтобы мы ответили тем же. Слушайте ж:

...все, чем владеет моя душа,
— а ее богатства пойдите смерьте ей! —
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг
и самое мое бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,
коленопреклоненных соберет мировое
вече,—
все это — хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.

(«Дешевая распродажа»)

Маяковский одарил нас своим бессмертием. Пусть нашим ответом будет то самое «человечье слово».

ПЕДРО КОРРЕА ВАСКЕС

КОНСТАНТИН СИМОНОВ И ТЕМА ВОЙНЫ

Все романы Константина Симонова о Великой Отечественной войне, участником и летописцем которой он был, о войне, потребовавшей от советского народа сверхчеловеческого напряжения всех сил, чтобы выдержать единоборство со смертоносной и великолепно вооруженной фашистской армией, проникнуты антимилитаризмом.

Писатель показал героизм советских людей, но никогда не возводил героев в святые. Скорее наоборот: глубочайший смысл романов Симонова — в недоверии к показной храбрости или бессмысленным жертвам, сопутствовавшим на трудных дорогах войны подлинному мужеству людей, для которых выполнение долга стало жизненной потребностью людей, вставших на защиту родной земли. Эти люди — воплощение авторских представлений о чести и достоинстве. Ведь они защищают будущее не только своей страны, но и всего человечества.

Один из таких героев — участник Октябрьской революции, девизионный комиссар Пантелеев (из «Южных повестей»). На

четвертом месяце войны он наводит порядок в сражающихся в Крыму войсках и сам руководит атакой пехотинцев, пока при взрыве бомбы на Симферопольском шоссе не получает смертельное ранение. Происходит это вскоре после его откровенного разговора с Лопатиным, в ходе которого Пантелеев открыто говорит о своей неприязни к начальникам в накрахмаленных воротничках, по утрам натягивающих сапоги, начищенные с помощью адъютантов. С болью говорит Пантелеев об умирающих парнях 1921 года рождения, голодного года, когда у матерей пропадало молоко. И все же их вырастили, воспитали — неужели для того, чтобы теперь они погибли от фашистской пули?

Но больше всего меня поразила художественная манера автора, для которой одинаково характерны мягкий юмор и резкий тон, суровость и эмоциональная приподнятость. Исторические факты полностью соответствуют действительности, а герои — грустные и веселые, порой — мечтатели, порой — бесстрашные и решительные. Многие из них погибнут, другие получат тяжелые ранения, а те, кто вернется с войны, займутся нелегким делом восстановления разрушенного хозяйства страны. И у всех у них будет одна цель: сделать так, чтобы призрак подобной бойни исчез раз и навсегда.

Не могу сказать, какое из человеческих качеств я больше всего ценил в Константине Симонове, ставшем моим другом после совместной работы над редакцией итоговых документов последнего конгресса КОМЕС [1] проходившего в Риме в 1968 году. Может быть, его такт и уравновешенность или знание людей, так помогавшие ему в борьбе за мир, в деле, которому он всегда придавал первостепенное значение.

Итак, его книги не только обвиняют фашизм, не только рассказывают о выматывающих марш-бросках, ужасе штыковых атак. Это в то же время своего рода сага о дружбе. Перед нами проходят такие герои, как журналисты Лопатин и Синцов, молодые, самоотверженные, полные энтузиазма; трогательные Таисия и Паша; коммунисты-добровольцы, преграждающие дорогу вражеским танкам. Писатель показывает внутренний мир этих людей, их готовность к самопожертвованию и веру в победу, без которой Советский Союз не смог бы победить самого жестокого врага в мире. Как живые встают перед нами герои Симонова: раненый и почти замерзший старший лейтенант Рябченко, политрук Малинин, два командира, понимающие, что ради спасения многих жизней и конечной победы они должны расстрелять того, кто не выполнил приказ. Грубоватые или легко ранимые, радостные или встревоженные, герои Симонова — Серпилин, Максимов, Баглюк — входят в нашу жизнь. Мы видим их под Сталинградом, в Москве, в осажденной Одессе. Они воплощают мужество не только русского народа, но и всех народов и народностей Советской страны, всех тех, кто сплотился ради одной цели — победы.

Мы бродили с Константином Симоновым по улочкам Флоренции и Рима, так нравившимся нам обоим. Тогда я не мог предположить, что через несколько лет буду показывать ему возрожденную после апрельской революции Португалию, когда он приехал в нашу страну по поручению Всемирного Совета Мира. Это было летом 1974 года. А потом мы неоднократно встречались в Софии и, конечно, в Москве.

Многие португальцы благодаря книгам Константина Симонова, благодаря его вере в будущее выдержали испытания, выпавшие на долю нашей страны. Поэтому мы вспоминаем о нем с неизменной признательностью.

УРБАНО ТАВАРЕШ РОДРИГЕШ
г. ЛИССАБОН

[1] Европейское сообщество писателей, существовавшее с 1958 по 1968 год.

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

«УРОКИ СЕНТ-ВИКТУАРА»

Сент-Виктуар — название горы в Южной Франции, которую часто изображал на своих полотнах Поль Сезанн. Австрийский писатель Петер Хандке не раз совершал своего рода паломничества к этой горе. Его книга «Уроки Сент-Виктуара» — это одновременно и попытка осмыслить художественный опыт великого живописца, и раздумье о самом себе, о возможностях искусства и литературы вообще.

«Эта книга плохо поддается какой-либо литературоведческой классификации,— пишет о новой работе известного прозаика критик Рольф Михаэлис в еженедельнике «Ди цайт».— Сказка и автобиография, холодное, объективное описание и горячий, субъективный самоанализ. Эту книгу откладываешь, чтобы тотчас взяться за нее опять, доискиваться второго и третьего смысла».

Хандке всегда волновала проблема, как наиболее полно и адекватно донести свое впечатление до читателя. Он учится у Сезанна не просто изображать явление, но проникать в его внутреннюю структуру все глубже и глубже, нередко возвращаясь к одному и тому же мотиву.

Это одновременно и повесть, и рассказ о том, как она писалась, отмечает критик. Он отдает должное среди прочего эрудиции автора: в книге звучат имена и Бальзака, и грузинского художника Пиросманишвили, швабского крестьянского поэта Кристиана Вагнера, американского художника Эдварда Хоппера и многих других. «Умная книга. Может быть, даже немного слишком умная»,— замечает рецензент, видя определенную ее слабость в обычном для Хандке избытке рефлексии.

БОЛГАРИЯ

ПЕВЕЦ РАБОЧЕГО КЛАССА

Певцу рабочего класса и социалистического строительства Пеньо Пеневу, чье пятидесятилетие отмечалось по всей стране, был посвящен традиционный Праздник поэзии, проходивший в Габрово. И хотя поэта уже нет в живых, его голос продолжает звучать.

«Даровитый парень из села Добромирка,— сказал, открывая Праздник, известный поэт Божидар Божилов,— создал стихи, которые сделали его любимцем народа... Пеньо Пеневу не было необходимости «сближаться» с народом — он сам был простым тружеником. Именно поэтому он смог так ярко рассказать о людях, встречающих солнце на строительных лесах и говорящих «доброе утро» социализму. Пеньо Пенев был поэтом рабочего класса, жил его мечтами, его трудностями, его радостями. Читателям не могли не понравиться его стихи, и они сразу же горячо полюбили их, потому что они были написаны человеком, сжегшим себя во имя любви к Болгарии, к будущему ее лучшему дню... И если сегодня болгарские писатели пользуются таким авторитетом, то этим они во многом обязаны Пеньо Пеневу. Встреча с его поэзией — всегда большой праздник».

Как всегда, по сложившейся уже традиции, на этом празднике состоялось присуждение премий за лучшие стихи, опубликованные в сборнике «Поэзия-80». Ими были удостоены Г. Джагаров, И. Милчев и Я. Димов. Премией «Габрово» был отмечен О. Орлинов за эссе «Стена поэзии».

ИТОГИ XVI КИНОФЕСТИВАЛЯ В ВАРНЕ

Главного приза «Золотая роза» на XVI кинофестивале в Варне удостоены отмеченный высокой наградой на Московском кинофестивале в прошлом году фильм режиссера Х. Христова «Барьер» (см. «ИЛ» № 3, 1979) и многосерийный телевизионный фильм «Один среди волков» режиссера З. Хеския. Оба фильма поставлены по сценариям известного болгарского писателя Павла Вежинова.

Специальная премия фестиваля присуждена фильму «Все есть любовь» («ИЛ» № 5, 1980), отмеченному также премией кинокритики.

Премия за лучший сценарий присуждена братьям Мормаревым — авторам сценария фильма «Двойник». Исполнитель главной роли в этом фильме Тодор Колев удостоен премии за лучшее исполнение мужской роли.

Премии за лучшее исполнение женской роли получили Ваня Цветкова, исполнительница роли Доротеи в фильме «Барьер», и Янина Кашева за роли в фильмах «Все есть любовь» и «Большое ночное купание».

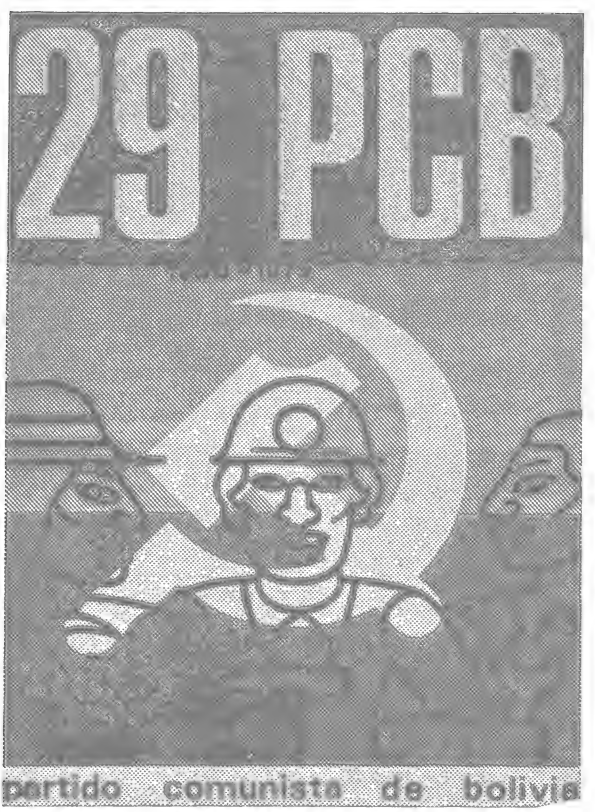
За лучшую режиссерскую работу премия присуждена Рангелу Вылчанову, постановщику картины «Лакированные ботинки неизвестного солдата» («ИЛ» № 2, 1980), а за лучшую операторскую работу — Борису Янакиеву за фильм «Иллюзия».

Подводя итоги фестиваля, еженедельник «Литературен фронт» отмечает, что впервые на нем были уравнены в правах картины, сделанные как для большого, так и для «малого» экрана, о чем свидетельствует присуждение главного приза.

Что касается художественного уровня фестиваля в целом, то, как отмечает еженедельник, на нем было показано много удачных фильмов, в которых преобладает современная тема, раскрываются яркие человеческие характеры, есть интересные формальные находки. Газета «Работническо дело» также подчеркивает, что кинофестиваль в Варне наглядно показал тесную связь болгарской кинематографии с современностью.

БОЛИВИЯ

В странах Латинской Америки плакат стал действенным оружием классовой борьбы. Прогрессивные художники-графики при помощи плаката ведут большую пропагандистскую работу с целью вовлечения масс в революционное движение.
На снимке: плакат, посвященный двадцать девятой годовщине со дня основания Коммунистической партии Боливии.



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«О СЧАСТЬЕ ГОВОРИТЬ ТРУДНО...»

Несколько лет тому назад критик Раймонд Гординер, пытаясь определить поэтическое кредо одного из ведущих поэтов Англии Филипа Ларкина, сказал: «Его поэзия — поэзия одиночества, в ней не найдешь утешения». Творчество Ларкина, автора четырех поэтических сборников, заняло заметное место в духовной жизни его соотечественников. И причина этому — в простой, аскетической честности его искусства, его отношения к жизни. В этом убеждаешься, прочитав большое интервью с Ларкином, которое было опубликовано в одном из последних номеров «Лондон мэгэзин».

— Я вовсе не хочу, чтобы другие стремились быть похожими на меня,— говорит поэт.— Я пишу лишь о том, что испытываю сам. О счастье говорить трудно. «Счастье пишется белым»,— сказал Монтерлан; другими словами, прочитать написанные тобою строки о том, как тебе хорошо, никто не сможет, просто не поймет тебя. Может быть, прозаику легче сочинять книги о воображаемом счастье. Многие так и делают. Дивная погода, дивная природа, в каждой главе — по дивной новой девушке... Но не мною ведь придуманы старость, смерть, страдание, неудачи и разочарования. Почему же я должен молчать об этом?

...Как рождаются мои стихи? Из стремления обрести истину и постичь прекрасное, сказать правду, чтобы она звучала убедительно. Пытаешься истинному придать красоту, а прекрасному — подлинность и достоверность... Что я понимаю под правдой? Очень часто я чувствую, как что-то тревожит меня, и начинаю думать: боже, я должен найти слова, чтобы все это обрело совершенную форму.

— Однажды вы написали, что «поэзия — занятие для людей, здоровых духом».

— Действительно, в последнее время у нас про-

цветает культ безумия. Мне это просто непонятно. Чосер, Шекспир, Вордсворт, Гарди были великими поэтами и здоровыми людьми. Задача писателя — отображать жизнь такой, как она есть, а если вы не в состоянии сделать это, так причина — в самих вас, а не в жизни...

— Скажите, почему вы не ездите в другие страны? Бетжамен говорил, что его удручает тот факт, что его плохо знают за рубежом. А вы сказали в своей речи по случаю вручения вам в Гамбурге премии Шекспира за 1977 год, что поэт, странствующий из страны в страну, теряет свое лицо, перестает ощущать себя причастным к родной культуре...

— Мне кажется, что те, кто меняет страну и язык, теряют себя.

— Оглядываясь на свое творчество, какую наиболее характерную черту его вы могли бы назвать?

— Не знаю. Ведь стихи, уже написанные, получаются не совсем такими, какими мы их вынашиваем. Мне хотелось бы писать о том, как прекрасен мир и как прекрасны люди, но почему-то слова застревают во мне...

ИНТЕРЕСНОЕ ОТКРЫТИЕ

Исследователь творчества Роберта Льюиса Стивенсона Роджер Суиринген обнаружил первый опубликованный рассказ писателя. Просматривая в библиотеке Йельского университета подшивки журнала «Лондон», выходившего в 1877—1879 гг., Суиринген обратил внимание на рассказ «Старая песня», напечатанный анонимно. Он вспомнил, что нечто подобное уже читал 10 лет назад, когда знакомился с рукописями Стивенсона, хранящимися в Йельском университете. Сличив два текста, он установил их идентичность. Рассказ «Старая песня», который Суиринген охарактеризовал как «мрачный», увидел свет за шесть лет до прославленного «Острова сокровищ», его автору было в то время 27 лет.

ВЕНГРИЯ

Карой Коффан (род. в 1909 г.) известен как мастер художественной фотографии, график, ученый-орнитолог. Каждая из его выставок, на которой экспонировались серии эстампов, линогравюр, всегда вызывала широкий интерес. Недавно в залах венгерской Национальной галереи состоялась персональная выставка Кароя Коффана, которая представила художника как мастера деревянной скульптуры. «Портреты, выполненные им в этом жанре,— пишет Андраш Секей в журнале «Уй тюкор»,— лиричны, эмоциональны и в то же время обладают выразительностью монументальной скульптуры».
На снимке: работы художника «Поклонение Микеланджело» и «Кричащий».

(Журнал «Уй тюкор»)

ПОДНЯВШИЕ ЗНАМЕНА

В Будапеште, в молодежном издательстве «Мора», вышел сборник «Венгерское революционное молодежное движение 1917—1919 годов. Избранные материалы». В него вошло около пятисот документов: здесь архивные материалы, газетные статьи, отрывки из протоколов парламентских заседаний и военных судов, воспоминания, фотографии, плакаты. Составителем сборника и автором обстоятельной вступительной статьи к нему является историк Ласло Швед.

Большой статьей на этот сборник откликнулся партийный журнал «Таршадалми семле». В ней, в частности, говорится, что идеи социалистической революции в среде молодежи начала века, главным образом в среде рабочей молодежи, нашли благодатную почву и пустили глубокие корни. Документы сборника убедительно показывают, что эта революционная молодежь стала опорой в становлении Венгерской советской республики 1919 года и ядром Венгерской коммунистической партии, что в свое время отмечал Бела Кун. «Наша партия,— писал он,— и когда она только складывалась, и впоследствии всегда была партией молодых не только в том смысле, что молоды были те, кто ее создавал. Наша партия была партией молодых, потому что за ней было будущее...»

«Этот сборник,— пишет далее журнал,— адресован прежде всего современному юному поколению, он адресован и тем, кто интересуется вопросами международного коммунистического и рабочего движения».

ГДР

ЧИТАЕТ ГЕРМАН КАНТ

Десять лет назад выступлением Германа Канта открылись литературные чтения в Немецкой академии искусств, ставшие затем традиционными. (Писатель читал тогда отрывки из книги о Стокгольме.) Недавно этот своеобразный юбилей был отмечен новым выступлением Германа Канта. Он прочел свой рассказ «Третий гвоздь». Почти одновременно в журнале «Нойе дойче литератур» был опубликован другой рассказ Канта «Вакансия».

Герой «Вакансии», писатель Гельмут Нойман, автор ряда произведений, пере-

«Берлинер ансамбль» показал пьесу Фолькера Брауна «Просто, по-немецки» (режиссер Пиет Дрешер). Продолжая традиции театра Бертольта Брехта, Фолькер Браун создал ряд сцен и эпизодов, действие которых происходит в разное время — от XVII века до наших дней. Несмотря на видимую самостоятельность, эти сцены связаны общими идеями и проблемами: главное в них — необходимость принятия решения в ответственные моменты жизни. «Я считаю, что режиссер Пиет Дрешер вместе с актерским коллективом справился с постановкой этой трудной пьесы»,— пишет Петер Ульрих в журнале «Театер дер цайт». «Одним из лучших спектаклей последнего времени» называет эту постановку в газете «Нойес Дойчланд» Эрнст Шумахер.
На снимке: артисты Герман Байер и Анжелика Валлер в сцене из спектакля «Просто, по-немецки».

(Журнал «Театер дер цайт»)

стает творчески расти и озабочен одной проблемой: попадет ли его имя в литературные справочники... «Третий гвоздь» рассказывает о злоключениях скромного, честного человека, по профессии бухгалтера, пытающегося разобраться в подлинных ценностях жизни. Повествование, начавшееся с веселых, юмористических нот, перерастает в сатиру.

«Оба рассказа посвящены нашей современности,— отмечает репензент еженедельника «Зоннтаг».— Кант пишет о том, что он хорошо знает, его наблюдения очень точны. Недаром, отвечая на вопросы слушателей, писатель сказал, что не хочет черпать свои сюжеты из жизни США, где он недавно был, так как это было бы книгой путевых впечатлений. Его цель в последнее время — писать только о том, что ему близко, о том, что он так или иначе пережил».

Во время оживленной дискуссии, которой завершились чтения, обсуждались теоретические вопросы, в том числе вопрос взаимосвязи литературы и жизни. «Основная проблема «Третьего гвоздя» — нравственная, проблема морали и чистой совести человека,— сказал Кант.— Если мне удалось ее как-то решить, значит, в данном случае литературное произведение помогло людям что-то понять. В этом, мне кажется, и есть главная задача литературы».

«Три года прошло после появления романа «Остановка в пути»,— пишет рецензент «Зоннтаг».— Сейчас мы снова встретились с Германом Кантом, обратившимся на этот раз к «малому» жанру. Мы с нетерпением будем ждать выхода новых рассказов писателя».

ДАНИЯ

«ДОБРЫЕ ЛЮДИ»

Под таким названием издательство «Виндросе» выпустило сборник избранных статей — интервью Ханса Кирка, писателя и журналиста, который уже на протяжении двадцати восьми лет тесно связан с коммунистической прессой.

Интервью охватывают период с 1941 по 1961 год. Вдоль и поперек исколесил Ханс Кирк Данию в поисках «добрых людей», посещая поместья и их задворки, убогие хижины, нарядные виллы, рыбацкие поселки, беседуя с политически активными соотечественниками, начиная с тех, кто участвовал в движении Сопротивления, прошел через концентрационные лагеря, и кончая теми, кто в одиночку ведет безуспешную борьбу с бюрократическим государственным аппаратом. По словам критиков, из этих поездок возвращался не газетчик — собиратель «сенсационного материала любой ценой», ие «холодный и циничный поставщик готовых предисловий и красивых поворотов, за которыми скрывается пустота», и не автор, нахватавшийся «политических лозунгов, штампов и клише». Перед иами — живое, полное сочувствия сердце публициста, бьющееся в

унисон с сердцами «добрых людей» Дании: «Она кладет на стол свои добрые, теплые, натруженные руки. Сколько коров выдоили они, сколько ребятишек вынянчили? Но все это не имеет значения для налоговой системы. Не имеет значения для домовладельца. Не имеет значения для капиталистического общества. Для нас же эти старые нежные материнские руки значат бесконечно много».

Каждая строка, написанная Хансом Кирком, дышит доверием и уважением к тем, кто творит историю страны, борется против прозябания и духовной нищеты, стремится к свету знания, мирному солнцу над головой, теплу и пониманию между людьми.

Тематика интервью Ханса Кирка остается актуальной и по сей день. Не только потому, что автор показывает, как много еще в мире бесчеловечности и несправедливости. Но также и потому, что он прославляет силу, разум и красоту человека.

На смену прогнившей социальной системе должно прийти новое общество — вот что утверждает устами своего народа писатель-коммунист Ханс Кирк.

ИНДИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЛАУРЕАТУ

Прогрессивная индийская литература завоевывает все более широкую популярность в мире. Произведения Премчанда, М. Р. Ананда, Х. А. Аббаса, Кришана Чандара и многих других ее представителей переведены на разные языки. Новым признанием ее успехов явилось присуждение международной премии «Лотос» выдающемуся индийскому писателю, генеральному секретарю Национальной федерации прогрессивных писателей Индии Бхишаму Сахни. Сообщение об этом появилось во всех ведущих органах индийской печати.

Высоко оценивая сам факт присуждения премии за этот год индийскому писателю, многие газеты сопровождают сообщение краткими очерками жизненного и творческого пути лауреата. Выдающийся мастер новеллы, автор многочисленных рассказов, Бхишам Сахни широко известен и как романист. Так, за роман «Тьма», посвященный трагическим событиям последних лет колониального владычества над Индией, писатель был удостоен премии Литературной Академии Индии за 1975 год.

Бхишам Сахни выступает и как драматург. Его пьеса «Гануш», написанная по мотивам чешской легенды, вот уже несколько лет подряд с успехом идет на подмостках многих профессиональных и самодеятельных театров Северной Индии.

Как сообщает печать, в ближайшее время выходит новый роман, которому писатель дал название «Басанти» — по имени главной его героини. Кроме того, Бхишам Сахни работает над большой исторической пьесой, посвященной одному из величайших поэтов и мыслителей средневековья — Кабиру.

СТРОГО, НО ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО

В своей деятельности Коммунистическая партия Индии уделяет большое внимание литературе и искусству. На страницах периодических изданий КПИ, выходящих на различных языках этой многонациональной страны, регулярно публикуются новые произведения прогрессивной художественной литературы, рецензии на книги, спектакли, фильмы, помещаются обзорные статьи, интервью с передовыми писателями и деятелями кино, проводятся дискуссии по наиболее актуальным проблемам литературы и искусства.

Индийские коммунисты приняли активное участие в подготовке и проведении юбилейных торжеств по случаю 100-летия со дня рождения классика индийской литературы Премчанда (1880—1936). «Мы ведем неустанную борьбу, чтобы то, о чем мечтал Премчанд — построение социалистической Индии,— стало реальностью,— писала в день юбилея газета «Джан юг».— Подлинными наследниками Премчанда являются трудящиеся всей Индии, ее истинные сыны».

Особое внимание на страницах периодических изданий КПИ уделяется работе с писательской молодежью: прозаиками, поэтами, драматургами, режиссерами. В связи с этим обращает на себя внимание развернутая рецензия на повесть «Некоторые личности» — первое крупное произведение молодого прозаика хинди Девендры Упадхьяя, вышедшее в одном из издательств индийской столицы.

В повести изображается жизнь тех, кто создает общественное мнение страны,— индийских журналистов. В центре повествования — образ талантливого писателя и журналиста Суканта. Ему и его коллегам, честным, не идущим ни на какие компромиссы литераторам, противостоит мир продажных борзописцев, давно разменявших высокие принципы на денежные купюры.

Отметив, что в своей талантливой повести молодой писатель поднял актуальную тему, автор рецензии, известный прогрессивный критик Агнимитра, строго, но вместе с тем доброжелательно анализирует отдельные недостатки произведения. «Мы надеемся,— пишет он,— что молодой автор будет совершенствовать свое мастерство и в его произведениях найдут отражение те ценности, о которых говорил Премчанд в своей знаменитой речи, произнесенной в 1936 году».

ИСПАНИЯ

ЕЩЕ ОДНА КНИГА ПАБЛО НЕРУДЫ

Творчество Пабло Неруды вызывает к жизни все новые издания в разных странах мира. Так, в Испании вышел сборник поэзии и прозы великого чилийца — «Невидимая река».

В книгу включены ранние поэтические и прозаические произведения Неруды, специально отобранные

для издания вдовой поэта Матильдой Уррутия и Хорхе Эдвардсом. Здесь собраны также многие материалы, относящиеся к отроческим и юношеским годам поэта, которые ранее никогда не публиковались. Каждое из включенных в сборник произведений сверено с рукописями и снабжено библиографическими справками.

Стихи, опубликованные в сборнике, относятся к периоду с 1918 по 1936 год. Обложка книги выполнена каталонским художником Антони Тапиесом.

ИТАЛИЯ

ЗВУЧАТ СТИХИ МАЯКОВСКОГО, БЛОКА, ЕСЕНИНА...

На сцене Римского оперного театра звучат стихи советских поэтов первых революционных лет. Их читает Кармело Бене, один из «столпов» театрального «авангарда» 60-х годов.

«Такие поэты, как Маяковский, Блок, Пастернак, Есенин,— заявил он в беседе с корреспондентом газеты «Паэзе сера»,— должны предстать нашими великими современниками, такими, какими стали для нас Кальдерон, Шекспир, Марло, Сервантес».

Спектакль назван «Маяковский», и стихи этого поэта революции являются его лейтмотивом. В течение 20 лет, говорит Кармело Бене, он вынашивал замысел воплотить поэзию Маяковского на сцене, выступал с нею ранее по телевидению. Спектакль, в котором звучат стихи четырех советских поэтов — Маяковского, Блока, Есенина Пастернака, рецензент «Униты» называет «квартетом четырех Страдивари».

«Кармело Бене играет, декламирует, скандирует, поет, ему удается,— пишет рецензент «Униты»,— придать стихам многоголосие, впечатление, что они звучат синхронно, как в хоре».

Одновременно Джанни Пулоне осуществил на сцене «Театро мобиле» постановку спектакля по поэме Есенина «Пугачев». В спектакле используются куклы и маски, выполненные Андреиной Де Чезаре. Декламация стихов сопровождается ритмическим аккомпанементом тексту на ударных инструментах.

Следует отметить, что итальянский зритель не впервые становится свидетелем яркого сценического воплощения есенинских произведений: более полутора лет назад событием в театральной жизни страны стал спектакль туринского Кооперативо Театро «У» «Анна Снегина» (см. «ИЛ», 1979, № 10). В связи со 100-летием со дня рождения Александра Блока в Милане с огромным успехом, по свидетельству прессы, прошло представление, осуществленное театральным коллективом Группо делла Рокко по мотивам блоковской «Незнакомки» и «Балаганчика» с прологом из «Короля на площади».

КАМЕРУН

«СТОЛЯР И КОБРА»

Так назвал священник Доминик Нойе составленный им сборник сказок африканского народа пёль. Сборник вышел в парижском издательстве «Луно Аско». В книгу вошли пятнадцать сказок, записанные Домиником Нойе в Северном Камеруне, где он провел шесть лет.

Рецензент журнала «Жён Африк» пишет об этой книге: «Воссоздать африканскую сказку — затея часто неблагодарная. Известно, что сказитель не создает литературного произведения а рассказывает историю для «живой» публики, поэтому ему можно и повторяться, и акцентировать внимание на смешных или страшных деталях. Он может себе позволить и отклониться от темы. А как быть писателю, чтобы остаться верным манере сказителя и в то же время не надоесть читателю? Именно это попытался сделать Доминик Нойе. И попытка его оказалась удачной».

КАТАР

В Катаре успешно развивается самодеятельное театральное искусство
На снимке: молодая участница самодеятельного театрального коллектива из г. Доха.

(Журнал «Аль-Хаят ас-сакафия»)

КУБА

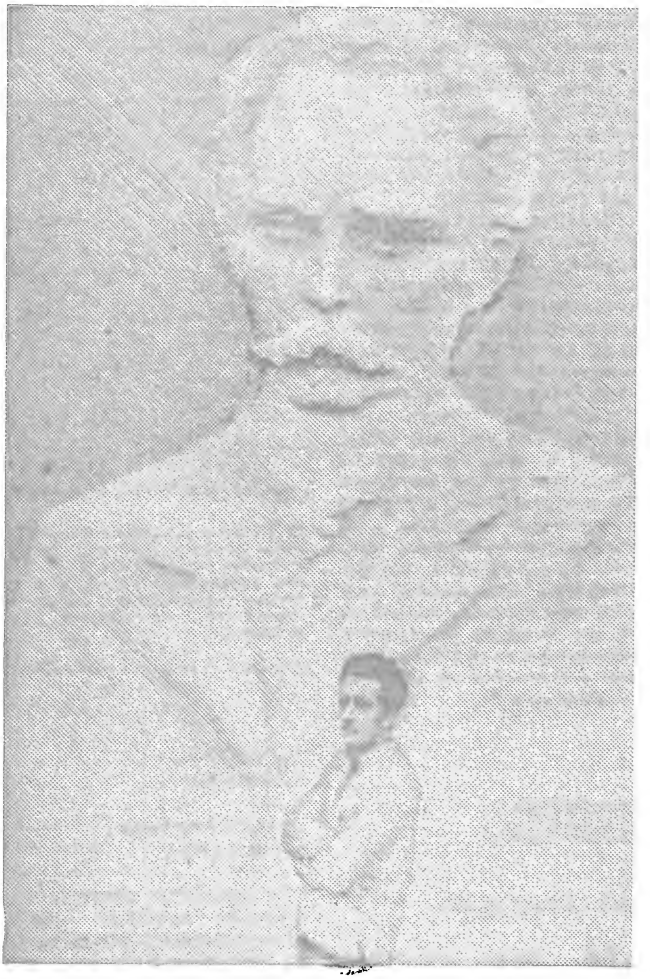
«СТИХИ О ЛЮБВИ» ХОСЕ МАРТИ

В гаванском издательстве «Летрас кубанас» вышел сборник стихов выдающегося кубинского революционера, писателя и поэта Хосе Марти.

В книге представлена любовная лирика поэта, жанр, который занимает заметное место в его творчестве наряду с широкоизвестными темами политического и гражданского звучания.

В предисловии к книге, написанном Луисом Толедо Санде, приводятся слова Хосе Марти, обращенные поэтом к молодой кубинке Марии Мантилье: «Любовь — это мягкость, деликатность, это светлая надежда, уважение, награда». Это понимание любви как высшей награды, дарованной человеку, характерно для поэта, и оно находит свое выражение в стихах, представленных в сборнике. Наряду со стихотворениями уже известными здесь собрано многое из того, что никогда не публиковалось, что было обнаружено в дневниках поэта.

— В любовной лирике Хосе Марти,— пишет обозревательница кубинской



Хосе Деларра принадлежит к поколению кубинских скульпторов, расцвет творчества которых совпал с рождением кубинской революции и последующим социалистическим строительством в стране. Скульптуры Деларры украшают площади многих кубинских городов, его работы много раз экспонировались на выставках в Гаване и за рубежом. Широко известны его скульптурные портреты Хулио Антонио Мельи, Рубена Мартинеса Вильены, Максимо Гомеса. Не раз обращался скульптор к образу Хосе Марти.
На снимке: Хосе Деларра у скульптурной работы, посвященной Хосе Марти, в Мехико.

(Журнал «Боэмия»)

газеты «Хувентуд ребельде» Басилиа Папастаматиу,— воспеваются честность, бескорыстие, самоотверженность, поиски добра и справедливости, все то, что было так характерно для личности самого поэта, отдавшего жизнь борьбе за освобождение своего народа.

«ПОЭЗИЯ ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЯ»

Так озаглавлена опубликованная в «Гасета де Куба» рецензия Мануэля Диаса Мартинеса на сборник избранных произведений выдающегося никарагуанского поэта Эрнесто Карденаля, изданный «Каса де лас Америкас» в серии «Латиноамериканская литература» (составитель и автор предисловия — поэт и историк Синтио Витьер).

«Моя поэзия — моя жизнь» — эти слова Э. Карденаля, по мнению рецензента, являются ключевыми для понимания его творчества и человеческого облика. «По характеру своего творчества он близок Хосе Марти,— отмечает рецензент,— чья поэзия имеет глубокие земные корни: она возникла на родной почве и и обращена к национальным истокам. О чем бы ни писал Э. Карденаль, его произведения встречают понимание и живой отклик читателя даже в том случае, если он обращается к историческому прошлому. Например, в «Сомнительной нужде» он напоминает о кровопролитных «подвигах» испанских конкистадоров и жестокой эксплуатации ими индейцев. Поэзия Э. Карденаля, отразившая боль, невзгоды и чаяния простых людей Латинской Америки, порождена нашей эпохой и вместе с тем устремлена в будущее...

Прежде всего он — никарагуанский поэт. Немногие писали об этой стране с такой нежной любовью, неподдельным мужеством и просветленностью, как он. Никарагуа, прошлое и настоящее никарагуанской земли, ее герои-мученики с их необоримой волей к утверждению национальной независимости и социальной справедливости запечатлены на страницах его книги».

Подчеркивая политический характер поэзии Э. Карденаля, Мануэль Диас Мартинес напоминает его высказывание: «Литература, создаваемая ради нее самой, не обращенная к широкому читателю,— ничто. Мы, поэты,— служители человечества, и наши задачи, в сущности, нерасторжимо связаны с политической борьбой». В этих словах, по мнению рецензента, выражено поэтическое кредо Э. Карденаля, который в годы войны против диктатуры Сомосы, будучи священником, стал одним из лидеров Фронта национального освобождения имени А. Сандино, а ныне является министром культуры в правительстве свободной Никарагуа.

ЛИВАН

В ПЕРЕВОДЕ НА АРАБСКИЙ

Ливанские прогрессивные издательства все шире знакомят читателей с произведениями мировой литературы, с книгами мыслителей, революционеров и деятелей искусства различных стран мира.

Как сообщает журнал «Ат-Тарик», в переводе на арабский язык вышли повесть «Белые ночи» Ф. М. Достоевского, книга стихов «Листья травы» американского поэта Уолта Уитмена, «Репортаж с петлей на шее» Ю. Фучика. Опубликован также сборник статей о театре выдающегося советского режиссера В. Мейерхольда.

ЖУРНАЛ ПАЛЕСТИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Как сообщает еженедельник «Филастын ас-Саура», Всеобщая федерация палестинских писателей и журналистов приступила к изданию литературного журнала «Аль-Кармаль» (от арабского названия горы Кармаль в Палестине; на языке древних обитателей Палестины хананеян это слово означает «цветущая земля»).

Главный редактор нового журнала — известный палестинский поэт Махмуд Дервиш, место издания — город Бейрут.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

«ЗОВ ЗАЛИВА»

Как сообщает тунисский журнал «Аль-Фикр», в Объединенных Арабских Эмиратах вышел сборник стихов одного из самых крупных поэтов этой страны Салема Ибн Али аль-Овейса.

В предисловии к книге, написанном внуком поэта, литератором из ОАЭ Абд аль-Азизом Ибн Насером аль-Овейсом, сообщается, что Салем Ибн Али родился в 1887 году в городке Аль-Хира. Умер он в 1959 году. «Зов залива» — вторая книга поэта, при его жизни она не публиковалась.

МОНГОЛИЯ

Большим успехом у монгольских зрителей пользуется спектакль «Гамлет», поставленный режиссером Гансалжавом в драматическом театре им. Нацагдоржа.
На снимке: сцена из спектакля.

(Газета «Утга зохиол урлаг»)

ПОЛЬША

«Я БЫЛ ТОГДА МАЛЕНЬКИМ»

Так называется рецензия в журнале «Нове ксёнжки» на книгу Мацея Пекарского «Я так запомнил», выпущенную Государственным издательским институтом (ПИВ).

Это книга воспоминаний об оккупации Варшавы. Автору было шесть лет, когда вспыхнула вторая мировая война. Все трагические впечатления откладывались в памяти ребенка, и уже в 1944 году он начинает вести дневник, куда заносит все события дня, полные страшного смысла. Толчком к ведению дневника послужила смерть старшего брата, погибшего на баррикадах.

Обстоятельства не позволяли вести дневник регулярно, это стало возможным только после окончания войны и продолжалось до 1976 года. Так возникла книга, которая отражает наблюдения, отложившиеся в памяти впечатлительного ребенка. Эти наблюдения полны детской непосредственности и поэтому, как отмечает критик, удивительно достоверны.

Пока отец и старший брат дрались на баррикадах, на остальную семью обрушились все невзгоды, которые пришлись на долю гражданского населения осажденного города. И голод, и холод, и постоянная тревога за близких. А после разгрома восстания все чаще и чаще на страницах дневника мелькают имена арестованных и казненных родных, друзей, знакомых и соседей. Страшное впечатление производит описание публичной казни, увиденной глазами ребенка.

«Государственный издательский институт, который выпустил книгу Мацея Пекарского, можно поздравить с двойным успехом,— пишет рецензент.— Во-первых, среди множества опубликованных воспоминаний не так уж часты такие, что производят на читателя столь сильное впечатление; во-вторых, воспоминания прекрасно изданы, тщательно подобранные фотографии отлично дополняют текст».

С МЫСЛЬЮ О МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

В Варшаве вышла книга «Олимпийские лавры». Как сообщает польская печать, поводом для ее создания послужили XXII Московские Олимпийские игры. В книгу включены посвященные Олимпиадам произведения самых разнообразных жанров: стихотворения, рассказы, отрывки из романов, репортажи, эссе польских и зарубежных авторов Книга снабжена большим количеством иллюстраций.

РУМЫНИЯ

НА СЦЕНЕ «КНИГА ИОВИЦЭ» П. ЭВЕРАКА

Румынскому зрителю хорошо известны постановки «Соседняя комната» «Подвал» по пьесам известного драматурга Паула Эверака. В Национальном театре города Тыргу Муреш режиссер Дан Александреску обратился еще к одной пьесе этого автора — «Книга Иовицэ».

По словам рецензента журнала «Театрул» Маргареты Бэрбуцэ, автор «затрагивает новую для себя, очень важную на современном этапе тему — более органичного сочетания личного и общественного начал, «я» и «мы», в условиях строительства развитого социалистического общества».

Герои пьесы — члены коллектива производственного объединения — решают сложные задачи, связанные с развитием важных отраслей народного хозяйства. На этой почве и происходит борьба между главным героем Иовицэ — техническим директором предприятия и некоторыми его сотрудниками. Иовицэ — преданный марксист, человек, глубоко понимающий сложные задачи, стоящие перед обществом. Однако ошибка его в слишком жестком негибком отношении к людям. Вот почему — при всей его преданности делу — он в конечном итоге терпит поражение.

Как отмечает М. Бэрбуцэ, автору и театру удалось создать живые, убедительные характеры современников, носителей «своей личной жизненной правды», неразрывно связанной с правдой общей, коллективной.

Как сообщает журнал «Театрул», сам автор осуществляет постановку своей пьесы на сцене Национального театра в Бухаресте.

На снимке: Михай Жингулеску и Корнел Попеску в сцене из спектакля «Книга Иовицэ» в Национальном театре г. Тыргу Муреш.

(Журнал «Театрул»)

СИРИЯ

КОНЧИНА АБУ САЛЬМЫ

Арабская пресса сообщила о том, что в возрасте 73 лет после операции скончался выдающийся палестинский поэт, председатель Всеобщей федерации палестинских писателей и журналистов Абд аль-Керим аль-Карми, писавший свои стихи под псевдонимом «Абу Сальма».

Как пишет журнал «Филастын ас-Саура», Абу Сальма, уроженец города Тулькарм в Палестине, был зачинателем поэзии палестинского сопротивления. Уже его ранние стихи, написанные в 30-е и 40-е годы, «разжигали пламя народных восстаний воспевали революцию и ее борцов».

Одна из лучших поэм Абу Сальмы была посвящена всеобщему восстанию палестинского народа против британского колониального ига, вспыхнувшему в 1936 году.

После раздела Палестины в 1948 году Абу Сальма был вынужден покинуть свою родину и переселиться в Сирию. Он пишет в это время о трагедии палестинского народа, изгнанного со своей земли, о борьбе палестинцев за восстановление своих попранных прав.

В некрологе исполкома Организации Освобождения Палестины, помещенном на страницах журнала, говорится, что «в своих патриотических стихотворениях Абу Сальма запечатлел героическую эпопею национальной борьбы палестинского народа, его пламенные патриотические поэмы служили светом для наших народных масс в их борьбе против сионизма и британского колониализма».

В некрологе отмечается активная деятельность поэта в международных организациях, где он стремился донести до мирового общественного мнения правду о трагедии палестинского народа. Абу Сальма был членом Всемирного Совета Мира, активным участником

движения афро-азиатской солидарности, одним из основателей Общества палестино-советской дружбы. В 1978 году Ассоциация писателей стран Азии и Африки присудила ему международную премию «Лотос». В 1980 году Абу Сальма был избран председателем Всеобщей федерации палестинских писателей и журналистов.

«Филастын ас-Саура» сообщает также, что председатель Организации Освобождения Палестины Ясир Арафат одобрил предложение секретариата Всеобщей федерации палестинских писателей и журналистов о создании мемориального музея Абу Сальмы в доме, где жил поэт.

США

«МУЗЫКА ДЛЯ ХАМЕЛЕОНОВ» ТРУМЭНА КАПОТЕ

После длительного молчания Трумэн Капоте опубликовал сборник рассказов и очерков «Музыка для хамелеонов». В книгу вошла и документальная повесть «Гробы, сработанные вручную», где писатель возвращается к теме, поставленной еще в «Обыкновенном убийстве» (см. «ИЛ», 1966, № 2, 3, 4), — теме насилия как одного из неотъемлемых компонентов американской действительности. Художник не должен проходить мимо боли, которая сопутствует человеческому существованию в современном обществе, утверждает Капоте в предисловии к книге. Он пишет, что его всегда интересовали крайне жестокие и внешне нелогичные жизненные ситуации, нежданные удары судьбы, у которых, однако, есть своя социальная и психологическая предопределенность.

Повесть посвящена нескольким совершенным в одном из западных штатов загадочным убийствам, которые были отмечены изощренным садизмом. Преступником оказался молодой человек без определенных занятий, одно время состоявший в печально знаменитой «семье» Мэнсона — проповедника идей насилия как способа самоутверждения и организатора убийства кинозвезды Шарон Тейт.

Вспоминая этот потрясший Америку случай в беседах, которые он в камере смертников вел с центральным персонажем своей повести, Капоте убедительно воссоздает общественную атмосферу, порождающую и подобное умонастроение, и — как следствие — подобные трагедии. В преступнике он различил социальный тип, характерный предельно нигилистическим мировосприятием и неверием в какие бы то ни было этические ценности. Персонаж новой повести Капоте дополняет галерею нравственных калек, темных «бунтарей», чья психика изуродована американским обществом.

В рассказах Капоте преобладает стихия острого гротеска, который призван обнажить пустоту и ничтожество бытия персонажей, как правило принадлежащих к благоденствующим слоям общества. По мнению рецензента «Нью-Йорк ревью оф букс» Дж. Прескота, как художник Капоте добивается большего в тех случаях, когда сохраняет верность лирической, поэтической и окрашенной мягким юмором манере повествования, характерной для таких его повестей, как «Завтрак у Тиффани». Критик, в частности, выделяет рассказ «Работа на день», где главный персонаж — пожилая уборщица, в силу профессии становящаяся невольным свидетелем нравственного разложения своих богатых нанимателей, но сохранившая простой и ясный взгляд на жизнь.

Уже много лет Капоте работает над романом «Услышанные молитвы», главы из которого появлялись в периодике. «Музыка для хамелеонов» — книга во многом экспериментальная, выросшая из заготовок к этому роману. Вместе с тем она отмечена теми художественными устремлениями, о которых сам Капоте сказал, что он хочет создавать «вещи крупные по замыслу, в которых будет достоверность факта, непосредственность фильма, глубина и серьезность прозы и точность поэзии».

НОВЫЙ РОМАН ДОКТОРОУ

«Гагачье озеро» — первая книга Э. Л. Доктороу после «Рэгтайма» (см. «ИЛ», 1977, № 9, 10) — заметное событие в литературной жизни США последнего времени. Как и прежде, Доктороу волнуют судьбы европейских иммигрантов за океаном, их духовные потери в процессе приспособления к американским порядкам и нравам, их трагедии и завоевания, оплаченные ценой нравственных компромиссов. В центре романа, чье действие охватывает почти все XX столетие, — биография Джо Корженевского, выходца из польской рабочей семьи, сумевшего сделать завидную карьеру: свой жизненный путь он завершает президентом нескольких крупных компаний и одним из наиболее влиятельных лиц в Вашингтоне. Однако эти успехи потребовали от героя не только разрыва со средой, которая его воспитала, но и заискивания перед богатыми, предательства по отношению к былым друзьям, сделок с совестью, продолжающих его тревожить и к самому концу жизни.

По мнению рецензентов романа, Доктороу — один из немногих современных писателей США, настойчиво пытающихся понять смысл и логику больших исторических процессов нашего века и не удовлетворяющихся изображением лишь частного бытия персонажей, их интимных переживаний и драм. История широко отражается на страницах книги Доктороу, который показывает ее движение и в узловых конфликтах, и во множестве менее очевидных преломлений: в меняющемся стиле жизни, понятиях, вкусах, психологии рядовых людей, в самом ритме повседневности, в ее малозаметных, но характерных черточках. Стиль «ретро» и повествовательный метод монтажа, использованные в «Рэгтайме», сохранились и в новой

книге Доктороу, которому удалось создать достоверные и яркие картины американской действительности в кризисные эпохи, прежде всего в 30-е годы, когда происходят основные события «Гагачьего озера».

Описывая жизнь рабочих кварталов во времена тогдашней «великой депрессии», Доктороу использовал многие примечательные факты из хроники профсоюзного движения и борьбы американского пролетариата. Герой, в то время еще разделявший трудную судьбу обездоленных, не выдерживает суровых испытаний «красного десятилетия», и начинается его духовное падение.

Став приближенным лицом миллионера Беннета и обосновавшись в его особняке на загородном озере, Корженевский усваивает циничные нормы жизни американской элиты, перенимая этические представления буржуазии и становясь ее прислужником. Ту же эволюцию проделывает и другой герой книги, поэт Пенфилд, в погоне за признанием позабывший о своих пролетарских корнях. Духовное растление, которому подвергает личность вся система ценностей капиталистического мира, — это, как отмечает в «Нью-Йорк ревью оф букс» Д. Джонсон, центральная тема романа Доктороу.

Завершая рецензию, критик пишет: «Доктороу предъявил строгий и горький счет истории. И за его сатирой, и за его лирикой скрывается возмущение ее несправедливостью... требование какой-то компенсации за все зло, причиненное ею человеку».

ТУНИС

НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ БЕЛЬ-ХАДЖА НАСРА

Журнал «Аль-Фикр» сообщает о новых книгах талантливого тунисского прозаика Абд аль-Кадера Бель-Хаджа Насра.

Отмечая успех рассказов Бель-Хаджа Насра среди читателей, рецензент журнала указывает, что источник этого успеха — в тесном взаимодействии творчества писателя с жизнью, в серьезном подходе к отрицательным явлениям, встречающимся в тунисском обществе.

Вслед за сборником «Холод» писатель опубликовал роман «Ее величество». По словам обозревателя журнала «Аль-Фикр», в этом романе рассказывается история взаимоотношений мужчины и женщины, принадлежащих к разным социальным кругам, о противоречиях, с одной стороны, между ними двумя и, с другой, между ними и обществом. Роман «Ее величество» был удостоен премии на конкурсе, организованном муниципалитетом г. Туниса. Премия Тунисского муниципалитета, отмечает обозреватель, присуждена впервые за три минувших года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ ПИСАТЕЛЯМ И ЛИТЕРАТУРОВЕДАМ

Журнал «Аль-Фикр» сообщает о присуждении государственных поощрительных премий большой группе ученых, работающих в области гуманитарных наук,— историкам, экономистам, социологам, литературоведам, а также писателям и поэтам.

За лучшие работы в области литературоведения и языкознания премий удостоены литературоведы и писатели Махмуд Таршуна за книгу «Литература, зовущая вперед» и Мухаммед Салех аль-Джабери за книгу «Исследования тунисской литературы».

За лучшие произведения художественной прозы и драматургии премий удостоены писатели Абд аль-Кадер Бель-Хадж Наср (сборник рассказов «Холод», «ИЛ», 1980, № 8) и Мустафа аль-Ферси (книга эссе «Движение»).

Премией отмечены также стихи Хамиды ас-Сули (поэтический сборник «Мой голос с вырванными ногтями»), Ас-Садека Шарафа, пишущего под псевдонимом «Абу Видждан» (сборник «Берега жажды») и Мухаммеда Азиза (диван стихов на французском языке).

Большинство лауреатов — молодые люди, лишь недавно выступившие со своими научными трудами и художественными произведениями.

ФРАНЦИЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ

Первая книга Жана Криера, более двадцати пяти лет работающего на французском телевидении, называется «Жанна д'Арк заржавела» (изд-во «Рамсей»). На обложке книги подзаголовок — «Документ». В ней воспроизведены магнитофонные записи разговоров Жана Криера с детьми рабочих Лотарингии. В этих беседах своеобразно преломляется жизнь провинции: закрытие заводов, безработица, волнения среди рабочих.

«Жан Криер услышал, как стонет край, который не хочет умирать. Он услышал в голосах детей эхо тревоги, которая мучает женщин, иммигрантов, эхо гнева рабочих. Со своим магнитофоном он бродил под серым небом страдания и надежды», — пишет Андре Лод в «Нувель литтерер».

«Документ для Жана Криера — источник живого человеческого тепла, — подчеркивает Андре Стиль в «Юманите диманш». — Его книга и есть возвращение к источнику: дети говорят о том, что видят вокруг, о своих мечтах. Через несколько лет им придется столкнуться с теми же трудностями, которые стоят сейчас перед их родителями...»

ФРГ

ФИЛЬМ О ПРАВОЙ УГРОЗЕ

Среди авторов этого документального фильма — два наиболее известных западногерманских кинорежиссера: Фолькер Шлёндорфф (создатель таких знаменитых лент, как «Поруганная честь Катарины Блюм», «Жестяной барабан») и Александр Клюге (фильмы «Прощание вчера», «Патриотка»). Двое других, Стефан Ауст и Александр фон Эшверге,

пока менее известны. Совместная работа этих четырех режиссеров представляет собой, по мнению журнала «Шпигель», не просто публицистический портрет Франца Йозефа Штрауса, кандидата в федеральные канцлеры от блока ХДС/ХСС на прошедших в октябре парламентских выборах,— фильм рассказывает о настроениях, характерных для сегодняшней ФРГ. Авторы не занимаются прогнозами. Они ни разу не говорят прямо о бедах, которые могла бы принести стране победа Штрауса. Вместо этого они оглядываются на послевоенное прошлое ФРГ, на времена «холодной войны» и предупреждают об угрозе возврата к ним.

«Фильм говорит о страхе,— пишет рецензент журнала «Шпигель».— О Франце Йозефе Штраусе нельзя сделать фильм, который не был бы фильмом страха. В каждой своей речи он говорит об опасностях, грозящих Германии, и считает своим особым даром умение «бдительно распознавать» эти опасности. Предотвратить их может он один, но его рецепты вызывают больше страха, чем сами опасности... Потому что вот уже тридцать лет он прописывает не лекарство, а болезнь: постоянную готовность немецкого народа к страху».

С этой «болезнью» не раз сталкивались режиссеры и в процессе работы над картиной. Так, два телевизионных учреждения отказались предоставить им документальный материал из своих архивов. «Этот фильм не предвыборная пропаганда,— пишет в «Шпигеле» критик Иван Нагель,— а скорее предложение задуматься».

ПИСАТЕЛИ ПРОТИВ ШПРИНГЕРА

Пятьдесят два западногерманских писателя и деятеля искусства заявили, что отказываются в какой-либо форме сотрудничать с изданиями Шпрингера. Более десяти лет назад с подобным заявлением уже выступали писатели «Группы 47». На этот раз среди участников этой акции — представители самых разных направлений: не только левого, но и консервативного, и либерального. Наряду с подписями Генриха Бёля, Гюнтера Вальрафа, Вальтера Йенса, Гюнтера Грасса, Хайнара Кипхардта здесь можно встретить имена Зигфрида Ленца, Петера Хертлинга, а также крупнейших западногерманских кинорежиссеров Райнера Фассбиндера, Александра Клюге, Фолькера Шлёндорффа.

«Деятели искусства, имена которых называют сегодня и за рубежом, когда говорят о немецкой культуре, — подчеркивает гамбургский еженедельник «Ди цайт», — приняли политическое решение». Конечно, такой протест не потрясет основ издательской империи Шпрингера, но это «сигнал общественного неблагополучия». «Мы отказываемся писать для Шпрингера, — пишут авторы заявления, — потому что он обманывает читателей, называя себя стоящим над партиями и независимым. Мы отказываемся писать для Шпрингера, потому что журналистика, практикуемая в его листках,— это насмешка над принципами демократии. Мы отказываемся писать для Шпрингера, потому что в его газетах дискриминируют наших коллег и клевещут на них».

ЧИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ

Чилийские художники-патриоты продолжают борьбу против хунты Пиночета и за границей.
На снимке: выпущенный в Финляндии плакат «Солидарность с Чили».

(«Интерпресс график»)

ЗАПРЕТ КНИГИ МАКСИМО ПАЧЕКО

Чилийская военная хунта запретила публикацию в стране книги известного чилийского общественного деятеля, бывшего министра образования, посла Чили в СССР в период Народного единства Максимо Пачеко — «Лонкен», повествующей о трагедии так называемых «исчезнувших чилийцев». В основе книги Пачеко — свидетельские показания и следственные материалы по делу о гибели от рук чилийских карабинеров 15 крестьян из местечка Лонкен, провинция Сантьяго. На пресс-конференции, состоявшейся в венесуэльской столице, Максимо Пачеко классифицировал запрет как противозаконную акцию и несовместимую даже с законодательными нормами, установленными правящей ныне хунтой. В подобных условиях, заявил Пачеко в интервью испанскому агентству ЭФЭ, в Чили единственно разрешенным литературным жанром может считаться разве что научная фантастика.

ЮАР

В нью-йоркском издательстве «Перси букс» вышла книга известного южноафриканского поэта, пламенного борца против апартеида Брайтена Брейтенбаха. Брейтенбах с 1975 года томится в тюрьме. Власти Претории осудили его на девять лет по так называемому «закону о терроризме» после того, как поэт тайно вернулся на родину. В новую книгу включены стихи, дневниковые записи, воспоминания. Названа книга — «Сезон в раю». Журнал «Жён Африк» пишет по поводу этого весьма символического названия, что «оно является как бы перефразированным заглавием книги французского поэта Артюра Рембо «Сквозь ад». Южная Африка — «рай» Брейтенбаха — походит на этот ад, как родной брат».

На снимке: знаменитый хирург Кристиан Барнард посещает в тюрьме Брайтена Брейтенбаха.

(Журнал «Жён Африк»)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. О. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. И. Иванова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17. Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц

Сдано в набор 09.12.80. Подписано в печать 15.01.81. А 04524. Формат 70×108 1/16. Печать высокая, 17 п. л. (23,8) усл. п. л., уч.-изд. л. 23,39. Тираж 527.500 экз.

Тираж 527.500 экз. (1-й завод: 1—400.000 экз.) Зак. 4090.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.